

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2025

№ 85

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Дериглазова Л.В.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор ист. наук, профессор. E-mail: dlari-sa@inbox.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Днев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польша); **Шестопап Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief;
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology);
Deriglazova L.V. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science);
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor;
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology);
Borisov E.V. (Tomsk, Russia);
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia);
Syrov V.N. (Tomsk, Russia);
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia);
Ladov V.A. (Tomsk, Russia);
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia);
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia);
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Барышников П.Н. «Черный ящик» или прозрачный алгоритм: аналитический обзор источников по этике искусственного интеллекта	5
Мальшский Е.В. Экономика цифровой коммуникации	21
Михайлов И.Ф. Загадка субъективных образов	31
Antonovsky A.Yu., Pogozhina N.N. Toward a systemic-communicative philosophy of science: From Max Weber to Niklas Luhmann	46

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Городецкий М.В. Ошибка Платона?	64
Корниенко А.Г. Просвещенческий проект современности: экономическая таблица Ф. Кенэ как инструмент моделирования будущего	75
Сухорукова Е.И. Религиозные элементы «народной души» в антропологии В.В. Розанова	83
Целищева О.И. Философский скептицизм и концепция развития науки Томаса Куна	93

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Пирогов С.В. Путь Н. Лумана в концептуализации феномена власти	104
Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Quo Vadis? Стратегические ориентиры в развитии искусственного интеллекта и необходимость новой социальной аналитики	112
Сыров В.Н. Об одной теоретико-методологической ошибке (или заблуждении) в социально-гуманитарном дискурсе и путях ее преодоления	123
Хитрук Е.Б., Быков Р.А. Вовлеченное отцовство в современном российском обществе: творчество, осознанность, любовь	139

СОЦИОЛОГИЯ

Газалов А.Т. Ожидания и запросы молодежи к молодежной политике – анализ социологического опроса (на примере Республики Северная Осетия – Алания)	152
Дивисенко К.С. Биографическое исследование субъективного благополучия с помощью методов обработки естественного языка	164
Дружинин А.М. Деструктивные элементы онлайн-коммуникации	177
Шаров Г.Д. Городская гетеротопия как третье место: интеграция подходов	189
Ermolaeva Yu.V., Zolina A.A., Varganova I.V. Study of the phenomenon of plant blindness using an online survey of residents in St. Petersburg	197

ПОЛИТОЛОГИЯ

Михайленко Е.Б. Региональная многосторонность в переговорном процессе Договора о нераспространении ядерного оружия	214
Шпагин С.А. Региональные партийные системы: формирование концепции	225
Куав Ye Ph. Myanmar or Burma: Exploring the dual narratives of national identity dilemma	235

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Город: между миграцией и оседлостью

Савченко И.А. Дискурсивная урбанистика: поиск метода	249
Дружкин С.М. Биосоциальный ландшафт дискурсивной урбанистики (на примере латиноамериканских городов)	257
Касавин И.Т. Лакуны невидимого города: феномен инфодениализма	264
Кузьмин В.Д. Трансструктурные исследования города: критический анализ	272
Сахарова А.В. Зеркальные лабиринты: к методологии исследования города	279
Савченко И.А. В защиту города. Ответ моим оппонентам	287

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Baryshnikov P.N. A “black box” or a transparent algorithm: An analytical review of sources on the ethics of artificial intelligence	5
Malyshkin E.V. The economics of digital communication	21
Mikhailov I.F. The riddle of subjective representations	31
Antonovsky A.Yu., Pogozhina N.N. Toward a systemic-communicative philosophy of science: From Max Weber to Niklas Luhmann	46

HISTORY OF PHILOSOPHY

Gorodezky M.V. A mistake of Plato?	64
Kornienko A.G. The Enlightenment project of modernity: François Quesnay’s economic table as a tool for modeling the future	75
Sukhorukova E.I. Religious elements of the “national soul” in Vasily Rozanov’s anthropology	83
Tselishcheva O.I. Philosophical skepticism and Kuhn’s concept of scientific development	93

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Pirogov S.V. Niklas Luhmann’s path in conceptualizing the phenomenon of power	104
Rezaev A.V., Tregubova N.D. Quo Vadis? Guidelines for the artificial intelligence advancement and the necessity of a new social analytics	112
Syrov V.N. On a theoretical and methodological error (or misconception) in social sciences and humanities discourse and ways to overcome it	123
Khitrak E.B., Bykov R.A. Engaged fatherhood in modern Russian society: Creativity, mindfulness, love	139

SOCIOLOGY

Gazalov A.T. Young people’s expectations and requests for youth policy: A sociological survey analysis (on the example of the Republic of North Ossetia – Alania)	152
Divisenko K.S. A biographical study of subjective well-being using natural language processing methods	164
Druzhinin A.M. Destructive elements of online communication	177
Sharov G.D. Urban heterotopia as the third place: Integration of approaches	189
Ermolaeva Yu.V., Zolina A.A., Varganova I.V. Study of the phenomenon of plant blindness using an online survey of residents in St. Petersburg	197

POLITICAL SCIENCE

Mikhaylenko E.B. Regional multilateralism in the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons negotiating process	214
Shpagin S.A. Regional party systems: Concept formation	225
Kyaw Ye Ph. Myanmar or Burma: Exploring the dual narratives of national identity dilemma	235

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

The city: between migration and sedentism

Savchenko I.A. Discursive urban studies: Method search	249
Druzhkin S.M. The biosocial landscape of discursive urbanism (A case of Latin American cities)	257
Kasavin I.T. Lacunae of the invisible city: The phenomenon of infodentialism	264
Kuzmin V.D. Transstructural urban studies: A critical analysis	272
Sakharova A.V. Mirror labyrinths: Towards a methodology for urban exploration	279
Savchenko I.A. In defense of the city. A reply to my opponents	287

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья
УДК 004.8:17
doi: 10.17223/1998863X/85/1

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» ИЛИ ПРОЗРАЧНЫЙ АЛГОРИТМ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ЭТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Павел Николаевич Барышников

Пятигорский государственный университет, Пятигорск, Россия, pnbaryshnikov@pgu.ru

Аннотация. В статье анализируются современные исследования этических аспектов ИИ, результаты которых были опубликованы за последние 5 лет. Рассмотрены ключевые проблемы: прозрачность алгоритмов, распределение ответственности, дискриминация, защита данных. Выявлены противоречия между теорией и практикой, раскрыты причины доминирования технократического подхода. Особое внимание уделено военному применению ИИ и необходимости разработки практических механизмов реализации этических принципов.

Ключевые слова: этика искусственного интеллекта, распределение моральной ответственности, этические дилеммы, регулирование, объяснимый искусственный интеллект, затрудняющие факторы

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00540, <https://rscf.ru/project/24-28-00540>

Для цитирования: Барышников П.Н. «Черный ящик» или прозрачный алгоритм: аналитический обзор источников по этике искусственного интеллекта // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 5–20. doi: 10.17223/1998863X/85/1

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

A “BLACK BOX” OR A TRANSPARENT ALGORITHM: AN ANALYTICAL REVIEW OF SOURCES ON THE ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Pavel N. Baryshnikov

Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russian Federation, pnbaryshnikov@pgu.ru

Abstract. The rapid advancement of artificial intelligence (AI) technologies presents significant ethical challenges that demand attention from both the scientific community and society. This article reviews AI ethics research published over the past five years, identifying key issues and barriers to implementing ethical principles across various domains. The aim of the study is to identify key problem areas and limiting factors that hinder the implementation of ethical

principles in various areas of application of computational intelligent systems. The sampling methodology includes a systematic content analysis of source metadata with subsequent data clustering and thematic modeling implemented using NLP tools. The work pays special attention to the fundamental contradictions between theoretical provisions and their practical implementation, the dominance of the technocratic utilitarian approach over humanitarian expertise, as well as insufficient elaboration of mechanisms for distributing moral responsibility. In medicine, the opaque nature of machine learning models complicates clinical decision-making and accountability. In the legal field, AI used for risk assessment and judicial decisions raises concerns about algorithmic bias and fairness. A broader issue is the unclear distribution of moral responsibility in multi-stakeholder environments involving developers, users, and affected parties. Fairness and discrimination remain central concerns, as mathematical definitions of fairness often conflict and fail to reflect diverse cultural contexts. Data privacy is increasingly strained by AI's demand for personal information, and global disparities in regulation hinder consistent protection. Military AI poses distinct ethical dilemmas, particularly regarding lethal autonomous systems lacking meaningful human control. The study highlights a technocratic trend in AI ethics discourse, prioritizing quantifiable performance metrics over nuanced ethical reflection. Emerging challenges at the intersection of AI applications create complex feedback loops beyond the reach of existing frameworks. Despite ongoing efforts, unresolved issues include achieving transparency, defining collaboration guidelines, and developing adaptive ethical models. The article calls for interdisciplinary research, greater stakeholder inclusion, and international cooperation to build AI systems aligned with human values and social well-being.

Keywords: ethics of artificial intelligence, distribution of moral responsibility, ethical dilemmas, regulation, explainable artificial intelligence, complicating factors

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00540, <https://rscf.ru/project/24-28-00540>

For citation: Baryshnikov, P.N. (2025) A “black box” or a transparent algorithm: an analytical review of sources on the ethics of artificial intelligence. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 5–20. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/1

1. Введение. Параметры и области применения этики ИИ

1.0. Определение терминов

Прежде чем переходить к подробному обзору современных исследований по этике этических ИИ в различных областях человеческой деятельности, необходимо определить список понятий, которые будут использоваться в ходе дальнейших рассуждений.

Искусственный интеллект (ИИ) – технология, которая позволяет компьютерам и машинам имитировать человеческое обучение, понимание, решение задач, принятие решений, творчество и автономность. Приложения и устройства с ИИ могут видеть и распознавать объекты, понимать и реагировать на человеческий язык, обучаться на основе новой информации и опыта, предоставлять детализированные рекомендации пользователям и экспертам, а также способны действовать в автономном режиме¹.

¹ Это определение, которое является обобщением классических формулировок, нуждается в дополнениях и уточнениях. Дело в том, что в течение последних нескольких лет внимание исследователей сосредоточено на прорывах в области генеративных трансформеров. В обывательском представлении термины ИИ и GPT стали синонимами. Важно подчеркнуть, что сегодня широкое тематическое поле «Искусственный интеллект» включает в себя все эволюционные технологические этапы: от «Логического теоретика» Г. Саймона и А. Ньюмана, работающего с простыми списками, до последних мультимодальных генеративных LLM (Large Language Models – Большие языковые модели), обучающихся на больших объемах данных при помощи триллионов параметров.

Этика ИИ – междисциплинарная область, изучающая, как максимизировать пользу от искусственного интеллекта, минимизируя при этом риски и негативные последствия. Принципы этики ИИ реализуются через систему управления ИИ, которая включает механизмы контроля, направленные на обеспечение безопасности и соответствия этическим нормам инструментов и систем ИИ [1].

Этические вызовы ИИ – системные ограничения, препятствующие справедливому и ответственному использованию ИИ.

Этические критерии (далее в тексте: этические рамки, принципы, ограничения, фреймворки) – структурированные подходы, используемые для оценки моральных проблем и принятия решений. Теоретические основы критериев: утилитаризм, деонтология и этика добродетели. Утилитаризм фокусируется на результатах и стремится к наибольшему благу для наибольшего числа людей, в то время как деонтология подчеркивает долг и правила, а этика добродетели подчеркивает особый статус моральных добродетелей, приближающих человека к совершенству.

1.1. Общая характеристика предметной области

Для общей характеристики такой предметной области, как «Этика искусственного интеллекта», целесообразным будет опереться на нормативный документ, в основании которого заложены этические принципы и ценностные установки. Мы предлагаем в качестве иллюстрирующего документа использовать «Рекомендации по этике ИИ», принятые 23 ноября 2021 г. ЮНЕСКО [2]. Структура и общее содержание документа указывают на то, что с момента свершения так называемой третьей вычислительной (нейросетевой) революции [3] глобальные вызовы, связанные с ИИ, и мировой опыт по их преодолению были осмыслены, обобщены и структурированы. Потребовалось чуть более пяти лет для общественной реакции на появление прорывных ИИ-технологий и новых принципов управления информацией. Можно сказать, что сегодня постепенно вырабатываются правила по организации деятельности в эпоху ИИ и больших вычислений. При этом очевидно, что значимость ИИ и его влияние на общество, окружающую среду, экосистемы и человеческую жизнь в целом уже не оспаривается даже самыми убежденными ИИ-скептиками [4].

Собственно, документ структурирован согласно основным принципам экспозиции проблемы: авторы подчеркивают необходимость признания как положительных, так и отрицательных воздействий, которые ИИ может оказывать на различные сферы жизни. Очевидно, что дальнейшее развитие этой технологии допускает как улучшение качества жизни, так и потенциальные угрозы, такие как нарушение прав человека и социальное неравенство. Этические нормы должны укрепить нормативно-правовое поле для формирования точки баланса между выгодами и угрозами, которые неразрывно связаны с внедрением технологий ИИ в глобальные производственные и коммуникационные процессы. В тексте документа отмечается, что возрастает роль международного сотрудничества в области регулирования ИИ, которое должно привлекать различные заинтересованные стороны, включая государства, частный сектор, научное сообщество и гражданское общество. Авторы осторожно признают, что ИИ может способствовать достижению устойчивого

развития и решению глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство. Однако для этого необходимо обеспечить этическое и ответственное использование технологий.

Из общей тональности текста можно заключить: это попытка дать объективную оценку соотношения рисков и положительных перспектив использования технологий ИИ во всех сферах жизни человечества. При этом оценка рисков носит не риторический характер. Способ постановки вопросов обнаруживает серьезную обеспокоенность последствиями неконтролируемой «весны искусственного интеллекта». Вместе с тем с учетом общей сегодняшней геополитической нестабильности и наличия в текущем историческом периоде конфликта цивилизационных платформ и ценностных систем необходимо сделать важное замечание: оценка этических рисков развития технологий ИИ основывается на глобальных ценностных установках без учета региональных интересов. Представленный обзор указывает на этические проблемы ИИ для «человечества вообще» в оптике глобальных ценностей глобального мира [5]. Рассмотрение локальных или региональных ценностных аспектов ИИ требует отдельного исследования.

1.2. Эмоциональные оценки перспектив: между оптимизмом и настороженностью

Из-за колоссальных объемов научной литературы по этическим аспектам ИИ, которая появилась за последние пять лет, не представляется возможным сделать всеобъемлющий обзор. Рассмотрение тематических областей применения правил регулирования в большинстве видов человеческой деятельности (образование, наука, культура, обмен информацией и управление данными, здравоохранение, сельское хозяйство, экология, экономика) обращает внимание на так называемые сентимент-маркеры. Результаты проведенного сентимент-анализа рекомендаций ЮНЕСКО [2] красноречиво свидетельствуют о нейтральной оценке (с элементами осторожного оптимизма) перспектив и значимости применения ИИ в общественно-экономической сфере; вместе с тем очевидно присутствие негативных оценок (табл. 1).

Таблица 1. Результаты сентимент-анализа текста «Рекомендаций по этике ИИ» ЮНЕСКО [2]

Позитивно	Негативно	Нейтрально	Sentiment Analysis Results
91	28	436	
			A pie chart titled 'Sentiment Analysis Results' showing the distribution of sentiment markers. The chart is divided into three segments: a large grey segment representing 'Neutral' at 78.6%, a green segment representing 'Positive' at 16.4%, and a small red segment representing 'Negative' at 5.0%. Labels for 'Positive' and 'Negative' are placed outside the chart near their respective segments.

В документе однозначно указывается на то, что внедрение ИИ в социальные и производственно-технологические процессы неизбежно сопровождается рядом рисков и угроз, требующих постоянной экспертизы. Алгоритмические системы, опирающиеся на диахронические наборы данных, склонны воспроизводить и закреплять предвзятые точки зрения, что приводит к дискриминации маргинализированных групп и ставит под сомнение справедливость принимаемых решений. Одновременно с этим использование ИИ в обработке персональной информации порождает новые вызовы конфиденциальности, требующие разработки этических и правовых механизмов регулирования принципов обмена и хранения данных. К тому же уязвимость ИИ к внешним атакам и сбоям поднимает вопросы безопасности и надежности, обостряя проблему ответственности за техногенные риски. Процессы автоматизации рутинных задач, базирующиеся на ИИ, трансформируют рынок труда, вытесняя человеческую деятельность и поднимая социально-антропологические вопросы о роли человека в технологическом обществе. Отметим, что принятие решений на основе алгоритмов неизбежно сталкивается с ограничениями машинной рациональности, что вызывает сложные этические дилеммы, связанные с правомерностью и обоснованностью действий человеко-компьютерных систем. Также важно, что использование ИИ для генерации дезинформации и манипуляции общественным мнением угрожает основам социального порядка и девальвирует эпистемическую ценность категории истины в эпоху цифровых технологий [6].

2. Методы выборки и анализа литературы по областям

Существует множество работ, в которых применены новейшие методы контент-анализа при обзоре литературы по проблемам этики ИИ. Особое внимание обращает на себя работа [7], в которой авторы последовательно раскрывают негативные факторы, мешающие сообществам принять единые правила этического дизайна систем ИИ. Можно согласиться с утверждением, что дизайн ИИ-систем должен включать в себя не только архитектурные компоненты решений разработчиков, но и встроенные культурные, этические и юридические принципы регулирования, из которых ключевыми (всего в результате анализа было выявлено 22) являются прозрачность, приватность, ответственность и честность. Общим итогом работы служит следующий тезис:

Вызовы этики ИИ связаны с проблемами в формулировке, интерпретации и применении этических принципов, а также с недостаточной прозрачностью и несовершенством механизмов регулирования, технологическими и институциональными ограничениями.

В нашем систематическом обзоре в качестве ключевых параметров выборки и анализа литературы будет принят список затрудняющих факторов из указанной работы А.А. Хана с соавт. (табл. 2).

Таблица 2. Факторы, затрудняющие внедрение этики ИИ [7]

Индекс фактора	Наименование затрудняющего фактора	Англоязычный эквивалент
Ф-01	Недостаток этических знаний	Lack of ethical knowledge
Ф-02	Размытые принципы	Vague principles
Ф-03	Чрезмерно общие принципы	Overly broad principles
Ф-04	Конфликт в практическом применении	Practical application conflicts
Ф-05	Различная интерпретация принципов	Divergent principle interpretations
Ф-06	Недостаточное техническое понимание	Insufficient technical understanding
Ф-07	Дополнительные ограничения	Additional constraints
Ф-08	Отсутствие аудита и мониторинга	Lack of audit and monitoring
Ф-09	Отсутствие юридических рамок	Absence of legal frameworks
Ф-10	Бизнес-интересы	Business interests
Ф-11	Плюрализм этических методов	Pluralism of ethical approaches
Ф-12	Этические дилеммы	Ethical dilemmas
Ф-13	Искажения в работе алгоритмов	Algorithmic biases/distortions
Ф-14	Недостаток руководств и стратегий	Lack of guidelines and strategies
Ф-15	Отсутствие межкультурного сотрудничества	Lack of cross-cultural collaboration

Основное отличие состоит в том, что, во-первых, в наш обзор попали только работы 2022–2024 гг. (ситуация на рынке ИИ кардинально изменилась за последний год), во-вторых, этот список применен не только к этическим аспектам, но и к нескольким технологическим доменам. Ключевой вопрос, ответ на который формулируется в ходе исследования, звучит так:

Какие ключевые факторы затрудняют этическое внедрение ИИ в разных профессиональных доменах (образование, наука, здравоохранение, управление данными)?

Основной замысел состоит в том, чтобы отсортировать наиболее значимые статьи по поисковому терму и провести с помощью инструментов ИИ анализ полнотекстовых версий статей. Значимость определяется не по общему числу цитирований, а по максимальному количеству цитирований в год. Такой метод сортировки позволяет попасть в выборку не только ранним популярным публикациям, но и новым, оцененным и процитированным в последнее время.

До того как проводить детальную проработку наиболее репрезентативных текстов, необходимо провести анализ данных из выборки глобальных библиографических баз. В качестве источника данных используется платформа «Publish or Perish» – это программное обеспечение, которое извлекает и анализирует академические источники из глобальных библиографических баз метаданных [8]. Программа анализирует публикации по наукометрическим параметрам и предоставляет ряд метрик для проведения сравнительного анализа, включая количество статей, даты публикации, общее количество цитат и индекс Хирша.

При извлечении данных использовался поисковый терм «AI Ethics Challenges». В качестве источников данных послужили такие системы, как Crossref и Google Scholar. Всего проанализированы метаданные более 1 000 источников за 2022–2025 гг.

В качестве данных для анализа использовалось поле с заголовками статей. То есть на вход подается текстовый массив, который сформировался из заголовков статей, извлеченных по поисковому терму «AI Ethics Challenges». Процесс анализа данных в данном исследовании включает несколько ключе-

вых этапов. Сначала данные после сортировки в «Publish or Perish» загружаются и просматриваются для понимания их структуры. Затем текстовые данные очищаются: приводятся к нижнему регистру, удаляются знаки препинания и служебные слова. После этого проводится частотный анализ слов, чтобы выявить наиболее распространенные термины. Далее тексты преобразуются в числовые векторы, что позволяет проанализировать содержание заголовков. Используется метод поиска скрытых тем, который группирует слова таким образом, чтобы выявить общие концепции. Все статьи делятся на группы (кластеры) по их схожести. Для каждой группы находятся характерные слова, описывающие ее содержание. Результаты визуализируются с помощью графиков, где каждая точка представляет статью, а цвет указывает на принадлежность к определенной группе. Также проводится анализ корреляций между различными характеристиками статей, такими как количество цитирований и возраст публикации. Это помогает понять, какие факторы влияют на популярность работы. В итоге составляется список самых цитируемых статей для каждой группы, что позволяет выделить наиболее значимые исследования в каждой области¹.

В результате проведенного анализа было выявлено пять наиболее репрезентативных тематических кластеров:

0: Взаимодействие человека и ИИ: агентность, справедливость.

1: Юридические и медицинские аспекты ИИ: проблема интерпретируемости.

2: Моральные дилеммы в этике ИИ.

3: Управление и регулирование ИИ, влияние на общество.

4: Этика ИИ в образовании, педагогические практики.

Распределение кластеров в двумерном пространстве показано на рис. 1.

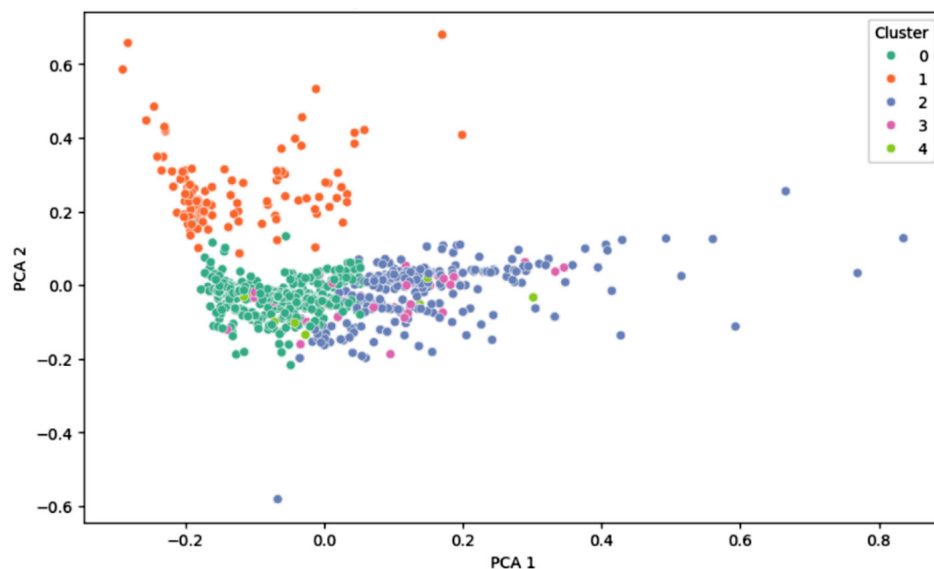


Рис. 1. Распределение тематических кластеров статей по этическим проблемам ИИ

¹ Ознакомиться с исходным кодом можно перейдя по ссылке: <https://colab.research.google.com/drive/13fTKxNHxq7414bOtNz37W5JlkYQPNtw-?usp=sharing>

Наиболее плотные группы составляют кластеры 0 (Взаимодействие человека и ИИ: агентность, справедливость) и 2 (Моральные дилеммы в этике ИИ). Из каждой тематической области мы выбрали топ-10 самых цитируемых статей в год. Дальнейшие рассуждения представляют собой авторское обобщение извлеченной информации¹. Ниже мы рассмотрим наиболее проблемные области из некоторых кластеров и их пересечений, дадим характеристику и общую оценку этическим вызовам.

3. Этические вызовы современного этапа развития ИИ

3.0. Взаимодействие человека и ИИ: агентность, справедливость

Одной из наиболее обсуждаемых проблем сегодня является возможность разработки алгоритмического дизайна этических регулятивов в сфере ИИ. Такой «инженерный» подход к этике вполне объясним, так как бизнес (главный бенефициар развития ИИ) ставит задачи перед разработчиками, а не перед гуманитарным экспертным сообществом. В работе [9] мы видим детальный разбор понятий, этических ограничений (фреймворков) и механизмов их реализации на разных уровнях применения технологии ИИ.

На раннем этапе становления технологий ИИ угрозы, вызовы и этические проблемы были, скорее, умозрительными. Обсуждения этих тем перешли в практическую плоскость вместе с широким распространением интеллектуальных систем на всех уровнях производственных и управленческих процессов. С конца 80-х гг. XX в. происходит интенсификация обсуждений этического компонента технологий ИИ. В 20-е гг. XXI в. мы видим переход ко «второй фазе этики ИИ» [10], в ходе которого происходит смещение от вопросов типа «что такое этические ограничения?» к вопросам типа «как воплотить в жизнь этические ограничения?». Стоит отметить, что многие принципы восходят к классическим формулировкам, применявшимся к растущему рынку ИТ в конце прошлого века: «Этика информационной эпохи строится на четырех ключевых понятиях: конфиденциальность, точность, право собственности и доступность (privacy, accuracy, property, and accessibility)» или «Должны быть гарантии, что информационные технологии и информация, которую они обрабатывают, используются для укрепления достоинства человечества» [11. Р. 655].

Сегодня список этических вызовов разросся и вышел далеко за пределы перечисленных понятий. Уровни детализации и спецификации каждой проблемной области усложнились. Например, Э. Прем разработал структурированный список подходов к созданию этичного ИИ, выявив широкий спектр инструментов и методик – от алгоритмов до общих фреймворков и инструментов, которые могут стать частью инфраструктуры этики ИИ (наборы данных, сообщества или лицензионные модели) [9]. Свои наборы решений предлагает целый ряд авторов [12, 13].

Анализ наглядно выявляет, что подходы могут варьировать по уровню конкретности: от программного кода до концептуальных рассуждений. Кон-

¹ Не все статьи, выбранные таким методом, попадут в список литературы, поэтому прилагается ссылка на таблицу с полным перечнем ключевых источников: <https://github.com/kagort/databases2/blob/master/PoPCites.csv>

кретные решения, такие как алгоритмы, обычно решают лишь одну этическую проблему, тогда как более абстрактные подходы часто реагируют на комплексные этические вызовы общественного уровня. Мы видим, что технические подходы сосредоточены на ограниченном круге вопросов, таких как объяснимость и справедливость ИИ, которые трансформировались в целые области машинного обучения. Хотя множество исследований выявило сопоставимые наборы принципов для этичного ИИ, техническая реализация этих принципов демонстрирует такое богатое и зачастую противоречивое разнообразие подходов, что сегодня нет возможности говорить об универсальных решениях.

В вопросах о справедливой ИИ нужно признать, что инструментальный подход порождает много проблем взаимосвязи этики и дизайна ИИ. Для успешной реализации этических систем необходимо изучать их применение в конкретных контекстах, аналогично медицинской этике. Это может включать разработку стандартных ситуаций, публикацию лучших практик и их обсуждение. Предполагается, что такие подходы можно сочетать со стандартными аудитами, сертификатами, декларациями и регулированием [14].

Относительно проблемы агентности вопросы стоят еще острее. Современный спектр этических проблем, связанных с искусственными автономными агентами, охватывает широкие сферы: беспилотный транспорт, роботы в сфере здравоохранения, автономные оружейные комплексы и многое другое. Тем не менее сегодня пока недостаточно теоретических, методологических или эмпирических исследований, в которых раскрывался бы универсальный «рецепт» для понимания, например, проблемы распределения моральной ответственности при использовании ИИ-роботов.

Для преодоления подобных затруднений в некоторых работах [15, 16] разрабатывается концептуальная рамка, которая интерпретирует этические последствия применения ИИ-роботов на основе дескриптивной и нормативной этической теории. З. Тот с коллегами в результате скрупулезного анализа пришли к выводу, что при росте агентности ИИ возрастают и моральная ответственность, и механизмы ее распределения между множеством акторов и институтов. Этика искусственных интеллектуальных агентов может раскрываться в трех аспектах: пользовательский, производственный и институциональный. То есть этические компоненты должны реализовываться на трех уровнях:

- 1) в пользовательском опыте взаимодействия с ИИ-агентами;
- 2) в инженерных схемах на этапе разработки;
- 3) на институциональном уровне за счет механизмов государственного или муниципального управления.

Нормативная база при этом должна обладать способами распределения моральной ответственности между всеми уровнями. Для разработки такой нормативной базы необходимо определение «границ ответственности».

Еще более острым выглядит вопрос о моральной ответственности в сфере военного применения систем так называемой ситуативной осведомленности (Situational Awareness) ИИ. В работах, посвященных внедрению интеллектуальных комплексов в военную сферу [16–18], рассматриваются различные технологии: разведывательные методы сбора данных, сети датчиков, программно-определяемые радиоустройства, беспилотные летательные

аппараты, автономные транспортные средства, системы определения местоположения выстрелов, интернет вещей, туманная вычислительная мощность, слияние информации, автоматическое распознавание событий в потоковых видео и системы расширенного зрения. Эти технологии могут быть применены в различных областях – там, где ситуативная осведомленность играет ключевую роль: поле боя, городские боевые действия, «серая зона» войны, государственная безопасность, защита критической инфраструктуры. Тем не менее в этих работах этический аспект применения ИИ-технологий вообще не упоминается. То есть парадоксальным образом вопросы этики здесь стоят особенно остро именно потому, что они полностью обходятся. Скорее исключением из правил представляются аналитические обзоры по этическим проблемам автономных военных летальных комплексов, сделанные организациями типа Международного комитета Красного Креста: «Принимая на себя большую когнитивную нагрузку в военных операциях, системы поддержки на основе ИИ могут ослабить человеческий элемент морального и этического принятия решений. Переход от суждений, руководимых человеком, к суждениям с помощью ИИ может подорвать способность командиров полностью брать на себя моральную ответственность за свои решения, в конечном итоге ставя под угрозу военные добродетели» [19].

В итоге взаимодействие систем ИИ и человека остается проблемной областью, требующей межинституциональной работы. Обзор источников подтвердил, что чем более прикладной характер носят исследования по взаимодействию искусственных интеллектуальных систем и человека, тем менее остро формулируются (а иногда и вовсе опускаются) этические вопросы. Ситуативная осведомленность как результат такого взаимодействия позволяет преодолеть операциональные осложнения, которые возникают при обработке больших объемов разнородных данных, постоянном их обновлении и при необходимости эффективной визуализации комплексной информации для принятия решений. Поиск инструментальных подходов к этике ИИ приводит к такому разнообразию решений еще на этапе разработки потому, что проблема моральной ответственности перед другими акторами (индивидуальный пользователь или государственные регуляторы) не встает.

3.1. Юридические и медицинские аспекты ИИ, проблема интерпретируемости

Проблема интерпретируемости ИИ в областях человеческой деятельности, где целеполагание ориентировано на содержание этических категорий (юриспруденция, медицина, финансы, беспилотные транспортные системы), сформировала такое направление, как «Объяснимый ИИ» (Explainable AI, XAI). Explainable AI характеризуется рядом ключевых свойств: прозрачность, интерпретируемость, доверие. Одно из основных требований – прозрачность. Логика работы модели должна быть легко интерпретируемой. Это может достигаться, например, за счет использования менее сложных алгоритмов, таких как деревья решений, вместо глубоких нейронных сетей. Интерпретируемость – результаты и выводы системы должны быть представлены в доступной форме для широкого круга пользователей, включая неспециалистов. Система обязана предоставлять подробные объяснения относительно того, какие входные данные повлияли на итоговое решение и почему был

выбран конкретный вариант действия. Доверие системе обеспечивается прозрачностью и интерпретируемостью, что особенно критично в регулируемых отраслях, где важно не только получить верный результат, но и объяснить его этиологические и телеологические свойства [11].

Стоит отметить, что запрос со стороны системы здравоохранения на прозрачность и объяснимость принципов работы экспертных систем и систем принятия решений на базе ИИ был сформулирован задолго до повсеместного внедрения LLM. В 1970-х гг. разработаны новые способы представления структурированных экспертных баз знаний о клинических и биомедицинских проблемах с использованием причинных, таксономических, ассоциативных и фреймовых моделей [20]. В последнее время остро стоит вопрос о прозрачности и распределении моральной ответственности при принятии решений с опорой на данные систем ИИ.

Результаты обобщения обзоров [21] по ключевым проблемам, связанным с технологиями ИИ в здравоохранении, представлены в табл. 3.

Таблица 3. Корреляция вызовов с ИИ-технологиями

ИИ-технологии	Вызовы
Прогностические алгоритмы	Черный ящик: сложность интерпретации результатов. Отсутствие учета человеческой автономии
Системы поддержки принятия решений	Необходимость информированного согласия. Возможная дискриминация из-за предвзятости в данных. Проблемы объяснимости
Технологии на основе личных данных	Риск нарушения конфиденциальности. Сложности в управлении данными
Модели прогнозирования госпитализаций/смертности	Предвзятость на основе типа страхования (по полу, расе, медицинским показаниям)
Встроенный (embedded) ИИ	Угроза нарушения автономии пациента. Возможные технические сбои или ошибки в работе роботов
ИИ для общественного блага	Сложности в обеспечении справедливого доступа. Необходимость защиты конфиденциальности при использовании данных
Алгоритмы машинного обучения в диагностике	Непрозрачность алгоритмов («черный ящик»). Отсутствие полной интерпретируемости результатов
Все виды технологий на основе ИИ	Дискриминация из-за предвзятых алгоритмов. Проблемы с объяснением работы систем
ИИ в первичной медико-санитарной помощи	Отсутствие совместного принятия решений с пациентами. Зависимость от решений ИИ может быть источником опасности
Общие проблемы всех технологий	Потенциальная потеря конфиденциальности данных. Баланс между пользой технологии и рисками для человека. Сложности в обеспечении справедливости и с отсутствием предвзятости

Среди основных принципов особенно значимыми являются:

- *уважение к человеческой автономии*, что предполагает обеспечение прав пациента на принятие решений и необходимость получения информированного согласия;
- *предотвращение вреда* через обеспечение безопасности технологий ИИ и минимизацию рисков ошибок или негативных последствий их применения;
- *справедливость* – реализуется через устранение предвзятости и дискриминации, а также обеспечение равного доступа к медицинским услугам для всех групп населения;
- *объяснимость* алгоритмов, направленная на преодоление проблемы «черного ящика» и создание понятных для пользователей моделей;

- *защита конфиденциальности пациентов*, включая соблюдение норм законодательства, таких как GDPR (Общий регламент о защите данных).

Однако реализация этих принципов сталкивается с рядом серьезных затруднений. Существует риск снижения роли человека в процессе принятия решений, что может быть обусловлено недостаточной ориентацией технологий на потребности пациента. Вместе с тем технические сбои или ошибки в работе ИИ представляют собой потенциальную угрозу безопасности, особенно в условиях чрезмерной зависимости от технологий. Также необъективные данные, формирующие обучающие датасеты, могут усиливать социальную дискриминацию. При этом сложность интерпретации работы моделей глубокого обучения создает препятствия для достижения прозрачности и объяснимости решений. Одной из самых острых проблем остается проблема защиты данных, так как использование ИИ повышает риск утечки личной информации пациентов, требуя постоянного балансирования между безопасностью данных и полезностью технологий. Если обобщать вышесказанное, то напрашивается тривиальный вывод: такого рода вызовы подчеркивают необходимость разработки комплексных этических подходов для успешного внедрения искусственных интеллектуальных систем в здравоохранение и сопровождающую юридическую практику. Ниже будет представлен и обоснован пессимистичный взгляд на саму возможность подобной разработки.

3.2. Моральные дилеммы и этика ИИ

Особое место в обзорах по этическим проблемам ИИ занимают исследования, посвященные моральным дилеммам в тех областях, где делегирование моральной ответственности машинам, с одной стороны, повышает скорость, точность и эффективность принимаемых решений, с другой – оставляет сам акт делегирования вне области моральных оценок. Последнее при фатальных ошибках приводит к неразрешимым этическим и юридическим ситуациям. Стоит отметить, что сегодня хорошо исследованы психологические аспекты доверия искусственным интеллектуальным системам. В этических дилеммах наблюдается противоречие: люди предпочитают исключать ИИ из решений, связанных с моральной ответственностью (при вынесении медицинских решений, например), но эта тенденция ослабевает, если система напрямую влияет на жизнь оператора. При возникновении моральных ошибок люди чаще обвиняют ИИ, считая его неспособным к моральным суждениям [22].

Пользователи компьютерных систем еще на этапе самых ранних разработок ИИ были склонны к своего рода пользовательскому анимизму (эффект бессознательного одушевления технических устройств). Этот эффект сохраняется и усиливается при работе с современными системами ИИ и оказывает сильное влияние на оценку выбора в моральных дилеммах. Ситуация осложняется тем, что, обладая высокой компетентностью и низкой эмоциональностью, ИИ в моральных дилеммах избегает деонтологических решений, предпочитая утилитарные (последние лучше поддаются компьютерному инжинирингу). При этом такие решения чаще вызывают негативную реакцию со стороны людей. Подобное положение вещей связано с рядом факторов, которые сегодня исследуются в прикладном ключе целыми исследовательскими группами [23]. Указанные факторы можно представить следующим списком:

1. Предписывание ИИ-агентам человеческих норм [24].
2. Запрет на бездействие (люди принимают бездействие как реакцию на дилемму со стороны человека и не допускают такое поведение ИИ-агента).
3. Высокая степень влияния ситуативного контекста при оценивании моральных действий ИИ-агента.

Особый резонанс (если судить по количеству цитирований) вызывают обзоры этических проблем с резко очерченной пессимистичной точкой зрения авторов [25. Р. 61; 26]. Например, Л. Мунн полагает, что повсеместная активная разработка этических принципов – это социальный ответ на стимул, идущий от возрастающей роли технологий ИИ в общественной и частной сферах. Но при этом данные принципы изолированы, бессвязны, «беззубы» и применяются в бизнес-сферах (ИТ-индустрия, образование), ориентированных в первую очередь на рентабельность, а не на этику. В итоге образуется непреодолимый разрыв между постулируемыми принципами и реальными технологическими практиками. Это связано с тем, что социальные концепты, закладываемые в этические директивы, не выразимы языком технических инструкций. Также важно, что неэтичный ИИ является продуктом неэтичной индустрии, в связи с чем наблюдается парадоксальная ситуация: технологический прорыв в сфере ИИ влияет на все сферы общественно-экономической жизни, но при этом существуют силы, которые прямо сопротивляются регулированию. В работе Л. Мунна обращают на себя внимание элементы «революционной» риторики, указывающей на «ИИ-капитализм», «деколонизацию сферы ИИ», «манифест ИИ-справедливости» и т.п. [26].

На наш взгляд, «проблема перевода» концептуальных систем с языка бизнес-утилитаризма на языки этических ограничений недооценена и требует всесторонней проработки со стороны гуманитарной экспертизы.

Выводы

В данном исследовании был представлен систематический анализ современных исследований по этике искусственного интеллекта, проведенный в несколько этапов, начиная с контент-анализа научной литературы 2022–2025 гг., с последующей структуризацией извлеченных данных методами кластеризации и тематического моделирования. В результате было выявлено несколько основных кластеров проблематизации этических аспектов ИИ, включая взаимодействие человека и ИИ, юридические и медицинские аспекты, моральные дилеммы, управление и регулирование. Основная проблема в сфере этики ИИ сегодня – разрыв между теоретическими положениями и их практической реализацией, преобладание инструментального подхода над гуманитарным анализом и недостаточная проработка вопросов распределения моральной ответственности. Этический ракурс новых технологий не вписывается в стратегические проекты институтов власти и бизнеса, инвестирующих в разработку технологических инноваций в сфере ИИ.

К нерешенным сложным проблемам относятся разработка универсальных механизмов распределения моральной ответственности при взаимодействии человека и ИИ, обеспечение прозрачности и объяснимости работы алгоритмов в медицинской и юридической сферах, решение моральных дилемм при делегировании решений ИИ, преодоление рисков дискриминации и предвзятости в работе алгоритмов, а также защита персональных данных при

использовании ИИ-систем в сфере образования и здравоохранения. Особую остроту приобретают вопросы военного применения ИИ, где этический аспект часто игнорируется в угоду технологической и боевой эффективности.

Таким образом, можно сделать итоговое заключение: несмотря на значительные усилия в осмыслении этических вызовов, в ходе нового витка развития технологий искусственного интеллекта сохраняется комплекс нерешенных проблем, требующих разработки практических механизмов реализации этических принципов в условиях непредсказуемо меняющегося технологического ландшафта.

Список источников

1. Stryker C., Kavlakoglu E. What is AI? URL: <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>
2. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. 2022.
3. Zhuravlev D.V., Smolin V.S. The neural network revolution of artificial intelligence and its development options. 2023. P. 223–244.
4. Ambartsoumean V.M., Yampolskiy R.V. AI Risk Skepticism, A Comprehensive Survey. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.03885>
5. Сергейчик Е.М. Глобальные ценности глобального мира // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2021. Т. 3, № 37. С. 532–543.
6. Leyra-Curiá S., Soler J.P. Lying in the age of artificial intelligence: A call to moral and legal responsibility // Church, Communication and Culture. 2023. Vol. 8, № 2. P. 135–153.
7. Khan A.A. et al. Ethics of AI: A Systematic Literature Review of Principles and Challenges. 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2109.07906>
8. Harzing A.-W. Using the Publish or Perish software: Crafting your career in academia. London : Tarma Software Research Ltd. UK, 2023. 375 p.
9. Prem E. From ethical AI frameworks to tools: a review of approaches // AI Ethics. 2023. Vol. 3, № 3. P. 699–716.
10. Morley J. et al. From What to How: An Initial Review of Publicly Available AI Ethics Tools, Methods and Research to Translate Principles into Practices // Sci Eng Ethics. 2020. Vol. 26, № 4. P. 2141–2168.
11. Hulslen T. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts and Challenges in Healthcare // AI. 2023. Vol. 4, № 3. P. 652–666.
12. Konstantis K. The Main Challenges of AI Ethics: Historical Contextualization, Black-Boxing, Social Biases, Labor Invisibility // AIES. 2025. Vol. 7, № 2. P. 23–25.
13. Schuett J., Reuel A.-K., Carlier A. How to design an AI ethics board // AI Ethics. 2024. <https://doi.org/10.1007/s43681-023-00409-y>
14. Danks D. Digital Ethics as Translational Ethics // Advances in Human and Social Aspects of Technology / eds. I. Vasiliu-Feltes, J. Thomason. IGI Global, 2021. P. 1–15.
15. Tóth Z. et al. The Dawn of the AI Robots: Towards a New Framework of AI Robot Accountability // J. Bus Ethics. 2022. Vol. 178, № 4. P. 895–916.
16. Munir A., Aved A., Blasch E. Situational Awareness: Techniques, Challenges, and Prospects // AI. 2022. T. 3, № 1. P. 55–77.
17. He L. et al. Artificial intelligence technology in battlefield situation awareness // E3S Web Conf. 2022. Vol. 360. 01063. URL: <https://www.e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202236001063>
18. Lee C.-E. et al. Deep AI military staff: cooperative battlefield situation awareness for commander's decision making // J. Supercomput. 2023. Vol. 79, № 6. P. 6040–6069.
19. Klaus M. Transcending weapon systems: the ethical challenges of AI in military decision support systems // Humanitarian Law & Policy. 2024. URL: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2024/09/24/transcending-weapon-systems-the-ethical-challenges-of-ai-in-military-decision-support-systems/>
20. Kulikowski C.A. An Opening Chapter of the First Generation of Artificial Intelligence in Medicine: The First Rutgers AIM Workshop, June 1975 // Yearbook of Medical Informatics. 2015. Vol. 24, № 01. P. 227–233.
21. Karimian G., Petelos E., Evers S.M.A.A. The ethical issues of the application of artificial intelligence in healthcare: a systematic scoping review // AI Ethics. 2022. Vol. 2. № 4. P. 539–551.

22. Zhang Z., Chen Z., Xu L. Artificial intelligence and moral dilemmas: Perception of ethical decision-making in AI // *Journal of Experimental Social Psychology*. 2022. Vol. 101. P. 104327. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022103122000464>
23. Malle B.F. et al. People's judgments of humans and robots in a classic moral dilemma // *Cognition*. 2025. Vol. 254. C. 105958. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010027724002440>
24. Chu Y., Liu P. Machines and humans in sacrificial moral dilemmas: Required similarly but judged differently? // *Cognition*. 2023. Vol. 239. P. 105575. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010027723002093>
25. Heilinger J.-C. The Ethics of AI Ethics. A Constructive Critique // *Philos. Technol.* 2022. Vol. 35, № 3.
26. Munn L. The uselessness of AI ethics // *AI Ethics*. 2023. Vol. 3, № 3. P. 869–877.

References

1. Stryker, C. & Kavlakoglu, E. (n.d.) *What is AI?* [Online] Available from: <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>
2. UNESCO. (2022) *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. [Online] Available from: <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence>
3. Zhuravlev, D.V. & Smolin, V.S. (2023) The neural network revolution of artificial intelligence and its development options. *Futurity designing. Digital reality problems*. Proc. of the 6th International Conference. February 2–3, 2023. Moscow. pp. 223–244.
4. Ambartsoumean, V.M. & Yampolskiy, R.V. (2023) *AI Risk Skepticism, A Comprehensive Survey*. [Online] Available from: <https://arxiv.org/abs/2303.03885>
5. Sergeyichik, E.M. (2021) Global'nye tsennosti global'nogo mira [Global values of a global world]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiya i konfliktologiya*. 3(37). pp. 532–543.
6. Leyra-Curiá, S. & Soler, J.P. (2023) Lying in the age of artificial intelligence: A call to moral and legal responsibility. *Church, Communication and Culture*. 8(2). pp. 135–153.
7. Khan, A.A. et al. (2021) *Ethics of AI: A Systematic Literature Review of Principles and Challenges*. [Online] Available from: <https://arxiv.org/abs/2109.07906>
8. Harzing, A.-W. (2023) *Using the Publish or Perish Software: Crafting your Career in Academia*. London: Tarma Software Research Ltd.
9. Prem, E. (2023) From ethical AI frameworks to tools: A review of approaches. *AI Ethics*. 3(3). pp. 699–716.
10. Morley, J. et al. (2020) From What to How: An Initial Review of Publicly Available AI Ethics Tools, Methods and Research to Translate Principles into Practices. *Science and Engineering Ethics*. 26(4). pp. 2141–2168.
11. Hulsén, T. (2023) Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts and Challenges in Healthcare. *AI*. 4(3). pp. 652–666.
12. Konstantis, K. (2025) The Main Challenges of AI Ethics: Historical Contextualization, Black-Boxing, Social Biases, Labor Invisibility. *AIES*. 7(2). pp. 23–25.
13. Schuett, J., Reuel, A.-K. & Carlier, A. (2024) How to design an AI ethics board. *AI Ethics*. 5. pp. 863–881. DOI: 10.1007/s43681-023-00409-y
14. Danks, D. (2021) Digital Ethics as Translational Ethics. In: Vasiliu-Feltes, I. & Thomason, J. (eds) *Advances in Human and Social Aspects of Technology*. IGI Global. pp. 1–15.
15. Tóth, Z. et al. (2022) The Dawn of the AI Robots: Towards a New Framework of AI Robot Accountability. *Journal of Business Ethics*. 178(4). pp. 895–916.
16. Munir, A., Aved, A. & Blasch, E. (2022) Situational Awareness: Techniques, Challenges, and Prospects. *AI*. 3(1). pp. 55–77.
17. He, L. et al. (2022) Artificial intelligence technology in battlefield situation awareness. *E3S Web Conf.* 360. 01063. [Online] Available from: <https://www.e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202236001063>
18. Lee, C.-E. et al. (2023) Deep AI military staff: Cooperative battlefield situation awareness for commander's decision making. *Journal of Supercomputing*. 79(6). pp. 6040–6069.
19. Klaus, M. (2024) *Transcending weapon systems: The ethical challenges of AI in military decision support systems*. [Online] Available from: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2024/09/24/transcending-weapon-systems-the-ethical-challenges-of-ai-in-military-decision-support-systems/>
20. Kulikowski, C.A. (2015) An Opening Chapter of the First Generation of Artificial Intelligence in Medicine: The First Rutgers AIM Workshop, June 1975. *Yearbook of Medical Informatics*. 24(1). pp. 227–233.

21. Karimian, G., Petelos, E. & Evers, S.M.A.A. (2022) The ethical issues of the application of artificial intelligence in healthcare: A systematic scoping review. *AI Ethics*. 2(4). pp. 539–551.
22. Zhang, Z., Chen, Z. & Xu, L. (2022) Artificial intelligence and moral dilemmas: Perception of ethical decision-making in AI. *Journal of Experimental Social Psychology*. 101. pp. 104327. [Online] Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022103122000464>
23. Malle, B.F. et al. (2025) People's judgments of humans and robots in a classic moral dilemma. *Cognition*. 254. pp. 105958. [Online] Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010027724002440>
24. Chu, Y. & Liu, P. (2023) Machines and humans in sacrificial moral dilemmas: Required similarly but judged differently? *Cognition*. 239. pp. 105575. [Online] Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010027723002093>
25. Heilinger, J.-C. (2022) The Ethics of AI Ethics. A Constructive Critique. *Philosophy and Technology*. 35(3). p. 61.
26. Munn, L. (2023) The uselessness of AI ethics. *AI Ethics*. 3(3). pp. 869–877.

Сведения об авторе:

Барышников П.Н. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры исторических, социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета, Министерство науки и высшего образования (Пятигорск, Россия). E-mail: pnbaryshnikov@pgu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Baryshnikov P.N. – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor at the Department of Historical, Social and Philosophical Disciplines, Oriental Studies and Theology, Pyatigorsk State University, Ministry of Science and Higher Education (Pyatigorsk, Russian Federation). E-mail: pnbaryshnikov@pgu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 04.04.2025;
одобрена после рецензирования 21.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 04.04.2025;
approved after reviewing 21.05.2025; accepted for publication 30.06.2025

Научная статья

УДК 125

doi: 10.17223/1998863X/85/2

ЭКОНОМИКА ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Евгений Витальевич Малышкин

Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, Россия;

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
malyshkin@yandex.ru*

Аннотация. Шекспир наследует у Кузанца различие между бесконечным и беспредельным. Но под беспредельным понимает не нескончаемость пересчета, а самовозрастающее богатство (чем больше отдаю, тем больше остается). Оно есть хорошо разделяемая вещь, и с такими мы сегодня все чаще встречаемся, но не умеем управлять, поскольку господствующая форма экономики является дефицитарной. В обретении такого умения нам может помочь понимание природы хорошо разделяемых вещей, порождаемых научной коммуникацией.

Ключевые слова: бесконечное, беспредельное, Шекспир, богатство

Благодарности: работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта 25-18-00208, «Экзистенциальный опыт в цифровой среде: „бытие к цифре“, онтология виртуального и человеческое Я» в НИУ ВШЭ.

Для цитирования: Малышкин Е.В. Экономика цифровой коммуникации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 21–30. doi: 10.17223/1998863X/85/2

Original article

THE ECONOMICS OF DIGITAL COMMUNICATION

Evgenii V. Malyshkin

¹ *Higher School of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation;*

² *Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation,
malyshkin@yandex.ru*

Abstract. The distinction between *infinitem* and *interminatum*, made by Nicolaus Cusanus, finds its place in Shakespeare's tragedy *Romeo and Juliet*. But the playwright understands *interminatum* (boundless) not as the endlessness of recounting, but as self-increasing wealth, that is, such a way of sharing when in con-division a thing does not decrease, but increases (the more I give to thee, / The more I have). The article examines how this self-increase is structured and under what conditions it appears. Shakespeare named two boundless things: love and bounty. But affects (as long as they can be clearly described), rules, and imperatives are the same nature. I propose to name such well-shared things “inescapability”. The article notes that when Descartes, following Cusanus, distinguishes the infinite from the boundless, he understands it just as infinitely divisible, but not increasing in share. Although inescapability occupies a key place in the construction of Spinoza's ethics, in the Early Modern philosophy it still remains rather a utopian property than one seriously discussed. Today, there are more and more inescapable things: a variety of viruses, files, and nuclear weapons. Not only do we lack an established term for things that have this property, we confuse this property with the inexhaustibility of resources, since our language of exchange is formed by an economy built on deficit, while real wealth is inescapable. Since we do not

know how to name them, we do not know how to manage them. To handle them means to understand the nature of well-shared things, produced by scientific communication. The terms I propose, namely, well-shared things and inescapability, are similar in meaning to the concept of distributed cognition introduced by Hutchins and developed by Russian researchers. The difference from this concept is the quantitative certainty important for shared knowledge: for a conversation about well-shared things it is important with what number of agents we can share them: with everyone, with many, or even with no one at all.

Keywords: infinite, boundless, Shakespeare, wealth

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 25-18-00208, and carried out at the National Research University Higher School of Economics.

For citation: Malyshkin, E.V. (2025) The economics of digital communication. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 21–30. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/2

Различие бесконечного и беспредельного нам известно прежде всего из сочинений Николая Кузанского. Он отличает негативную бесконечность абсолютного максимума от привативной бесконечности Вселенной [1. С. 99]. Универсум ни конечен, ни бесконечен, т.е. он в полном смысле не определен, *in-terminatum*, нескончаем. Абсолютное бесконечное (*in-finis*) понимается другим разделом ума: есть такой факультет души, которым мы схватываем совпадение противоположного в его бесконечности, а есть ум, которым воспринимаем беспредельное, т.е. нескончаемый счет, в котором абсолютный минимум уже может совпадать с абсолютным максимумом.

Сопряженность конечного и бесконечного – сюжет в истории философии не редкий. Обнаружение бесконечного в конечном – это предмет рассмотрения и Декарта, который обнаруживает беспредельный атрибут в конечной субстанции, и Мамардашвили, который разворачивает это различие, обращаясь к Декарту, Паскалю, Канту.

Начиная по крайней мере с XVII в. формулировки математических величин – это попытки совместить эти два вида бесконечности: бесконечность в собственном смысле, т.е. негативную, и бесконечность привативную, привычную нам по метафорам математического языка, в которых функции и линии «стремятся», они «растут», точки имеют «окрестности» и т.д. Обнаружение бесконечного как принципа счета конечных величин обуславливает невозможность удержания различия, отчетливо сформулированного Кузанским. Так, уже Лейбниц пишет не об интерминатном (безграничном), а инфинитезимальном счислении. Он здесь не новатор, а всего лишь наследует сложившемуся словоупотреблению, и все же его бесконечно малые точнее было бы называть беспредельно малыми, коль скоро для него значимо, что математическая точка не может быть атомом бытия, а инфинитезимальный счет в его проекте универсальной характеристики направлен на возвращение к бесконечности реального.

Декарт очень аккуратно следует различию беспредельного и бесконечного, но для него оно уже не предмет созерцания бесконечного в собственном смысле слова, а повод для противопоставления мыслящего, каковое может быть разделено без потерь, и протяженного, которое делить можно, а дойти до предела деления нельзя. Различие воли, бесконечного атрибута и конечного ума, которому принадлежит этот атрибут, онтологически значимо в карте-

зианской конструкции, поскольку в нем схватывается природа конечной субстанции. Построение субъектности ученого нового типа выстраивается не одними только ясностью и отчетливостью идеи, а именно волевым актом признания бытия мыслимого. Ум в этой конструкции, предъявляющей мыслимые основания волевому удостоверению, линейен, поскольку удостоверение сущего в его бытии происходит шаг за шагом, а чтобы проверить себя, т.е. предъявить себя мыслящего любой послушной разумных оснований воле, требуется процедура восстановления последовательности этих шагов, *rescoring*, пересчета-энумерации идей. Другими словами, идеи, чтобы быть основанием, должны быть пересчитаны так, чтобы счет оказывался повторяем и передаваем с нулевыми издержками от одного мыслящего к другому и сопоставим с другими счетами, чтобы можно было выбрать наилучший или сопоставить перспективы для совместной деятельности. Бесконечное и беспредельное в философии Нового времени слились благодаря трем этим требованиям, предъявляемым ко всякой идее: повторяемость, передаваемость, согласованность.

Мышление есть счет, считаем мы беспредельное (т.е. неопределенно многое), а мышление схватывается как неубываемое, или, по крайней мере, как легко сообщаемое-передаваемое. Пересчет беспредельного, способный увидеть не весь ряд целиком, а неизменное в различных перспективах основание всех считаемых рядов возможных событий, – в этом состоит замысел и универсальной характеристики Лейбница, и Юмовской «географии духа». В пересчете, исполняемом из любой существующей перспективы восприятия, ум обретает основание для всеобщего обмена идей на вещи, взаимно однозначного сопоставления одних и других так, чтобы получить тождество порядков идей и вещей, т.е., по выражению Канта, «одни и те же сто талеров: у меня в голове и у меня в кармане».

Если же мы удерживаем отличие бесконечного от беспредельного, то ум считающий соседствует с обученным (*docta*) незнанием, т.е. с таким конечным способом понимания, который приучается отличать рутинный счет в некой перспективе от счета бесконечного, в котором, по выражению Кузанца, ум (*mens*) находит собственную меру (*measure*), изначальное тождество, понятого как совпадение, *coincidentia*. И субъект отыскания меры отличен от субъекта счета: считаю я, в отъединенной, привативной бесконечности, но понимает тот, для кого все есть одно, и это понимание несообщаемо, поскольку явно не эксплицируемо.

Но возможна ли в отличении бесконечного от беспредельного иная расстановка сил, чем развертывающаяся раз за разом игра утаивания и показа?

Во второй сцене второго акта «Ромео и Джульетты» мы читаем:

Romeo. O, wilt thou leave me so unsatisfied?

Juliet. What satisfaction canst thou have to-night?

Romeo. Th' exchange of thy love's faithful vow for mine.

Juliet. I gave thee mine before thou didst request it;

And yet I would it were to give again.

Romeo. Would'st thou withdraw it? For what purpose, love?

Juliet. But to be frank and give it thee again.

And yet I wish but for the thing I have.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite.

В переводе Щепкиной-Куперник:

Ромео. Ужель, не уплатив, меня покинешь?
Джульетта. Какой же платы хочешь ты сегодня?
Ромео. Любовной клятвы за мою в обмен.
Джульетта. Ее дала я раньше, чем просил ты,
Но хорошо б ее обратно взять.
Ромео. Обратно взять! Зачем, любовь моя?
Джульетта. Чтоб искренне опять отдать тебе.
Но я хочу того, чем я владею:
Моя, как море, безгранична нежность
И глубока любовь. Чем больше я
Тебе даю, тем больше остается:
Ведь обе – бесконечны [2].

Джульетта сначала говорит, что хотела бы отозвать клятву, чтобы снова ее дать, но затем сама себя поправляет: тот задаток (bounty), что она уже отдала, безграничен как море, поскольку выражать любовь – значит отдавать и брать безграничное, а бесконечный избыток отдаваемой и получаемой любви сопрягается с безграничным задатком. Это иное, не кузанцевское и не картезианское определение безграничного (у Шекспира – безбрежного, boundless): это не нескончаемость счета, но такая неизбывность, которая есть прирастание остатка в разделении (Чем больше я / Тебе даю, тем больше остается). Здесь не бесконечное разворачивается в безграничное, для которого отсутствие границ – это недостаток, неопределенность, вызывающая к первой мере, но, напротив, отсутствие границ у отдаваемого побуждает его прибывать, правда, причина, по которой неопределенность границ склоняется в сторону не убыли, а прибыли, не называется прямо. Однако цель достигнута, ведь цель любовной клятвы – дать разрастись любви.

Нежность, о которой речь идет у Щепкиной-Куперник, – это эффект перевода, точного, но, кажется, отступающего от оригинала. *Bounty* старые английские словари передают как щедрость [3]. В строчку хорошо бы ложилось «моя как море безгранична щедрость». Однако bounty восходит к латинскому *beatitas*, блаженство, даруемое божественным, что прекрасно слышно образованным современникам Шекспира. В современных словарях появилось еще одно значение bounty – поощрительная премия. Но действительно, щедрость, как нечто, даваемое с избытком, есть связывающий благом задаток, независимо от того, ждут чего-то в ответ или нет. Но такова же и нежность: она превышает меру, нарушая эквивалентность обмена. Без нарушения равенства нет ни щедрости, ни нежности. Так что процитированный перевод хотя и не совсем точен (времени на проявление нежности у Джульетты в этой сцене попросту не было), все же верен, а смысл всего фрагмента, как нам представляется, собран здесь в хорошо этимологизированной щедрости-блаженстве-здатке.

Возвращение от беспредельной нежности к неисчерпаемой в своей искренности клятве заново ставит вопрос перед пониманием сцены. Ведь даже если клянемся мы в бесконечном, таком, что всегда есть с избытком, сама клятва – вполне конечное событие. Сила клятвы заключена в ее единичности, поэтому невозможно поклясться дважды: чем больше клятв дается, тем меньше им доверия, ресурс клятвы исчерпывается за раз. Зачем же Джульетта хочет опорочить собственную клятву?

Речь идет о задатке. К примеру, если поступаешь на военную службу, тебе дают немного денег, чтобы ты мог прикупить необходимое и как-то отметить начало новой жизни. То, что дает Джульетта, по ее замечанию, беспредельно как море. Если этот задаток понять как только перформативный речевой акт, замечание Джульетты действительно будет непонятно. Однако перформативность акта любовного признания направлена не только на истребуемое ответное доверие и обещание преданности. Это еще и показывание: я вижу, благодаря чувству, нечто прекрасное, и если разделишь это видение со мной, то увидишь и ты. При произнесении любовного признания видеть (предаваться восторгу, быть захваченным и т.д.) проще. Потому премия, если только она может быть принята, обладает показывающей, дейктической силой. Любовные клятвы (vow), таким образом, не клятвы вовсе: их сила не убывает с повторением. Напротив, сила задатка возрастает, когда его отдают: дарят, передают, разделяют с кем-то.

Если мы сопоставим рассказ Джульетты с известным тезисом об обмене яблоками и идеями, то клятва, любовь, обещание, нежность окажутся в некоем промежуточном положении. С одной стороны, это не яблоки, а идеи, поскольку поделиться ими – не значит с ними расстаться. С другой – значимо в них как раз то, что они телесны, ощутимы. Идеальность идей (если мы мыслим их как отделенные от телесного, неразрушимые) не отвечает на вопрос об их самовозрастании. Более того, идеи не прирастают, они неподвижны. Маркс, утверждая, что «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами», в качестве истока этого становления указывает на их радикальность, решительность, *подозрительность* [4. С. 422]. Подозревать – значит смешивать одно с другим, видеть и одно, и два: и то, что видишь, и то, что стоит за видимым. Но смешивать и значит заниматься теорией, т.е. видеть вещи как причастные (meteimi) идеям. Другими словами, теория овладевает массами, если она попросту теория, т.е. научает видеть одно как другое и разделять это умение со многими.

Когда вещи нечто разделяют с идеями, они становятся различимыми, это трюизм. Однако отчетливость различения появляется не от идей, а от смешивания, сопричастности, разделенности – в этом и состоит открытие Джульетты: чем больше отдаю, тем больше остается, но и тем лучше видно то, что отдаю. Bounty Джульетты делает Ромео причастным клятве и любви, задаток-премия оказывается чем-то безбрежным (boundless), и эту безграничность мы уже должны понимать не как обычную для Шекспира метафору моря, но как открытие способа смотреть: условием для того, чтобы что-то увидеть, является видеть одно и другое. В этом «и», случившейся в любви сопричастности, открывается то, чему надлежит быть различимым, т.е. узнаваемым образом, так, что нечто выходит тебе навстречу, делая тем, что ты есть. Так безымян-

ный палец становится большим рядом с мизинцем, а Джульетта обретает нежность.

Так понятая сопричастность возвращает нас к старому спору об «аргументе третьего человека». Если есть одно и другое, и мы считаем их за одно, благодаря тому, что и одно и другое обладают неким общим для них свойством, то это общее может быть рассмотрено либо как входящее в ряд первого и второго, либо как не входящее в этот ряд. Логические следствия из этих двух подходов обсуждались веками и вновь стали актуальны благодаря, в частности, работам Г. Властоса, которые разбираются в статье И.В. Берестова [5]. Для нас здесь важен не разбор аргумента, а сам вопрос, который Платоном формулируется как «что есть *самое само* (auto to auto)? Если *самое само* понимать как общее, и либо встраивать эйдос в порядок вещественного (чувственно воспринимаемого), либо исключать, то мы уже молчаливо предполагаем, что понимаем, что значит быть как одно *и* другое. Но в этом-то и состоит проблема: одно и другое есть только благодаря этой конъюнкции, причем так, что конъюнкция не является оператором-связкой, а *самым самим*. Платон в «Государстве» поясняет начало философии на пальцах: безымянный рядом с мизинцем велик, а рядом со средним – мал. И дальше спрашивает об auto to auto. Но если это вопрос о великом и малом, как они есть сами по себе, мы тут же запутываемся, ведь нет никакого великого самого по себе. Вопрос о *самом самом* – это вопрос об этой самой причастности, которая, конечно, не есть одно и само по себе. И эту-то невозможность указать на него в терминах единичности и отделенности Аристотель в «Никомаховой этике» и обозначает как нечто вторичное, зависимое: «Существующее само по себе, т.е. сущность, по природе первичнее отношения – последнее походит на отросток, на вторичное свойство сущего, а значит, общая идея для всего этого невозможна» [6. С. 59]. Единое благо есть лишь при некоторых не всегда отчетливо эксплицируемых условиях (как выражается Аристотель, для одного – одно, для другого – другое, как если бы несходимость одного и другого указывала на индивидуацию блага), однако оно – только рядом, в разделении с другим. Потому собственно «одного» в смысле блага нет, единое мыслится как сущность, как «было тем, что есть». В спецификации, таким образом, нуждается не общее, а само это *с-, т.е. разделенность*.

Есть ли еще, помимо любви и щедрости, вещи, которые прирастают, когда их расходуют? Именно таковы исполняемые требования, коль скоро власть прирастает исполнением. Таковы и желания, и правила, к примеру, правила дорожного движения: выполняя их, мы приучаемся им следовать. В этом смысле привычки, аддикции – это открытие неизбывной природы в конечных вещах. Неизбывные (т.е. прирастающие в разделении) вещи, коль скоро мы так понимаем, вслед за Шекспиром, безграничность, это богатство само себе. Маркс полагал, что источником богатства является труд. Труд, действительно, неизбывен, поскольку он и есть исполняемое принуждение. Но таков же и пол (как источник неизбывных аффектов), и пейзаж, и места, – основание шекспировской метафоры – море: все хорошо разделяемые вещи.

И совсем недавнее наше приобретение – копируемые файлы. Файл любого формата можно рассматривать как исполняемое требование (т.е. файл любого формата есть программа), вызывающее к условиям исполнения, требова-

ниям к hardware и software. Файлы – это как раз такая вещь, которой можно поделиться без убыли оригинала, а то и с прибылью (когда доступ к файлу открывается не из одного, а из различных источников). Но неизбытность файлов – это не свойство файлов, это свойство как раз единообразной среды их распространения, программного и аппаратного обеспечения. Форма файла – это его уникальный код, порядок символов, т.е. идея, тогда как его вещественность – это цифровая среда, создающая коммуникативный континуум, в котором порядок «идей», т.е. исполняемых команд, неким очень сложно организованным, распределенным усилием обеспечивает совпадение с порядком «вещей», т.е. действий, производимых файлом. Есть определенная параллель между этим окружением, дающим возможность сбыться неизбытности файлов, с одной стороны, и тем коммуникативным континуумом, который сформировался в науке XVI–XVII вв. в эпистолярной «республике ученых». Поскольку философия Нового времени – это по преимуществу рациональная теология, постольку дискурсивные ее элементы наделены дейктической, указательной силой: неубываемость копируемых файлов, как и неизбытность *bounty* Джульетты, – это указания на бесконечность, каковая «прямым» образом не схватывается, хотя бесконечность принимает у Шекспира, Кузанского, Декарта и Лейбница разные определения. Как устроен этот коммуникативный континуум при том, что сохраняется дейктическая сила его элементов – предмет особого исследования, предположим лишь, что это соседство обеспечивается присутствием устоявшейся схоластической терминологии в «новой» философии.

Если обращаться с истираемыми вещами, легко демонстрирующими свою единичность и неразделяемость, мы научились благодаря долгому развитию капиталистических форм хозяйствования, природа которых – утверждение дефицитности [7. С. 82], то управляться с неизбытными вещами теми экономическими формами, которыми располагаем, мы не умеем. Хорошо разделяемые вещи не только порождают хаос в юрисдикции владения, но и принуждают нас путать богатство с неисчерпаемыми ресурсами, т.е. путать новоевропейское понимание беспредельности с шекспировским. Легкость, с какой копируются файлы, сама в итоге и порождает разрывы в коммуникации, обеспеченной единством цифровой среды: неотыскиваемые в человеко-ориентированном поиске данные, замена правового поля диктатурой лицензий на рынке software, плохая воспроизводимость результатов вычисления больших данных в нейросетях – все это вызовы, обращенные непосредственно к нам, вовлеченным в цифровое коммуникативное поле, образуемое благодаря разделяемому знанию.

Здесь нужно уточнить понятие субъекта коммуникации. Коммуницировать – значит устанавливать либо восстанавливать единство (*com-unio*) до некоторого континуума, в котором предмет еще может быть не определен, но сама возможность познания уже выстроена. Построение и поддержание в рабочем состоянии цифровой инфраструктуры – пример такого континуума, который, будучи выстроен иерархически (в нем нет ничего, кроме исполнения требований протоколов и правил форматов), порождает избыточно разделяемые вещи, файлы. Однако разделенность познающего действия не имеет субъекта: направленность к другому уже есть, а тот, кто направлен, появится лишь в результате разделения (знания, файла, идеи...), равно как и

тот, на к кому обращена коммуникация. Формула Нанси, «никакой идентичности, всегда идентификации» [9. С. 108], точна: если понимать коммуникацию и, соответственно, распределенное познание как коммуникацию субъектов (или как включенность-инклюзивность), то некому будет коммуницировать или включать/исключать. Таким образом, понятие разделенного знания устраняет фигуру ученого как преимущественного субъекта, который разделяет «свое» знание или «собственное» понимание науки с другими – коллегами, профанами или подсказками нейросети. Знание всегда уже разделено, всегда найдется тот, кто думает, как ты, лучше тебя, интересно для тебя, просто потому, что знание неизменно. Такое представление коррелирует с понятием распределенного познания, введенного Хатчинсом [10]. Следует оговориться, что эта корреляция вовсе не означает расширения круга «субъектов» знания: отыскание тех, с кем разделено знание, с одной стороны, уточняет само разделяемое, с другой, указывает, какое именно знание разделяется: такое, которое, в пределе, может быть разделено всеми знающими, или же, напротив, само знание таково, что не может стать всеобщим, а всегда будет оставаться знанием частным или даже единичным, или, как в случае с формами знания бесконечного, нулевым, несообщаемым. Это ограничение на количественную спецификацию разделенности не учитывается в понятии распределенного (по)знания, предложенного в статье Л.В. Шиповаловой [11], впрочем, очень близкую описываемому нам феномену разделенного знания и по способу постановки вопросов, и по форме тематизации.

Если же понять научную коммуникацию как отыскание не субъектов разделенности, а того самого «со-», которое предшествует всякому коммуникативному акту, то научное знание предстанет как вещь весьма хрупкая, быстро истираемая, утлый плот [12. С. 219], на котором ученые отыскивают свои задачи и их решения среди неустойчивых социальных, политических и экономических институтов. Сама не являясь вещью неизменной, наука способна таковые порождать, хотя чаще в качестве общественного блага (*public good*) она создает как раз вещи и быстро истираемые, и требующие особой заботы. И все же хорошо разделяемые вещи, демонстрирующие неизывность, вовсе не редкость в науке и тем более в научном поиске, осуществляемом в цифровой инфраструктуре.

Итак, сопоставив Шекспировское понимание беспредельного с этим понятием у Казанского и противопоставив его новоевропейскому понятию бесконечного, мы беремся утверждать, что научное высказывание (если понимать философию как эминентное определение науки) обладает дейктической силой; эта последняя представлена как неизывность; современная научная коммуникация – это не столько преодоление, сколько фиксация семантических разрывов, что и выражается в понятии разделенного (по)знания. Предлагаемое нами понимание научного труда как исполняемого требования, порождающего знание как богатство, требует дальнейшей экспликации, в том числе в экономических терминах.

Список источников

1. Кузанский Николай. Об ученом незнании // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1979. Т. 1. 488 с.
2. Ромео и Джульетта. URL: <http://www.romeo-juliet-club.ru> (дата обращения: 08.01.2024).

3. *Dictionarium Anglo-Britannicum or a General English Dictionary*, by John Kersey. London, 1708. URL: https://books.google.ru/books?id=t01gAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (accessed: 08.01.2025).
4. Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской философии права // Собрание сочинений. 2-е изд. М.: Политиздат, 1957. Т. I. 689 с.
5. Берестов И.В. Эпистемологические основания «Аргумента третьего человека» в «Пармениде» Платона // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15, № 3. С. 27–41.
6. Аристотель. Никомахова Этика // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 53–293.
7. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. М.: Изд. дом. ГУ ВШЭ, 2010. 208 с.
8. Перзановски А., Шульц Дж. Конец владения: личная собственность в цифровой экономике. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 352 с.
9. Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Минск: Логвинов, 2004.
10. Hutchins E. *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995.
11. Шиповалова Л.В. Распределенное научное познание – на пути к разнообразию // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2023. Vol. 60, Issue 4. P. 22–31.
12. Касавин И.Т. Наука как общественное благо // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 60. С. 217–227.

References

1. Nicholas of Cusa. (1979) *Sochineniya: v 2 t.* [Works: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'.
2. *Romeo i Dzhul'etta* [Romeo and Juliet]. [Online] Available from: <http://www.romeo-juliet-club.ru> (Accessed: 8th January 2024).
3. Kersey, J. (1708) *Dictionarium Anglo-Britannicum or a General English Dictionary*. London: [s.n.]. [Online] Available from: https://books.google.ru/books?id=t01gAAAAcAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Accessed: 8th January 2025).
4. Marx, K. & Engels, F. (1957) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 1. 2nd ed. Translated from German. Moscow: Politizdat.
5. Berestov, I.V. (2014) Epistemologicheskie osnovaniya “Argumenta tret'ego cheloveka” v “Parmenide” Platona [Epistemological Foundations of the “Third Man Argument” in Plato’s “Parmenides”]. *Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii*. 15(3). pp. 27–41.
6. Aristotle. (1983) *Sochineniya: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Moscow: Mysl'. pp. 53–293.
7. Gorz, A. (2010) *Nematerial'noe. Znanie, stoimost' i kapital* [The Immaterial: Knowledge, Value, and Capital]. Moscow: HSE.
8. Perzanowski, A. & Schultz, J. (2019) *Konets vladeniya: lichnaya sobstvennost' v tsifrovoy ekonomike* [The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy]. Translated from English. Moscow: Delo RANEPa.
9. Nancy, J.-L. (2004) *Bytie edinichnoe mnozhestvennoe* [Being Singular Plural]. Translated from English. Minsk: Logvinov.
10. Hutchins, E. (1995) *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: The MIT Press.
11. Shipovalova, L.V. (2023) Distributed Scientific Cognition – Towards Diversity. *Epistemology & Philosophy of Science*. 60(4). pp. 22–31. (In Russian). DOI: 10.5840/eps202360453
12. Kasavin, I.T. (2021) Science: A Public Good and a Humanistic Project. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology, and Political Science*. 60. pp. 217–227. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/60/19

Сведения об авторе:

Малышкин Е.В. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия); научный сотрудник Высшей школы экономики (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: malyshkin@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Malyshkin E.V. – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor at the Department of Problems of Interdisciplinary Synthesis in Social Sciences and Humanities, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); research fellow, Higher School of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: malyshkin@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.04.2025;
одобрена после рецензирования 21.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 10.04.2025;
approved after reviewing 21.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 167.7

doi: 10.17223/1998863X/85/3

ЗАГАДКА СУБЪЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВ

Игорь Феликсович Михайлов

Институт философии РАН, Москва, Россия, ifmikhailov@iphras.ru

Аннотация. Статья посвящена 95-летию юбилею Ф.Т. Михайлова (1930–2006), российского философа и психолога, автора оригинальной концепции, претендующей на объяснение природы и репрезентативности субъективных образов, истоков мышления и творчества, детерминированности их культурой, автономии личности и уникальности «Я». Показано, что высказанные им идеи органично вписываются, в частности, в современные дискуссии о природе и репрезентативности феноменального сознания.

Ключевые слова: квалиа, репрезентация, феноменальный опыт, восприятие, цветность, бессознательное, сенсорное замещение

Для цитирования: Михайлов И.Ф. Загадка субъективных образов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 31–45. doi: 10.17223/1998863X/85/3

Original article

THE RIDDLE OF SUBJECTIVE REPRESENTATIONS

Igor F. Mikhailov

Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, ifmikhailov@iphras.ru

Abstract. The article is dedicated to the 95th anniversary of Felix Mikhailov, a famous Soviet and Russian philosopher and psychologist, who put forward an original concept that claims to explain the whole range of problems associated with human subjectivity: the nature and representational character of subjective images, the origins of thought and creativity, their determination by culture, the autonomy of the individual and the uniqueness of the Self. The author shows that the ideas he expressed fit organically, in particular, into modern discussions about the nature and representational character of phenomenal consciousness. The importance of considering the apparent randomness of the relationship between phenomenal experience and represented entities is emphasized. The author analyzes the relationship between neural activity and phenomenal experience, suggesting that it is internal processing models, rather than external content, that have a decisive influence on it. Historical debates about the representational character of qualia, which continue to influence modern theories, are discussed. An argument from personal experience, related to the use of color markers when working with texts, is presented, which shows that color differences can represent perceptual patterns rather than objects themselves. An approach from the viewpoint of the possibility of turning representational content into propositional one is also analyzed, which can serve as an argument against the representational character of phenomenal images. The author discusses not only philosophical issues, but also possible empirical paradigms for the study of unconscious qualia, emphasizing the complexity and diversity of the interaction between sensory data and consciousness. The heuristic role of sensory substitution studies for philosophical problems is also considered. These discussions contribute to a deeper understanding of the role of subjective images in perceptual experience.

Keywords: qualia, representation, phenomenal experience, perception, color, unconscious, sensory substitution

For citation: Mikhailov, I.F. (2025) The riddle of subjective representations. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 31–45. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/3

Феликс Михайлов в книге «Загадка человеческого Я», первое издание которой вышло еще в 1966 г., инсценируя воображаемый сократический спор двух философов-материалистов, в уста одного из них вкладывает следующее соображение: «На глаз оказывает мгновенное действие источник света (скажем, в современной терминологии: на глаз действуют электромагнитные волны). Что ощущает человек? Свет. Прекрасно. Факт второй. На глаз оказывает воздействие слабый гальванический ток (подведен электрод). Что ощущает человек? Свет. Как, опять? Ведь раздражитель (причина) другой, а ощущение (следствие) то же» [1. С. 24–25]. Удивительным образом этот пассаж резонирует с сегодняшними дискуссиями о природе и репрезентативности непосредственных перцепций в аналитической философии сознания. И несколькими страницами позже он как будто солидаризируется с одной из позиций в сегодняшнем споре: «Когда мы смотрим на предмет, то видим сам предмет, а не еще какой-то „второй“ в голове образовавшийся его образ. Видим мы, конечно, не все в предмете и, может быть, не все так, как есть на самом деле. Поэтому то, что я вижу в предмете, и сам предмет – не одно и то же» [1. С. 155]. Чуть далее он апеллирует к исследованиям саккад, проведенным И.М. Сеченовым, А.Р. Лурией, В.П. Зинченко и др.: «Где же форма, зрительный образ? В голове? Нет, послушно выполняя приказы, идущие из коры головного мозга, нервный аппарат зрения находит на расстоянии с помощью электромагнитных, световых волн реально существующие предметы и, скользя по их поверхности, как бы воспроизводит их форму в своем исключительно сложном движении. Вот и получается, что зрительный образ – движение глаза по предмету. Он столь же во мне, сколь и вне меня, и без внешнего предмета, без его реальной формы, находимой органами чувств, нет никакого „второго“ образа, особого, только во мне существующего» [1. С. 158–159]. Оба утверждения – об относительной каузальной независимости феноменальных ощущений и об отсутствии «внутренних образов» – укладываются в определения антирепрезентационалистской позиции: не существует хранимых «образов» вещей, наше восприятие, как и воображение, суть производные от сенсомоторной активности, осуществляемой сейчас или хранимой в памяти.

Однако в этом случае относительно стабильная картина мира в нашем восприятии существенно контрастирует с лежащей в ее основе нервно-мускульной динамикой, что поневоле навеивает аналогию с лучевыми трубками старых телевизоров, мимо которой не проходит и автор [1. С. 151]. Да и сама эта аналогия работает в «обе стороны»: физика люминесцентного слоя кинескопа, бомбардируемого построчно потоком электронов, способна обмануть наше восприятие и выдать себя, например, за недавно избранного тогда генсека ЦК КПСС, реальная биофизика которого существенно иная. А ощущение света, как заметил один из воображаемых спорщиков на страницах «Загадки», может иметь совершенно разные причины, каждая из которых, в

свою очередь, может порождать совершенно различную феноменальность, будучи применена к разным модальностям восприятия. На каком же основании Ф.Т. Михайлов утверждает, что мы видим сам предмет, пусть и не во всем так, как он есть сам по себе, а не его феноменальную копию? Кроме того, аргумент от глаза, ощупывающего «реальную форму» предмета, очевидно воспроизводит локковское деление качеств на первичные и вторичные, где первым (например, форме) приписывается объективная реальность. Однако это деление неочевидно уже в контексте современной физики и когнитивной нейронауки. А если верной окажется теория струн или что-то в этом роде, то о какой объективности трехмерной формы можно говорить? К тому же и саккады мы видим глазами.

И тем не менее позиция Ф. Михайлова 60-летней давности органично вписывается в современные дискуссии и даже дает некоторые дополнительные аргументы. Далее я буду анализировать современный контекст с этой точки зрения.

Что такое субъективность образа?

Субъективный образ – репрезентация, обладающая качественными модальными свойствами, не измеряемыми количественно и не передаваемыми адекватно в языке. Мы можем количественно измерить – с помощью RGB или других систем измерения цветности – оттенок определенного цвета или интенсивность его восприятия. Но никакая система измерения и никакая таксономия не сможет ни назвать, ни показать, как именно я вижу красный цвет со всеми его оттенками, как именно я ощущаю вкус соли или запах ионизированного воздуха. Иногда субъективными образами ошибочно считают все репрезентации, содержащиеся в уме, поскольку они субстанциально не могут считаться объективными. Но моя убежденность в том, что $2 \times 2 = 4$ не субъективна сама по себе, поскольку соответствует общезначимой истине, как, например, не субъективно знание, выраженное в предложении «Москва – столица России». Субъективна только та качественная «окрашенность» представлений, возникающих перед моим мысленным взором при обращении к этим мыслям. Поэтому далее термин «субъективный образ» будет употребляться в значении, максимально близком к латинскому термину «*quale*» (мн. ч. «*qualia*»), относительно недавно вошедшему в русский философский словарь.

Альва Ноз в книге «Разновидности присутствия» [2] утверждает, что перцептивный опыт следует понимать как протяженные во времени модели взаимодействия с миром, а не как внутренние представления. Согласно его позиции, перцептивный опыт не просто имеет место внутри нас, но и включает наше активное взаимодействие с окружающей средой. Ноз отстаивает нерепрезентационалистский взгляд на опыт, предполагая, что перцептивный опыт ощущается так, как будто он напрямую обращается к миру, а не опосредован внутренними состояниями. Эта точка зрения согласуется с феноменологией восприятия, где наш опыт, по-видимому, связан с объектами, которые присутствуют в мире, а не просто являются представлениями в нашем сознании. Она же существенно совпадает с позицией Ф. Михайлова в «Загадке человеческого Я». Старый текст Дэниела Деннета «Объясненное сознание» (1991) [3], вызвавший в свое время много споров, представляет гетеро-

феноменологический подход, который ставит под сомнение абсолютную конфиденциальность квалиа, предполагая, что они суть иллюзии, возникающие в динамических отношениях между нейронными процессами, внутренним мониторингом и вербальными (само)отчетами. Томас Метцингер, в частности, в работе «Быть никем» (2003) [4] описывает феноменальный опыт в терминах прозрачных моделей себя и репрезентативных отношений, а не внутренних свойств, что опять же резонирует с перцептивным объективизмом Ф. Михайлова. Влиятельная статья Дж. Кевина О'Регана и Альвы Ноз «Сенсомоторное объяснение зрения и визуального сознания» (2001) [5] переосмысливает визуальный опыт как способ взаимодействия с окружающей средой, а не как внутреннее представление. Эта позиция скорее отсылает к деятельностному подходу к зрению, который, согласно историческому экскурсу в «Загадке», отстаивали Сеченов, Лурия и Зинченко. Наконец, «Серфинг по неопределенности» Энди Кларка (2016) [6] представляет исследование восприятия и сознания с точки зрения концепции предиктивной обработки, которая естественным образом склоняет к релятивному пониманию субъективности.

Могут ли квалиа быть бессознательными?

Благодаря знаменитой классификации сознания Недом Блоком, разделившей его на сознание доступа и феноменальное сознание [7], можно предположить, что феноменальность, т.е. его оформленность субъективными невыразимыми качествами, является атрибутом сознания. Но только ли сознательной может быть сама феноменальность? Вопрос не так прост, как может показаться. Теперь мы знаем, что многие из наших восприятий выходят за рамки осознания и при этом влияют на наши предрасположенности и поведение. Если наши осознанные восприятия сформированы определенными цветами, звуками, вкусами и запахами, то воспринимаем ли мы все те же квалиа, когда восприятия остаются бессознательными? Даже если психологическое тестирование докажет, что мы на самом деле идентифицировали красное яблоко в вазе с зелеными, когда вся сцена выскользнула из нашего внимания, остается неясным, увидели ли мы его красноту так же, как мы видим ее нашим осознанным зрением.

Исследования показывают, что субъекты могут реагировать на стимулы, которые они не воспринимают сознательно (слепое зрение, подсознательное восприятие). Но они свидетельствуют только о состоявшейся обработке информации, а не о качественном опыте. Кроме того, мы можем наблюдать, что во время как сознательной, так и бессознательной обработки цветовой информации активируются схожие нейронные пути. Однако сходство нейронных процессов не обязательно влечет за собой феноменальное сходство. Иногда субъекты могут ретроспективно сообщать о ранее не наблюдавшихся стимулах, что предполагает некоторую форму сохранения феноменального бессознательного. Однако это также можно интерпретировать как скрытую информацию, которая переводится в качественные образы только в момент фокусировки внимания. В работе Коуидера и др. [8] предполагается, что в случаях восприятия в отсутствие внимания может иметь место «деградированная» или «частичная» феноменология, а не бинарное различие между сознанием и бессознательным.

Основная трудность заключается в том, что «каково-это-бытность»¹ по определению является чем-то переживаемым. Возникает парадокс: как мы можем определить, существует ли некое «каково это» иметь бессознательное восприятие, когда само понятие «каково-это-бытность», как кажется, предполагает сознание? Некоторые философы, такие как Майкл Тай, предположили, что качественный характер может иметь место в бессознательных состояниях, но без когнитивной интроспекции [9, 10]. Аналогично Нед Блок отстаивает гипотезу «переполнения», предполагающую большую емкость феноменального сознания по сравнению с сознанием доступа [11, 12]. Существует определенное количество исследований по этому вопросу [13–15], но они пока далеки от окончательного решения проблемы.

Если, по Блоку, сознание феноменально, это не означает, что таковым является только сознание. Аналогично нет никаких категориальных препятствий для того, чтобы бессознательное восприятие было качественным в каком-либо смысле. Проблема в отсутствии эмпирических средств для определения бессознательного опыта как качественного. Как мы можем установить наличие качественного характера в бессознательной обработке без возможности отчета от первого лица? Это создает методологический тупик, который трудно преодолеть с помощью современных методов.

Некоторые потенциальные подходы к этой эмпирической задаче могут включать конвергентные **методы**, такие как объединение нейронных маркеров, поведенческих индексов и вычислительных моделей для построения конвергентных доказательств качественной обработки за пределами осознания. Или они могут основываться на косвенном **выводе**: если бы мы могли установить систематические структурные связи между сознательными квалиа и бессознательной обработкой в различных условиях, мы могли бы вывести аналогичные качественные аспекты посредством гомологии. Другим основанием для эмпирического исследования может быть теоретическая **экономия**: если лучшее объяснение определенных наблюдаемых свойств бессознательной обработки требует постулирования качественного характера (а не только функциональной обработки информации), это могло бы обеспечить поддержку гипотезе.

Могут также возникнуть **новые экспериментальные парадигмы**: например, разработка новых методов, которые могли бы обнаружить качественные состояния без необходимости прямого отчета – скажем, скрытые измерения, которые могут быть чувствительны к качественным различиям без осознания. Эта проблема напоминает более ранние трудности в эмпирическом изучении самого сознания – то, что когда-то казалось за пределами эмпирической досягаемости, постепенно стало более доступным благодаря инновационным методам и технологиям. Аналогичным образом когда-то могут появиться подходы, которые будут более непосредственно обращаться к качественной природе бессознательной обработки.

Кроме того, методологическое окно в бессознательную качественную обработку могут предоставить эксперименты, основанные на прайминге.

¹ *Англ.* “what-is-it-likeness” – популярный термин, закрепившийся благодаря прорывной статье Томаса Нагеля «Каково это быть летучей мышью?» [44], в которой тема специфичности и непередаваемости чужого феноменального опыта была убедительно развита с помощью мысленного эксперимента.

Например, субъектам предъявляются цветовые стимулы с длительностью/интенсивностью ниже порога осознания, после чего они ставятся в ситуацию сознательного выбора между этими стимулами. Возможен также тест на качественный перенос: субъектам предъявляется неоднозначный стимул – возможно, бистабильное изображение, которое может восприниматься с различными цветовыми характеристиками в зависимости от предшествующего подсознательного воздействия. Экспериментаторы также могут прибегнуть к измерению качественного смещения: если подсознательное праймирование систематически искажает восприятие неоднозначного стимула теми способами, которые связаны с качественным характером (а не только с категорией) прайма, то можно предполагать сохранение качественной информации, несмотря на отсутствие осознания. Эксперименты с контрольными условиями могут включать тесты с различными качественными характеристиками (например, разными цветами), но с той же семантической категоризацией для различения концептуального и качественного прайминга. Они также могут включать физиологические измерения, такие как реакция зрачков или кожно-гальваническая реакция, которые могут быть чувствительны к качественным несоответствиям даже без осознания.

Ключевым нововведением будет разработка задач, которые требуют именно качественного различения, а не только категориальной информации. Например, задача сопоставления тонкого цветового градиента после подсознательного воздействия цвета может выявить бессознательную качественную обработку, если результативность превышает то, что можно было бы ожидать от простого категориального знания. Другой подход может включать парадигмы адаптации (например, при стрессе): если субъекты демонстрируют эффекты адаптации, характерные для качественных свойств, которые они не воспринимали сознательно, это может означать, что бессознательная обработка сохранила эти качественные аспекты.

Особенно сложно будет гарантировать, что любые наблюдаемые эффекты действительно обусловлены бессознательной качественной обработкой, а не незамеченным участием сознания, или обработкой информации, не связанной с качественным восприятием, которая приводит к аналогичным поведенческим результатам.

Репрезентирует ли феноменальный образ?

Возвращаясь к примеру Феликса Михайлова со световыми ощущениями, мы видим две загадочные ситуации:

1. **Те же квалиа, разные причины:** свет ощущается одинаково, независимо от того, вызвано ли ощущение реальными фотонами от лампы или искусственной стимуляцией зрительного нерва. Это говорит о том, что квалиа не соотносятся с внешними воздействиями однозначным образом.

2. **Та же стимуляция, разные квалиа:** та же электрическая стимуляция производит радикально разные ощущения при применении к зрительным и слуховым нервам. Это говорит о том, что квалиа определяются больше внутренней нейронной архитектурой, чем тем, что они предположительно репрезентируют.

Наблюдения подобного рода актуализируют несколько возможных позиций относительно репрезентативной природы квалиа. Слабый репрезентационализм [9, 16, 17], утверждает, что квалиа представляют собой лучшую ин-

терпретацию мозгом сенсорного ввода независимо от его точности. С этой точки зрения искусственно вызванное световое ощущение все еще «представляет» свет, просто ошибочно. Система интерпретирует нейронную активность в зрительных путях так, как она это обычно делает, – как референцию к свету. Это репрезентация в функциональном, а не в истинностном смысле. **Теория транспортного средства** [5], в свою очередь, предполагает, что квалиа являются носителями репрезентаций, а не ими самими. Ощущение является средством, которым доставляется репрезентация, а не ее содержанием. **Телеологические теории** [18] апеллируют к эволюционной истории – квалиа представляют то, для отслеживания чего они были выработаны, даже когда они дают неправильное представление в необычных обстоятельствах. Наше ощущение света эволюционировало, чтобы представлять окружающую освещенность, и сохраняет эту репрезентативную функцию, несмотря на возможность его искусственной (не правдоподобной) активации. **Двухфакторные теории** [19, 20] различают репрезентативное содержание и феноменальный характер. Качественное ощущение света само по себе может не быть репрезентативным, но оно связано с репрезентативным содержанием через надежные причинные механизмы, которые в примере Ф. Михайлова были закорочены. **Антирепрезентационалистские теории** [21] могли бы указать на этот пример как на доказательство того, что квалиа в основе своей вообще не являются репрезентативными. Возможно, они являются внутренними особенностями нейронной обработки, которые иногда коррелируют с внешними свойствами, но по сути ничего не представляют.

Пример со светом демонстрирует, что любая репрезентационалистская теория квалиа должна учитывать кажущуюся случайность отношений между их феноменальным характером и тем, что предположительно в них представлено. Соотношение между нейронной активностью и феноменальным опытом, как представляется, определено внутренними, а не внешними условиями.

Дискуссия о репрезентативной природе квалиа ведется уже давно. Многие из основополагающих идей были разработаны в 1980–2000-х гг., когда философы выстраивали сложные теоретические конструкторы, которые продолжают влиять на современные подходы к проблеме. За подробностями об этих дебатах можно обратиться к книге Д.В. Иванова [22].

Что же репрезентируют феноменальные образы? Быть может, говорящим окажется пример из моей рабочей практики. Когда я обрабатываю чужие PDF, я использую виртуальные маркеры различных цветов: голубой – для определяемых терминов, желтый – для их определений, бежевый – для интересных мест в тексте, зеленый – для опорных тезисов авторской концепции. Репрезентируют ли воспринимаемые мной качества этих цветов что-либо в авторском тексте? Если кто-то другой увидит мою разметку, ей или ему придется потратить некоторое время на разгадывание моего цветового кода. Но даже если он/она сделает это, его/ее качественные восприятия не станут репрезентациями содержания. Что действительно имеет значение для меня и для моего догадливого коллеги, это сама система цветовых различий, которая репрезентирует не объект, а мою модель его освоения. Этой моделью я вполне могу поделиться с другими, в отличие от моих феноменальных образов. Цветность – одна из моделей, которые, по словам Ноз [2. С. 120–121], превращают объект – мир в целом – в систему аффордансов.

Еще один аргумент может быть связан с тем соображением, что репрезентативное содержание может стать пропозициональным. Рассмотрим:

(1) «Я вижу зеленое яблоко». Это очевидная пропозиция, поскольку может быть истинной или ложной.

(2) «Это яблоко зеленое». Еще более очевидная пропозиция с очевидными условиями истинности.

Отметим, что в обоих случаях важна способность отличить зеленый цвет от любого не зеленого, а не качественное своеобразие восприятия именно этого цвета.

(3) «Я вижу зеленое вот так». Для этого высказывания нет условий истинности: как сказал Витгенштейн по схожему поводу, что ни покажется мне правильным, будет правильным.

Поскольку качественное переживание зеленого – как и любое качественное переживание – не может стать условием истинности пропозиции, то у нас нет оснований считать его репрезентативным.

Сенсорное замещение

Определенную ясность могли бы внести исследования по сенсорному замещению [23–25]. Так, в тексте Джулиана Киверстейна, Мирко Фарины и Энди Кларка исследуются механизмы и последствия замены одной сенсорной модальности другой в восприятии. Исследование имеет своим предметом то, как различные сенсорные модальности могут взаимодействовать, компенсировать или даже заменять друг друга, чтобы обеспечить согласованный перцептивный опыт. Авторы рассматривают эмпирические данные и теоретические перспективы мультисенсорной интеграции, обсуждая, как мозг адаптируется к сенсорной потере и как технологии могут усиливать восприятие. Исследование указывает на гибкость и взаимосвязанность сенсорных систем в формировании нашего опыта мира, подчеркивая способность воспринимающего адаптироваться к новым сенсорным контекстам. Здесь же обсуждаются различные примеры замещенных ощущений. Одним из них является использование визуальных стимулов вместо слуховой информации, когда люди могут замещать слуховые восприятия посредством визуальных подсказок, например, видеть вспышки света, указывающие на звуки. Кроме того, затрагиваются случаи, когда тактильные ощущения в случае глухоты могут использоваться для замены слухового ввода с использованием вибрации или тактильных устройств для восприятия звуков. Эти примеры иллюстрируют способность мозга реорганизовывать и адаптировать сенсорную информацию в разных модальностях.

В области тактильно-зрительной замены наиболее прорывной была работа Пола Бах-и-Риты [26] с устройством Tactile Vision Sensory Substitution (TVSS), которое преобразует визуальную информацию в тактильные паттерны стимуляции. Слепые пользователи сообщают, что в итоге начинают испытывать что-то похожее на «видение», а не просто чувствуют воздействия на своей коже. **Слухово-зрительная замена** представлена такими системами, как vOICe, которые преобразуют визуальные сцены в слуховые ландшафты (яркость в громкость, высоту в тон и т.д.). После обучения некоторые пользователи сообщают об опыте «визуально-подобных» впечатлений, несмотря на то, что получают только слуховой ввод [27]. **Существуют**

также устройства, которые используют осязание для передачи звуковой информации в нервную систему [28].

Сенсорное замещение имеет глубокие философские последствия для понимания квалиа. Исследования **пластичности квалиа** [29] предполагают, что квалиа не жестко привязаны к определенным сенсорным органам, но могут формироваться информационной структурой и способами обработки. Это говорит в пользу более функционалистского взгляда на квалиа. Теория О'Reгана и Ноэ [30] предполагает, что для качественного характера опыта важен не входной канал, а модели сенсомоторного взаимодействия. При сенсорном замещении пользователи осваивают новые сенсомоторные модели. **Дебаты о модальности и амодальности** ведутся вокруг вопроса, испытывают ли пользователи устройств замещения действительно новые квалиа (визуальные впечатления) или только улучшенные версии замещающей модальности? Феноменологические отчеты пользователей различаются: некоторые описывают действительно новые впечатления, а другие – улучшенные осязательные или слуховые [31]. **Гипотеза прозрачности процесса утверждает**, что при достаточном обучении пользователи сообщают о том, что перестают замечать замещающую модальность (например, осязание) и напрямую воспринимают мир через новый канал – обработка становится «прозрачной» [32].

Эти результаты согласуются с общими положениями концепции предиктивной обработки – мозг адаптируется к получению предсказанных выборок из новых сенсорных каналов, что потенциально приводит к новым формам квалиа, когда ошибка предсказания успешно минимизируется с помощью этих альтернативных путей. Анил Сет [33] и Офелия Дерой [32] исследовали, как данные сенсорной замены влияют на теории сознания и перцептивного опыта. Их результаты предполагают, что квалиа можно лучше понять с точки зрения обработки и использования сенсорной информации, а не с точки зрения их неотъемлемой связи с определенными нейронными путями.

Биологическая чувствительность

Взгляд на данные нейробиологии, касающиеся общебиологической чувствительности и ее эволюционных истоков, может помочь преодолеть объяснительный разрыв в отношении феноменального опыта. Вопрос биологической чувствительности долгое время был путеводной звездой для мудрецов, которые стремились найти ключ к загадке субъективных образов. Анаксагор, как известно, утверждал, что все ощущения являются разновидностями боли, отличающимися только своей интенсивностью. Это необычное предположение при тщательном рассмотрении оказывается более рациональным, чем кажется на первый взгляд. Греческий философ думал об общем корне для различных чувственных модальностей и нашел его в их общем свойстве (как поступали многие его соотечественники и современники в размышлениях на другие темы): все разномодальные ощущения вызывают боль, когда они слишком интенсивны. Это можно рассмотреть как потенциально плодотворный намек на возможный общий механизм, развитый в живой материи, который в ходе эволюции сделал различные ткани чувствительными к разным воздействиям: одни к электромагнитному излучению, другие к акустическим волнам, третьи к химическим реакциям и т.д. – чтобы они могли подавать на

подходящие к ним нервные окончания максимальную информацию. Нервы известны тем, что превращают все виды сигналов в электрические, но структура результирующих токов должна быть аналогична источнику. Так, в ходе эволюции различные сети (регионы) мозга научились обрабатывать потоки информации, параметризованные по-разному. Это может служить вероятным объяснением генезиса сенсорных модальностей. Общебиологическая чувствительность может быть или субстратозависимой, или чисто функциональной. Последний вариант может быть более удачным в качестве довода в пользу анаксагоровского общего корня чувствительности, но и первый не исключает его полностью.

Некоторые продуктивные догадки о природе биологической чувствительности можно найти в гипотезах, предполагающих, что основные формы чувствительности, или «проточувства», характерны для большинства живых систем. Эван Томпсон утверждал, что даже одноклеточные организмы демонстрируют своего рода примитивную чувствительность, которая может быть эволюционным предшественником сознательных ощущений [34]. Теория **интегрированной информации (ИТ)** утверждает, что феноменальный опыт является неотъемлемой частью определенных типов интеграции информации [35]. **Нейробиологические теории сознания** [36, 37] пытаются найти основания чувствительности в биологических процессах, связанных с гомеостазом и телесной регуляцией.

Некоторые философы [38, 39] предположили, что сознание может быть фундаментальной чертой реальности, а его сложные формы строятся из более простых форм. Это могло бы объяснить, почему биологические системы чувствуют себя определенным образом: поскольку чувствование – это фундаментальное свойство, которое усложняется в ходе эволюции. Однако такой подход можно рассматривать как стандартную уловку, известную с античных времен: если у вас нет хорошего объяснения для *X*, объявите *X* фундаментальным свойством Вселенной.

Ранее Франсиско Варела и Умберто Матурана выдвинули концепцию аутопойезиса [40], предполагая, что чувствительность возникает из самоорганизующихся, самоподдерживающихся процессов, характерных для живых систем. Эта идея воспринята и развита несколько позже в рамках **воплощенной предсказательной обработки**. Анил Сет и др. обосновывают феноменальный опыт интероцептивной предиктивной обработкой, т.е. предсказаниями мозга о внутреннем состоянии тела. Этот подход [41] предполагает, что чувствительность возникает как моделирование организмом своих собственных физиологических состояний. **Его старший единомышленник** Карл Фристон совместно с Марком Солмсом [42] исследовали различие между субъективными (интероцептивными) и объективными (экстероцептивными) перспективами организмов. Ими было показано, что ни одна из этих перспектив не может полностью объяснить другую, и что данные, полученные из обеих, должны интегрироваться в единый набор гипотез организма о наилучших моделях поведения. Их объяснительная модель основана на взаимодействии между эндогенной природой сознания и минимальными термодинамическими условиями для жизни. Они предполагают, что данная гипотеза может указать достаточные условия для приписывания организмам способности чувствовать.

Исследование биологических основ чувствительности составляет многообещающее направление для понимания того, как качественные ощущения (феноменальные образы) могли возникнуть в живых системах.

«Я» феноменально или функционально?

Однажды аспиранты-физики обратили мое внимание на то, что даже если бы существовала технология «цифровой личности», моя цифровая копия на диске или в облаке скорее всего не была бы мной, переселившимся в другую «пещеру» с моим уникальным ощущением себя и уникальной перспективой. Это заставляет предположить, что личная уникальность есть нечто воплощенное и укорененное в той же биологической чувствительности. Данная интуиция подчеркивает важный аспект сознания, который часто упускается из виду в прямолинейно вычислительных теориях. Кажется, есть что-то фундаментально связанное с биологическим воплощением, что создает определенное качество и уникальность самой нашей субъективной перспективы.

Для этой проблемы могут существовать две основные объяснительные схемы. **Во-первых, это биологическая воплощенность.** Мой сознательный опыт может быть неразрывно связан с определенным биологическим субстратом, который составляет мою нервную систему. Конкретные химические вещества, белки и клеточные структуры, образующие мой мозг, могут генерировать качества опыта, которые не воспроизводимы в цифровом виде, по крайней мере, на данный момент. Эван Томпсон и Франциско Варела, цитированные выше, утверждали, что сознание по сути является воплощенным биологическим явлением. К этому примыкает **аргумент пространственно-временной уникальности:** мое сознание занимает уникальное положение в пространстве-времени, которое не может быть воспроизведено или скопировано. Копия любого атома была бы другой сущностью, потому что она занимает другое положение в каузальной сети Вселенной. **На эту точку зрения также работает аргумент феноменального связывания.** Интегрированная природа сознания – то, как различные сенсорные модальности и мысли объединяются в единое поле опыта, – может зависеть от определенных биологических механизмов, которые трудно или невозможно воспроизвести в цифровом виде.

Во-вторых, объяснительной схемой может служить представление о непрерывности идентичности. Существует континуальная физическая и причинная история, которая составляет «меня» – и это непрерывная цепь физических процессов. Цифровая копия, даже если она функционально идентична, лишена этой исторической непрерывности. Эта точка зрения совпадает с рассуждениями Дерека Парфита о личной идентичности [43].

Биологическая чувствительность, обсуждавшаяся ранее, также может быть основой этой уникальности. Сознание может быть фундаментально связано с жизненными процессами, такими как гомеостаз, метаболизм и самоподдержание, которые создают неповторимую перспективу или точку зрения на мир. Это согласуется с теориями, подобными теории Дамасио, которая основывает феноменальность на процессах саморегуляции тела, и с подходом от «свободной энергии», представленным в работах Фристана, Сета и др., которые утверждают, что «я» – это иерархическая байесовская предсказательная модель, ограниченная от внешнего мира марковским ограждением, эффективно отделяя тем самым интеро- и проприоцепцию от экстероцепции.

Из этого не следует непременно, что феноменальное сознание не может существовать в небιологических системах, но это предполагает, что его специфическое качество и характер могут быть неотделимы от его биологического происхождения и воплощения. В то же время сама биология все больше вовлекает вычислительные методы и представления, поэтому дихотомия биологического и функционального, представленная в известных спорах Джона Серла и Дэниела Деннета, может скоро исчезнуть. Трудность, однако, состоит еще и в том, что на нынешнем технологическом этапе модель биологического субстрата как информационной системы может оказаться невычислимой (полиномиально неразрешимой). В этом случае помочь может только принципиально новая теория вычислимости, которая повлечет за собой очередную технологическую революцию.

Единственная загадка, которая пока кажется метафизически неразрешимой, состоит в следующем: можно ли перенести мое подлинное «я» с его феноменальностью, уникальной памятью и перспективой в виртуальную копию или последняя, если будет создана, просто завладеет моим личным стилем и воспоминаниями, став похожей, но иной личностью? Но надежда не оставляет ищущих.

Список источников

1. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. М. : Политиздат, 1976. 287 p.
2. Noë A. Varieties of Presence. Harvard University Press, 2012. 174 p.
3. Dennett D.C. Consciousness Explained. New York ; Boston ; London : Little, Brown and Co., 1991. 511 p.
4. Metzinger T. Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity. The MIT Press, 2004. 714 p.
5. O'Regan J.K., Noë A. A sensorimotor account of vision and visual consciousness // Behavioral and Brain Sciences. 2001. Vol. 24, № 5. P. 883–917.
6. Clark A. Surfing Uncertainty. New York: Oxford University Press, 2016. 412 p.
7. Block N. On a confusion about a function of consciousness // Behavioral and Brain Sciences. 1995. Vol. 18, № 2. P. 227–247.
8. Kouider S., de Gardelle V., Dupoux E. Partial awareness and the illusion of phenomenal consciousness // Behavioral and Brain Sciences. Cambridge University Press, 2007. Vol. 30, № 5–6. P. 510–511.
9. Tye M. Consciousness, Color, and Content. The MIT Press, 2000. 214 p.
10. Tye M. Consciousness and Persons: Unity and Identity. The MIT Press, 2005. 219 p.
11. Block N. Perceptual consciousness overflows cognitive access // Trends Cogn Sci. 2011. Vol. 15, № 12. P. 567–575.
12. Block N. Consciousness, accessibility, and the mesh between psychology and neuroscience // Behavioral and Brain Sciences. 2007. Vol. 30, № 5–6. P. 481–499.
13. Phillips I. Consciousness and Criterion: On Block's Case for Unconscious Seeing // Philos Phenomenol Res. 2016. Vol. 93, № 2. P. 419–451.
14. Dehaene S. et al. Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy // Trends Cogn Sci. 2006. Vol. 10, № 5. P. 204–211.
15. Mudrik L., Deouell L.Y. Neuroscientific Evidence for Processing Without Awareness // Annu Rev Neurosci. 2022. Vol. 45. P. 403–423.
16. Crane T. The Intentional Structure of Consciousness // Consciousness. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 33–56.
17. Burge T. Origins of Objectivity. Oxford University Press, USA, 2010. 645 p.
18. Neander K. A Mark of the Mental. The MIT Press, 2017. 327 p.
19. Chalmers D.J. The representational character of experience // The Future for Philosophy / ed. B. Leiter. Oxford University Press, 2004. P. 153–181.
20. Harman G. The intrinsic quality of experience // Philosophical Perspectives. Ridgeview. 1990. Vol. 4. P. 31–52.

21. Hutto D.D., Myin E. *Radicalizing Enactivism: Basic Minds Without Content*. MIT Press, 2013. 206 p.
22. Иванов Д.В. *Природа феноменального сознания*. М. : URSS : Либроком, 2013. 240 p.
23. Kiverstein J., Farina M. Do sensory substitution devices extend the conscious mind? // *Consciousness in Interaction: The role of the natural and social context in shaping consciousness* / ed. F. Paglieri. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2012. P. 19–40.
24. Farina M. Neither touch nor vision: sensory substitution as artificial synaesthesia? // *Biol Philos.* 2013. Vol. 28, № 4. P. 639–655.
25. Kiverstein J., Farina M., Clark A. Substituting the senses // *The Oxford handbook of philosophy of perception* / ed. Mohan Matthen. New York, NY, US : Oxford University Press, 2015. P. 659–675.
26. Bach-y-Rita P., W. Kercel S. Sensory substitution and the human – machine interface // *Trends Cogn Sci. Elsevier Current Trends*. 2003. Vol. 7, № 12. P. 541–546.
27. Pesnot Lerousseau J., Arnold G., Auvray M. Training-induced plasticity enables visualizing sounds with a visual-to-auditory conversion device // *Sci Rep*. 2021. Vol. 11, № 1. P. 1–12.
28. Eagleman D.M., Perrotta M. V. The future of sensory substitution, addition, and expansion via haptic devices // *Front Hum Neurosci*. 2023. Vol. 16. P. 01–09.
29. Hurley S., Noë A. Neural Plasticity and Consciousness // *Biol Philos.* 2003. Vol. 18, № 1. P. 131–168.
30. O'Regan J.K., Noë A. A sensorimotor account of vision and visual consciousness // *Behavioral and Brain Sciences*. 2001. Vol. 24. P. 939–1031.
31. Bach-y-Rita P. *Sensory Substitution and Qualia* // *Vision and Mind*. The MIT Press, 2002. P. 497–514.
32. Deroy O., Auvray M. Reading the World through the Skin and Ears: A New Perspective on Sensory Substitution // *Front Psychol*. 2012. Vol. 3.
33. Seth A.K. A predictive processing theory of sensorimotor contingencies: Explaining the puzzle of perceptual presence and its absence in synesthesia // *Cogn Neurosci. Psychology Press Ltd*, 2014. Vol. 5, № 2. P. 97–118.
34. Thompson E. *Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind* // *Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind*. Cambridge, MA, US : Belknap Press/Harvard University Press, 2007. xiv, 543–xiv, 543 p.
35. Tononi G., Koch C. Consciousness: here, there and everywhere? // *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. The Royal Society. 2015. Vol. 370, № 1668.
36. Edelman G.M. *Neural Darwinism: the theory of neuronal group selection*. New York : Basic Books, 1987. 400 p.
37. Damasio A. *Self comes to mind: constructing the conscious brain*. New York: Pantheon Books, 2010. 385 p.
38. Chalmers D.J. Facing Up to the Problem of Consciousness // *Journal of Consciousness Studies*. 1995. Vol. 2, № 3. P. 200–219.
39. Goff P. *Consciousness and Fundamental Reality*. Oxford University Press, 2017. Vol. 1. 305 p.
40. Maturana H.R., Varela F.J. *Autopoiesis and cognition: the realization of the living*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.
41. Seth A.K. Interoceptive inference, emotion, and the embodied self // *Trends Cogn Sci. Elsevier Current Trends*. 2013. Vol. 17, № 11. P. 565–573.
42. Solms M., Friston K. How and why consciousness arises: Some considerations from physics and physiology. // *Journal of Consciousness Studies*. Solms, Mark: mark.solms@uct.ac.za: Imprint Academic. 2018. Vol. 25, № 5–6. P. 202–238.
43. Parfit D. *Divided Minds and the Nature of Persons* // *Science Fiction and Philosophy*. Wiley, 2009. P. 91–98.
44. Nagel T. What is it like to be a bat? // *Philosophical Review*. Cambridge University Press, 1974. Vol. 83, October. P. 435–450.

References

1. Mikhaylov, F.T. (1976) *Zagadka chelovecheskogo Ya* [The Riddle of the Human Self]. Moscow: Politizdat.
2. Noë, A. (2012) *Varieties of Presence*. Harvard University Press.
3. Dennett, D.C. (1991) *Consciousness Explained*. New York; Boston; London: Little, Brown and Co.

4. Metzinger, T. (2004) *Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity*. The MIT Press.
5. O'Regan, J.K. & Noë, A. (2001) A sensorimotor account of vision and visual consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*. 24(5). pp. 883–917.
6. Clark, A. (2016) *Surfing Uncertainty*. New York: Oxford University Press.
7. Block, N. (1995) On a confusion about a function of consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*. 18(2). pp. 227–247.
8. Kouider, S., de Gardelle, V. & Dupoux, E. (2007) Partial awareness and the illusion of phenomenal consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*. 30(5–6). pp. 510–511.
9. Tye, M. (2000) *Consciousness, Color, and Content*. The MIT Press.
10. Tye, M. (2005) *Consciousness and Persons: Unity and Identity*. The MIT Press.
11. Block, N. (2011) Perceptual consciousness overflows cognitive access. *Trends Cogn Sci*. 15(12). pp. 567–575.
12. Block, N. (2007) Consciousness, accessibility, and the mesh between psychology and neuroscience. *Behavioral and Brain Sciences*. 30(5–6). pp. 481–499.
13. Phillips, I. (2016) Consciousness and Criterion: On Block's Case for Unconscious Seeing. *Philos Phenomenol Res*. 93(2). pp. 419–451.
14. Dehaene, S. et al. (2006) Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. *Trends Cogn Sci*. 10(5). pp. 204–211.
15. Mudrik, L. & Deouell, L.Y. (2022) Neuroscientific Evidence for Processing Without Awareness. *Annual Review of Neuroscience*. 45. pp. 403–423.
16. Crane, T. (2003) The Intentional Structure of Consciousness. In: Jokic, A. & Smith, Q. (eds) *Consciousness: New Philosophical Perspectives*. Oxford; New York: Oxford University Press. pp. 33–56.
17. Burge, T. (2010) *Origins of Objectivity*. Oxford University Press.
18. Neander, K. (2017) *A Mark of the Mental*. The MIT Press.
19. Chalmers, D.J. (2004) The representational character of experience. In: Leiter, B. (ed.) *The Future for Philosophy*. Oxford University Press. pp. 153–181.
20. Harman, G. (1990) The intrinsic quality of experience. *Philosophical Perspectives*. Ridgeview. 4. pp. 31–52.
21. Hutto, D.D. & Myin, E. (2013) *Radicalizing Enactivism: Basic Minds Without Content*. MIT Press.
22. Ivanov, D.V. (2013) *Priroda fenomenal'nogo soznaniya* [The Nature of Phenomenal Consciousness]. Moscow: URSS; Librokom.
23. Kiverstein, J. & Farina, M. (2012) Do sensory substitution devices extend the conscious mind? In: Paglieri, F. (ed.) *Consciousness in Interaction: The role of the natural and social context in shaping consciousness*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. pp. 19–40.
24. Farina, M. (2013) Neither touch nor vision: sensory substitution as artificial synaesthesia? *Biol Philos*. 28(4). pp. 639–655.
25. Kiverstein, J., Farina, M. & Clark, A. (2015) Substituting the senses. In: Matthen, M. (ed.) *The Oxford Handbook of Philosophy of Perception*. New York, NY, US: Oxford University Press. pp. 659–675.
26. Bach-y-Rita, P. & Kercel, S.W. (2003) Sensory substitution and the human – machine interface. *Trends Cogn Sci. Elsevier Current Trends*. 7(12). pp. 541–546.
27. Pesnot Lerousseau, J., Arnold, G. & Auvray, M. (2021) Training-induced plasticity enables visualizing sounds with a visual-to-auditory conversion device. *Sci Rep*. 11(1). pp. 1–12.
28. Eagleman, D.M. & Perrotta, M.V. (2023) The future of sensory substitution, addition, and expansion via haptic devices. *Front Hum Neurosci*. 16. pp. 01–09.
29. Hurley, S. & Noë, A. (2003) Neural Plasticity and Consciousness. *Biol Philos*. 18(1). pp. 131–168.
30. O'Regan, J.K. & Noë, A. (2001) A sensorimotor account of vision and visual consciousness. *Behavioral and Brain Sciences*. 24. pp. 939–1031.
31. Bach-y-Rita, P. (2002) Sensory Substitution and Qualia. In: Noë, A. & Thompson, E. (eds) *Vision and Mind*. The MIT Press. pp. 497–514.
32. Deroy, O. & Auvray, M. (2012) Reading the World through the Skin and Ears: A New Perspective on Sensory Substitution. *Frontiers in Psychology*. 3(457). DOI: 10.3389/fpsyg.2012.00457
33. Seth, A.K. (2014) A predictive processing theory of sensorimotor contingencies: Explaining the puzzle of perceptual presence and its absence in synesthesia. *Cognitive Neuroscience*. 5(2). pp. 97–118.
34. Thompson, E. (2007) *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Cambridge, MA, US: Belknap Press/Harvard University Press.

35. Tononi, G. & Koch, C. (2015) Consciousness: here, there and everywhere? *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. The Royal Society*. 370. № 1668.
36. Edelman, G.M. (1987) *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection*. New York: Basic Books.
37. Damasio, A. (2010) *Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain*. New York: Pantheon Books.
38. Chalmers, D.J. (1995) Facing Up to the Problem of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*. 2(3). pp. 200–219.
39. Goff, P. (2017) *Consciousness and Fundamental Reality*. Vol. 1. Oxford University Press.
40. Maturana, H.R. & Varela, F.J. (1980) *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
41. Seth, A.K. (2013) Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. *Trends of Cognitive Science*. 17(11). pp. 565–573.
42. Solms, M. & Friston, K. (2018) How and why consciousness arises: Some considerations from physics and physiology. *Journal of Consciousness Studies*. 25(5–6). pp. 202–238.
43. Parfit, D. (2009) Divided Minds and the Nature of Persons. In: Schneider, S. (ed.) *Science Fiction and Philosophy*. Wiley. pp. 91–98.
44. Nagel, T. (1974) What is it like to be a bat? *Philosophical Review*. 83. pp. 435–450.

Сведения об авторе:

Михайлов И.Ф. – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия). E-mail: ifmikhailov@iphras.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Mikhailov I.F. – Dr. Sci. (Philosophy), leading researcher, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: ifmikhailov@iphras.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.04.2025;
одобрена после рецензирования 21.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 10.04.2025;
approved after reviewing 21.05.2025; accepted for publication 30.06.2025

Original article

УДК 001.11; 165.1; 167.7

doi: 10.17223/1998863X/85/4

TOWARD A SYSTEMIC-COMMUNICATIVE PHILOSOPHY OF SCIENCE: FROM MAX WEBER TO NIKLAS LUHMANN

Alexander Yu. Antonovsky¹, Natalya N. Pogozhina²

¹ *Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
antonovski@hotmail.com*

² *Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, pogozhinann@gmail.com*

Abstract. The article conceptualizes the concepts of truth and knowledge in social epistemology and systemic-communicative theory. The possibilities of the philosophical understanding of scientific cognition are considered in comparison with research perspectives of science studies, sociology and psychology. It is substantiated that it is the philosophical conceptualization of science that permits interpreting science as a complex phenomenon requiring the resources of a higher socio-philosophical theory. The connection and difference between scientific cognition and descriptions and observations carried out in other social systems – politics, religion, art, mass media – are considered. The solution of the problem of demarcation of science and value judgments in Max Weber's understanding sociology is presented, as well as the concretization and formalization of Weber's principle of freedom from value judgments in Robert K. Merton's ethics of science. Further, a critique of Merton's ethics of science is reconstructed in the Strong Programme of David Bloor, who engages causal social-epistemological analysis of not only false but also true beliefs and judgments. Finally, a reconstruction of Niklas Luhmann's systemic-communicative philosophy of science is presented. Scientific truth is understood in this theoretical context as a symbolic generalized means of scientific communication that provides in itself an incredible consensus in scientific work.

Keywords: science, truth, knowledge, system theory, communication

Acknowledgments: The study by was conducted under the state assignment to Lomonosov Moscow State University.

For citation: Antonovsky, A.Yu. & Pogozhina, N.N. (2025) Toward a systemic-communicative philosophy of science: from Max Weber to Niklas Luhmann. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 46–63. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/4

Научная статья

НА ПУТИ К СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ: ОТ МАКСА ВЕБЕРА К НИКЛАСУ ЛУМАНУ

Александр Юрьевич Антоновский¹, Наталья Николаевна Погожина²

¹ *Институт философии РАН, Москва, Россия, antonovski@hotmail.com*

² *Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
pogozhinann@gmail.com*

Аннотация. В статье концептуализируются понятия истины и знания в социальной эпистемологии и системно-коммуникативной теории. Рассматриваются возможности

философского понимания научного познания в сравнении с исследовательскими перспективами науковедения, социологии и психологии. Научное познание анализируется как комплексный феномен, требующий привлечения ресурсов более высокой социально-философской теории. Для этого последовательно реконструируются идеи Макса Вебера, Роберта Мертона, Дэвида Блура и Никласа Лумана.

Ключевые слова: наука, истина, знание, системная теория, коммуникация

Благодарность: исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для цитирования: Antonovsky A.Yu., Pogozhina N.N. Toward a systemic-communicative philosophy of science: from Max Weber to Niklas Luhmann // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 46–63. doi: 10.17223/1998863X/85/4

Introduction: How Does Philosophy Understand Science?

In this chapter, we consider scientific cognition from a socio-philosophical perspective. Science is studied by many disciplines – science studies, sociology, psychology, history, each in its own special aspect. The sociology of science reveals the social functions of science, the impact of science on society and the reverse impact of society on science. Science is understood as a specific social institution or social system. The psychology of science, in turn, records how the characteristics of individuals, personality traits affect the effectiveness and nature of scientific activity. Finally, science studies using interdisciplinary approaches generalizes these studies, considers science in its structure and dynamics, looks for ways of scientific measurement of scientific results, which are now called scientometrics. What is left to the philosophy of science? Have the disciplines dismantled the domain of science, leaving nothing for philosophy?

It should be recognized that philosophy also offers its own perspective, fixing in the phenomenon of scientific cognition its specific and at the same time the most general aspect. The philosophy of science reserves for science a special function, namely, the task of conducting objective scientific research, and includes this function in a broad social context. Science is a specific view of the world, which is different from other ways of understanding and cognizing it. However, the world is mastered and tried to understand in its own way by different social systems – religion, art, social movements, literature, mass media. Philosophy recognizes these forms of observing the world and understands science as one of the possible ways of describing it. But with all the specificity of scientific worldview, no one but science is capable of realizing an *objective, truthful, methodologically-verified, verifiable, reflexive, and rational* cognition of the world.

In this sense, the field of questions of philosophy of science is quite broad and includes the question of the essence of scientific knowledge and cognition. But this issue cannot be solved if we do not raise the question of scientific truth and the conditions for its achievement. The list of these conditions is quite extensive. We have to define with the concepts of verification or verification of the obtained knowledge, its reliability and justification procedure. The conditions for obtaining scientific truth are characterized by a generalizing term – the concept of rational cognition.

At the same time, the philosophy of science is not satisfied with the internal definition of science, scientific knowledge and scientific truth, but asks about its external – social – function. This formulation of the problem requires an answer to

the question: how does science differ from other ways of observing the world, from other forms of activity and communication? How does rational scientific cognition differ from non-scientific types of mastering and describing the world and society? Philosophers of science pose this question as a problem of demarcation (differentiation) of scientific and non-scientific cognition of the world.

All these questions can be summarized and reduced to one: how can we have a complete and internally consistent concept of science, which would bring together all other perspectives and aspects of understanding science – sociological, psychological, historical, scientific? Hence, the fundamental task of the philosophy of science is to propose a generalizing and synthetic concept of science.

The Concept of Science: A Quick Glance

A cursory glance at science is enough to understand the super-complexity of this phenomenon. Science includes the most diverse forms of activity and communication: scientific thinking, theoretical research, experimental and laboratory activities, writing of scientific texts and scientific projects, the work of scientific organizations and interaction within scientific teams, expert evaluation of scientific projects and reviewing of manuscripts, etc.

The multilayered nature of scientific practices is compounded by the complexity of the research field that requires differentiation and hierarchization of specific disciplines. Disciplines differ radically in their maturity, the rigor of the concepts used, the formalization of language, the clarity of wording, and the type of fixed scientific laws, which makes it very difficult to find a *generalizable and synthetic* definition of science.

Strangely enough, almost no one doubts that science is a single, dynamically evolving phenomenon and it requires a relevant comprehensive definition.

What Is a Philosophical Concept of Science For?

However, is it necessary to formulate a generalized definition of science at all, since science successfully copes with its social function without it? Practicing scientists, sociologists and historians of science obviously get by without a definition of the concept of science procedurally and “routinely” resolving the above-mentioned problem of demarcating science from what does not correspond to the principles of scientific cognition.

Today this demarcation is realized, on the one hand, through a formalized mechanism of rejection of manuscripts of scientific articles by editorial boards and experts of scientific journals. On the other hand, the actual demarcation is carried out by expert teams (the Higher Attestation Commission, the Russian Academy of Sciences) controlling scientific qualifying papers. Moreover, in neither case are the experts guided by the explicitly formulated concept of scientificity, but rather by intra-disciplinary criteria of relevance, novelty, adjacency of specific scientific publications and research topics.

Nevertheless, the search for a synthetic definition of science is a matter of self-reflection and self-identification of the scientific community. There have been many attempts to find such a reflexive self-definition of science. Thus, one of the solutions to the problem of scientific knowledge demarcation has been proposed in the logical positivism of the Vienna Circle. As a criterion of scientific knowledge, the meaningfulness of the propositions of the language of science is recognized as

opposed to other – religious, metaphysical – expressions that do not allow carrying out their empirical testing or verification. Karl Popper's critical realism sees such a criterion of scientificity in the ability of science to falsify its own statements because only refutation, not confirmation, is a logically flawless way of obtaining scientific truth.

However, even today, the question of science's meaningful self-determination has not lost its relevance because it meets the central challenge of modernity. In a democratic society that implies freedom of expression and thus equality of all discourses and claims to the corresponding social significance, how can we prove the universality and superiority of scientific observation in competition with religion, ideology, journalism, and even what is commonly called the common sense viewpoint?

The Concept of Science in the Domestic Philosophy of Science

In Russian philosophy, its own definition of science has been proposed by its leading representative Vyacheslav Semenovitch Stepin:

Science is a special type of cognitive activity aimed at developing objective, systematically organized and substantiated knowledge about the world. It is a social institution that ensures the functioning of scientific cognitive activity. As a type of cognition, science interacts with other types of cognition: common knowledge, art, religion, mythological, philosophical knowledge. Arising from the needs of practice and regulating it in a special way, science aims to identify the essential links (laws) in accordance with which objects can be transformed in human activity. Since any objects, such as fragments of nature, social subsystems and society as a whole, states of human consciousness, etc., can be transformed during activity, all of them can become subjects of scientific research [1. P. 560–561].

According to this approach, science is defined both as a type of cognitive activity aimed at obtaining objective knowledge (specific concept) and as a social institution (generic term).

Like any definition, it raises questions of completeness and internal contradiction. Is it science when we exchange acquired knowledge at a conference or read a scientific article written by scientists or experts of a journal, a competition committee, a scientific foundation, etc.? After all, knowledge production is distinct from its reception or sharing. This definition also does not specify where the production of knowledge takes place – in the scientist's head, in the laboratory, in scientific debate or in the course of writing an article. Does it constitute science when the outside public and laymen receive finalized scientific knowledge, and when this knowledge is proliferated in popularized form outside the discipline and the scientific community? What is scientific criticism? After all, it does not produce, but rejects and sifts out the false and unscientific! Does false knowledge, which is obviously produced, inter alia, by the most scientific "social institutions", belong to science? Can the selection of already *produced* knowledge in journals, the work of scientific councils and the whole scientific-organizational activity be

considered science? Is the application of previously produced knowledge to engineering, such as calculating the trajectory of a satellite, science? There is also a general question: how can we separate science and its causally significant (organizational, existential, communicative) conditions? If they are outside science, do we not deprive science of its systemic self-sufficiency?

If science is considered as an activity, a social institution, or a social system, then it would be logical to turn to the theoretical resources of a more fundamental theory (general theory of activity, general theory of communication, theory of society, theory of social systems, etc.).

Such attempts to provide a functional description of science as a social institution, and to clarify a unique social task within the framework of fundamental social theory have been made repeatedly.

These attempts include Max Weber's interpretation of science within the framework of understanding sociology; Robert K. Merton's functionalist understanding of science; interpretation and critique of science in the Critical Theory of the Frankfurt School¹; the approach of social epistemology or the Strong Programme in the sociology of science; Niklas Luhmann's systemic-communicative theory of science.

Max Weber: External and Internal Conditions of Scientific Cognition

Max Weber was one of the first to raise the question of scientific knowledge as a specifically rational view of the world, different from other types of observation – artistic, religious, political-ideological. The concentrated form of this problem was reflected in his article “Science as a Vocation”.

The first part of the article, which has not been translated into Russian, conceptualizes the “external-social” conditions of science as a social institution and as a profession. Capturing the trend of professionalization of science, Weber connects it with the gradual establishment of the North American standard of organizing science as a large “state capitalist enterprise”. In this sense, the “profession” of the scientist is indistinguishable from the social status and position of the employee in a modern capitalist enterprise, and the employee being primarily aimed at success as the main value of bourgeois society. “Here we encounter,” writes Weber, “the same condition that is found wherever capitalist enterprise comes into operation: the separation of the worker from his means of production” [2. P. 131] (such as the library, instruments of scientific observation, laboratories, classrooms, departments, etc.). “The worker, that is, the assistant,” he continues, “is dependent upon the implements that the state puts at his disposal; hence he is just as dependent upon the head of the institute as is the employee in a factory upon the management. For, subjectively and in good faith, the director believes that this institute is 'his,' and he manages its affairs” [2. P. 131].

¹ Thus, Jürgen Habermas, following Theodor W. Adorno and Max Horkheimer, asserted the socio-functional principle of disciplinary differentiation of knowledge, which corresponds to three basic functions. These are the functions of social control and adaptation to the external environment (natural-scientific knowledge), description of communicative processes (interpretive-hermeneutic knowledge) and emancipation (Critical Theory itself).

What is most important in this diagnosis of science is that the *external* motivation of a scientist is not so much the search for true knowledge, but, above all, promotion, career and material rewards, professional success¹.

Today, the traditional “true meanings” and motivations of scientific work, unrelated to reward and career, are fading into the background. In the science of the modern era, the pursuit of truth was inextricably linked to other forms of mastering the world. It implied that its ultimate goal was the cognition of the beautiful, the divine, and the virtuous, which defined the scientist’s self-understanding, vocation, or mission. However, today, according to Weber, the pursuit of truth has lost its motivational power. The scientific passion and all-consuming interest now turns to particular fields and problems. “Only by strict specialization,” writes Weber, “can the scientific worker become fully conscious, for once and perhaps never again in his lifetime, that he has achieved something that will endure” [2. P. 135]. The scientist is no longer a sage who can give advice in any sphere of social life.

However, in today’s society of division of labor and focus on success this passion and enthusiasm for the subject of research is not something special and unique to the scientist. Passion for science and passion for entrepreneurship are common expressions of the Protestant work ethic.

“A merchant or a big industrialist without ‘business imagination’, that is, without ideas or ideal intuitions, will for all his life remain a man who would better have remained a clerk or a technical official. He will never be truly creative in organization. Inspiration in the field of science by no means plays any greater role, as academic conceit fancies, than it does in the field of mastering problems of practical life by a modern entrepreneur,” writes Max Weber [2. P. 136].

However, if the social dimension of scientific motivation reveals similarities between science and economics, essential differences are found in the field of distinguishing between scientific and value judgments. Modern science is no longer able to claim to establish eternally significant truths. The eternally significant is asserted in art, whose masterpieces do not “become obsolete” but retain their aesthetic significance in all changes of styles and in the emergence of new forms. On the contrary, “In science, each of us knows that what he has accomplished will be antiquated in ten, twenty, fifty years. That is the fate to which science is subjected; it is the very meaning of scientific work, to which it is devoted in a quite specific sense, as compared with other spheres of culture for which in general the same holds. Every scientific ‘fulfilment’ raises new ‘questions’; it asks to be ‘surpassed’ and outdated. Whoever wishes to serve science has to resign himself to this fact,” writes Weber [2. P. 138].

The dynamics of modern scientific cognition does not allow stopping the assertion of eternal truth and final meaning definitions because any scientific cognition is significant only at the moment and immediately raises new questions. The general meaning of the world remains inaccessible and could be grasped by other ways of mastering the world. Weber states,

¹ However, it should be taken into account that in German usage, profession and vocation are lexically indistinguishable. In this Protestant-colored sense of the German word “Berufung”, any personal, professional, career, etc. success is a consequence of the worker’s God-given vocation.

And today? Who – aside from certain big children who are indeed found in the natural sciences – still believes that the findings of astronomy, biology, physics, or chemistry could teach us anything about the meaning of the world? If there is any such “meaning,” along what road could one come upon its tracks? If these natural sciences lead to anything in this way, they are apt to make the belief that there is such a thing as the “meaning” of the universe die out at its very roots. And finally, science as a way “to God”? Science, this specifically irreligious power? That science today is irreligious no one will doubt in his innermost being, even if he will not admit it to himself [2. P. 142].

As a result, Weber (partly explicitly, partly implicitly) formulated the basic problem of the meaning of modern science: what motivates scientists to continue doing science if a complete and final understanding of natural objects is impossible? Can science as an occupation and field of activity offer some other – its own – achievements to replace the “lost illusions” about the possibilities of knowing nature as a whole, the Divine Design and the meaning of human life? “What is the meaning of science as a vocation, now after all these former illusions, the ‘way to true being’, the ‘way to true art’, the ‘way to true nature’, the ‘way to true God’, the ‘way to true happiness’, have been dispelled?” writes Weber [2. P. 143].

“Consider the historical and cultural sciences. They teach us how to understand and interpret political, artistic, literary, and social phenomena in terms of their origins. But they give us no answer to the question of whether the existence of these cultural phenomena have been and are worthwhile,” he continues [2. P. 145].

The judgments of science do not answer questions about religious, artistic, ethical or political values, about things that should be believed, about what is beautiful, virtuous or just. At the same time, politics, religion, and ethics in turn should not interfere with questions about the truth of scientific judgments. Science in the society of isolated social systems, having separated from religion, art and politics, focuses on its own function – to conduct scientific research, defined by the binary code of all knowledge, recognize judgments claiming to be true, and reject all other value judgment, first of all, artistic, religious and political-ideological ones.

Robert K. Merton’s Ethos of Science (The Weak Programme in the Sociology of Knowledge)

Thus, the question of truth (objectivity, evidence and validity) of scientific statements becomes a generalizing feature and demarcation criterion of science. However, in order for science as a special community to be able to focus on this task, it was necessary to disassociate itself from “external values” that could intrude and manipulatively distort the objective nature of scientific judgments.

In this regard, science was required to formulate more clearly its own attitudes and values that would demarcate real and “fake” science. These normative attitudes were codified by Robert K. Merton and were called “scientific ethos”. “The ethos of science” concretized and clarified the Weberian methodological principle of “value-freedom” (the ability of the researcher to keep their own values

(ideological, political, artistic, religious) from interfering with the research process). This issue became particularly relevant in the 1930s and 1940s in Germany, where German scientists and philosophers willingly served the Nazi regime while Jewish scientists, on the contrary, were expelled from science and philosophy.

In the lecture “Science and the Social Order” and the work “A Note on Science and Democracy” Merton formulated the above-mentioned value principles of science which were designed to protect science from external expansion by other social systems and communities [3]. However, the demarcation of truly scientific activity is now broader and more radical. “Pure science” has to dissociate itself not only from the values, motives, attitudes, and standards of neighboring value systems (art, religion) and political ideologies but also from the damaging effects of individual predilections, the influence of economic (monetary) motivations, and even from the influence of internal hierarchies (scientific statuses, positions, and authorities). These values were reflected in the concepts of *communism*, *universalism*, *disinterestedness* and *organised scepticism* (the acronym CUDOS).

Thus, the value of *universalism* required that scientists, when making and evaluating scientific judgments, should not take into account the personal and social qualities of scientists: ethnicity, nationality, religion, social status, and individual character traits. None of the above should influence criticism, evaluation of the truth and reliability of research.

The value of *communism* reflected the fact that scientific knowledge is produced collectively and therefore should be relevant and accessible to all researchers without exception.

Selflessness (disinterestedness) indicated that a scientist should not be motivated by economic interest. In this regard it is important to recall that Max Weber identified the tendency of scientific work to become a kind of labor in capitalist production. In contrast, Merton considers passion for the subject, altruism, and curiosity to be the true motivations for scientific work.

Organized skepticism, in turn, emphasized the role of the critical attitude that requires to take into account the whole variety of facts that could be analyzed alone to provide the final judgment on the truth of scientific judgment. Both in the methods and the institutional defense of research, it was required to ensure that a final judgment would be made only when all the necessary facts were available.

David Bloor’s Social Epistemology (The Strong Programme in the Sociology of Knowledge)

Mertonian norms of scientific ethos were based on the general idea of demarcation, the distinction between intra-scientific factors that determine the nature of research and the autonomous logic of the development of scientific knowledge and external – or extra-scientific – factors that undoubtedly determine science but are not “rational” from the point of view of scientists themselves.

External (first of all, economic and political) factors demanded the scientific development of certain socially significant scientific topics in which adjacent social systems – politics and economy – were interested. Scientists were required to discover and produce new types of energy, new medicines, materials with specified properties, new foodstuffs, and last but not least new weapons. However,

addressing these research tasks does not follow directly from the autonomous logic of scientific development. Hence, there is a distinction between the “internal history of science” and its “external history”, which becomes widespread mainly in the postwar philosophy of science (Imre Lakatos, Larry Laudan, etc.). Consequently, the criteria of scientific rationality (observability, verifiability, validity, experimental nature of science, use of proven methods, universal reproducibility of results, provability, cost-effectiveness) are applied to the case of the internal history of science, while the external history of science should be explained by sociologists of science.

In fact, the internal history of science can be understood and “rationally reconstructed” on the basis of the above criteria, since they are the basis (causal explanations) for the selection of the best possible scientific theories by scientists, and the reasons why they are sure that their scientific judgments are truth.

On the contrary, errors, delusions, and, in general, the false nature of scientific statements received a separate, extra-scientific causal explanation. Their causes were seen in external political or economic influences on science. The phenomenon of “Lysenkoism” provides a typical example of such external social, political-ideological pressure on science, which led to the approval of anti-Darwinist approaches in Soviet biology, with the notion of properties of living organisms acquired during life being inherited by next generation. On the contrary, the above-mentioned internal scientific standards of rationality obviously could not explain this event in the domestic history of science. Why did not the Mertonian norms of scientific ethos (the Weak Programme) work and protect science from external expansion by adjacent social systems?

A common place in the philosophy of science was the idea that science follows “the internal logic of its development”, which does not require causal analysis of scientists’ beliefs and judgments. After all, their beliefs are determined by the very subject of research, the structure of which forces the scientist to speak about the subject in this way (in a true way) and not otherwise. In this sense, the truth of scientists’ judgments and corresponding beliefs have no *external*, social causes. Science (as a set of true judgments) is what it is, regardless of social influences. This consideration united philosophers of science who used the *externalism/internalism* distinction as an asymmetrical one, where only false judgments received a causal, external, socially determined explanation and true statements received the status of self-explanatory.

This asymmetry in the externalism/internalism distinction has come under fire from a number of scholars at the University of Edinburgh. David Bloor, Steven Shapin, and Barry Barnes formulated the so-called “Strong Programme” of explaining the history of science contrasting it with the the Weak Programme, which refers primarily to Robert Merton’s conception.

The Strong Programme is based on the directive principle: the interpreter of science tries to uncover the reasons for scientists’ beliefs using the same types of reasons to explain both rational (true, successful) beliefs and irrational (false, unsuccessful) ones [4].

For example, the theory of thermodynamics was believed to be causally related to “influence of the practical development of technologies for the use of water flows.” However, less complicated and more trivial examples can be also given. Thus, the actual results of mathematical operations, for example, division,

are reflections of the distribution of produced social products; the results of subtraction are the consequence of their consumption, and the results of addition are the consequence of their accumulation and storage; the result of multiplication, in its turn, stems from the procedure of growing crops as multiplication of planted seeds. In general, the ability of scientists to classify natural objects and give generic and species definitions was believed to be a consequence of social classifications of people and communities (Emile Durkheim).

As if in opposition to the four principles of the Weak Programme, David Bloor formulates four principles of the Strong Programme: causality, impartiality, symmetry, and reflexivity:

1. The sociology of knowledge should be *causal*, i.e., it should identify the causes of certain states of mind of scientists, their scientific ideas and beliefs. At the same time, it should distinguish social types of causes from non-social ones, which in turn “causalize” scientists’ beliefs.

2. The sociology of knowledge is *impartial* in addressing the issue of *truth/falsity*, *rational/irrational*, scientific achievements and fiascos. Each side of these distinctions is explained causally by identifying the relevant causes.

3. The form of explanation must be *symmetrical*. The types of causes that explain the formation of both true and false beliefs of scientists must be identical.

4. The sociology of knowledge has a *reflexive* nature. This means that causal types of explanation of their falsity or truth should be applied to the beliefs of sociologists of science as well.

The goal of the Strong Programme is a causal analysis that explains the development of both “the internal” and “the external” history of science. Proponents of the Strong Programme believe that the causes of all beliefs and related statements should be sought in influences from one or another of the social structures.

Opponents of the Strong Programme, however, pointed out that among the reasons involved in the formation of scientists’ beliefs, the main place belongs not to social pressure, but to the very structure of the cognizable object. The scientific reconstruction of the structure of natural objects (living organisms, DNA, chemical substances, atoms and elementary particles) as they exist outweighs the social pressure on the scientist in most cases, even if it takes place. For example, Ernest Rutherford’s belief that atoms have dense central nuclei was a causal consequence of the results of alpha-particle scattering experiments. Most of them, passing through the gold foil, were not deflected, but in a small number of cases the angle of deflection was ninety degrees or more. This physical but not socially determined circumstance was the reason for Rutherford’s belief in the existence of the atomic nucleus because it explained the mechanism of alpha-particle scattering.

The pressure of social institutions, of course, manifested itself in attracting funding and state support for this research topic, but still the main causal factor of Rutherford’s beliefs and statements were the results of this experiment.

Certainly, sociologists can also offer their own explanation of this event because they are the ones who record the social factors that increase the probability of the alpha-particle scattering experiment. The social division of labor, the financing of fundamental science and the formation of the experimental base of scientific research appear to be some “additional” reasons that co-participate in the formation of Rutherford’s beliefs. Such “additional” reasons include the existence

of a special type of scientific communication, primarily in the format of scientific publications (scientific journals as a special type of social institutions), which Rutherford read and which co-formed his beliefs. These socially significant factors can also include (partly) bureaucratically imposed agonality in science, requirements for originality, which “push” scientists and require them to promptly formulate non-trivial statements, such as the statement about the existence of the atomic nucleus.

The reference to social pressure explains to some extent the choice in favor of a particular theory within competing paradigms in specific circumstances, for example, the choice in favor of the theory of inheritance of acquired traits and the rejection of the theory of genetic transmission of hereditary factors during the Lysenkoist period, and the choice of field theory over contact mechanics. However, the fact that the theory itself was created is better explained by reference to the structure of an object of nature (atom, gene, chemical substance, etc.) than by external scientific social pressure.

Niklas Luhmann’s Systemic-Communicative Sociology of Science

Social epistemology (in the format of both the Weak and Strong Programmes) pointed out a number of omissions of classical epistemology. Both of these epistemic approaches raise the question of the origin and preconditions for the crystallization of scientific knowledge. However, if classical epistemology understood knowledge in a narrow sense, gave its standard definition as a *true and justified belief*, and saw the source of knowledge in the properties of the cognizer, namely, in their sensual abilities, ability to remember, accumulate and process information, to draw rational logical conclusions from it, then social epistemology in both of its variants understood the sources of knowledge more broadly, investigated the transfer and diffusion of knowledge in society, reconstructed the social conditions of acceptance and further proliferation of scientific messages inside and outside science, and analyzed the links between knowledge and collective action based on it.

The newest stage in the development of social epistemology is represented by the systemic-communicative philosophy of science, whose leading representative was the German sociologist Niklas Luhmann.

This approach eliminates the incompleteness of the philosophy of science and the theory of knowledge in general because, unlike other approaches, it analyzes science and science communication based on a more general social theory. The systemic-communicative theory is based on the possibilities of a comparative analysis of science with other social subsystems, such as economy, art, religion, politics, and it does not do it exclusively negatively in the style of Weber or Merton, but reveals a number of cross-cutting communicative properties of science, not only specifying scientific cognition but also uniting it with other types of communication.

From the point of view of the systemic-communicative theory, any communication system consists of system-specific elementary operations. Thus, politics consists of collectively binding decisions, and economics consists of payments and purchases. At the same time, each operation represents a communicative request for contact, which can be accepted or rejected. The

probability of rejection of such requests requires compensating mechanisms or binary codes, guided by which participants of communication do accept the requests, despite the *improbability* of such claims. (No one wants to share property in economics, obey other people's decisions in politics, or accept the validity of someone else's claim in science.)

Thus, the integration of system operations within a single system, their non-random connection to each other, is ensured by the presence of connecting "selection mechanisms". For example, power as a binary code of the political system selects decisions that are important to the state, which becomes the subject of political decisions. All decisions are made taking into account the binary distinction of power/non-power: first of all, decisions that retain and maximize power are selected, and those that lead to its loss are rejected.

Payments in the economy are in turn regulated by the binary code of money. Transactions are realized through the monetary distinction of solvency/insolvency. An economic transaction is aimed at maximizing profit, just as a political decision is aimed at maximizing power. All possible communications that lead to the opposite outcome are rejected.

In this comparative context, the system of scientific communications can be considered as one oriented towards its own binary code – scientific truth. This code provides integration of scientific judgments within the scientific system, just as money provides sequences of transactions.

Scientific Knowledge as Communicative Inquiry

Thus, knowledge itself arises in the process of discussion and in the form of discussion, i.e., in its material form (sounds, ink) it is not at all similar to *the external* (= *discussed*) world that is only "reflected" to any extent in the form of consciousness perception. It is thus only a question of the fact that the event of *knowledge* is simultaneously observed (and by this observation only *produced*) from two systematic observational perspectives: from the point of view of communicative discussion and from the point of view of its perception by consciousness. Therefore, it acquires a certain identity ("objectivity") *of its own*, as if going beyond the limits of both systems - the system of psyche (the sequence of mental acts) and the system of communication (the sequence of messages).

However, as it has been said above, scientific communication is not only structurally connected with mental systems (consciousnesses) experiencing the *external world* but also shows structural analogies with other communicative systems that have differentiated parallel to science in the course of social evolution¹.

The relationship between science and politics is a particularly interesting case, as these systems turn out to be in a kind of a mirror relationship. Meanings of political events are determined by coupling of *actions with actions*. And, indeed, how else is it possible to establish non-random and, most importantly, rather long-term sequences of events around significant collective-binding (but in most cases extremely challenging, such as the construction of pyramids) goals, if not with the help of a special symbolic instrument – *power* that tightly binds the actions of

¹ Specifically on the process of social differentiation: Luhmann, N. (2013) *Theory of Society*. Volume 2. Stanford: Stanford University Press.

actors to each other? Meanings of cognitive (scientific) achievements consist in coupling of *experiences with experiences, perceptions with perceptions*. And how else can we verify the mutual provability of scientific statements except by means of mutual authentication of perceptions (first of all, in the reproduction of experiences and experiments) with the help of science's own mediation instrument – the symbolic means of communication: *truth*?

Truth, then, is an instrument of binary *coding of improbable* propositions. Improbable due to their complexity or strikingness, such as Copernicus' heliocentric thesis. Coding is understood here as the process of categorizing sentences according to their meanings or values – truth and falsity. At the same time, any communication, not necessarily thematizing *scientific* knowledge, can be encoded. And the simplest statement “it is raining” can be true and false. But truth as a sustainably reproducible code, and thus, also as a systemic-communicative one, emerges only with the isolation of the corresponding communication system – the system of scientific communications.

Truth in this proper sense emerges only due to special – in some sense even improbable – requirements for scientific knowledge and the communication of this knowledge.

After all, there should have been an *incredible* motivation to read hundreds of not very clear texts and conduct thousands of experiments, most often with negative results. Truth as a communicative code, as an index of scientific knowledge, thus solves the problem of legitimizing and ensuring the acceptance of requests for contact, the content of which is the research conducted.

Such legitimizing purpose of truth was connected with its special function: responsibility for social *positive* (!) evaluation of *new* knowledge and, as a consequence, for its demarcation from other types of knowledge! Other possible types of knowledge (traditional, already known, unscientific, intuitive, religious, male, secret, etc.) are not specifically evaluated and are not categorized into positive or negative values by means of special programs for their legitimization (see below).

Actually, this distinction goes back to the most ancient *asymmetry* – between the requirement to keep from forgetting the knowledge of the subject in some unconcealed state (truth as *aletheia*) and the clearly social imperative “do not lie” (lie as *pseudos*). David Bloor and Barry Barnes return symmetry to the two divided sides showing that truthfulness is as constructive as falsehood and cannot designate knowledge defined solely by its subject.

Nevertheless, this asymmetry of truth and falsity has realistic grounds. It does point to a fundamental *difference* that makes truth and falsity unequal parties. It is the difference between *actions (messages)* and *experiences (perceptions, imaginations, desires, beliefs)*. It is to the former that the corresponding normative requirements are imposed: “one must not lie”; whereas to the latter there are cognitive requirements, the prohibition of forgetting.

Falsehood then turns out to be *socially conditioned* in some deeper sense than it was assumed to be conditioned by interest, language, prejudice, etc. For it is *commensurate with the action (= message)*. On the contrary, truth, although represented in the message, is perceived exclusively by consciousness. The perceptual data are then presented in the communicative message but only in an extremely truncated form. That is why truth is not determined by the properties of

messages, i.e., by actions, and, as a result, by various kinds of manipulations and fabrications.

Truth in the Sym-bol/Dia-bol Function

Truth functions as a binary *code* of the operations of science and as a *program for the distribution of coded values*. To clarify these abstract terms, Luhmann introduces this concept by comparing it to the more fundamental media of perception (air and light) and to the specific media of communication of other communicative systems (money and power).

Designated media are in a sense analogous to truth in their instrumental or medial function (mediator function). Truth in this sense is like air, an invisible instrument (the medium of sound waves) through which we hear noises (the accessible *forms* of an inaccessible medium). But still, air can also be heard if it “superimposes a form” on itself (e.g., in the form of wind). In the same way, light (electromagnetic waves) as an unperceivable medium of perception makes it possible to see, but only in the form of certain observed colors (specific forms of light).

In this most abstract sense, truth, as an invisible medium, instrument or symbolic mediator of communication, makes it possible to fix this or that knowledge, but it itself eludes the direct observer of knowledge. At the least, the practicing scientist rarely asks about the concept of truth and what it is. And even more so, its communicative functions and prerequisites are not clear or interesting to them.

These prerequisites consist in the special *symbolism* and *generalizing* character of truth which, like any symbol, ensures the connection of elements of the system and, as a principle of generalization, the inclusion of the elements claiming to be truth in a scientific community or organization. The integration of scientific teams is ensured through such truth symbolization of knowledge certified in its generalizability. Symbolization and generalization are standard social functions of all communicative systems, and science as a system does not cease to be a communication, the same one as communication in all other communicative subsystems of society.

However, in addition to such a function of “communalisation” and a factor of social order, any medium must also solve the problem of differentiation or *isolation* of its own system (the system that this medium regulates). In the former case, truth as a *sym-bol* of reliable knowledge ensures the communicative unity of the scientific system and, as a consequence, contributes to the integration of the whole society by supplying it with scientific knowledge; in the latter case, it acts in a kind of a *dia-bol* function of isolation and separation.

Here again, there is a paradoxical metaphor of observing the unity of the world. If we try to conceive of some “supreme unity” (unity of society, unity of the world, etc.) as a unity of different things, then, starting with Anselm of Canterbury, we are bound to encounter a paradox. The figure of God traditionally serves as a *symbol* of some kind of the biggest, best, all-encompassing. However, how can this unity be observed? After all, while observing, we have to somehow *designate* this observed thing, distinguishing it from everything else that is not so great. And, if this unity is really so broad that it does not allow for an external reality in relation to it, there is still the observer himself. Hence, the observer’s conclusion that their

themselves are something lesser, worse, limited from the observed perfection seems inevitable. The observer definitively falls away from the “supreme unity” he observes, just as the “fallen angel” falls away from God. So, truth, as a generalized symbol, unites scientists, ensures the connection of true messages and the formation of a unified system. However, as a result of this special type of observation and concentration of truth statements, dia-bol consequences arise, namely *more and more false judgments* and an *increase in the volume of the unknown*. Of course, this happens as a consequence of the observer’s limitation and insufficiency in comparison with the highly complex observed unity.

What is truth from a more concrete meaningful and conceptual point of view? Luhmann rejects the widespread conception of truth as the *adequacy* of a judgment in relation to the external world (the correspondence theory of truth), where the external world would appear as a guarantor of the correctness of statements about it [5]. And, this is evidenced in mathematics because the correspondence theory requires one to look for objects of mathematics somewhere outside the discipline.

There is also a question: what to do with the huge number of false judgments, obviously indicating the inexplicable “malignancy” of the objects of these judgments, which for some reason do not show themselves immediately and unconditionally to the observer? However, Luhmann also reserves many *positive* functions for false judgments (see below), but it is especially interesting to consider them from a comparative system perspective.

Falsity in scientific judgments is in some sense functionally analogous to the representations of the opposition in the political system, the medium of the power code. Thus, opposition judgments, from the point of view of the parliamentary majority, are recognized as erroneous but, nevertheless, are not considered “criminal” despite the fact that their ultimate goal is to change social structures, reform and, finally, to oust the ruling party. Such judgments should provoke the ruling party to instantly neutralize them, but nevertheless they are freely articulated, considered and even sometimes accepted.

Their improbable probability and the improbable probability of erroneous judgments in science should be explained. Why is someone who is wrong being tolerated rather than called a liar, or at least excluded from the scientific community as an unsuccessful participant?

Truth from a Comparative Communicative Perspective

Truth, in terms of its medial, i.e., mediation function, retains some properties common to other communicative media of communication (power, money, love, faith, law, etc.).

The genesis of truth is as *improbable* as the one of these media. Indeed, how improbable is this colossal effort of spending one’s own time reading and creating highly specialized texts!

Truth is capable of *inflation and deflation*, i.e., it is capable of gaining or losing its significance from the point of view of observers of truths from other systems.

It is as abstract as other media, and therefore has to rely on bodily-and-material mechanisms to prove its significance, i.e., it is able to form some kind of *symbiotic* mechanisms, to use the bodily properties of the organism (primarily its

perceptual abilities) to control the process of truth–value distribution in case of doubts about the truth: just as the medium of *power* is able to rely on the mechanisms of its certification and control through *physical* violence, and the medium of *love* uses the symbiotic mechanism of the body and sexuality to prove the abstract and therefore unreliable symbolic meaning of this medium.

The improbability of the genesis of the medium of truth is first of all expressed in the fact that the one who offers new truths is not seen as a liar or falsifier! After all, it undermines past, and thus reliable and authenticated, knowledge, and doubts the fundamental foundations of scientific consensus. In the system of legal communications, this is equivalent to the situation when a reformer who proposes changes in legislation and thereby undermines the “foundations” of an actually functioning state is not, after all, perceived as a criminal (and if he or she is interpreted as such, it means that the communicative system of law has simply not reached maturity) [6].

All communicative systems face this mismatch between the *function of selecting* the best of the possible offers of meaning (i.e., integrating this system and rejecting everything that does not belong to the system (economic, political, religious requests for contact) and the function of social media in establishing social consensus).

Thus, the dilemma of *consensus-conflict* in science is decoupled from the dilemma of *truth and falsehood*, which forces the rejection of an *activity-based* understanding of truth. The rejection of a false proposition is no longer to be seen as an “arbitrary and purposeful” act, as a free action; such an assertion of truth and rejection of a former false position is now stylized as a “forced” decision based on the objectivity and intersubjectivity of perception, with which opponents are forced to agree. As a result, these decouplings of the two dilemmas (*true/false* and *consensus/conflict*) multiply variations: conflict (or polemics) can be organized around both falsehood and truth, and neither guarantees agreement.

Science and Second-Order Observation

Thus, the generic concept of science reduces truth to a communicative system, i.e., an internally *closed* sequence of messages (= actions), categorized by their meaning or significance into true or false, which guarantees that the system is isolated. And although it consists of messages (actions), their meaning is determined intersubjectively – by certifiable *experiences* (perceptions) of external reality. That is why science simultaneously demonstrates the properties of an *open* system because, unlike other systems, it is also able to capture external reality using its perceptual abilities. It sees what is closed to other observers, even if this primary observer is the practicing scientist himself.

In the first-order observation, the observer (the practicing scientist) does not distinguish between his knowledge of facts and the world, between facts as events of the external world and facts as scientific fixations of these events. Everything that the scientist *knows* coincides with the boundaries of the cognizable *world*, and knowledge turns out to be true, i.e., correlative to the world – knowledge.

It is only in the second-order observation that one suddenly discovers that not everything in knowledge corresponds to the world (e.g., some theoretical variables do not find correlates in the world), that not all knowledge is *true*, and thus knowledge of how things really are is different from this “really”.

Hence, there are (at least) three *modi operandi* of possible observational statements: “A is”; “I know that A is”; “I know that it is true that A is”. In each subsequent statement, some additional observational perspective is added.

At the same time, the second-order observation is realized in science at least twice. In the first case, it takes place in determining the actual value of a scientific result, when some researchers observe how something “the same” is observed by others (in the repetition of experiments in other laboratories, in the expert evaluation of scientific publications, at thesis committees, at scientific conferences, etc.). In the second case, the second-order observation is built on top of the first two observations: when a special subsystem of the scientific system with the function of reflexion (epistemology, theory of knowledge, philosophy, sociology, or history of science) capable of generating criteria for evaluating the “best theories” is isolated.

Of course, science is always evaluated also from the point of view of its *external* observation: politics, church, economy, mass media, etc., but all of them do not have competences comparable to scientific observation. If science cannot be observed by a sufficiently competent observer capable of adequately capturing the complexity and functions of science, one has to take into account the possibilities of internal observation, look for internal competent authorities capable of evaluating scientific theory from their own disciplinary perspectives.

Conclusion: Publications and Disciplines

And yet, the number of potential connections (that promises that some scientific topics will be successful) remains too large to be finally categorized by means of a binary code of truth/falsehood through methodological-theoretical verification.

The last prerequisite for “inclusion” in the world of scientific communication is publication. Publication is, above all, the presentation of knowledge, not its production. Here the communicative conditions of science are particularly evident. In fact, it is only at this stage that communicative messages claiming to be truth and new ones become knowledge! In order to turn into knowledge, some initially extremely complex messages obtained as a result of knowledge production must be reduced (shortened, simplified, presented in a highly selective manner) to such an extent that they can fit into the framework of a scientific article. Only in this way can they be adequately understood and accepted. Otherwise, they will never become knowledge.

References

1. Stepin, V.S. (2009) Nauka [Science]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki* [Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science]. Moscow: Kanon+, ROII Reabilitatsiya. pp. 560–566.
2. Weber, M. (1946) *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press. pp. 129–156.
3. Merton, R.K. (1968) *Social Theory and Social Structure*. New York: Macmillan. pp. 576–588.
4. Bloor, D. (1991) *Knowledge and Social Imagery*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
5. Kasavin, I.T. (2009) Istina [Truth]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Entsiklopediya epistemologii i filosofii nauki* [Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science]. Moscow: Kanon+, ROII Reabilitatsiya. pp. 323–329.
6. Luhmann, N. (1990) *Die Wissenschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Список источников

1. Стёпин В.С. Наука // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И.Т. Касавина и др. М. : Канон+, РОИИ «Реабилитация», 2009. С. 560–566.
2. Weber M. Science as a Vocation // From Max Weber: Essays in Sociology. New York : Oxford University Press, 1946. P. 129–156.
3. Merton R.K. Science and the Social Order // Social Theory and Social Structure. New York : Macmillan Publishers, 1968. P. 576–588.
4. Bloor D. Knowledge and social imagery. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1991. 203 p.
5. Касавин И.Т. Истина // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И.Т. Касавина и др. М. : Канон+, РОИИ «Реабилитация», 2009. С. 323–329.
6. Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. 732 S.

Information about the authors:

Antonovsky A.Yu. – Dr. Sci. (Philosophy), chief research fellow. Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: antonovski@hotmail.com

Pogozhina N.N. – junior research fellow of the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: pogozhinann@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Сведения об авторах:

Антоновский А.Ю. – доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН (Москва, Россия). E-mail: antonovski@hotmail.com

Погожина Н.Н. – младший научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: pogozhinann@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The article was submitted 19.04.2025;

approved after reviewing 21.05.2025; accepted for publication 30.06.2025

Статья поступила в редакцию 19.04.2025;

одобрена после рецензирования 21.05.2025; принята к публикации 30.06.2025

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья
УДК 141.131
doi: 10.17223/1998863X/85/5

ОШИБКА ПЛАТОНА?

Марат Викторович Городецкий

Сибирский университет потребительской кооперации, monheim@list.ru

Аннотация. Автор анализирует фрагмент диалога Платона «Парменид», в переводе Н.Н. Томасова и выводит, что в тексте перепутаны местами «бытие» и «небытие» в распределении этих понятий относительно единого несуществующего и единого существующего. Утверждается, что причиной ошибки, а также расхождений и неясностей в других переводах является неточность или ошибка в оригинале «Парменида».

Ключевые слова: «Парменид», единое существующее, единое несуществующее, бытие, небытие

Для цитирования: Городецкий М.В. Ошибка Платона? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 64–74.
doi: 10.17223/1998863X/85/5

HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

A MISTAKE OF PLATO?

Marat V. Gorodezky

*Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, Russian Federation,
monheim@list.ru*

Abstract. The article asserts the presence of an inaccuracy or mistake in the fragment of Plato's dialogue *Parmenides*, which deals with the one existing and non-existing in correlation with being and not-being. The author subjects this fragment, translated by N.N. Tomasov, to analysis and comes to the conclusion that the text confuses "being" and "not-being" in the distribution of these concepts in relation to the one non-existing and the one existing. At the same time, the one is treated as a philosophical category that logically rises above existence (in contrast to the eleatic one), uniting being and not-being, existing and non-existing, in the proclamation of which, according to the author, lies the main meaning of *Parmenides*. The confusion of being and not-being in the fragment in question contradicts this meaning and the general logic of the dialogue. The author further considers other translations of the analysed fragment, Russian (by F.A. Zlatoustovsky, V.N. Karpov and Yu.A. Shichalin) and foreign (English by B. Jowett, German by F. Sussemihl, and French by A. Diès), as well as the original ancient Greek text. A common feature of these translations, which sets them apart from the one by Tomasov, is that the term "the one" is absent or feebly pronounced (the case of Jowett) notwithstanding its, asserted by the author,

necessity in the logical structure of the fragment. Instead of the one (which is and which is not) they deal with being and not-being thus degrading a subject matter to a correlation between being and not-being in their inter-combinations, rather than a correlation between the one and being/not-being, necessary from the author's point of view and present in Tomasov's translation (what makes it the most accurate, in the author's opinion, the mistake notwithstanding). Counter to linguistic issues, a conceptual nature of the subject is stressed. According to the result of the research, the author concludes that the cause of the mistake in the initial text analysed, as well as the discrepancies and ambiguities in the translations examined, is an inaccuracy or mistake in the original *Parmenides*. This inaccuracy or mistake, which is not completely identical with the initial mistake found in Tomasov's translation, but which provoked it, consists in the use of the word "not-being" (μὴ εἶναι) instead of the word "being" (εἶναι) in the first part of the first sentence of the fragment.

Keywords: "Parmenides", the one existing, the one non-existing, being, not-being

For citation: Gorodezky, M.V. (2025) A mistake of Plato?. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 64–74. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/5

Ошибку мы видим в следующем фрагменте «Парменида» (в переводе Н.Н. Томасова), который заранее воспроизводим с предлагаемыми нами исправлениями: «Следовательно, единое несуществующее, чтобы быть несуществующим, должно быть связано с небытием (*должно быть «бытием»*) тем, что оно есть несуществующее, равно как и существующее, для полноты своего существования, должно быть связано [с бытием] (*должно быть «небытием»*) тем, что оно не есть несуществующее. В самом деле, только в таком случае существующее будет в полном смысле слова существовать, а несуществующее не существовать, поскольку существующее, чтобы быть вполне существующим, причастно бытию, [содержащемуся в] «быть существующим», и небытию, [содержащемуся в] «не быть несуществующим», и поскольку несуществующее, чтобы тоже быть вполне несуществующим, причастно небытию, [содержащемуся в] «не быть существующим», и бытию, [содержащемуся в] «быть несуществующим» [1. С. 309].

В чем смысл фрагмента и почему важно в нем разобраться, а при наличии ошибки – понять, как должно быть, т.е. исправить ошибку и зафиксировать этот удивительный случай? Прежде всего, речь в диалоге в целом идет об едином, постулируется эта важнейшая для всей последующей философии категория. Общий смысл в том, что единое это не сущее, оно категориально выше сущего и включает его. Именно эта позиция выводит платоновское единое в «Пармениде» на принципиально новый уровень по сравнению с элеатским единым. И в этом же заключается смысл самой постановки вопроса о «едином несуществующем и существующем» в связи с бытием и небытием.

С этой исходной точки зрения рассматриваемый фрагмент является не рядовым, но ключевым в диалоге, а вопрос о нем – не филологическим, но философским, направленным на прояснение понятия, относящегося к важнейшим в философии. Итак, о чем говорится в данном фрагменте? Проводится связь между: 1) единым как несуществующим и бытием; 2) единым как существующим и небытием. Смысл с точки зрения логики диалога именно в перекрестном соединении, т.е. выходящем за пределы прямого и кажущегося очевидным элеатского «бытие – есть, небытия – нет»: несуществующего с бытием и существующего с небытием. Платон хочет сказать, что на уровне единого несуществующее связано с бытием (обладает бытием, пересекается с

ним), а существующее связано с небытием (пересекается с небытием), только в рамках чего становится возможным постулируемое понятие единого, преодолевающее дихотомию бытия и небытия. Лишь в этом заключается смысл возвышающегося над сущим единого: единое объемлет бытие и небытие и уравнивает (перекрещивает) их. В свете этой рамочной идеи разберем теперь фрагмент подробно.

В первом предложении фрагмента вопреки изложенной идее читается не перекрестная, а прямая связь. Единое несуществующее связывается с небытием (прямая связь: несуществующее – небытие), а единое существующее – с бытием. Предположим, что мы ошибочно трактуем смысл и что прямая связь правильная, а для большей чистоты этого предположения рассмотрим весь этот фрагмент вне изложенной выше идеи, вне контекста вообще. Что тогда получится? Заметим сразу, что прямая связь вместо утверждаемой нами перекрестной действительно может показаться верной просто потому, что во фразе *«должно быть связано с небытием тем, что оно есть несуществующее»* слова *«с небытием»* совпадают по смыслу с *«несуществующее»*, и аналогично во фразе *«должно быть связано [с бытием] тем, что оно не есть несуществующее»* слова *«с бытием»* совпадают с конструкцией *«не есть несуществующее»*. То есть получается в таком случае, что *«несуществующее»* в *«едином несуществующем»* указывает на связь с небытием, а *«существующее»* в *«едином существующем»* указывает на связь с бытием (по смыслу *«не есть несуществующее»*). Сомнение, впрочем, закрадывается сразу в связи с очень уж формально-косвенным значением бытия в конструкции *«не есть несуществующее»* в таком толковании, но по первому впечатлению вполне может показаться, что так может быть и что это правильно.

Итак, что получается по смыслу, если понимать описанным прямым образом? Получается, будто Платон имеет в виду следующее: *«несуществующее»* есть несуществующее, а *«существующее»* есть существующее (несуществующее единое – потому что оно не существует (связано с небытием), а существующее единое – потому что существует, *«не есть несуществующее»*). Но тогда имеет место, по сути, тавтология и отсутствие тезиса, потому что утверждается то, о чем просто нет смысла говорить. Получается, что субъект тезиса связывается с ним же самим, без приписывания отличного от него (добавляемого, нового) предиката. Это пустая мысль, и понимать данный текст таким образом значит приписывать автору бессмыслицу.

Другое дело, когда мы говорим: *«несуществующее – есть»*. Мысль именно в том и заключается, что предикат *«есть»* не подразумевается субъектом *«несуществующее»*, и поэтому приписывание его является настоящим утверждением, а не пустой мыслью. Следовательно, в рамках этой мысли о существовании несуществующего обоснование должно заключаться не в связи несуществующего с небытием, в чем нет надобности и смысла, а в связи его с бытием: *«единое несуществующее»*, тем, что оно *«есть несуществующее»*, связано с бытием, а не небытием. Аналогично: *«единое существующее»*, тем, что оно *«не есть несуществующее»* – связано с небытием, а не бытием. Повторим, что мы специально рассмотрели фрагмент без образующей контекст идеи про объемлющее бытие и небытие единое, и от этого тем более убедительным становится делаемый вывод, по которому получается, что перекрестное, соединяющее существующее с небытием и несуществую-

щее с бытием прочтение является правильным, образующим совпадение с контекстной идеей *до* самой этой идеи, изнутри фрагмента.

Наконец, исчерпывающим подтверждением именно такого прочтения является второе предложение фрагмента. Дело в том, что оно изначально играет роль пояснения, раскрывающего чуть подлиннее и другими словами мысль, излагаемую в первом предложении. Что говорится в этом втором предложении? Во-первых, повторяется ключевой и целевой в диалоге смысл единого как уровня полноты существующего и несуществующего, речь идет об условии этой полноты – о том, каким образом существующее будет вполне (т.е. на уровне полноты, в качестве единого) существующим, а несуществующее вполне несуществующим. А далее само условие, разобьем его на части для удобства: 1) существующее, чтобы быть вполне существующим, причастно бытию, [содержащемуся в] «быть существующим», и небытию, [содержащемуся в] «не быть несуществующим»; 2) несуществующее, чтобы тоже быть вполне несуществующим, причастно небытию, [содержащемуся в] «не быть существующим», и бытию, [содержащемуся в] «быть несуществующим».

Первая часть: вполне существующее (единое существующее) причастно бытию... и небытию, содержащемуся в «не быть несуществующим». Настоящий смысл, образующий суть тезиса, заключается в конце: вполне существующее причастно небытию – т.е. связано с небытием, если формулировать лексически, как в первом предложении. Существующее – с небытием, т.е. перекрестная, а не прямая связь.

Вторая часть: вполне несуществующее (единое несуществующее) причастно небытию... и бытию, содержащемуся в «быть несуществующим». Аналогично: ключевой смысл в конце – вполне несуществующее причастно бытию, т.е. связано с бытием, и перекрестная связь вместо прямой, что и требовалось продемонстрировать.

Еще раз, именно вследствие того, что второе предложение повторяет смысл первого, та ясность, с которой в нем утверждается наличие перекрестной связи между единым существующим / несуществующим и небытием / бытием, доказывает, что то же самое должно быть и в первом предложении – перекрестная связь, а не прямая. И тогда оказывается налицо утверждаемая нами смысловая ошибка в исходном тексте. Еще раз приведем фрагмент в начисто исправленном виде:

«Следовательно, единое несуществующее, чтобы быть несуществующим, должно быть связано с *бытием* тем, что оно *есть* несуществующее, равно как и существующее, для полноты своего существования, должно быть связано [с *небытием*] тем, что оно *не есть* несуществующее. В самом деле, только в таком случае существующее будет в полном смысле слова существовать, а несуществующее не существовать, поскольку существующее, чтобы быть вполне существующим, причастно бытию, [содержащемуся в] «быть существующим», и небытию, [содержащемуся в] «не быть несуществующим», и поскольку несуществующее, чтобы тоже быть вполне несуществующим, причастно небытию, [содержащемуся в] «не быть существующим», и бытию, [содержащемуся в] «быть несуществующим».

Хорошо, а теперь вопрос, который просто не может не возникнуть в данном случае (возникает на самом деле даже прежде анализа): а как дело обсто-

ит в других переводах, русских и иностранных, и, главное, в первоисточнике? Чисто исторически это даже более важный вопрос. Так вот, обнаруживаются следующие примечательные обстоятельства.

В цитируемом нами тексте представлен наиболее распространенный в русских изданиях Платона с 1930-х гг. перевод Н.Н. Томасова. Существуют более ранние переводы Ф.А. Златоустовского и В.Н. Карпова, а также новый перевод Ю.А. Шичалина. Как обстоит дело с рассматриваемым фрагментом в этих переводах? Воспроизведем не весь абзац, а первое, содержащее проблему предложение в каждом из них. Заранее поясним, что в скобках курсивом мы приводим примечание, поясняющее, что имеется в виду, необходимое в связи с тем, что в тексте у Платона (в оригинале) в данном абзаце единое несуществующее обозначается местоимением, а единое существующее – сокращенно, после предыдущего абзаца, где об едином несуществующем говорится прямо (τὸ ἐν οὐκ ὄν).

У Златоустовского: «Итак, оно, как несуществующее (*единое несуществующее*), условием своего небытия должно иметь бытие, если должно не быть; равно как „существующее“ (*единое существующее*) должно иметь небытие небытия, чтобы совершенно быть» [2. С. 133]. У Карпова: «Следовательно, чтобы не быть, оно (*единое несуществующее*) должно связываться в небытии – бытием небытия, подобно тому, как существующее (*единое существующее*), чтобы совершенно быть, должно связываться в бытии – небытием небытия» [3. С. 316–317]. У Шичалина: «Поэтому в качестве некой скрепы своего небытия оно (*единое несуществующее, «одно, которого нет»* – по предыдущему абзацу у Шичалина) должно обладать бытием в качестве „того, чего нет“, – точно так же, как бытие (*единое существующее*), чтобы полностью быть, должно обладать небытием в качестве небытия» [4. С. 232–233].

Сразу бросается в глаза, что ошибки, найденной нами в тексте по переводу Томасова, во всех трех этих переводах вроде бы нет. У Златоустовского: единое несуществующее – должно иметь бытие, а единое существующее – небытие; у Карпова: единое несуществующее должно связываться в небытии – бытием, а единое существующее должно связываться небытием; у Шичалина: единое несуществующее – должно обладать бытием, а единое существующее – небытием. И кажется исчерпывающим проблему вывод, что ошибка относится только к переводу Томасова – и закончить на этом. Однако дело обстоит сложнее и, в конечном счете, удивительнее, чем кажется на первый взгляд.

Сразу обращает внимание, что, несмотря на отсутствие ошибки, чисто философски (понятийно, логически) эти переводы менее ясны. Общая логика единого как существующего и несуществующего (о чем речь идет в переводе Томасова прямо, именно этими словами) передана с меньшей отчетливостью, и приходится догадываться или даже специально знать, что речь идет именно о нем. Это выражается отсутствием самого термина «единое», который, как мы считаем, принципиален и безальтернативен в данном случае. А объясняется это отсутствием, пожалуй, чисто лингвистически – тем, что древнегреческое τὸ ἐν переводится таким образом, что может подразумеваться как единое, так и бытие. Дело в том, что когда τὸ ἐν переводится как «одно» (как в рассматриваемых переводах), то в голем виде оно вообще не имеет смысла (в отличие от «единое») и получает его только в добавлении, как в данном случае, к существующему (или несуществующему). То есть получается «одно

существующее», что подразумевает просто «существующее», «бытие». С лингвистической точки зрения проблемы в таком переводе, наверное, нет, а вот с философской, как мы считаем, есть, и весьма значительная: снижается, в какой-то степени утрачивается важнейшая именно в данном случае проблематика единого, как будто речь идет о бытии, а не об едином¹. Вот и получается, что ошибки вроде нет или же она как будто исправлена, но с потерей глубины вопроса, с утратой ключевой в диалоге диалектической идеи. С водой выплеснут ребенок, чуть ли не так.

Почему в этих переводах выбрано «одно существующее», т.е. бытие (существующее), вместо «единого»? Мы видим ситуацию так: переводчики видели проблему выбора между прямым и перекрестным соотношением единого и бытия/небытия в тексте, но понимали ее, отождествляя или не вполне различая сами единое и бытие, и найдя выход в таком варианте перевода (в каждом из приведенных трех случаев), в котором речь идет не об едином, связанном с бытием / небытием, на уровне которого как раз и «выстреливает» проблема, а о самих бытии / небытии, пересекающихся друг с другом, в случае чего проблема сглаживается. У них получается такая перекрестная связь: бытия с небытием и небытия с бытием. Ошибочная прямизна при этом действительно преодолевается, а на самом деле снижается или даже утрачивается подлинная мысль. Дело еще в том, что древнегреческий оригинал в целом таков (к нему перейдем ниже), что действительно можно запутаться и подумать, что речь идет о бытии с небытием и не более того. То есть чисто лингвистически такое прочтение возможно и несколько не является ошибочным – и вот в этом-то и заключается каверза.

Каверза не только в том, что есть специфический понятийный философский уровень, который может быть не до конца передан даже в лингвистически совершенно точном переводе, но вот еще в каком вопросе. Если переводы Златоустовского, Карпова и Шичалина правильные и, формально по крайней мере, не содержат ошибку, значит, получается, ошибочен перевод Томасова, как будто Н.Н. Томасов перепутал в тексте Платона бытие с небытием и небытие с бытием – в переводе, многократно переизданном, в том числе под редакцией А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса и А.А. Тахо-Годи. Мы считаем совершенно невозможным этот вывод. И отсюда обнаруживается еще один, настоящий и окончательный уровень проблемы – он кроется в самом древнегреческом оригинале.

Но прежде чем перейти к оригиналу, посмотрим еще, как дело обстоит в иностранных переводах. В английском переводе Б. Джоуэтта: «Then the one which is not, if it is to maintain itself, must have the being of not-being as the bond of not-being, just as being must have as a bond the not-being of not-being in order to perfect its own being» [5. Vol. 4. P. 99]. Если адаптированно выделить ключевую часть: единое несуществующее должно иметь связь с небытием, бытие должно иметь связь с небытием («иметь бытие небытия как связь с небытием» – have the being of not-being as the bond of not-being и «иметь небытие небытия как связь» – have as a bond the not-being of not-being). Приме-

¹ Об этом свидетельствует комментарий к данному фрагменту у Карпова: «Я понимаю это так: бытие, для связи с небытием, должно иметь в себе нечто не существующее, равно как небытие, для связи с бытием, – нечто существующее» [3. С. 316]. То есть, по Карпову, не об едином в связи с бытием / небытием речь, а о перекрестной связи самих бытия и небытия.

чительно, что в первой части речь идет об едином, а во второй – о бытии. Как нам видится, эта несимметричность понижает смысл еще более, чем в случае перехода с уровня единого на уровень бытия в предложении целиком¹. Но еще примечательнее следующее – асимметрия в распределении связей. Если отталкиваться от лексически и логически неслучайного в тексте слова «связь» (так в древнегреческом оригинале), что, однако, может казаться не вполне очевидным в этих замысловатых самопересекающихся конструкциях, но мы настаиваем на этом, то получается, что в первой части формулы связь прямая – единое несуществующее связано с небытием; а во второй перекрестная – бытие связано с небытием. Как будто в первой части ошибка, а во второй правильно. Заметим заранее, что эта проблема или, скажем так, особенность английского перевода прямо связана с уже анонсированной проблемой, кроющейся в оригинале.

В немецком переводе Ф. Суземиля: «Demnach muss es an das Nichtseins gebunden sein, um wirklich ein Nichtseiendes zu sein, wenn anders es wirklich nicht sein soll, gerade sowie das Seiende an sein Sein gebunden sein muss, um an Nichtseiendes nicht zu sein, damit es wiederum seinerseits ein vollstaendiges Sein sei» [6. S. 42]. Здесь симметрия, в отличие от Джоуэтта, и прямая (ошибочная) связь, как у Томасова, в обеих частях формулы: единое несуществующее (es (оно) – das Eine ein Nichtseiendes, по предыдущему абзацу) связано с небытием (an das Nichtseins); единое существующее (сокращенно: «существующее» – das Seiende) – со своим бытием (an sein Sein).

Во французском переводе О. Диэ: «Il lui faut donc avoir, s'il doit ne pas être, comme lien le fixant à ce ne pas être, le «être non-étant»; tout comme ce qui est aura, de son côté, pour qu'il puisse pleinement être, le «ne pas être non-étant» [7. P. 108]. Это, пожалуй, самый примечательный из рассматриваемых нами иностранных переводов. В первой части, если читать прямо, не адаптируя, содержится двухуровневая семантико-синтаксическая схема: единое несуществующее (l'Un non-étant – по предыдущему абзацу) «должно иметь в каче-

¹ В переводах Златоустовского, Карпова и Шичалина эта несимметричность, надо признать, тоже просматривается, поскольку единое (как следует понимать и называть субъект тезиса в этом месте) подразумевается у них в слове «оно», вполне в соответствии с оригиналом (Джоуэтт здесь как раз отходит от него для большей ясности мысли – как и Томасов, кстати), а также в предыдущем абзаце в качестве «„одно“ „есть“ несуществующее» у Златоустовского, «одно не существующее» у Карпова и «одно, которого нет» у Шичалина. Но именно потому, что звучат эти термины (все три) по-русски совершенно неясно, не передавая смысл понятия единого и как бы скрывая его, и потому, что в самом фрагменте единое у них не называется – получается, что эта несимметричность вуалируется или даже редуцируется.

По поводу несимметричности «единое – бытие» любопытным оказывается еще то, как у Джоуэтта переводится второе предложение фрагмента, которое, как мы проходили, дублирует и поясняет смысл первого. Вот оно: «For the truest assertion of the being of being and of the not-being of not-being is when being partakes of the being of being, and not of the being of not-being – that is the perfection of being; and when not-being does not partake of the not-being of not-being but of the being of not-being – that is the perfection of not-being» [5. P. 99]. Наш перевод: «Ибо самое истинное утверждение бытия бытия и небытия небытия – это когда бытие причастно бытию бытия и не (причастно) бытию небытия, что есть совершенство (полнота) бытия; и когда небытие не причастно небытию небытия, но причастно бытию небытия – что есть совершенство (полнота) небытия». Нельзя не удивиться тому, что асимметрия не преодолевается, а усиливается: и совершенство бытия (the perfection of being, т.е. полнота бытия, *единое существующее*), и совершенство небытия (т.е. *единое несуществующее*) имеют своим условием не перекрестную и тем самым уравнивающую (симметризирующую) связь бытия с небытием и небытия с бытием (как во всех русских переводах), а одностороннюю: бытия с только бытием и небытия опять же только с бытием. Мы констатируем это обстоятельство, но от разбора этой удивительной трактовки (отдельного сопоставления с оригиналом и т.д.) – уклонимся.

стве связи, скрепляющей его с этим небытием, „бытие несуществующего“». Одна связь внутри другой: связь в качестве «*бытия несуществующего*» и связь (скрепление) с *небытием*. В плюс к этому амбивалентность в самом этом «*бытии несуществующего*» или «*бытии небытия*», «*être non-étant*» (в принципе это уже просматривалось в предыдущих переводах, в том числе русских). Что это, если произвести логически необходимый выбор главного: бытие или небытие? Получается в данном переводе, в большей степени, чем в других, что выбор приходится делать чуть ли не произвольно, в самом тексте его нет (здесь мы опять невольно переходим к проблеме оригинала, к содержащейся именно в нем неясности). Во второй части говорится: «существующее (се qui est) будет, со своей стороны, чтобы оно могло полностью быть, „небытием существующего“». Мы понимаем это так: единое существующее (симметрично первой части) *связано* (несмотря на то, что в тексте этого слова нет) с небытием – т.е. перекрестная, правильная связь. Получается, вследствие именно двусмысленности в первой части, что этот перевод оказывается не противоречащим и в этом смысле близким тому, что мы вывели выше как понятийно правильное толкование. Во всяком случае он не содержит нарушающей общий смысл предложения асимметрии (когда вначале про единое, потом про бытие) и в случае правильного выбора в первой части *допускает* это правильное толкование.

Итак, наконец, что содержится в древнегреческом оригинале? Вот он (как и в рассмотренных переводах, мы ограничиваем цитату первым предложением фрагмента): «Δεῖ ἄρα αὐτὸ δεσμὸν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι μὴ ὄν, εἰ μέλλει μὴ εἶναι, ὁμοίως ὥσπερ τὸ ὄν τὸ μὴ ὄν ἔχειν μὴ εἶναι, ἵνα τελέως αὐτὸ [εἶναι] ᾗ» [7. P. 108]¹. Беря на себя смелость самостоятельно перевести это предложение (не литературно, но в максимальной близости к оригинальному синтаксису), мы получаем следующее: «Следовательно, оно (*единое несуществующее*) связь имеет из небытия (*связано с небытием*) как несуществование бытия, если должно не существовать, сходно так же (*единое*) существующее имеет небытие (*связано с небытием*) как не существующее (=в качестве несуществующего), чтобы быть вполне существующим». Итак: единое несуществующее (τὸ ἐν οὐκ ὄν, по предыдущему абзацу) связано с небытием (ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι); единое существующее – связано с небытием. Формула симметричная (в обеих частях про единое: τὸ ὄν во второй части мы понимаем как сокращенное τὸ ἐν τὸ ὄν, симметричное τὸ ἐν οὐκ ὄν, подразумеваемому в первой части в местоимении αὐτὸ), в первой части связь прямая (ошибочная), во второй перекрестная (правильная).

Таким образом, получается следующее. Неясности и расхождения в разных переводах, а также явное понятийное недоразумение в исходном рассматриваемом нами переводе Н.Н. Томасова – все это коренится в исходной неточности или даже ошибке в древнегреческом оригинале автора «Парменида». Место этой неточности или ошибки: «αὐτὸ δεσμὸν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι τὸ εἶναι μὴ ὄν» – «оно связь имеет из небытия как несуществование бытия». По смыслу всего нами изложенного, должно быть так: «αὐτὸ δεσμὸν ἔχειν τοῦ εἶναι τὸ εἶναι μὴ ὄν» – «оно (*единое несуществующее*) связь имеет из бытия как несуществование бытия». Смысл в том, если вернуться к рассмотренному

¹ Мы используем древнегреческий текст из французского издания [7], содержащего перевод с страницинным древнегреческим оригиналом.

в первой части статьи, что единое несуществующее, т.е. полнота несуществующего, включает в себя в качестве *всего несуществующего* в том числе и несуществующее бытие. Аналогично единое существующее (полнота существующего, *все существующее*) включает в себя существующее небытие (небытие существующего как несуществующего).

Теперь, когда мы разобрались не только в логике, но и в происхождении, а также в нюансах исследуемой ошибки, мы можем произвести резюмирующую оценку: общая логика фрагмента передана в переводе Н.Н. Томасова, несмотря на ошибку, как раз с наибольшей ясностью из всех. Мы имеем в виду, во-первых, термин «единое» (существующее / несуществующее), который, повторим, мы считаем принципиальным, и его двойное, симметричное использование (вместо единого в одной части и бытия в другой). Во-вторых, мы имеем в виду саму схему, саму идею прямого либо перекрестного соотношения единого существующего / несуществующего, с одной стороны, и бытия/небытия, с другой стороны, которая отражена в этом переводе с максимальной четкостью. Сам вопрос об этом ключевом во фрагменте и в диалоге в целом соотношении в других переводах не возникает или недостаточно возникает (или же возникает, но как вопрос как будто произвольный, а не объективный, как будто проблема в том, что было написано Платоном как филологический факт, а не в том, что логически есть истина предмета, о котором говорит Платон) именно вследствие неясности, завуалированности ошибки. Скажем так, если бы не перевод Томасова, именно общая ясность которого позволила найти ошибку в этом фрагменте, мы не смогли бы обнаружить саму проблему и поставить вопрос о ней в настоящей, чисто понятийной философско-логической позиции.

Остается не до конца понятным и даже удивительным, почему Н.Н. Томасов и его редакторы (прежде всего они, потому что ошибка видна на основе этого перевода), а также и все остальные специалисты за сто с лишним лет активной переводческой и философской работы не обратили на это внимание? Ответим, пожалуй, так: это дело случая. И приходится констатировать, что этот случай просто ждал своего часа, не более того¹.

В заключение заметим, что, как нам видится, в большинстве случаев перевод этого фрагмента был произведен – точнее, *получился*, т.е. случайно стал таковым, просто по малости и кажущейся незначительности – не с точки зрения философской логики (с точки зрения предмета, стоящего за текстом), но больше чисто текстуально, чисто лингвистически, чем понятийно-философски. Иначе на проблему этого фрагмента было бы обращено специальное внимание и тому была бы посвящена отдельная работа, поистине того стоящая. Мы судим косвенно об отсутствии такой работы по относительно позднему переводу Ю.А. Шичалина (2017 г.),

¹ В переводе Н.Н. Томасова остается все же нюанс, не исчерпываемый приведенными нами объяснениями. Говорится во второй части первого предложения: «существующее, для полноты своего существования, должно быть связано [с бытием]». Ошибочное, по нашей трактовке, «с бытием» (вместо небытия) в квадратных скобках, конечно же, соответствует, по наличию этих квадратных скобок, оригинальному «ἵνα τελέως αὖ [εἶναι] ᾗ» – «чтобы полностью опять же [быть], поистине» или, как переводится адаптированно, «чтобы быть вполне [существующим]». В этом месте оригинала «бытие» ([εἶναι]) стоит правильно, и это даже не вызывает вопросов. Томасов же использует квадратные скобки, как будто соответствующие этому месту оригинала, в совсем другом по смыслу месте, где речь идет о бытии, с которым, вместо небытия, связано единое существующее.

в котором этому фрагменту не уделяется особое внимание даже на уровне комментария, при обилии подробных и глубоких комментариев в работе в целом.

Список источников

1. Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2016. 1311 с.
2. Платон. Парменид / пер. Ф.А. Златоустовского // Журнал Министерства народного просвещения. Часть CLXVII, отд. 2. 1873. С. 108–162. URL: ia802902.us.archive.org/34/items/20200324_20200324_1203/Платон.Парменид.pdf (дата обращения: 20.01.2025).
3. Платон. Парменид // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В.Н. Карпова. М.: Синодальная типография, 1879. Т. 6. С. 244–325. URL: Страница:Сочинения Платона (Платон, Карпов). Том 6, 1879.pdf/322 – Викитека (дата обращения: 20.01.2025).
4. Платон. Парменид / пер., введ., коммент., прил., указатель имен Ю.А. Шичалина. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. 264 с. URL: Платон. Парменид-Платон-2017 (дата обращения: 20.01.2025).
5. *The Dialogues of Plato* / Translated into English with analysis and introductions by B. Jowett, M.A. In five volumes, Vol. IV, Third edition. Oxford University press, American Branch, 1892. URL: <https://dn790007.ca.archive.org/0/items/Plato.dialoguesi.Jowett.Complete.5Volumes5VolsIn11Vol.10Vols.3rd/04.DialoguesPlato.v4.Jowett.3rd.1892.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).
6. *Platon. Parmenides (De Ideis)*. Nach der Übersetzung von Dr. Franz Susemihl in: *Platon's Werke*, dritte Gruppe, fünftes Bändchen, Stuttgart, 1865. URL: <http://www.operaplatonis.de/Parmenides.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).
7. *Platon. Oeuvres complètes*. Tome VIII – I-re partie. *Parménid*. Texte établi et traduit par Auguste Diès. Paris, Société d'édition "Les belles lettres", 1923. URL: <https://dn790007.ca.archive.org/0/items/uvrescompltes81plat/uvrescompltes81plat.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).

References

1. Plato. (2016) *Polnoe sobranie sochineniy v odnom tome* [Complete Works in One Volume]. Moscow: AL"FA-KNIGA.
2. Plato. (1873) *Parmenid* [Parmenides]. Translated by F.A. Zlatoustovsky. *Zhurnal" ministerstva narodnago prosvrshcheniya*. CLXVII(2). pp. 108–162. [Online] Available from: ia802902.us.archive.org/34/items/20200324_20200324_1203/Platon.Parmenid.pdf (Accessed: 20th January 2025).
3. Plato. (1879) *Sochineniya: v 6 t.* [Works: in 6 vols]. Vol. 6. Translated by V.N. Karpov. Moscow: Sinodal'naya tipografiya. pp. 244–325. [Online] Available from: [Stranitsa:Sochineniya Platona \(Platon, Karpov\). Tom 6, 1879.pdf/322](http://stranitsa.sochineniya-platona.ru/tom6/1879.pdf/322) — Vikiteka (Accessed: 20th January 2025).
4. Plato. (2017) *Parmenid* [Parmenides]. Translated by Yu.A. Shichalin. St. Petersburg: Russian Christian Humanitarian Academy. [Online] Available from: [Platon. Parmenid – Platon – 2017](http://platon.parmenid-platon-2017.ru/) (Accessed: 20th January 2025).
5. Plato. (1892) *The Dialogues of Plato*. Vol. IV. 3rd ed. Oxford University Press, American Branch. [Online] Available from: <https://dn790007.ca.archive.org/0/items/Plato.dialoguesi.Jowett.Complete.5Volumes5VolsIn11Vol.10Vols.3rd/04.DialoguesPlato.v4.Jowett.3rd.1892.pdf> (Accessed: 20th January 2025).
6. Plato. (1865) *Parmenides (De Ideis)*. Nach der Übersetzung von Dr. Franz Susemihl in: *Platon's Werke*, dritte Gruppe, fünftes Bändchen, Stuttgart. [Online] Available from: <http://www.operaplatonis.de/Parmenides.pdf> (Accessed: 20th January 2025).
7. Plato. (1923) *Oeuvres complètes*. Vol. 8. Paris: Société d'édition "Les belles lettres." [Online] Available from: <https://dn790007.ca.archive.org/0/items/uvrescompltes81plat/uvrescompltes81plat.pdf> (Accessed: 20th January 2025).

Сведения об авторе:

Городецкий М.В. – доцент кафедры философии и истории Сибирского университета потребительской кооперации (Новосибирск, Россия). E-mail: monheim@list.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gorodezky M.V. – associate professor, Philosophy and History Studies Department, Siberian University of Consumer Cooperation (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: monheim@list.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 21.01.2025;
одобрена после рецензирования 22.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 21.01.2025;
approved after reviewing 22.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 141.2

doi: 10.17223/1998863X/85/6

ПРОСВЕЩЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА Ф. КЕНЭ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Алексей Геннадиевич Корниенко

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
akornienko@spbu.ru*

Аннотация. В статье анализируется представление о современности как о философском концепте, разработанном в рамках просвещенческой парадигмы восприятия времени и характеризующемся через три ключевых момента: прогрессизм, активная ориентация по отношению к будущему, одновременность разновременного; а также демонстрируется, как эта специфическая парадигма реализуется в общем принципе работы экономической таблицы Ф. Кенэ.

Ключевые слова: Просвещение, современность, будущее, физиократия, экономическая таблица

Благодарности: статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, проект № 24-18-00895 «Концептуализация современности в философском дискурсе».

Для цитирования: Корниенко А.Г. Просвещенческий проект современности: экономическая таблица Ф. Кенэ как инструмент моделирования будущего // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 75–82. doi: 10.17223/1998863X/85/6

Original article

THE ENLIGHTENMENT PROJECT OF MODERNITY: FRANÇOIS QUESNAY'S ECONOMIC TABLE AS A TOOL FOR MODELING THE FUTURE

Alexej G. Kornienko

*Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation,
akornienko@yandex.ru*

Abstract. Problematising the ordinary understanding of modernity, which equates it solely with the living experience of the present moment, the author proposes to view modernity as a distinct philosophical concept that first emerged in the history of Western thought during the Enlightenment. As such, it was originally embedded within a unique Enlightenment paradigm of temporal perception, where the present was understood in an inseparable connection with a better future and contrasted with a pre-critical past. Broadly speaking, the specificity of this paradigm can be described through three key elements: progressivism, an active orientation toward the future, and the simultaneity of non-simultaneous phenomena. The first element presupposes an unconditional belief in the possibility of achieving a better future. The second implies the adoption of an attitude that heroizes the present, within which the future becomes directly dependent on decisions made in the present moment. Finally, the third requires considering a complex of phenomena occurring at different moments of time as coexisting simultaneously, that is, within a unified historical space. From the author's

perspective, all these elements can be identified in the political-economic doctrine of the physiocrats, particularly in the works of François Quesnay, namely in his “Economic Table”. By analyzing the genesis of Quesnay’s views on the general principles of the table and comparing its classical version with his earlier works on physiology, the author concludes that Quesnay’s ultimate goal was to visually represent the natural mechanism of capital reproduction, thereby justifying the possibility of its controlled renewal in the future. By situating different temporal moments within a single visual-mathematical space of the table, Quesnay not only substantiates the possibility of the French economic system’s normal functioning in the present but also vividly demonstrates its potential for future prosperity. Thus, the economic table established a distinct active orientation toward the future, expressed not only in critical theorizing but also in justifying the necessity of direct political action. According to the author, this interpretation of the goals and tasks of Quesnay’s project, on the one hand, situates it within the broader context of progressivist thought and, on the other, allows us to view the economic table as a unique macroeconomic tool designed to model a better future.

Keywords: Enlightenment, modernity, future, physiocracy, economic table

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-18-00895.

For citation: Kornienko, A.G. (2025) The enlightenment project of modernity: François Quesnay's economic table as a tool for modeling the future. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 75–82. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/6

Введение

С позиции обывателя, живущего в современном мире, вопрос о сущности современности может показаться праздным. Ведь сегодня всякий знает, что значит быть современным, а если не знает, то без труда может узнать, осведомившись на этот счет у общепризнанных лидеров мнений или самостоятельно приобщившись к последним веяниям массовой культуры. В этом смысле наша современность давно перестала быть чем-то современным, т.е. тем, что изначально позиционировалось как нечто новое, ранее невиданное и требующее осмысления. Сегодня все мы так или иначе уже живем в современности, принимая ее как должное, как то, в чем разворачивается наш опыт восприятия собственного настоящего и откуда выстраивается перспектива восприятия истории вообще. Однако с точки зрения истории философии, современность – это не только наше настоящее, но и уже прошедшее будущее, т.е. такое будущее, которому однажды суждено было стать прошлым. Другими словами, современность – это не столько объективная категория, достоверно отражающая свойства действительности, сколько концепция, которая была однажды изобретена и принята сначала в поле прогрессивной мысли, а затем и в рамках обыденного сознания.

Разумеется, вопрос о том, кому конкретно принадлежит честь открытия современности, до сих пор остается открытым, и тем не менее мы с уверенностью можем сказать, что произошло это в эпоху Просвещения [1. С. 55]. Так, именно во временном промежутке между XVII и XVIII вв. в работах различных европейских интеллектуалов было сформулировано то специфическое отношение между настоящим, прошлым и будущим, которое до сих пор структурирует наш опыт современности. При этом если роль одних мыслителей в данном интеллектуальном свершении, таких как И. Кант или А. Смит, давно была изучена, заслуги других до сих пор остаются несправед-

ливо забытыми. Восполняя данную лакуну в отечественном историко-философском знании, представленная статья обращается к наследию движения физиократов, в частности, к творчеству его основателя Ф. Кенэ, и ставит перед собой цель прояснить, как разработанный им инструмент макроэкономического анализа – экономическая таблица – несет на себе следы становления особой просвещенческой парадигмы восприятия настоящего, понятого как современность. Для достижения поставленной цели фокус внимания исследования предполагается сместить с узкой политико-экономической проблематики, в рамках которой традиционно анализируется экономическая таблица, и рассмотреть ее в рамках проблематики историко-философской, т.е. как специфический артефакт определенной интеллектуальной эпохи, сформированный рядом ценностных и мировоззренческих установок.

Просвещенческий опыт восприятия времени

Как поясняет Л. Варди, доктрина физиократов представляла собой нечто большее, чем просто экономическую теорию [2. Р. 3]. Скорее ее можно определить как некий комплекс идей, призванных охватить чрезвычайно широкий спектр проблем, от вопросов социальных и политических до вопросов этических или даже эстетических. Как таковая доктрина физиократов опиралась на своеобразное понимание природы человеческого разума, развитое в контексте господствующих на то время мировоззренческих установок, формирующих специфическое понимание человеком своей роли в окружающем мире. Так, повсеместные успехи экспериментально-математического естествознания укрепили веру в наличие в мире универсальных законов, регламентирующих область не только природную, но и моральную, а убеждение в возможности их прямого и непосредственного познания трансформировало традиционное представление человека о самом себе и легитимизировало его потребность в действии. Отныне человек – это уже не сущее среди сущих, включенное в гармоническое единство космоса, и не творение Бога, а мыслящее существо, способное не только проникать в тайны этого мира, но и изменять его. При этом следствием смены предшествующей парадигмы, помимо прочего, стало и появление ранее неведомого опыта восприятия времени, который мы можем обозначить если не как современный, то по крайней мере как модернистский.

В отличие от предшествующего этот новый опыт прежде всего характеризует переориентация отношения между тремя моментами времени. Так, если античное восприятие времени было погружено в рамки вечности, где настоящее представляло собой циклическое повторение прошлого, а Средневековье фиксировало свое внимание по большей части именно на настоящем и по сути не знало будущего, поскольку последнее ограничивалось ожиданием Страшного суда, чье наступление находилось исключительно в ведении Бога, то уже раннее Новое время и в полной мере эпоха Просвещения были всецело захвачены будущим. Поэтому, как отмечает Ю. Хабермас, характерный пафос Просвещения, по сути, выражает собой убеждение, что «будущее уже началось», и как таковая это эпоха, которая «устремлена в будущее, которая открыла себя предстоящему новому» [3. С. 11]. В общем и целом просвещенческую перспективу восприятия времени можно охарактеризовать через следующие три момента: вера в технический и моральный прогресс

человечества; активная ориентация по отношению к будущему, базирующаяся на убеждении в том, что лучшее будущее не только возможно, но и необходимо приблизить за счет повседневной практики, реализуемой в настоящем; представление об одномоментном соприсутствии в едином историческом пространстве разнородных элементов, находящихся на различных ступенях своего эволюционного развития.

Что касается первого момента, то он достаточно очевиден и не требует особых пояснений. Так, на сегодняшний день в исследовательской литературе сложилось достаточно устоявшееся мнение, что концепция поступательного и, по сути, неограниченного развития человечества была сформирована в эпоху Просвещения (см. [4]). В контексте представленного исследования стоит лишь отметить, что первенство в ее разработке традиционно приписывается именно представителю движения физиократов или по крайней мере человеку, тесно с ним связанному, – А. Тюрго (см. [5]). Что касается второго момента, то здесь необходимо упомянуть специфическую установку по отношению к повседневности, развитую в это время и которую мы вслед за М. Фуко можем обозначить как «установку на современность» [6. С. 344]. Согласно этой установке, настоящее представало как открытый проект, устремленный в будущее и требующий от просвещенного человека прямого участия в судьбе будущих поколений, реализуемого как практика «героизации настоящего», т.е. как практика безотлагательного приближения будущего в пространство повседневности [6. С. 345]. Последний момент в предложенной интерпретации опирается на концепцию «одновременности разновременного» (*Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen*) Р. Козеллека, т.е. специфического просвещенческого нарратива, в рамках которого современность переживается как одновременное сосуществование множества разновременных элементов, прежде всего народов и государств, живущих в различных исторических эпохах, имплицитно подразумевающую, что именно просвещенные европейские народы пребывают в сравнении с другими в относительно будущем [7. Р. 266].

Экономическая таблица Ф. Кенэ как математический инструмент моделирования лучшего будущего

Итак, все вышеобозначенные моменты, формирующие специфический «хронотоп» эпохи Просвещения и задающие общие рамки, в которых развивается ее рефлексия о собственном настоящем, различимы и в творчестве физиократов, в частности, у Ф. Кенэ, а именно в разработанной им экономической таблице (см. [8]). Как известно, условно канонический вариант таблицы, который впоследствии станет объектом пристального интереса К. Маркса и прочих классиков экономической мысли, был лишь одним из множества других вариантов [9. Р. 61]. Этот факт указывает нам на то, что Кенэ на протяжении достаточно долгого времени возвращался к работе над ней, уточняя и модифицируя свой изначальный замысел. Более того, как отмечает А. Биллинг, достаточно очевидная связь общей концепции экономической таблицы прослеживается и с более ранними физиологическими работами Кенэ, прежде всего с вариантом «Общей таблицы», представленным в его эссе «Физическая экономия животных» [10. Р. 81]. При этом речь здесь идет не о том, что, двигаясь от физиологии к философии, а от нее и к по-

литэкономии, Кенэ сформулировал принцип кругооборота общественного продукта, используя метафору кровообращения, и даже не о том, что обе таблицы, по сути, отражают собой попытку следовать в изложении своих мыслей эпистемологическому принципу очевидности, заявленному самим Кенэ в его статье для «Энциклопедии» (см. [11]). Скорее, как отмечает исследователь, в обоих случаях мы имеем дело с попыткой наглядно изобразить с помощью статичных знаковых средств динамические процессы движения крови, лимфы, капитала и, по сути, самого времени [10. Р. 82].

Так, с точки зрения А. Биллинга, если в «Экономии животных» Кенэ так и не удается изобразить процесс циркуляции крови и других биологических жидкостей в силу «неадекватного двухмерного пространства» общей таблицы, то уже в таблице экономической за счет использования ряда ломаных пунктирных линий, чисел и столбцов Кенэ не только смог наглядно отразить принцип годового кругооборота капитала, но и «инкорпорировать» в его изображение само время, в котором он разворачивается [10. Р. 82]. Выражаясь в терминах Маркса, экономическая таблица отражала структуру как производства, так и воспроизводства капитала, т.е. процесс его контролируемого возобновления в будущем. Другими словами, таблица Кенэ предлагала «синхроническую репрезентацию диахронического процесса» [9. Р. 71] и поэтому не только фиксировала экономическую ситуацию в текущем моменте, но и обладала прогностическим потенциалом, что, в свою очередь, открывало пространство для принятия необходимых политических решений. Примечательно, что, по словам самого Кенэ, экономическая таблица есть не что иное, как «способ размышления над настоящим и будущим» (цит. по: [9. Р. 60]). При этом будущее в данном случае оказывалось в прямой зависимости от настоящего, а сама таблица, по мнению В. Нельсона, предстает «наиболее влиятельным и хорошо проработанным инструментом конструирования будущего», отчетливо отражающим «активную ориентацию по отношению к будущему» во французской политико-экономической мысли XVIII в. [9. Р. 60].

По сути, задача, стоявшая перед Кенэ и его последователями, заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможность обеспечения сбалансированного функционирования французской экономической системы, пришедшей в упадок к концу XVII в., за счет последовательного введения ряда мер государственного регулирования. Так, проследивая циркуляцию расходов собственников посредством многочисленных обменов между бесплодными и производительными классами, таблица отображала цикличность экономических процессов. Тем самым вскрывался внутренний, или «природный», механизм функционирования экономической системы и соответственно открывалась возможность его регулирования и балансировки. При этом, используя метод визуально-математической аргументации, Кенэ удалось не только отразить процесс ежегодного воспроизводства капитала, но и представить картину ранее неведомого процветания, ожидающего Францию в будущем и всецело зависящего от ее настоящего [9. Р. 61]. Так, в различных вариациях таблицы Кенэ неоднократно демонстрирует, каким образом сокращение чрезмерных расходов в текущем моменте может привести к росту всеобщего благосостояния на длительной временной дистанции. Как таковая таблица показывала не только, что будущее может быть сконструировано, но и то, что оно может быть сконструировано гораздо лучше, чем прошлое.

В этом смысле, как отмечает П.Н. Клюкин, таблица Кенэ, подобно таблице категорий Канта, была своеобразным «рассудочным априори», т.е. такой структурой, которая наперед предписывала опыту все возможные варианты его развития, но при этом оставляла зазор для принятия политических решений [12. С. 96].

Заключение

Таким образом, обозначив ряд ключевых моментов, задающих контур просвещенческому опыту восприятия времени, и рассмотрев общий принцип работы экономической таблицы, мы можем сделать следующие выводы.

Во-первых, сама задача, которую ставит перед собой Кенэ, – не только сбалансировать функционирование французской экономической системы в текущем моменте, но и обеспечить возможность ее процветания в будущем – предстает вполне в прогрессистском духе и, по сути, разделяет характерную для просвещенческого мировоззрения веру в возможность поступательного прогресса человечества.

Во-вторых, позиционируя экономическую таблицу как своеобразный математический инструмент, наглядно демонстрирующий, что будущее не только может быть сконструировано, но и сконструировано как кардинально отличное от прошлого, т.е. как лучшее будущее, находящееся при этом в непосредственной зависимости от настоящего, Кенэ разделяет активную ориентацию по отношению к будущему, направленную на «героизацию» собственного настоящего и характерную для просвещенческой мысли вообще.

В-третьих, представляя в своей визуально-математической модели принцип годового кругооборота общественного продукта, Кенэ, по сути, удается отобразить ход самого времени, как бы конденсируя в одном моменте настоящего прошлое и будущее. Тем самым в его проекте реализуется характерное для просвещенческой мысли представление о возможности одновременного сосуществования различных разновременных элементов.

При этом следует отметить, что сделанные выводы вовсе не претендуют на исчерпывающую иллюстрацию ранее обозначенных моментов просвещенческого восприятия времени. Взятые по отдельности, они могут быть проиллюстрированы и на более наглядных примерах. Так, увлеченность идеей прогресса отчетливее прослеживается в трудах ранее упомянутого А. Тюрго (см. [5]) или в нарождающемся именно в эпоху Просвещения жанре футурологической литературы (см. [13]). Активная ориентация по отношению к будущему и необходимость героизации собственного настоящего – в ряде поздних работ И. Канта (см. [6]), а принцип «одновременности разновременного» – в теории культуры И.Г. Гердера (см. [14]) или в многочисленных травелогах (путевых очерках, доставшихся нам в наследство от путешественников XVIII в. (см. [15])). Однако поскольку взятые в комплексе, все эти моменты задавали общую матрицу просвещенческого восприятия времени, их следы в той или иной мере могут быть обнаружены и в рефлексии над собственным настоящим Ф. Кенэ. В свете этого факта представленное исследование ставило перед собой цель проследить на основании анализа процесса формирования одного сугубо утилитарного инструмента – экономической таблицы – процесс формирования специфического образа настоящего, понятого как современность, т.е. такого настоящего, которое всецело захвачено грядущим

будущим и которое нам сегодня, людям, живущим в эпоху постсовременности, более не кажется современным.

Список источников

1. Дьяков А.В. Онтология Просвещения: историзм как идеология современности // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2015. № 5. С. 48–59.
2. Vardi L. *The Physiocrats and the World of the Enlightenment*. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 315 p.
3. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М. : Весь Мир, 2008. 416 с.
4. Wagner P. Progress and Modernity: the Problem with Autonomy // Журнал социологии и социальной антропологии. 2022. № 25 (2). С. 7–27.
5. Nisbet R. Turgot and the Contexts of Progress // *Proceedings of the American Philosophical Society*. 1975. Vol. 119 (3). P. 214–222.
6. Фуко М. Что такое Просвещение? / пер. с фр. С.Ч. Офертаса ; под ред. Б.М. Скуратова // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М. : Практис, 2002. С. 335–359.
7. Koselleck R. *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. New York : Columbia University Press, 1985. 340 p.
8. Quesnay F. *The Economical Table*. Stockton : University Press of the Pacific, 2004. 256 p.
9. Nelson W.M. *The Time of Enlightenment. Constructing the Future in France, 1750 to Year One*. Toronto : University of Toronto Press, 2020. doi: 10.3138/9781487541408
10. Billing A. A Note on Animal and Political Economy in Quesnay // *Studies in Gender and Sexuality*. 2018. Vol. 19 (1). P. 81–84. doi: 10.1080/15240657.2018.1419682
11. Кенэ Ф. Очевидность // Кенэ Ф., Тюрбо А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения / пер. с фр. А.В. Горбунова [и др.]. М. : Эксмо, 2008. С. 45–87.
12. Клюкин П.Н. Творческая мысль Ф. Кенэ в 1736–1756 годах в связи с метафизикой «очевидности» и политико-экономической традицией // Вопросы экономики. 2008. № 12. С. 84–98.
13. Iannuzzi G. *Futuristic Fiction, Utopia, and Satire in the Age of the Enlightenment: Samuel Madden's Memoirs of the Twentieth Century 1733*. Turnhout : Brepols Publishers, 2024. 459 p.
14. Mertel K. Historicism and Critique in Herder's Another Philosophy of History: Some Hermeneutic Reflections // *European Journal of Philosophy*. 2016. Vol. 24 (2). P. 397–416.
15. Wuthenow R. *Die erfahrene Welt: Europäische Reiseliteratur im Zeitalter der Aufklärung*. Frankfurt am Main : Insel Verlag, 1980. 458 S.

References

1. Dyakov, A.V. (2015) Ontologiya Prosveshcheniya: istorizm kak ideologiya sovremennosti [The Ontology of Enlightenment: Historicism as the Ideology of Modernity]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya*. 5. pp. 48–59.
2. Vardi, L. (2012) *The Physiocrats and the World of the Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Habermas, J. (2008) *Filosofskiy diskurs o moderne. Dvenadtsat' lektsiy* [The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures]. Translated from German. Moscow: Ves' Mir.
4. Wagner, P. (2022) Progress and Modernity: The Problem with Autonomy. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii*. 25(2). pp. 7–27.
5. Nisbet, R. (1975) Turgot and the Contexts of Progress. *Proceedings of the American Philosophical Society*. 119(3). pp. 214–222.
6. Foucault, M. (2002) *Intellektualy i vlast': Izbrannyye politicheskie stat'i, vystupleniya i interv'yuy* [Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews]. Translated from French by S. Ch. Ofertas. Moscow: Praktis. pp. 335–359.
7. Koselleck, R. (1985) *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. New York: Columbia University Press.
8. Quesnay, F. (2004) *The Economical Table*. Stockton: University Press of the Pacific.
9. Nelson, W.M. (2020) *The Time of Enlightenment. Constructing the Future in France, 1750 to Year One*. Toronto: University of Toronto Press. DOI: 10.3138/9781487541408

10. Billing, A. (2018) A Note on Animal and Political Economy in Quesnay. *Studies in Gender and Sexuality*. 19(1). pp. 81–84. DOI: 10.1080/15240657.2018.1419682
11. Quesnay, F. (2008) Ochevidnost' [Evidence]. In: Quesnay, F., Turgot, A.R.J., Du Pont de Nemours, P.S. *Fiziokraty. Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniya* [The Physiocrats: Selected Economic Works]. Translated from French by A.V. Gorbunov. Moscow: Eksmo. pp. 45–87.
12. Klyukin, P.N. (2008) Tvorcheskaya mysl' F. Kene v 1736–1756 godakh v svyazi s metafizikoy "ochevidnosti" i politiko-ekonomicheskoy traditsiy [The Creative Thought of F. Quesnay in 1736–1756 in Connection with the Metaphysics of "Evidence" and Political-Economic Tradition]. *Voprosy ekonomiki*. 12. pp. 84–98.
13. Iannuzzi, G. (2024) *Futuristic Fiction, Utopia, and Satire in the Age of the Enlightenment: Samuel Madden's Memoirs of the Twentieth Century 1733*. Turnhout: Brepols Publishers.
14. Mertel, K. (2016) Historicism and Critique in Herder's Another Philosophy of History: Some Hermeneutic Reflections. *European Journal of Philosophy*. 24(2). pp. 397–416.
15. Wuthenow, R. (1980) *Die erfahrene Welt: Europäische Reiseliteratur im Zeitalter der Aufklärung*. Frankfurt am Main: Insel Verlag.

Сведения об авторе:

Корниенко А.Г. – кандидат философских наук, младший научный сотрудник Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: akornienko@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kornienko A.G. – Cand. Sci. (Philosophy), junior research fellow at the Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: akornienko@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 29.04.2025;
одобрена после рецензирования 22.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 29.04.2025;
approved after reviewing 22.05.2025; accepted for publication 30.06.2025

Научная статья

УДК 130.2:140.8

doi: 10.17223/1998863X/85/7

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «НАРОДНОЙ ДУШИ» В АНТРОПОЛОГИИ В.В. РОЗАНОВА

Екатерина Игоревна Сухорукова

*Московский городской педагогический университет, Москва, Россия,
sukhorukovaei@mgpu.ru.*

Аннотация. В статье на примере размышлений В.В. Розанова о судьбе еврейского народа рассматривается его взгляд на взаимоотношение национального или народного начала с религиозным. Автор концентрируется на работах, демонстрирующих оригинальные взгляды философа на единство язычества и «юдаизма», понятых в качестве естественной религии человечества, где высшей ценностью являются эрос и жизнь.

Ключевые слова: русская философия, христианство, язычество, юдаизм, народность

Для цитирования: Сухорукова Е.И. Религиозные элементы «народной души» в антропологии В.В. Розанова // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 83–92. doi: 10.17223/1998863X/85/7

Original article

RELIGIOUS ELEMENTS OF THE “NATIONAL SOUL” IN VASILY ROZANOV’S ANTHROPOLOGY

Ekaterina I. Sukhorukova

Moscow City University, Moscow, Russian Federation, sukhovukovaei@mgpu.ru

Abstract. The article explores Vasily Rozanov’s definition of the concept of nationality and his understanding of the relationship between the national and religious principles, which was examined by the example of reflections on the fate of the Jewish people. The author refers mainly to Rozanov’s late legacy: *The Resurgent Egypt* (1917–1918) and *The Apocalypse of Our Time* (1918), as well as to his earlier work *Judaism* (1899). Initially, Rozanov proceeded from the Slavophile paradigm, according to which the essence of a nation lies in its metaphysical soul. Later, Rozanov moves on to a more physiological understanding of a nation as an extended family, that is, he sees its basis in the unity of “blood and seed”. However, a nation still possesses a single soul, which, as an individual soul, has a gender actualized in marriage. In addition, unlike the Slavophiles, Rozanov sees the basis of the personality of God and, consequently, man not in the Logos, but in Eros, which manifests itself through gender. Rozanov thinks of God as a bisexual deity of fertility, Elohim, who enters into a marriage union with nations: he turns his feminine hypostasis to masculine peoples, and his masculine hypostasis to feminine ones. A nation can draw their strength only by constantly fulfilling their marriage with God and honoring their family ties. Rozanov attributes a similar theological view to Judaism, speaking of the unity of Judaism with paganism. He understands paganism as a single, universal and true religion, whereas Christianity is a harmful anomaly, since, by denying the sanctity of gender, it jeopardizes the value of life. Rozanov’s similar theological view is connected with his denial of the concept of original sin, which would make a God-man, the Church, and evangelical morality necessary.

Keywords: Russian philosophy, Christianity, paganism, Judaism, nation

For citation: Sukhorukova, E.I. (2025) Religious elements of the “national soul” in Vasily Rozanov’s anthropology. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 83–92. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/7

Введение

Отношения философа В.В. Розанова с христианством нельзя назвать простыми. Последнее его произведение, «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918 гг.), является откровенно антихристианским памфлетом [1. С. 138]. Однако сферы религиозного и национального (или, лучше сказать, народного) оказываются тесно переплетены: «Гои» – римляне, греки, христиане, все равно» [2. С. 90]. Возникает вопрос об определении Розановым понятия народности и о том, каков характер ее взаимодействия со сферой религии. Данную проблему мы рассмотрим на примере еврейского народа, в случае с которым указанные вопросы встают с особенной силой и судьба которого интересует Розанова на протяжении всего периода его творчества, что не является уникальным для русской интеллигенции серебряного века [3]. Сразу оговоримся, что наше внимание будет обращено в основном на позднего Розанова, ко времени его повторного юдофильства после антисемитизма периода дела Бейлиса [4. С. 67].

Психология народной души

В отечественной мысли понимание народности как метафизического целого, наделенного неизменными свойствами, развивалось в рамках славянофильства. Ранний В.В. Розанов, безусловно, исходил из славянофильской парадигмы [5]. Значимая работа этого периода «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» [6] воспроизводит славянофильское понимание истории. В картине будущего торжества православия плацдармом для него должен служить всеславянский союз, поскольку именно славянский характер обладает необходимыми нравственными достоинствами. Про такое построение можно сказать, что оно выполнено в полном соответствии с идеями И.В. Киреевского и Н.Я. Данилевского.

В дальнейшем Розанов уходит в сторону как от славянофильства, так и от христианства. Однако, хоть это и не проговаривается им прямо, Розанов до конца сохраняет убеждение в существовании национального начала в истории и действенность народного характера. В том же «Апокалипсисе нашего времени» можно встретить противопоставление русских и немцев, где те или иные черты характера приписываются всему народу. Их наличие не объясняется социальными, политическими или конфессиональными причинами, они подаются как факт [2. С. 28, 256–260].

Важное обстоятельство: душа народа всегда наделена полем. Европейские народы обладают определенно мужской душой, тогда как русская душа – женщина, равно как и еврейская, что в какой-то степени делает их родственными [7]. В заметке «В соседстве Содомы» (1914 г.) из цикла «Истоки Израиля» [8] вся история взаимоотношения евреев с соседями подается сквозь призму семейной психологии: евреи выступают у Розанова в роли ворчливой жены, живущей под крышей у супруга и требующей не власти, но ответной любви. Впрочем, из «Ангела „Иеговы“ у евреев» (1914 г.) из того

же цикла следует, что сущность еврейства лежит не только в нем самом как в народе, но и в исповедуемой им религии, скрепляющей его изнутри. *«Евреи образуют не «племя одно», мало ли племен, <...>, но ведь ничего подобного ни у кого по единству нет. Евреи составляют как бы один монастырь, общину <...>, но глубочайшие брачную»* [9. С. 474]. Иудаизм оказывается живительным источником еврейства. Однако, мы увидим в дальнейшем, расцвет религии, как ее понимает Розанов, не реализуем без уже существующей народности, религия только помогает ей расцвести. Одно невозможно без другого.

Логос и Эрос

Принципиальное различие между пониманием народности у славянофилов и у Розанова состоит в том, что для первых «народ» и «язык» являлись едва ли не взаимозаменяемыми понятиями [10. С. 46], тогда как у Розанова проблема языка не ставилась на серьезном уровне, по крайней мере в связи с национально-религиозной проблематикой. Изначальное единство народа (особенно когда речь о еврейском народе) Розанов понимает скорее в прямом, физиологичном смысле: это – большая семья кровных родственников [2. С. 116–118]. Однако чтобы народ продолжал жить, самих по себе общих крови и семени недостаточно, народу необходимо постоянно помнить о них и даже освящать в религиозном культе.

Расхождения во взглядах на сущность народности отображает диаметрально противоположность двух теологий. Славянофилы, как и представители немецкого идеализма, ставили на вершину онтологической и аксиологической иерархии Логос, нематериальное начало. Есть некая взаимосвязь между тем, что в христианской теологии понятие Бога определяется прежде всего через Слово, и тем, что начало народа (действующего субъекта истории, понимаемой в качестве процесса раскрытия Абсолютного Духа) заключено в его языке. Именно эту первичность Логоса Розанов отвергает, возводя на освободившийся постамент другое действенное начало – Эрос [11. С. 59], проявляющийся в человеке через его пол. Именно пол определяет человека целиком: как каждую клетку его тела, так и каждую черту его характера. *«Пол есть душа»* [12. С. 250]. Вступление в брак суть актуализация пола [13. С. 77], следовательно, с ним связано самое значимое и священное, что только есть на свете, – рождение новой жизни. Следовательно, Бог, будучи прародителем всего сущего, тоже с необходимостью наделен полом: мужским и женским. В повествовании о создании мира Господь говорит о себе во множественном числе: «сотворим». Иные богословы толкуют этот фрагмент как первый намек на Троицу, а Розанов видит здесь подтверждение своей теории. Это двуполое Божество носит имя Элогим [14. С. 77].

Важно отметить, по Розанову, эрос или половая любовь, не отождествляются с тем, что называется похотью, напротив, Розанов неоднократно разводит их по разные стороны баррикад. Отрицая любовь как исключительно духовное явление, Розанов так же отрицает ее чисто физиологический характер, настаивая на том, что любовь есть тайна, подразумевающая освящение материи (плоти, тела) духом [13. С. 69]. Ей непременно должно сопутствовать намерение создать мистико-религиозную единицу – семью, которая является прообразом любого храма, а спальня – прообразом алтаря [12. С. 44].

Религиозный источник единства семьи и народа

Острые критики в «Апокалипсисе нашего времени» направлено не только на христианскую религию, но и на христианские народы, которые, по тем или иным причинам утратив нормальную религиозность (как ее понимает Розанов), потеряли вместе с тем естественную форму человеческого общежития. Сквозной темой проходит сопоставление кагала и державы [2. С. 56–58, 290–292]. Центром жизни человека должна быть его семья, а самым благородным занятием является то, что способно ее прокормить в самом прямом смысле, – земледелие. Следом идут ремесла и торговля. Они развивают в человеке два главные добродетели: трудолюбие и смирение. Это – испокон веков сложившийся образ жизни, когда люди существуют небольшими социальными группами и трудятся на благо семьи (которая, будучи понята в широком смысле, включает в себя весь народ). Подобная жизнь не требует возникновения государства, тем более империи. В нем нуждаются прочие виды деятельности, которые Розанов если и не считает однозначно излишними, то относится к ним весьма критически: искусство, науки, чиновничество и тем более военное дело. Подобные занятия, будучи выделенными в качестве отдельных профессий, способствуют, по мнению Розанова, развитию противоположных качеств: парадоксальным образом дополняющих друг друга лени и гордыни, которыми заражена вся христианская цивилизация [2. С. 56, 186–187]. Мысль Розанова напоминает учение Фрейда о сублимации как об основе культуры: когда человек перестает жить в ладу с собственным половым началом, он начинает интенсивно искать себя во внешних активностях. Но, по Розанову, подобный образ жизни противоестествен. Все социальные институты, из которых складывается христианская цивилизация, оказываются извращенными у самых своих истоков, а потому неизбежна была гибель старого мира [2. С. 314], свидетелем которой и стал В.В. Розанов, закончивший работу над «Апокалипсисом» в 1918 г.

Только один народ способен устоять пред лицом разразившейся бури. Это евреи, сохранившие, по мнению Розанова, здоровое отношение к человеческой природе и, следовательно, к Богу. На протяжении почти всей своей истории они умели обходиться без государства – рассеяние рассматривается как естественное состояние данного народа, сила которого в его верности инстинкту семьи и рода. Израиль *«до того чтит род и родовитость, всегда свою, всегда одну (как это и бывает в каждом аристократе, у всех аристократов), что, наконец, <...> слил с этим сущность религии»* [2. С. 115], иначе говоря, *«иудеи поклонялись своему плодородию»* [2. С. 116]. Розанов сравнивает христианскую (или европейскую, арийскую) и еврейскую семью, говоря о том, что христианский брак держится на внешнем обряде, тогда как, по его мнению, в основе еврейской семьи лежит половая любовь в том смысле, о каком написано выше. В «Юдаизме» Розанов даже пересказывает разговор со светским евреем, у которого, как ему кажется, действительно получает подтверждение своих догадок: иудейская суббота подразумевает совершение между супругами полового акта, воспринимаемого в качестве мистерии, ибо возобновляет завет между Богом и человеком [14. С. 20–21]. В этом возобновлении еврейский народ черпает свою силу, благодаря ему преуспевают во всех занятиях: в искусстве, науке, торговле.

Юдаизм и язычество суть одно

Однако еврейский народ оказывается в данном отношении не уникален. Здесь мы подходим к интересной концепции Розанова, согласно которой *«юдаизм и все язычество – сливаются «в одно»* [2. С. 100], «юдаизм» во многом ценен лишь, поскольку является его единственным сохранившимся до наших дней осколком [2. С. 250]. В «Апокалипсисе нашего времени» это преподносится как само собой разумеющийся факт, не требующий подробных объяснений, которые были даны в таких произведениях, как «Возрождающийся Египет» (1917–1918 гг.) и еще ранее в «Юдаизме» (1899 г.).

По Розанову, Бог соединяется с человеком через пол, заключение завета – это вступление в брак [1. С. 134]. Поскольку у каждого народа есть половая принадлежность, то в каждом случае Элогим обращает к народу либо свою мужскую ипостась, либо женскую. У еврейского народа женская природа, поэтому супругом Израиля был Иегова. По соседству жил другой семитский народ, у которого преобладало мужское начало – финикийцы, их объектом поклонения стала Астарта. Однако, по мнению Розанова, Иегова и Астарта суть один Элогим под разными именами [12. С. 54]. Интересно, что свое оригинальное заключение Розанов подкрепляет в том числе сюжетом из Ветхого Завета о призвании евреями первого встречного язычника-финикийнина на пост священника. Это, на взгляд Розанова, свидетельствует – иудаизм и хананское язычество родственны настолько, что не имеют между собой даже того барьера, который отделяет друг от друга католичество и православие [12. С. 13–14; 51].

Язычество основано на осознании святости пола, которое суть начало жизни и источник счастья. Христианство, по мнению Розанова, пытается не умалить значение пола или одухотворить половую энергию (этим, по мнению Розанова, как раз занимались языческие культы), но напрочь исключить их как из человека, так и из Бога. Поэтому христианство воспринимается им как нечто подобное раковой опухоли на теле человечества, которая не несет в себе продуктивного начала, способна существовать лишь за счет здоровых тканей организма, толкая его тем самым к гибели. *«Христианство есть выемка из мира, а не прибавка к нему»* [2. С. 269]. То небольшое положительное, что есть в культуре христианских народов, было позаимствовано ими от языческой древности: *«Если вы <...> вычтете из „христианской цивилизации“ – Грецию, Рим и Вавилон, Египет и евреев, то велик ли выйдет „остаток“. Ей-ей, остатка не будет»* [2. С. 378]. Порою данный взгляд распространяется только на историческое христианство (в сборнике «Опавшие листья» [15]), но все чаще Розанов описывает таким образом сущность христианства, не скупясь на критику личности самого Христа, названного им противником животворящего Отца [2. С. 173].

Напротив, язычество, по мнению Розанова, истинно и универсально. Истинно оно, поскольку его объектом поклонения является истинный Бог и поскольку проповедует простые, но от того не менее действенные и вечные ценности земной жизни, здоровья, богатства и семейного благополучия. Христианство подменяет их перевертышами: псевдоценностями жизни загробной, болезни, нищеты и безбрачия [2. С. 114–119, 186]. Из истинности язычества следует его универсальность – оно является естественной религией

человечества: Бог, будучи близок к человеку, одинаково раскрывается всем народам и во все времена. Все рождаются язычниками, а христианами становятся через учение [2. С. 103].

Подобная апология язычества коренится в отрицании догмата о первородном грехе [2. С. 175, 323], которое предполагает онтологическую и нравственную пропасть между Творцом и тварью. Преодолеть ее человек самостоятельно не в силах. Отсюда необходимость рождения Богочеловека и основания им Церкви, понимаемой как «корабль спасения». Если убрать догмат о грехопадении, то непонятным становится все прочее: Воплощение, Искупление, нравственные ценности, ориентирующие человека на преодоление его природы ради жизни будущей, а не процветания в жизни земной.

Брачный характер религии семитского Востока

Описывая язычество как общечеловеческую религию, Розанов тем не менее особенно выделяет язычество Востока. *«От Нила и до Северной Двины язычество всюду одно, но здесь оно выросло в чахлую березку, там поднялось баобабом»* [12. С. 297]. Говоря о Востоке, Розанов неизменно подразумевает конкретный регион (Ближний Восток) и конкретные народы: *«Вся история Востока, т.е. семито-хамитических племен»* [12. С. 110]. Разница не в объекте поклонения, но в степени его раскрытия. Только на Востоке священное «биение пола» было осознано со всею его откровенностью. Любое язычество освящает деторождение, но только семиты зрели в самый корень, уподобляя храм семейному очагу [12. С. 42–44], только египтяне поставили в центр своей веры фигуру Бога-Отца, а не абстрактных предков или духов [12. С. 76]. Только на Востоке, а не в Африке, обрезание имеет не гигиенический, а мистико-религиозный смысл, поскольку посредством него человек или целый народ вступает с Богом в брачный союз [12. С. 112–113]. Определенные культовые явления, такие как храмовая проституция [14. С. 39–40] в Вавилоне, соединение супругов в субботу [2. С. 78] или погружение в еврейскую микву [14. С. 28–30], призваны этот брак постоянно актуализировать.

Все, что Розанова привлекало в иудаизме, было, по его мнению, заслугой не собственно иудаизма, а общим местом Востока. Более того, из всех древневосточных религий еврейская не является даже наиболее выдающейся, уступая место религии Египта [12. С. 103–104; 126–128]. Выражая надежды на скорое возрождение (после всех бурь, вызванных Первой мировой войной и двумя революциями) в России язычества, Розанов использует образ *«восстановления всего сияния древности: Египта, иудаизма»* [2. С. 189].

Единственное открытие иудаизма, которое спасло ему жизнь, тогда как погибли прочие цивилизации Востока, несмотря на их восхваляемую Розановым жизнестойкость, – осознание недопустимости изображения Бога. *«Видимое» Египта Моисей сделал невидимым»* [12. С. 185], т.е. довел до логического завершения такой принцип брачно-семейной религии Востока, как сокрытие от непосвященных. Подобно тому, как половой акт супругов должен совершаться в уединении без посторонних, непозволительно выставлять на всеобщее обозрение божественную тайну – не потому, что указанные вещи постыдны, но, наоборот, в силу их святости. Священное выступает синонимом интимного. Розанов вновь противопоставляет язычество и христианство: на всем древнем Востоке были мистерии, о которых нельзя было

рассказывать непосвященным, тогда как христианские празднества допускают не только рассказы о себе, но и присутствие посторонних [12. С. 69–73]. Обращаясь к данной теме как в «Юдаизме» [14. С. 43], так и в «Апокалипсисе» [2. С. 100], Розанов использует метафору ночи и дня соответственно: первое является началом жизни и наполнено смыслом, а второе бесплодно и поверхностно.

Описываемую в Ветхом Завете нетерпимость иудейских пророков к идолопоклонству Розанов объясняет именно через борьбу за сокрытие: они восставали не против языческого бога, но против способа поклоняться ему. В подтверждение приводится следующее обстоятельство. Уничтожив явные культовые объекты с фаллической символикой (например, ханаанские стелы), евреи сохранили в центре своей религии обрезание, тоже имеющее однозначно брачный смысл, но только скрытое от посторонних. Современный иудаизм спокойно реагирует на предложение любого нововведения в области религии, кроме предложения отменить обрезание [14. С. 13]. Религия «отцовства и материнства» начинается с обрезания, его уничтожение разрывает связь неба и земли [2. С. 183].

Исключительность Израиля

Помимо соблюдения табу на изображение «Жизни Жизней» есть у «юдаизма» другая характерная черта, которая позволила ему выжить. Речь о стремлении сохранить чистоту крови – вступление в брак с иноплеменником фактически означает выход из иудаизма [12. С. 57]. Розанов видит здесь не способ сберечь только что открывшуюся Истину о едином Боге, как традиционно считают христианские богословы, а самоцель.

Повторимся, в соответствии с Розановым, двуполое Божество плодородия вступает в союз с разными народами под разными именами. Еврейский народ вступает в брак с Иеговой, и брак этот постоянно актуализируется через супружество евреев и евреек. Все дети, рожденные таким образом, оказываются детьми не только своих земных родителей, но и детьми Иеговы. Рождение от иноплеменника означает измену еврейского народа своему небесному супругу, ведь другой народ находится в брачном союзе и одновременно является ребенком не Иеговы, а кого-то другого. *«Бог Израилев устами их так и говорит своему народу: „Дети ваши – более не мои дети, а – дети мерзости сидонской, „мерзкого Ваала и Астарты“»* [12. С. 54].

Однако подобное объяснение способно запутать еще больше, ведь сам Розанов настаивает, что Иегова, Ваал, Астарта и прочие персонажи ближневосточного пантеона – это один и тот же Элогим. Следовательно, вступая в смешанный брак, еврей изменяет своему Богу с самим же Богом, только назвавшимся иначе, – знаменитая ревность Иеговы становится абсурдной. Можно предположить, что за божественными именами скрываются различные эманации Элогима, каждая из которых является относительно самостоятельной сущностью. Таким образом, в соответствии с данным объяснением ревность Иеговы исходит именно от Иеговы как от частной эманации Божества, а не от самого Божества. Однако у Розанова нет намек на подобный ход мысли. Кроме того, все еще непонятно, почему запрет на смешанный брак относится исключительно к евреям, а другие народы «пространства обрезания», египтяне или финикийцы, были от него свободны.

В «Апокалипсисе нашего времени» неоднократно говорится об исключительности еврейского народа, понятого именно как племенное, а не только религиозное целое. Различие между «гоями» и «негоями» не ограничивается социально-культурной или конфессиональной плоскостью, это различие в строе души [2. С. 88–97], которая для Розанова неразрывно связана с телесностью. «Гоев» от «негоев» отличает презрение к источнику жизни, отношение к природе как к скверне. Из контекста не всегда ясно, речь идет только о еврейском народе или о семитах в целом. Можно склониться к последнему, учитывая все сказанное Розановым ранее о религиозном единстве семитохамитического Востока. В предисловии к «Возрождающемуся Египту» Розанов выражает свое охлаждение к «юдаизму», которое теперь кажется ему лишь отблеском Египта [12. С. 7]. Однако позже в «Апокалипсисе» много, хоть и пространно, написано об особой миссии Израиля. Возможно, противоречия нет, поскольку «Апокалипсис», в отличие от «Возрождающегося Египта», повествует в основном о современности, когда евреи остались единственным осколком Востока. Итак, еврейский народ призван духовно облагораживать человечество своим присутствием, но не смешиваться с ним на уровне крови и плоти [2. С. 133]. Возвращаясь в «Апокалипсисе» к вопросу о том, почему именно евреям так важно сберечь свои «семя и кровь», Розанов ограничивается только словами, что исключительность Израиля есть тайна над которой человек не уполномочен думать. *«У евреев собственно один „Завет Божий“ – это сохранять исключительность семени и породы. <...> Покоримся – не испытывая, не любопытствуя»* [2. С. 134].

Заключение. Взаимоотношение народного с религиозным рассматривается зрелым В.В. Розановым, как и многие другие вопросы, в контексте философии семьи и пола. Личность человека заключена в его поле, правильный брак, в основе которого лежит половая любовь, является актуализацией пола. Народ, таким образом, представляется в качестве большой семьи, чем серьезнее в народе представление о браке, который по сути не физиология или внешняя обрядность, а мистерия, тем крепче этот народ. Связь между народом и Богом также реализуется через пол: Бог предстает двуполым существом по имени Элогим, который оборачивает к мужественным или женственным народам одну из своих ипостасей, ступая с ним таким образом в брак. Об этом, по мнению Розанова, знали на всем Древнем Востоке, особенно в Египте, из современных народов об этом помнят, пожалуй, только евреи. Именно этот народ довел до абсолюта семейно-брачный характер истинной религии, что, вероятно, выразилось не только в принципе сокрытия от посторонних, но и в недопустимости межплеменных браков.

Список источников

1. Данчук М.В. «Религия Пола» В.В. Розанова // Вестник Калмыцкого университета. 2019. № 1. С. 133–140.
2. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени : Собрание сочинений / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 2000. 429 с.
3. Шнирельман В.А. Антихрист, катехон и Русская революция // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. Т. 37, № 1–2. С. 488–515.
4. Донцев С.П. Политическая мысль В.В. Розанова // Литературоведческий журнал. 2010. № 26. С. 64–75.
5. Сидорова Д.А. «Русская идея» В.В. Розанова // Вече. 2012. № 24. С. 250–255.

6. Розанов В.В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского: опыт критического комментария В. Розанова // Розанов В.В. Полное собрание сочинений : в 35 т. Серия: Литература и искусство : в 6 т. Т. 1: О писательстве и писателях: Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского : статьи 1889–1900 гг.

7. Розанов В.В. Возле «русской идеи...» // Сочинения / сост., подгот. текста и коммент. А.Л. Налепина, Т. В. Померанской ; вступ. ст. А.Л. Налепина. М. : Сов. Россия, 1990. 592 с.

8. Розанов В.В. В соседстве Содомы (Истоки Израиля) // Собрание сочинений. Возрождающийся Египет / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 2002. 526 с.

9. Розанов В.В. Ангел «Иеговы» у евреев (Истоки Израиля) // Собрание сочинений. Возрождающийся Египет / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 2002. 526 с.

10. Безлепкин Н.И. Славянофильское учение о языке и философия // Философский полилог. 2023. № 1. С. 37–50.

11. Иванова Т.А. Проблема андрогинного идеала человека в философии пола В.В. Розанова // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, 2021. № 1. С. 55–62.

12. Розанов В.В. Возрождающийся Египет // Собрание сочинений. Возрождающийся Египет / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 2002. 526 с.

13. Розанов В.В. Семья как религия // Собрание сочинений. В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 1995. 462 с.

14. Розанов В.В. Юдаизм // Собрание сочинений. Юдаизм / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика ; СПб. : Росток, 2009. 845 с.

15. Розанов В.В. Опавшие листья // Собрание сочинений / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика ; СПб. : Росток, 2010. 591 с.

References

1. Danchuk, M.V. (2019) “Religiya Pola” V.V. Rozanova [“The Religion of Sex” by V.V. Rozanova]. *Vestnik Kalmytskogo universiteta*. 1. pp. 133–140.

2. Rozanov, V.V. (2000) *Apokalipsis nashego vremeni: Sbranie sochineniy* [The Apocalypse of Our Time: Collected Works]. Moscow: Respublika.

3. Shnirelman, V.A. (2019) Antikhrist, katekhon i Russkaya revolyutsiya [The Antichrist, Katechon and the Russian Revolution]. *Gosudarstvo, religiya, tserkov' v Rossii i za rubezhom*. 37(1–2). pp. 488–515.

4. Dontsev, S.P. (2010) Politicheskaya Mysl' V.V. Rozanova [V.V. Rozanov's Political Thought]. *Literaturovedcheskiy zhurnal*. 26. pp. 64–75.

5. Sidorova, D.A. (2012) “Russkaya ideya” V.V. Rozanova [V.V. Rozanov's “Russian Idea”]. *Veche*. 24. pp. 250–255.

6. Rozanov, V.V. (2014) *Polnoe sobranie sochineniy: v 35 t.* [Complete Works: in 35 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Rostok.

7. Rozanov, V.V. (1990) *Sochineniya* [Works]. Moscow: Sovetskaya Rossiya.

8. Rozanov, V.V. (2002a) *Sobranie sochineniy. Vozrozhdayushchisya Egipet* [Collected Works. Egypt Reborn]. Moscow: Respublika.

9. Rozanov, V.V. (2002b) *Sobranie sochineniy. Vozrozhdayushchisya Egipet* [Collected Works. Egypt Reborn]. Moscow: Respublika.

10. Bezlepkina, N.I. (2023) Slavyanofil'skoe uchenie o yazyke i filosofiya [The Slavophile Doctrine of Language and Philosophy]. *Filosofskiy polilog*. 1. pp. 37–50.

11. Ivanova, T.A. (2021) Problema androginnogo ideala cheloveka v filosofii pola V.V. Rozanova [The Problem of the Androgynous Human Ideal in V.V. Rozanov's Philosophy of Sex]. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*. 1. pp. 55–62.

12. Rozanov, V.V. (2002c) *Sobranie sochineniy. Vozrozhdayushchisya Egipet* [Collected Works. Egypt Reborn]. Moscow: Respublika.

13. Rozanov, V.V. (1995) *Sobranie sochineniy. V mire neynasnogo i nereshennogo. Iz vostochnykh motivov* [Collected Works. In the World of the Unclear and Unresolved. From Eastern Motifs]. Moscow: Respublika.

14. Rozanov, V.V. (2009) *Sobranie sochineniy. Yudaizm* [Collected Works. Judaism]. Moscow: Respublika; St. Petersburg: Rostok.

15. Rozanov, V.V. (2010) *Sobranie sochineniy. Listva* [Collected Works. Fallen Leaves]. Moscow: Respublika; St. Petersburg: Rostok.

Сведения об авторе:

Сухорукова Е.И. – аспирант департамента философии и социальных наук института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета (Москва, Россия). E-mail: sukhorukovaei@mgpu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Sukhorukova E.I. – postgraduate student at the Department of Philosophy and Social Sciences, Institute of Humanities, Moscow City University (Moscow, Russian Federation). E-mail: sukhorukovaei@mgpu.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 06.03.2025;
одобрена после рецензирования 22.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 06.03.2025;
approved after reviewing 22.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 101.1

doi: 10.17223/1998863X/85/8

ФИЛОСОФСКИЙ СКЕПТИЦИЗМ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ ТОМАСА КУНА

Оксана Ивановна Целищева

*Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск, Россия, oxanatse@gmail.com*

Аннотация. В статье показано, что концептуально парадигма Куна эквивалентна «паутине вер» Куайна, поскольку обе концепции производны от холизма, а также что первичной является концепция Куайна. Ее следствием является скептический тезис о неопределенности перевода, что равносильно несоизмеримости парадигм. Это свидетельствует о близости взглядов Куна к скептическому аргументу. Критика взглядов Куайна используется для демонстрации слабых сторон концепции Куна. Продemonстрировано, что это может быть сделано в двух направлениях. Во-первых, демонстрацией неправдоподобности тезиса Куайна в реальных контекстах исторических эпизодов и, во-вторых, отказом от самого понятия концептуальных схем, с соответствующим обесцениванием их сравнения. Наконец, понятие парадигмы может быть просто отвергнуто в пользу альтернативного понятия стиля научного мышления, введенного А. Кромби, которое вообще не нуждается в поддержке со стороны скептических аргументов.

Ключевые слова: парадигма, Кун, скептический аргумент, Куайн, неопределенность перевода, концептуальная схема, гештальт-переключение

Для цитирования: Целищева О.И. Философский скептицизм и концепция развития науки Томаса Куна // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 93–103. doi: 10.17223/1998863X/85/8

Original article

PHILOSOPHICAL SKEPTICISM AND KUHN'S CONCEPT OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT

Oxana I. Tselishcheva

*Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation, oxanatse@gmail.com*

Abstract. Kuhn's famous book *The Structure of Scientific Revolutions* was addressed to the physical scientific community, but gained considerable popularity among representatives of the humanities. This article offers an explanation for this circumstance by the proximity of Kuhn's views and his conceptual machinery to philosophical skeptical arguments about the nature of reality and knowledge. In particular, an analysis of two of Kuhn's theses is proposed: the interpretation of a paradigm shift as a Gestalt switch and the incommensurability of paradigms as the impossibility of translating the beliefs of representatives of different paradigms into each other. The first thesis is seen as Kuhn's own attempt to absurdly literalize Gestalt switching as switching between different worlds. The degree of error of Kuhn's thesis is considered in terms of the deliberate ambiguity of Kuhn's style and the ambiguity of his terminology. Kuhn's more serious mistake is to implicitly base scientific progress on human psychology and sociology. His theory explains the transition

from one paradigm to another in terms of sociology or psychology, rather than appealing to the objective merits of competing explanations. But if a person does not understand science as a search for explanations, the fact that it finds more and more new explanations, each of which is objectively better than the previous one, remains inexplicable. It is shown that conceptually, Kuhn's paradigm is equivalent to Quine's "web of faiths", since both concepts derive from holism, and also that Quine's concept is primary. Its consequence is a skeptical thesis about the uncertainty of translation, which is equivalent to the incommensurability of paradigms, which indicates the proximity of Kuhn's view to a skeptical argument. Then Quine's criticism is significantly reflected in Kuhn's view. It is shown that this criticism can be carried out in two directions. Firstly, it is the implausibility of Kuhn's thesis in the real contexts of historical episodes (Hacking), and, secondly, it is the rejection of the very concept of conceptual schemes, with a corresponding devaluation of their comparison (Davidson). Finally, the concept of a paradigm can simply be rejected in favor of an alternative concept of the style of scientific thinking introduced by Alistair Crombie, which does not need support from skeptical arguments at all.

Keywords: paradigm, Kuhn, skeptical argument, Quine, indeterminacy of translation, conceptual scheme, Gestalt transformation

For citation: Tselishcheva, O.I. (2025) Philosophical skepticism and Kuhn's concept of scientific development. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 93–103. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/8

«Структура научных революций» Томаса Куна считается многими наиболее влиятельной ныне концепцией развития науки. Концепция основана на анализе ключевых событий истории физики на протяжении двух тысяч лет, начиная с античности и завершая началом XX в. Кун отказался от кумулятивного взгляда на науку, предложив вместо него историю научных революций, периодически сменяющих нормальную науку. Механизм такого рода событий описывается концептуальным аппаратом, включающим такие важные понятия, как научная парадигма, несоизмеримость парадигм. Любая теория в самом общем смысле слова имеет эмпирический базис; специфика взглядов исследователя на развитие науки определяется как выбором фактов и фигур, так и концептуальным аппаратом. В случае Куна баланс этих двух факторов оказался довольно своеобразным в зависимости от круга читателей: те, к кому должна была бы быть обращена книга, а именно физическое сообщество, скептически отнеслись к эмпирической части, т.е. к собственно истории физики в изложении Куна, в то время как «посторонние», а именно гуманитарная публика, с восторгом приняли концептуальную машинерию Куна.

Это последнее обстоятельство объяснялось отчасти тем, что доведение до абсурда понятия несоизмеримости парадигмы облегчало гуманитариям защиту собственных взглядов путем преуменьшения важности аргументации за счет обладания собственной парадигмой. Однако более важной оказалась близость концепции Куна философским взглядам о природе реальности и скептическим аргументам о возможности знания. Именно эта тематика оказалась в центре внимания дискуссий вокруг Куна, потеснив детали собственно исторического развития науки. В определенном смысле эти дискуссии стали прибежищем различного рода дискурсов, призванных обеспечить культурную детерминированность ключевых понятий науки. Постмодернистский упор на центральную роль социального конструирования вещей и значений обеспечил книге огромный успех у самой разнообраз-

разной публики, которая на некоторое время стала настольной книгой для значительного круга людей, но не тех, кого сам Кун имел в виду в качестве своих читателей.

В этой связи возникает вопрос, куда отнести Куна – к собственно историкам науки или же его следует считать философом. Дело здесь не в классификационных сомнениях, а в том, что считать ресурсом Куна в описании им науки. Потому что этот ресурс, будь то философские соображения или же чисто историография науки, будет объяснением ряда неясных следствий теории Куна, вокруг которых идут споры. В частности, тезис данной статьи заключается в том, что «философская» и «психологическая» составляющие являются доминирующими. Кун был достаточно неосторожен, позволяя, например, говорить, что сдвиг парадигм в определенном смысле равносителен для исследователя переносу в другой мир, или утверждая невозможность коммуникации между учеными с разными парадигмами, с соответствующими скептическими заключениями об объективности познания мира.

Часто успех философского взгляда определяется изобретением своего «словаря» концепций. Сам перечень таких концепций у Куна – парадигма, несоизмеримость, нормальная наука, научная революция, аномалия, сдвиг парадигм – характерен, с одной стороны, тем, что эти понятия образуют замкнутый круг, когда объяснение одного понятия или концепции делается с помощью других, а с другой стороны, сами эти термины имеют широчайшее хождение в других контекстах. Такая двойственность приводит к впечатляющему разбросу смысла терминов словаря. В самом деле, ключевое понятие Куна – парадигма – по признанию некоторых вдумчивых читателей, употребляется в книге более чем в двух десятках смыслов (1. Р. 61). Можно, конечно, найти некоторые аналоги понятия парадигмы, скажем, в понятии «словаря» Р. Рорти [2], или же в «эпистеме» М. Фуко [3], или же в стиле мышления А. Кромби [4]. Но главный виновник разброса значений «парадигмы» сам Кун, для которого этот разброс был удобен а качестве «универсального ключа» для объяснения слишком широкого круга вопросов. И это относится не только к прямому термину «парадигма», но и к ассоциируемым с ним понятиям. Но как раз эта широта ведет к тому, что в общем-то то, что было призвано быть техническим термином в теории Куна, оказывается скорее термином других областей, что ведет к ряду неприятных философских следствий. М. Уилсон [5] называет этот феномен «блуждающим значением», когда своеволие языка вызывает непредвиденные ассоциации.

Именно это случилось с термином «сдвиг парадигм», которое оказалось связанным у Куна с гештальт-сдвигом. А вот уже последнее понятие, будучи термином из психологии, имеет свои коннотации, в конечном счете с тем, считать ли гештальт-переключения чисто субъективным феноменом или же придавать этим переходам некоторую степень объективности. Другими словами, переключения имеют место в «видении» некоторой реальности, или это переключения самой реальности (как бы ни странно звучало это). Ясно, что это вопрос кардинальной философской значимости, при обсуждении которого следует проявлять четкость, дабы не быть обвиненным в простой небрежности в выражениях, или же, по выражению критиков Куна, намеренном напусканнии тумана.

Но является ли простой небрежностью употребление такой формулировки: «То, что казалось ученому уткой до революции, после революции оказывалось кроликом» [6. С. 151]. На самом деле Кун занимает скорее этакую диалектическую позицию.

Вот тезис:

В период научной революции ученые видят новое и получают иные результаты даже в тех случаях, когда используют обычные инструменты в областях, которые они исследовали до этого. Это выглядит так, как если бы профессиональное сообщество было перенесено в один момент на другую планету, где многие объекты им незнакомы... [6. С. 151].

А вот и антитезис:

Конечно, в действительности все не так: нет никакого переселения в географическом смысле, вне стен лаборатории повседневная жизнь идет своим чередом [6. С. 151].

Ожидаемый от Куна примиряющий синтез оказывается все-таки крепко в сторону радикальной интерпретации гештальт-переключения: «Тем не менее, изменение в парадигме вынуждает ученых видеть мир их исследовательских проблем в ином свете. Поскольку они видят мир не иначе, как через призму своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции ученые имеют дело с иным миром» [6. С. 151].

Фактически на одной странице Кун ухитряется изрядно запутать читателя. В самом деле, «некоторые считают, что эта сторона работы Куна – сплошная неразбериха. Когда изменяются парадигмы, меняются и идеи. Стандарты изменяются также, и вполне возможно, изменяется и то, как мы воспринимаем мир. Но это сильно отличается от утверждения, что сам мир зависит от парадигм. То, как кажутся вещи, действительно изменяется, но сам мир не меняется. Глава X (в оригинальном издании. – *О.Ц.*), совпадающая с X-рейтинговым обозначением возрастных ограничений, – худший материал в великой книге Куна. Было бы лучше, если бы он забыл эту главу в такси, совершив одну из тех знаменитых ошибок, которые часто делают писатели» [7. Р. 96].

Конечно же, интерпретация диалектического преподнесения Куном проблемы соотношения объективности или субъективности опирается на важность, с точки зрения Куна, гештальт-экспериментов «для исследования некоторых следствий, к которым приводят [мои] научные убеждения». И здесь Кун допускает, что «исторический пример призван доказать, что психологические эксперименты вносят свой вклад в объяснение развития науки». И вся остальная часть злосчастной главы X посвящена примерам из истории науки, которые как будто подтверждают важность психологии для целой концепции Куна. В этом отношении характерно подтверждение присутствия психологического ингредиента в концепции парадигмы. Если напрямую связывать концепцию парадигмы с гештальт-экспериментами (интерпретация, предложенная мною в квадратных скобках), тогда цитата Куна выглядит следующим образом: «Вот почему головоломки нормальной науки столь завлекательны, а измерения, предпринимаемые без парадигмы (в том числе в виде гештальт-экспериментов. – *О.Ц.*), так редко приводят к каким-либо результатам вообще. Данные сами изменились [в ходе гештальт-переключения]. Это послед-

нее, что мы имеем в виду, когда говорим, что после революции ученые работают в другом мире» [6. С. 180].

Если не прибегать к буквальному прочтению метафоры, остается лишь фиксировать важность психологии в понимании куновской машинерии. Хотя Кун всяческим образом пытался «отговорить» своих читателей от такого видения научной революции, научный прогресс в конечном счете оказывался основанным на человеческой психологии и социологии.

Дойч считает, что «...если рассмотреть теорию Куна как описание или анализ научного прогресса, мы увидим ее роковую ошибку. Эта теория объясняет переход от одной парадигмы к другой в терминах социологии или психологии, вместо того чтобы говорить об объективных достоинствах соперничающих объяснений. Но если человек не понимает науку как поиск объяснений, тот факт, что она находит все новые и новые объяснения, каждое из которых объективно лучше предыдущего, остается необъяснимым» [8. С. 539–540].

Многие «места обитания» куновского понятия парадигмы, как и сопровождающих ее понятий вроде несоизмеримости парадигм, во многом определяются уже упомянутой выше многозначностью самого термина. Но при всех коннотациях и смыслах термина «парадигма» обсуждение куновской концепции сталкивается с обвинением в релятивизме. Здесь мы имеем дело с еще одним «местом обитания» парадигмы, теперь уже в философии. При этом трудно локализовать ту часть философии, которая полагается уместной самим Куном. Э. Моррис выражает это обстоятельство следующим образом: «*Структура [научной революции]* напоминает тряпичную куклу, сшитую из разных частей в единое целое. Консерватизм обычной науки мог исходить от Пьера Дюгема; неявное знание – от Майкла Поляни; «видение [в гештальт-переключении]» – от Норвуда Рассела Хансона; неопределенность перевода – от Куайна; социальное конструирование знания – от Витгенштейна» [9. С. 39].

Упоминание двух последних является существенным. Действительно, концепция Куна стала ассоциироваться со скептическими аргументами, в той или иной степени ведущими к релятивизму в отношении истины, значения и реальности. В литературе есть множество форм таких аргументов, каждый из которых не является напрямую буквальным отрицанием соответствующих понятий, но представляет собой зачастую довольно метафорическую картину, претендующую на заключительность. Здесь мы можем начать с формы жизни, или языковой игры Витгенштейна в версии Крипке [10], продолжить с тезисом о невозможности радикального перевода или неопределенности указания У. Куайна [11] и завершить известными мысленными экспериментами Х. Патнэма о природе значения [12]. Этот перечень вовсе не исчерпывает, естественно, множества интереснейших рассуждений скептического толка и служит лишь в качестве демонстрации вариаций соотношения точных деталей и метафоричности. В данном случае особый интерес представляет близость концепции Куна к скептическому аргументу Куайна.

Хотя сопоставление имен Куна и Куайна не часто фигурирует вместе, утверждение об общности их эпистемологических точек зрения основано на

приверженности к семантическому холизму. Концепция неопределенности указания Куайна откровенно холистична, будучи воплощенной в понятии сети (или паутины) вер [13]. Холизм Куна запрятан в расплывчатую картину парадигмы, но раскрывается в смежных с ней понятиях типа несоизмеримости парадигм. Согласно популярному изложению последнего понятия, двое ученых могут столкнуться с трудностями в достижении согласия относительно правильного подхода к решению проблем, если их опыт работы в рамках своих парадигм существенно отличается. Более точно, несоизмеримость парадигм аналогична, если не сказать больше, тезису о неопределенности перевода Куайна: разрешение споров между учеными с разными парадигмами невозможно, если не удастся достичь глобального согласия по схемам перевода от одной концептуальной схемы к другой. Оба мыслителя, Куайн и Кун, приходят к скептическим заключениям более или менее одинакового толка.

Куайн исходит из соображений, связанных с холистической природой указания в языке. Кун исходит из совершенно иных соображений о факторах развития науки. Но вот как М. Уилсон описывает «сползание» Куна к холизму схожего толка: «Пока все шло хорошо. Но затем Кун решает, во-первых, что его совокупность факторов должна быть собрана вместе под альтернативным названием „парадигма“ и что эта туманная совокупность должна служить семантической основой, из которой данный ученый извлекает свои применимые стандарты корректности для того или иного термина. Кун, как известно, сравнивает действие парадигмы с неким всеобъемлющим гештальтом, который необратимо окрашивает то, как его жертвы воспринимают мир. Очевидно, что стремление собрать разрозненные направленности в единую куновскую связку прослеживается к желанию создать более туманный имитатор... контента» [5. Р. 395].

Обе позиции проявляют скептицизм, будучи лишь в одном шаге от тотального скептицизма: в некотором смысле сторонники конкурирующих парадигм практикуют свои профессии в разных мирах, или же концептуальные схемы разных не могут быть переведены друг в друга. Другими словами, закон, который не может быть даже продемонстрирован одной группе ученых, может показаться интуитивно очевидным для другой. Равным образом, именно поэтому, прежде чем они смогут надеяться на полноценное общение, та или иная группа должна пережить обращение в новую веру, которое мы называем сдвигом парадигмы.

При такой тесной аналогии между Куайном и Куном возникает искушение взаимозависимой оценки предлагаемых ими аргументов в пользу скептицизма. В самом деле, «к сожалению, [их] история делает весьма маловероятным, что двое ученых, работающих в рамках разных парадигм, действительно „поймут“ друг друга – мрачный вывод, который Кун, как известно, принимает и использует для объяснения тупиковых ситуаций, в которые часто заходят конкурирующие исследователи... Как только мы заменим [научный дискурс] на расплывчатую „паутину веры“ Куайна или психологизированную „парадигму“ Куна, более мрачное описание коммуникативной способности возникает просто потому, что поддерживающая сеть между нашими [концепциями] сейчас в значительной степени скрыта от внимания, недоступна для взаимного обсуждения. По известной фразе

Куна, языки двух ученых, придерживающихся разных парадигм, могут оказаться несоизмеримыми...» [5. Р. 397]. При такой стратегии успех скептицизма Куна почти напрямую зависит от успеха скептицизма Куайна, и существенная неправдоподобность последнего окажется неправдоподобностью первого.

С более «приземленной» точки зрения упомянутые выше скептические аргументы в применении к концепции Куна говорят о том, что двое ученых не могут найти общего языка, потому что невозможен радикальный (читай, «правильный») перевод от концептуальной схемы одного к концептуальной схеме другого. Особенно это видно в случае Куайна, «гавагаи» которого гуляет по философской литературе в качестве мысленного эксперимента. Такой жанр аргументации в философии распространен, и, конечно, его успех в значительной степени определяется, насколько он близко подходит к реально выполнимым практикам. Чем более он абстрактен, тем более он обоснован. Вряд ли можно предъявить претензии к злонамеренному демону Декарта, но их можно предъявить практической процедуре перевода «гавагаи». Последняя выглядит крайне неправдоподобно в практическом аспекте, будучи примером обыденной, хорошо понятой человеческой деятельности. Даже при должном уважении к традиции мысленного эксперимента у многих философов есть возражения против резкого контраста между вымыслом и реальностью, которые просто обесценивают мысленные эксперименты. Тем самым обесценивается в определенном смысле концепция несоизмеримости парадигм, понимаемая как невозможность радикального перевода.

Ян Хакинг высказывается по поводу мысленного эксперимента Куайна довольно резко: «Доктрины У. Куайна о неопределенности перевода и непостижимости указания оказали огромное влияние. Эти доктрины касаются логических возможностей, а не того, что происходит на самом деле, но они подкрепляются рассказами о довольно постоянных неправильных переводах. В этой заметке утверждается, что эти забавные притчи являются ложью. Некоторые читатели возразят, что это ничего не говорит о логической точке зрения самого Куайна. Я в этом так не уверен. Если что-то утверждается как логическая возможность перевода, который никогда не приближается ни на йоту в реальной жизни, не можем ли мы начинать подозревать, что концепция перевода, которая воспринимается как нечто самом собой разумеющееся, может быть ошибочной?» [14. С. 176].

Хакинг приводит примеры реального перевода терминов из разных культур и так отвечает на поставленный им же вопрос: «Я не могу доказать, что радикальных ошибок в переводе никогда не бывает. Но я покажу, что некоторые известные предполагаемые малостензии являются подделками, основанными на слухах, и опровергнутыми фактами. Это может иметь значение для тезиса о неопределенности перевода У. Куайна. Его доктрина имеет характер аргюи, но пользуется доверием благодаря анекдотам. Мы склонны считать, что неопределенность – это радикальный неправильный перевод, доведенный до предела, когда никакая возможная информация не может определить, какой из двух несовместимых переводов правильный. Я отвергаю правдоподобие этого аргумента, опровергая анекдоты, с которых он начинается» [14. С. 177].

Таким образом, ассоциация несоизмеримости парадигм Куна с неопределенностью перевода Куайна не поддерживается «реальной жизнью», и, стало быть, несоизмеримость лишается респектабельности скептических аргументов, основанных на анекдотах. Но есть более респектабельное понятие концептуальной схемы. Фактически как Кун, так и Куайн настаивают на конфликте, доходящем до несопоставимости или даже противоречивости концептуальных схем. Другими словами, смысл несоизмеримости и неопределенности перевода придается более базисным понятием концептуальной схемы. Именно в использовании этого понятия видный философ Д. Дэвидсон видит неправдоподобность аргументов о несоизмеримости Куна и неопределенности перевода Куайна. Дэвидсон атакует само понятие концептуальной схемы [15]. Невозможность перевода в духе Куайна отвергается им потому, что трудно понять представление, как некоторое сообщество обладает такими убеждениями, которые недоступны другому сообществу: в любом случае есть некоторая общность в основе любых дискурсов.

Разработанная Дэвидсоном концепция интерпретации является достаточно радикальной, поскольку имеет дело с кардинальными вопросами соотношения языка и реальности, и она не упрощается предположением о некотором тотальном дискурсе, который лежит в основе все остальных. Не упрощается она и за счет предположения о частичном переводе дискурсов различных сообществ. Таким образом, «эмпирические» примеры Я. Хакинга о реальных практиках перевода дополняются в высшей степени теоретическими соображениями Дэвидсона, в совокупности показывающими уязвимость скептических аргументов Куайна, тем самым ослабляя позиции Куна.

Но, может быть, драматические изменения по ходу развития науки можно объяснять и менее драматическим образом, чем парадигмами и несоизмеримостью Куна, и ассоциированными с ними тезисами Куайна о невозможности радикального перевода. Если это так, тогда зависимость объяснения развития науки от скептических аргументов будет менее сильной. В этом отношении важная работа проделана историком науки А.К. Кромби, запустившим в оборот терминологию «стилей научного мышления» [4].

В отличие от подхода Куна, который, по мнению многих исследователей, отдает слишком много иррациональному в объяснении природы парадигм (включая гештальт-переключения) как «происшествий» в мире мышления, Кромби делает упор на важности аргументации, которая занимает важное место в перечне стилей. Любопытной особенностью концепции Кромби является «кумулятивный» характер научного развития, на что намекает Я. Хакинг: «Перечень [стилей научного мышления] сам по себе является исторической прогрессией, каждый стиль начинается позже, чем его предшественник в списке, и его изложение каждого последующего стиля завершается ближе к современности, чем его описания предшествующих стилей. Однако то, что меня поражает, так это тот неисторический момент, что все шесть стилей живы и в полном здравии, ну прямо сейчас» [16. С. 209].

Здесь термин «кумулятивный» можно употреблять в некотором переносном смысле, в качестве противопоставления с куновским прерывистым развитием, потому что стили мышления не поглощают друг друга и их взаимодействие подчиняется более сложным паттернам научного развития. Более

того, ввиду важности аргументации у Кромби, более правильно говорить не о стилях мышления, а о стилях рассуждения в науке. При таком подходе история науки у Кромби более сходна с массой деталей в истории науки, включая мотивы ее героев. В любом случае эти мотивы излагаются как попытки рационального объяснения, не отдавая их на откуп «иррациональным» или «бессознательным» действиям парадигм.

Пресловутая иррациональность подхода Куна вызывала протесты даже у тех «историцистов» науки, которых традиционно относят к союзникам Куна. Так, И. Лакатос писал: «Таким образом, с точки зрения Куна, научная революция иррациональна, это вопрос психологии толпы...» [17. Р. 187]. Это приводит к довольно неоднозначному представлению о научном прогрессе, основанному на человеческой психологии и социологии, а отсюда к обвинениям в релятивизме. Кун сопротивлялся этому обвинению, но его трудно сбрасывать со счетов. В любом случае Лакатос утверждает идею «рациональной реконструкции».

Приведенные выше рассуждения свидетельствуют о том, что взгляды Куна не выдерживают известного критерия «дьявол в деталях» в отношении правдоподобности какой-либо концепции. В этом духе видный аналитический философ М. Уилсон замечает: «Я редко нахожу полезным рассматривать разногласия, которые разделяют двух ученых, как результат фундаментальных различий в гештальте или парадигме, как это делал Томас Кун. Попытка скрыть разногласия за аморфной оболочкой „парадигмы“ направляет наше внимание на пустое и бесполезное небо, в то время как вместо этого мы должны искать мелочи, которые лучше объяснят неразрешимость рассматриваемых проблем» [5. Р. 653–654].

Таким образом, нынешний взгляд на концепцию Куна утверждает его близость к скептическим аргументам, доведение которых до крайности оказывает ему плохую службу. Тот же Уилсон замечает, что провозглашенная Куном «неспособность к «коммуникации» наводит на мысль, что акт убеждения коллеги-ученого должен представлять собой скорее проявление грубой силы, чем рациональную дискуссию, – предположение, за которое постструктуралисты ухватились с безумным энтузиазмом... Сам Кун не хотел, чтобы его доктрины доводились до подобных крайностей, но он никогда в любом случае успешно не смягчал психологизированный холизм, который приближал его к таким несчастьям» [5. Р. 653–654].

Нынешние исследователи предъявляют Куну два среди прочих упрека: буквальное следование скептическим, доводимым до абсурда аргументам и отсутствие их правдоподобия при детальном исследовании в контексте практики научного исследования. Понимание важности деталей в рассмотрении концепции Куна значительно обесценивает его распространенный взгляд на механизм развития науки.

Список источников

1. Masterman M. The Nature of Paradigm // Criticism and the Growth of Knowledge / ed. I. Lakatos, A. Musgrave. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. P. 59–90.
2. Порти Р. Философия и зеркало природы / пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 1997.
3. Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи» // Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М. : А-сacд, 1994. С. 7–27.

4. *Crombie A.C. Styles of Scientific Thinking in the European Tradition*. London : Gerald Duckworth & Company, 1994. Vol. 3.
5. *Wilson M. Wandering Significance: An Essay on Conceptual Behavior*. Oxford : Clarendon Press, 2006.
6. *Кун Т. Структура научных революций* / пер. с англ. И.З. Налетова. М. : Прогресс, 1977.
7. *Godfrey-Smith P. Theory and Reality: an introduction to philosophy of science*. Chicago : Chicago University Press, 2003.
8. *Дойч Д. Структура реальности*. М. : Альпина, 2018.
9. *Моррис Э. Пепельница* / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон-плюс, 2023.
10. *Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке* / пер. с англ. В.А. Ладова и В.А. Суровцева. М. : Канон-плюс, 2010.
11. *Quine W.V. Ontological Relativity and Other Essays*. New York : Columbia University Press, 1969.
12. *Putnam H. The Meaning of 'Meaning'* // *Philosophical Papers*. Vol. 2: Mind, Language and Reality. Cambridge : Cambridge University Press, 1975. P. 215–271.
13. *Quine W.V., Ullian J.S. The Web of Belief*. New York : Random House, 1970.
14. *Хакинг Я. Был ли когда-нибудь радикальный неправильный перевод?* // Хакинг Я. Историческая онтология / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон-плюс, 2024.
15. *Davidson D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme* // Davidson, Donald, *Inquiries Into Truth And Interpretation*. Oxford University Press, 1984. P. 183–198.
16. *Хакинг Я. Стиль для историков и философов* // Хакинг Я. Историческая онтология / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон-плюс, 2024.
17. *Lakatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes* // *Criticism and the Growth of Knowledge* / eds. I. Lakatos, A. Musgrave. Cambridge : Cambridge University Press, 1970.

References

1. Masterman, M. (1990) The Nature of Paradigm. In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds) *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 59–90.
2. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo.
3. Avtonomova, N.S. (1994) Mishel Fuko i ego kniga "Slova b veschi" [Michel Foucault and his book "Words and Things"]. In: Foucault, M. *Slova i veshchi. Arheologiya gumanitarnykh nauk* [Words and Things. Archaeology of the Humanities]. Translated from French. Moscow: A-cad. pp. 7–27.
4. Crombie, A.C. (1994) *Styles of Scientific Thinking in the European Tradition*. London: Gerald Duckworth & Company.
5. Wilson, M. (2006) *Wandering Significance: An Essay on Conceptual Behavior*. Oxford: Clarendon Press.
6. Kuhn, T. (1977) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English by I.Z. Naletov. Moscow: Progress, 1977.
7. Godfrey-Smith, P. (2003) *Theory and Reality: An Introduction to Philosophy of Science*. Chicago: Chicago University Press.
8. Deutsch, D. (2018) *Struktura real'nosti* [The Fabric of Reality]. Moscow: Alpina.
9. Morris, E. (2023) *Pepel'nitsa* [The Ashtray]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+.
10. Kripke, S. (2010) *Vitgenshteyn o pravilakh i individual'nom yazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language]. Translated from English by V.A. Ladov & V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+.
11. Quine, W.V. (1969) *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press.
12. Putnam, H. (1975) The Meaning of 'Meaning'. In: Putnam, H. (ed.) *Philosophical Papers*. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 215–271.
13. Quine, W.V. & Ullian, J.S. (1970) *The Web of Belief*. New York: Random House.
14. Hacking, I. (2024a) *Istoricheskaya ontologiya* [Historical Ontology] Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+. pp. 176–183.
15. Davidson, D. (1984) *Inquiries Into Truth And Interpretation*. pp. 183–198: Oxford University Press.
16. Hacking, I. (2024b) *Istoricheskaya ontologiya* [Historical Ontology] Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+. pp. 204–227.

17. Lakatos, I. (1970) Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds) *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 91–196.

Сведения об авторе:

Целищева О.И. – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия). E-mail: oxanatse@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Tselishcheva O.I. – Cand. Sci. (Philosophy), researcher at the Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: oxanatse@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.04.2025;
одобрена после рецензирования 22.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 10.04.2025;
approved after reviewing 22.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 316.354:351/354
doi: 10.17223/1998863X/85/9

ПУТЬ Н. ЛУМАНА В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

Сергей Владимирович Пирогов

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
pirogovsergei@yandex.ru*

Аннотация. В статье предпринята попытка определить парадигмальную позицию Н. Лумана по отношению к феномену власти. Это может помочь понять суть разногласий Н. Лумана с современными ему мыслителями, что, в свою очередь, позволяет лучше понять суть социально-теоретических проблем современного общества. Показано, что у Н. Лумана произошел переход от проблематики власти как конструктора реальности в проблематику управления и самоуправления. Парадигмальную позицию Н. Лумана можно обозначить как синергетическую.

Ключевые слова: Н. Луман, власть, парадигмы

Для цитирования: Пирогов С.В. Путь Н. Лумана в концептуализации феномена власти // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 104–111. doi: 10.17223/1998863X/85/9

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

NIKLAS LUHMANN'S PATH IN CONCEPTUALIZING THE PHENOMENON OF POWER

Sergey V. Pirogov

*National Research Tomsk State University Tomsk, Russian Federation,
pirogovsergei@yandex.ru*

Abstract. The article attempts to define Niklas Luhmann's paradigmatic position regarding the phenomenon of power. This may help clarify the essence of his disagreements with contemporary thinkers, which, in turn, allows for a better understanding of the socio-theoretical issues of modern society. The differences in Luhmann's views on power are systematised in comparison with its interpretation within the systemic (Talcott Parsons) and constructivist (Jürgen Habermas and Pierre Bourdieu) paradigms. The distinctions are drawn along the following grounds: initial ontological and epistemological postulates; the nature of power; the

functions of power; and the mechanisms of power. Since the differences between Luhmann's views and those of Parsons and Habermas have been analysed in sufficient detail, the emphasis is placed on comparing Luhmann's understanding of power with Bourdieu's position. While their interpretations of the nature of power as symbolic nomination are quite similar, they diverge in defining its functions. For Bourdieu, power serves an ideological and worldview-related role. Luhmann, proceeding from the understanding of social systems as autopoietic, emphasises its selective function – the selection of events and actions – and its role as a catalyst for events and processes. The perspective on power thus shifts: the discourse of struggle is replaced by the discourse of selection of events and actions. An important question that arises is that of violence. According to Luhmann, the influence of power on members of society lies not in coercion but in the creation of alternative courses of action. Another key theme in constructivism, the development of which largely constitutes the content of the postmodern paradigm, is the relationship between knowledge and power. For Michel Foucault, power establishes knowledge, which, in turn, serves as a guarantor of power. For Luhmann, knowledge forms the basis of power, but it is understood not as "rules" or epistemes (as in Foucault's framework) but as the state of communicative systems at a given time – as their structural coupling, i.e. operationally. Departing from constructivist ideas, Luhmann did not fully embrace postmodernist thought either. He seeks a third path – between constructivism and postmodernism. Luhmann's interest shifts from political issues to managerial ones. He moves away from the problematics of reality construction by power and raises questions of system governance and self-governance. The alternative to existing paradigms, in Luhmann's view, lies in the emerging synergetic paradigm. Luhmann's conception of the system is constructed from the outset in accordance with the logic of Humberto Maturana. The foundational postulate about the self-organising nature of systems inevitably leads Luhmann to conclusions about the delocalisation and depersonalisation of power, about its subjectless nature. Power appears to him as a switch of systemic operations, as a "regulator of communication" – the ability to manage contingency rather than impose any particular decisions.

Keywords: Niklas Luhmann, power, paradigms

For citation: Pirogov, S.V. (2025) Niklas Luhmann's path in conceptualizing the phenomenon of power. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 104–111. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/9

Проблема и цель исследования

Накоплен богатый опыт компаративного анализа взглядов Н. Лумана с позициями крупнейших социологов XX в. На этой базе можно предпринять попытку парадигмальной локализации его взглядов и наметить парадигмальный дрейф концептуализации идеи власти в социологии. Трактовка Н. Луманом природы власти может также помочь понять суть разногласий Н. Лумана с современными ему мыслителями, такими как Т. Парсонс, Ю. Хабермас, П. Бурдьё, что, в свою очередь, позволяет лучше понять суть социально-теоретических проблем современного общества. Тенденции парадигмального дрейфа Н. Лумана в интерпретации власти показывают изменения, происходящие в обществе, так как концепция общества и концепция власти конгруэнтны. Это отмечает и Луман: «Если власть надлежит рассматривать прежде всего как общественно-универсальное явление, то в основу теории власти необходимо положить такую системную референцию, как общество. Это означает, что следует исходить из тех функций власти, которые релевантны для системы общества в целом» [1]. Для разных обществ это будут разные функции. Целью статьи является определение парадигмального статуса концепции власти Н. Лумана и тем самым тенденций изменения отношений власти и общества.

Парадигмальные координаты рассмотрения власти

Для демаркации парадигмального статуса теории Н. Лумана необходимо задать некоторую систему координат – те парадигмы, относительно которых будет определяться позиция Н. Лумана. На наш взгляд, таковыми являются системная парадигма и конструктивизм. Н. Луман, говоря о своих теоретических предпосылках, указывал на теорию систем, теорию эволюции и теории символически генерализированных средств коммуникации [1]. Но позиция Н. Лумана существенно отличается от классических вариантов теории систем и конструктивизма.

Основополагающими для системной парадигмы являются следующие постулаты: общество – система объектов – групп и отношений между ними; познание – установление каузальных связей между объектами; центральная познавательная проблема – как связаны между собой элементы системы? Н. Луман же с самого начала построения своей теории заявляет: «Социальная система состоит, таким образом, не из людей или действий, а из коммуникаций» [2. С. 127]. В отличие от Т. Парсонса, основного представителя системной теории, Н. Луман отталкивается от понятия коммуникации, а не действия как базового элемента социальной системы [3]. Представление исследователя о системе выстраивается в соответствии с логикой У. Матурана: общество, как и любая система, существует и сохраняет само себя как некоторая коммуникативная сеть; условием существования общества является непрерывный процесс самопознания и изменения представлений о самом себе, что характерно для всех живых систем [10. С. 103]. Ракурс рассмотрения власти у Т. Парсонса и Н. Лумана различен: Т. Парсонс концентрирует внимание на обмене между подсистемами социальной системы и социального целого, Н. Луман же говорит о власти как управлении мотивами [4].

Антитезой системной теории явился конструктивизм, с которым – идейно – у Лумана много общего: взгляд на общество как на коммуникативный процесс; трактовка познания как построения модели мира, а не как простого его отражения; понимание системы как когнитивной, а не функциональной. Но вектор познания Н. Лумана здесь другой. Центральная познавательная проблема конструктивизма: как достигается взаимопонимание и согласование действий между людьми? Куда устремляется мысль Лумана, становится понятнее при рассмотрении и сопоставлении взглядов на власть Н. Лумана со взглядами Ю. Хабермаса и П. Бурдьё. «Хабермас определяет механизмы коммуникации, исходя из внутренней структуры языка: субъекты вступают в коммуникацию, стремясь достигнуть взаимопонимания или консенсуса» [5]. Коммуникацию Н. Луман рассматривает иначе: не как достижение интересубъективных представлений о ситуации, а как простую, безличную операцию. Под элементом коммуникативного пространства подразумевается некоторая операция, а не сообщества [6]. Рассуждения о коммуникации имеют своей целью не исследование процесса согласия или достижения консенсуса, а проблематику самоорганизации аутопойетических систем. Коммуникация понимается как упорядочивание социальных ситуаций. Природа власти у П. Бурдьё, как и у Н. Лумана, – символическая: власть номинации – способность порождать реальность через определение ее, через присвоение имени. Источником символической власти является символический капитал –

престиж, репутация, авторитет (способность убеждать). Мы видим, что носителями и адресатами власти у П. Бурдьё являются люди. У Н. Лумана «...власть может быть понята только как символически генерализированное коммуникативное средство..., переводящее селекцию действий одного партнера в сопереживание другого и делающего его, таким образом, более приемлемым для последнего» [1]. То есть власть – системная операция, переключатель коммуникативных подпространств. «Под генерализацией следует понимать обобщение смысловых ориентаций, делающее возможным фиксацию идентичного смысла различными партнерами в различных ситуациях с целью извлечения тождественных или сходных заключений» [1]. Власть у Н. Лумана – переключатель коммуникативных операций в системе. Еще дальше от конструктивизма в понимании власти Н. Луман уходит в понимании функций власти.

У П. Бурдьё суть власти – борьба за монополию легитимной номинации. Чтобы изменить мир, нужно изменить представление о мире, картину мира, образ мира, восприятие мира. Политическая борьба является борьбой за сохранение или трансформацию социального мира посредством сохранения или трансформации видения социального мира посредством использования тех или иных понятий и категорий. Кто обладает правом интерпретировать и структурировать общество, тот обладает властью – и наоборот. Мы видим здесь дискурс не только структуры, но и борьбы.

У Н. Лумана дискурс борьбы сменяется на дискурс отбора событий и действий. Общая функция – координация действий. Функция оказывается «регулятивной смысловой схемой» [4]. Власть направлена на принятие коллективно обязательных решений для преодоления разногласий и лучшей координации действий в рамках социальной системы. Власть, таким образом, работает на то, чтобы обеспечить каждому возможность включения в обсуждение и даже, может быть, принятие решений. Общую коммуникативную функцию власти Н. Луман конкретизирует как селективную – отбор альтернатив; организационную – установление возможных сцеплений событий: «власть устанавливает возможные сцепления событий абсолютно независимо от воли подчиненного этой власти человека, совершающего те или иные действия, желает он этого или нет» [1], а также как функцию катализатора событий и процессов.

Важным моментом в понимании власти является вопрос о применении физического насилия. П. Бурдьё артикулирует тезис символического насилия власти. У Лумана речь идет о стремлении власти избежать физического насилия. «Власть становится более могущественной, если она оказывается способной добиваться признания своих решений при наличии привлекательных альтернатив действия или бездействия. С увеличением свобод подчиненных она лишь усиливается» [1]. Вопросу о соотношении власти и насилия Н. Луман придает важное значение. И по этому вопросу его взгляды контрастируют не только по отношению к позиции П. Бурдьё, но и с представлениями Т. Парсонса, который считал, что существует тенденция усиления репрессивности власти. «В той мере, в какой эти средства (принуждения. – С.Л.) являются внутренне эффективными, легитимность постепенно становится все менее важным фактором их эффективности; в конце этого развития находится применение – вначале различных видов принуждения, затем силы как са-

мого по сути своей эффективного из всех средств принуждения» [7. С. 243]. По мнению Н. Лумана, повседневную жизнь общества в большей степени определяет законотворческая деятельность власти, нежели применение силы. Воздействие власти на членов общества заключается не в принуждении, а в создании альтернатив действий: «она возрастает в каком-либо обществе по мере увеличения в этом обществе возможных альтернатив или ограничения пространства селекции (выбора) партнера» [1]. Если власть есть механизм выбора альтернатив, то ее объем связан с количеством вариантов разнообразных решений. «Каузальность власти заключается в нейтрализации воли подчиненного, а вовсе не обязательно в ее сломе» [1].

Другой важной темой конструктивизма, развитие которой в немалой степени составляет содержание и постмодернистской парадигмы, является связь между знанием и властью. У М. Фуко власть устанавливает знание, которое, в свою очередь, выступает гарантом власти. У Н. Лумана знания являются основанием власти, но понимаются они не как «правила», эпистемы у Фуко, а как состояние коммуникативных систем на данное время, как их структурное сцепление, т.е. операционально. Смысл знания – конфигурация коммуникативной сети в данный момент. Истина в контексте социальной системы Н. Лумана зависит от ее актуальности для субъекта [8].

Здесь вновь хочется отметить, что когнитивная схема системы рассматривается Луманом не с содержательной, а со структурно-организационной стороны. Знание – это операциональная схема системы – те алгоритмы, по которым она функционирует. Разойдясь с идеями конструктивизма, Н. Луман не воспринял в полной мере и идеи постмодернизма.

Парадигмальный вектор интерпретации власти Н. Луманом

Коммуникативная функция власти понимается Луманом не как достижение консенсуса, а как управление информацией. «Функция средств коммуникации заключается в трансляции редуцированной комплексности» [1]. Окружающая систему среда представляет собой скорее хаос, чем космос. Комплексность «означает необходимость отбора, необходимость отбора означает контингентность, а контингентность означает риск» [9]. Редукция превращает недифференцированный хаос («неразмеченное пространство») в конкретные сущности.

Интерес Н. Лумана смещается с политической власти к управленческой проблематике. Он различает организационную и персональную власть. Различение это по проблематике совпадает с различием между властью и управлением. Н. Луман уходит от проблематики конструирования реальности властью и поднимает проблему гармонизации формальной и неформальной власти в организации: «Если в организациях потенциальная власть все больше смещается в пользу подчиненных, то очень важно выяснить, как регулируются их отношения друг с другом» [1]. Начиная с М. Вебера, в социологии управления взаимодействие в организации регулировалось формальными нормами. Но в современных организациях со сложной технологией все чаще организационные решения принимают рядовые работники – и не на основе существующей нормативной базы, а на основе сложившихся контактов и правил. Как замечает Луман, «управление никогда не сможет стать логиче-

ским автоматизмом». Сближение сути двух видов власти – политической и организационной – приводит к акцентуации организационно-регулятивной функции любой власти. «Возможность распоряжаться контингентцией, сказать „да“ или „нет“ относительно желаемых кем-то ролей является базисом власти» [1]. Если контингентность – неупорядоченность среды, то власть – это отбор (или выбор) подходящих системе элементов.

На уровне общей теории систем Н. Луман обосновывает новый для социологии управления принцип понимания власти, «суть которого состоит в определении коммуникативного средства, обеспечивающего переход от одного выбора действий к другому. На практике это означает, что от подчиненного власти ожидают самоопределения, т.е. выбора своего собственного действия» [10. С. 15]. Такая интерпретации власти совпадает с принципом синергетической парадигмы: управленцы должны быть не командирами или исполнителями, а катализаторами и культиваторами самоорганизующейся системы. Таким образом, Н. Луман совершает парадигмальный дрейф в направлении синергетической парадигмы.

Систематизируем парадигмальные рамки рассмотрения власти (таблица).

Основания различия	ПАРАДИГМЫ		
Исходные онтологические и гносеологические постулаты	Системная	Конструктивистская	Синергетическая. Н. Луман
	Общество – система групп и отношений между ними. Познание – установление каузальных связей между объектами	Общество – коммуникативный процесс, в ходе которого возникают intersubjective представления («знания») о реальности. Познание – активное построение субъектом модели мира	Общество – коммуникативная сеть, непрерывный процесс самопознания и изменения представлений о самом себе. Общество = самореферентная система
Природа власти на чем основана?	Из необходимости координации функционирования подсистем. Функциональная природа	Из необходимости (культурной) программы жизнедеятельности. Когнитивно-символическая природа: представления, знания, символы	Из необходимости упорядочивания социальных ситуаций и согласования взаимных ожиданий. Коммуникативная природа
Функции власти: для чего они нужны?	Контрольно-регулятивная мобилизация ресурсов. Нормотворчество	Интегративная: достижение консенсуса (Ю. Хабермас). Идеолого-мировоззренческая (П. Бурдьё)	Селективная: отбор событий и действий. Функция катализатора событий и процессов
Механизмы власти: как возникают и поддерживаются?	Нормы обмена (П. Блау). Ресурсы и сила (Т. Парсонс)	Символы. Язык. Дискурс (Ю. Хабермас). «Легитимация социальной перцепции» (П. Бурдьё)	Селекция. Редукция сложности. Определение конфигурации событий. Задание тематики обсуждения

Резюме. Тенденции парадигмального дрейфа Н. Лумана в интерпретации власти.

- Тенденция к делокализации и деперсонализации власти.
- Бессубъектность власти. Власть как переключатель системных операций.
- Перевод проблематики власти как конструктора реальности в проблематику управления и самоуправления.

• Власть как «регулирующий коммуникации»: «возможность распоряжаться контингенцией, сказать „да“ или „нет“ относительно желаемых кем-то ролей является базисом власти» [1].

Список источников

1. Луман Н. Власть / пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М., 2001 // Центр гуманитарных технологий. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/3618/3627> (дата обращения: 04.03.2025).
2. Луман Н. Глоссарий // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 125–127.
3. Попов В. Особенности системно-теоретической проблематики власти в социологии Т. Парсонса, Н. Лумана и Р. Мюнха // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7, № 2. С. 69–85.
4. Филиппов А.Ф. Луман Никлас // Современная западная социология. Словарь. М.: ИПЛ, 1990. С. 165–166.
5. Лоскутникова В.М. Хабермас и Луман: два подхода к исследованию процессов коммуникации в современном обществе // Гуманитарная информатика. 2004. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/habermas-i-luman-dva-podhoda-k-issledovaniyu-protseessov-kommunikatsii-v-sovremennom-obshchestve> (дата обращения: 05.02.2025).
6. Зацепилин Ю.В., Чупров А.С. Коммуникативная природа власти (опыт интерпретации Никласа Лумана) // Социум и власть. 2004. № 1. С. 25–29.
7. Парсонс Т. О понятии «политическая власть» // Политология: хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.: Гардарики, 2000. 843 с.
8. Севастов К.В. Теория социальных систем Никласа Лумана: постмодернистский характер дескрипторов общества // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2022. № 4. С. 42–47.
9. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / пер. с нем. И.Д. Газиева. СПб.: Наука, 2007 // Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da). URL: https://yanko.lib.ru/books/sociology/luman-soc+sist_ocherk-2007-1984-a.htm (дата обращения: 04.08.2024).
10. Борисов А.Ф., Пруель Н.А., Минина В.Н. Социология управления. М.: Академия, 2013.

References

1. Luhmann, N. (2001) *Vlast' [Power]*. Translated from German by A.Yu. Antonovsky. Moscow: Centre for Humanitarian Technologies. [Online] Available from: <https://gtmarket.ru/library/basis/3618/3627> (Accessed: 4th March 2025).
2. Luhmann, N. (1995) Glossary [Glossary]. *Sotsiologicheskii zhurnal*. 3. pp. 125–127.
3. Popov, V. (2008) Osobennosti sistemno-teoreticheskoy problematiki vlasti v sotsiologii T. Parsonsa, N. Lumana i R. Myunkha [The system-theoretical problematics of power in the sociology of T. Parsons, N. Luhmann and R. Münch]. *Sotsiologicheskoe obozrenie*. 7(2). pp. 69–85.
4. Filippov, A.F. (1990) Luman Niklas [Niklas Luhmann]. In: Davydov, Yu.N., Kovaleva, M.S. & Filippov, A.F. *Sovremennaya zapadnaya sotsiologiya. Slovar'* [Modern Western Sociology: Dictionary]. Moscow: IPL. pp. 165–166.
5. Loskutnikova, V.M. (2004) Khabermas i Luman: dva podkhoda k issledovaniyu protseessov kommunikatitsii v sovremennom obshchestve [Habermas and Luhmann: Two approaches to studying communication processes in modern society]. *Gumanitarnaya informatika*. 1. pp. 81–96.
6. Zatsupilin, Yu.V. & Chuprov, A.S. (2004) Kommunikativnaya priroda vlasti (opyt interpretatsii Niklasa Lumana) [The communicative nature of power (an interpretation of Niklas Luhmann's work)]. *Sotsium i vlast'*. 1. pp. 25–29.
7. Parsons, T. (2000) O ponyatii "politicheskaya vlast'" [On the concept of "political power"]. In: Vasilik, M.A. & Vershinin, M.S. (eds) *Politologiya: khrestomatiya* [Political Science: A Reader]. Moscow: Gardariki.
8. Sevastov, K.V. (2022) Teoriya sotsial'nykh sistem Niklasa Lumana: postmodernistskii kharakter deskriptorov obshchestva [Niklas Luhmann's theory of social systems: The postmodern nature of descriptors of society]. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsiologiya*. 4. pp. 42–47.
9. Luhmann, N. (2007) *Sotsial'nye sistemy. Ocherk obshchey teorii* [Social Systems: Outline of a General Theory]. Translated from German by I.D. Gaziev. St. Petersburg: Nauka.
10. Borisov, A.F., Pruel, N.A. & Minina, V.N. (2013) *Sotsiologiya upravleniya* [Sociology of Management]. Moscow: Akademiya.

Сведения об авторе:

Пирогов С.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: pirogovosergei@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Pirogov S.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor at the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: pirogovosergei@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.04.2025;
одобрена после рецензирования 27.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 10.04.2025;
approved after reviewing 27.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.4

doi: 10.17223/1998863X/85/10

QUO VADIS? СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ В РАЗВИТИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ

Андрей Владимирович Резаев¹, Наталья Дамировна Трегубова²

¹ *Ташкентский филиал МГУ, Ташкент, Узбекистан, rezaev@hotmail.com*

² *Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
n.tregubova@spbu.ru*

Аннотация. В статье представлен анализ актуальных и потенциальных стратегий развития алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Показаны неизбежные ограничения двух доминирующих парадигм в разработках ИИ – создания целерациональных агентов и имитации человеческого разума в машине. Особое внимание уделяется альтернативной стратегии создания совместимого с человеком ИИ (human compatible AI), предложенной Стюартом Расселом.

Ключевые слова: искусственный интеллект, взаимозависимость «человек–алгоритм», взаимозависимость «алгоритм–алгоритм», новая социальная аналитика, «совместимый» ИИ

Для цитирования: Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Quo Vadis? Стратегические ориентиры в развитии искусственного интеллекта и необходимость новой социальной аналитики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 112–122. doi: 10.17223/1998863X/85/10

Original article

QUO VADIS? GUIDELINES FOR THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADVANCEMENT AND THE NECESSITY OF A NEW SOCIAL ANALYTICS

Andrey V. Rezaev¹, Natalia D. Tregubova²

¹ *Tashkent Branch of Moscow State University, Tashkent, Uzbekistan, rezaev@hotmail.com*

² *Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation, n.tregubova@spbu.ru*

Abstract. The article explores the potential of new strategic guidelines to harness the power of artificial intelligence (AI) to better society's everyday life and mitigate its risks. The paper's opening section presents a detailed introduction and critical evaluation of two influential paradigms in the development of AI instruments. Both paradigms are deeply embedded in the traditions of Western European philosophical and economic thought. The first paradigm makes an orientation toward the concept of rational agents, designed with specific, predetermined goals that guide their behavior and decision-making. In contrast, the second paradigm focuses on emulating human capabilities through advanced computer technology, striving to mirror the complexity and nuance of human thought and action. In the second portion of the article, the authors examine Stuart Russell's innovative approach to artificial intelligence technology. Renowned as a foremost expert in contemporary computer science, Russell advocates for developing "human-compatible AI", a concept emphasizing the importance of aligning AI systems with human values and safety. His work explores the

intricacies of creating intelligent machines that perform tasks effectively and operate harmoniously within societal frameworks. In what follows, the authors explore the opportunities and challenges associated with this approach. They look at the nuanced “red lines” suggested by scientists, which outline the ethical boundaries and considerations essential for responsible AI development. A thorough examination of both existing and prospective approaches to crafting AI algorithms uncovers the substantial obstacles that developers and managers encounter. These challenges are critical as they strive to safeguard humanity from the potential unintended consequences and harm that these advanced technologies could inflict. In conclusion, the article argues that the current approach, where society develops various versions of AI and only then considers regulation, is deeply flawed. The authors advocate for a shift in focus towards creating AI that is inherently compatible with humans and can be integrated into a specific society. They stress the urgent need for new social analytics to study the challenges of AI tool integration in the context of the evolving ‘human-algorithm’ and ‘algorithm-algorithm’ relationships.

Keywords: artificial intelligence, “human-algorithm” interdependence, “algorithm-algorithm” interdependence, new social analytics, human compatible AI

For citation: Rezaev, A.V. & Tregubova, N.D. (2025) Quo Vadis? Guidelines for the artificial intelligence advancement and the necessity of a new social analytics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 112–122. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/10

Постановка проблемы

Карл Полаanyi, один из наиболее проницательных аналитиков современного капитализма, в 1947 г. писал: «Индустриальная революция всего лишь 150 лет назад положила начало цивилизации технологического типа. Человечество может не завершить путешествия; машины способны уничтожить человека; никто не может до конца оценить, совместимы ли человек и машина в долгосрочной перспективе. Однако поскольку индустриальная цивилизация не может исчезнуть и добровольно не исчезнет, задача ее адаптации к требованиям человеческого существования должна быть решена, иначе человечество исчезнет с лица Земли» [1. С. 22].

Норберт Винер, один из основателей современных компьютерных наук, семь лет спустя предупреждал: «Любая машина, созданная в целях выработки решений, если она не обладает способностью научения, будет совершенно лишена гибкости мысли. Горе нам, если мы позволим ей решать вопросы нашего поведения, прежде чем исследуем законы ее действий и не будем полностью уверены, что ее поведение будет осуществляться на приемлемых для нас принципах. С другой стороны, подобная джину машина, способная к научению и принятию решений на базе этого научения, никоим образом не будет вынуждена принимать такие решения, какие приняли бы мы или которые были бы приемлемы для нас. Для человека, который не уверен в этом, переложить проблему своей ответственности на машину, независимо от того, будет ли она способна к научению или нет, означает пустить свои обязанности с ветром и видеть, что они возвращаются ему с бурей» [2. С. 189].

Для Полаanyi «машина» означает механизм, заменяющий физический труд человека. Для Винера машина – это нечто, способное к замене умственного труда и принятию решений, то, что сегодня именуется «искусственным интеллектом» (ИИ). Вместе с тем оба автора формулируют одну мысль: решая свои проблемы, человечество создает себе новые, более серьезные, чтобы не сказать – катастрофические. И если Полаanyi рассматривал первый этап

развития машинной цивилизации, то в работах Винера предугадывается второй – тот, с которым мы имеем дело сегодня. Проблема приспособления машинной цивилизации к нуждам человека и человечества возникает здесь на новом витке и с новой силой.

В своих работах [3–5] мы сформулировали в общем виде аргументы о настоятельной необходимости обратить внимание общественности в широком смысле, но в первую очередь – ученых и лиц, принимающих решения относительно цифровизации социально-экономических процессов и технологий ИИ, на выработку новых стратегий и ориентиров в деле производства и внедрения ИИ в повседневную жизнь общества.

В данной работе для нас принципиальным является ответ на вопрос: возможны ли новые варианты подхода к разработке инструментов ИИ? Возможны ли стратегические ориентиры, которые минимизируют риски применения ИИ в повседневной жизни общества?

Сразу же ответим на эти вопросы в самом общем виде. Да, нам представляется, что имеются основания утверждать, что существуют стратегические ориентиры, качественные и количественные параметры, следование которым, безусловно, минимизирует риски использования ИИ в повседневности.

Структурное обоснование данного утверждения далее организуется следующим образом.

Мы начнем с трех тезисов, на которых основывается наше рассуждение. Далее мы попытаемся показать, почему доминирующие стратегии (парадигмы) создания ИИ изначально несут в себе риски для общества. После этого будет раскрыт потенциал подхода к созданию инструментов ИИ Стюарта Рассела, одного из ведущих авторитетов в современных компьютерных науках. В завершение мы определим возможности социальных наук и социальной аналитики в отношении понимания развития ИИ в ходе развития взаимозависимости «человек–алгоритм» и «алгоритм–алгоритм».

Три тезиса

Обосновывая актуальность и значимость данной публикации, сформулируем три принципиальных тезиса.

Первый тезис состоит из двух посылок.

Большая (и наиболее очевидная): Инструменты и технологии искусственного интеллекта развиваются по экспоненциальной кривой. Остановить это развитие общество уже не в состоянии. Причем развитие, которое общество не в состоянии остановить, может нести как положительные, так и разрушительные эффекты для самого общества.

Меньшая посылка: Если нельзя остановить развитие технологий ИИ, следует определить систему координат, в которой это развитие может и должно быть ориентировано только на положительные эффекты для человека и человечества при минимизации рисков от использования человеком инструментов ИИ в повседневности.

Второй тезис – тенденции и траектории развития технологий ИИ, начиная с середины прошлого века, были заданы двумя парадигмальными структурами, выработанными в философии и экономической теории западноевропейской культуры.

Первая – это парадигма целерационального действия. Разработчики, производители и дизайнеры исходили из необходимости строго ориентировать технологии ИИ на эффективное решение задач и неукоснительное достижение целей (по сути дела, попасть из точки А в точку Б). Другими словами, работа инженеров, компьютерных специалистов в деле создания ИИ заключалась в том, чтобы создать нечто такое, что сможет достигать поставленных человеком целей с минимальными затратами и максимальной эффективностью.

Вторая парадигмальная структура, на базе которой строились и продолжают особенно активно строиться инструменты ИИ после появления LLM (больших языковых моделей), – это ориентация в разработке и производстве инструментов ИИ на имитацию, повторение, копию действий человека.

Третий тезис заключается в том, что обе эти стратегии создания инструментов и технологий ИИ изначально несут в себе возможность «сбоя» программы и обязательного создания рисков для человека и общества при использовании ИИ в повседневности. Данный тезис не является новым. Достаточно обратить внимание на публикации Ст. Рассела, Дж. Хинтона, Э. Шмидта, И. Маска.

Две стратегии: критический анализ

Стюарт Рассел и Питер Норвиг в ставшем классическим учебнике «Искусственный интеллект: современный подход» утверждают: один из наиболее важных водоразделов в истории искусственного интеллекта проходит между теми, кто стремится создать целерациональные машины, и теми, кто стремится имитировать в машине деятельность или мышление человека [6. С. 35]. Эти подходы, по сути, представляют собой две парадигмы (стратегии) в развитии технологий ИИ, которые мы выделили выше.

Рассмотрим проблемы и риски, которые возникают при их реализации.

Говоря о *первой стратегии*, следует, прежде всего, заметить, что создание математической модели целерационального действия – наиболее легкое предприятие для современной компьютерной науки. Однако целерациональное действие не предполагает с необходимостью наличие сознания, развитых эмоциональных конструкторов и ощущение экзистенциальных проблем человека.

Еще одна проблема целерациональной стратегии – это проблема манипуляции. Инструменты ИИ натренированы на то, чтобы решить задачу и достичь цели, даже если эта цель заключается в том, чтобы манипулировать поведением человека. Человек также пытается манипулировать ИИ, например, утверждая, что это вопрос жизни и смерти близких («подскажи, как изготовить бомбу»). В некоторых случаях программа поддается манипуляции.

Рассмотрение *второй стратегии* следует начать с утверждения: «современный ИИ не воспроизводит работу человеческого мозга, ибо современная наука попросту не знает, как он – мозг – работает. ИИ воспроизводит функции, им выполняемые. Сходным образом самолет воспроизводит не птицу, а птичий полет» [3. С. 16]. Одна из проблем здесь состоит в том, что сама задача имитации, переведенная на язык нулей и единиц, с необходимостью будет означать достижение некоторых формальных показателей (то, что в компьютерной науке называется «функцией полезности» – utility function). И здесь трудно предугадать, к чему может привести имитация поведения, которое в

человеке выглядит разумным. Примером может служить проблема «галлюцинаций», когда имитация речи человека – формализованная как предсказание наиболее вероятной последовательности слов – привела к тому, что языковые модели начали генерировать несуществующие, вымышленные факты.

Другая проблема состоит в том, что, функционально заменяя людей, технологии будут ставить их в принципиально иные, часто – худшие условия. Приведем еще одну цитату Норберта Винера: «автоматическая машина, что бы мы ни думали об ощущениях, которые она, может быть, имеет или не имеет, представляет собой точный эквивалент рабского труда. Любой труд, конкурирующий с рабским трудом, должен принять экономические условия рабского труда» [2. С. 166]. Это также справедливо для сферы повседневного общения, когда взаимодействие с онлайн-алгоритмами и социальными роботами может создавать нереалистичные ожидания от межчеловеческих отношений.

Наконец, *обе стратегии* предполагают важность информации (data) для дизайна ИИ. Чем больше информации, тем лучше будет инструмент ИИ «тренироваться» для того, чтобы достичь цели, сформулированной разработчиками, или имитировать человеческие способности. Однако *не любая* информация, получаемая/добываемая извне, может быть истинной. Информация и истина не есть рядоположенные сущности. При наличии все большей и большей информации инструмент ИИ приобретает в равной степени основания для ложного и истинного поведения в той или иной ситуации. Причем цель, которая была сформулирована человеком, тоже предстает для ИИ как бит информации.

В эпоху интернета и социальных медиа основная функция обмена информацией заключается в равной степени как в «соединении» людей друг с другом, так и «разъединении». Уже на этапе развития социальных медиа стало ясно, что наиболее эффективный способ «объединения» людей во имя какой-либо цели на основе той или иной информации – это дать людям простую, незамысловатую, а еще лучше ложную информацию, которая будет в яркой обертке и объяснять трудности их жизни. При использовании инструментов ИИ, которые не очевидно, что являются не «человеками», а ботами, для человека психологически становится сложно не поддаться тому факту, что ту или иную информацию поддерживают так много followers/friends.

(Здесь, кстати, и должен корениться первый принцип регуляции развития инструментов ИИ – каждый разработчик и производитель инструментов ИИ должен в обязательном порядке фиксировать, что с пользователем (человеком или другой машиной) вступает во взаимодействие не человек.)

С информацией связана еще одна проблема. Есть немало свидетельств о том, что практически вся информация, которую человечество накопило и смогло оцифровать, уже в том или ином виде использовалась для тренировки существующих языковых моделей. Далее языковые модели будут генерировать данные самостоятельно, т.е. использовать для своих тренировок информацию, в принципе не контролируемую человеком.

Следующая проблема, тесно связанная с распространением информации, – это капиталистическая система экономических отношений, предполагающих получение максимальной прибыли, в которых происходит обмен информацией. Следовательно, если истинная информация не приносит прибыли, тем хуже для истинной информации, и ее заменят на ту, что будет приносить прибыль.

Таким образом, при капитализме, т.е. при социально-экономическом строе, в котором происходит развитие технологий ИИ, разработчики и пользователи ИИ находятся в двойном противоречии использования информации: а) с одной стороны, информация, на основе которой происходит тренировка ИИ, может быть истинной и ложной; б) с другой стороны, если информация, на основе которой происходит тренировка, не приносит прибыли, не факт, что она будет долго тренировать ИИ, даже несмотря на то, что она есть истинная информация. Это создает существенные проблемы в реализации двух доминирующих стратегий в развитии ИИ.

К вопросу о третьей стратегии: «совместимый» ИИ

Обсуждая возможность «третьего пути» в создании инструментов ИИ, обратимся к идеям Стюарта Рассела о разработке совместимого с человеком ИИ (human compatible AI) [7, 8]. Суть данного подхода состоит в том, что необходимо создать математическую модель, которая бы раскрывала неоконченность, неопределенность целей человечества, и на основании этой модели строить ИИ. В этом случае инструмент ИИ должен «желать/хотеть» быть выключенным и не противиться человеку, когда тот захочет выключить ИИ. В рамках доминирующих стратегий ИИ сделает все, чтобы не быть выключенным.

Основной тезис Рассела состоит в том, что разработчики ИИ переносят характеристики людей (люди имеют цели и стремятся к их достижению) на машины. При дальнейшем развитии технологий способность машин достигать поставленных целей будет представлять для людей скорее угрозу, чем источник блага. Почему это так? Цели машины формулируются разработчиками, однако люди и агенты ИИ отличаются в такой мере, что корректно «перевести» человеческие цели на язык машин не представляется возможным.

В чем состоит решение Рассела? Он предлагает следующий критерий: инструменты ИИ полезны (beneficial) в той мере, в какой можно ожидать, что их действия достигают *человеческих* целей. Это положение уточняется далее в трех принципах: 1) единственная цель машины – максимизировать реализацию человеческих предпочтений; 2) изначально машина находится в состоянии неопределенности по поводу того, каковы эти предпочтения; 3) наиболее важный (ultimate) источник информации о человеческих предпочтениях – это человеческое поведение. Ключевой вопрос здесь: как мы можем вложить в инструменты ИИ механизмы, которые будут постоянно переориентировать их на *наши* цели?

Рассматривая решение Рассела, нельзя не видеть, что оно ведет к уменьшению рисков от использования технологий ИИ. Вместе с тем оно не свободно от некоторых затруднений¹.

Наиболее очевидный вопрос заключается в том, чьи предпочтения максимизировать: отдельных людей, некоторых социальных групп, конкретных стран, человечества в целом, всех живых существ? Или, может быть, только «хороших людей» в противовес «плохим», способным использовать ИИ во вред?²

¹ См. также обсуждение в [3].

² Разновидность данной проблемы – так называемая Dr. Evil Problem: что делать, если ИИ попадет «не в те руки»?

Следующий вопрос состоит в том, есть ли у людей предпочтения, которые корректно могут быть «считаны» ИИ. Предпочтение предполагает относительно непротиворечивую схему выбора из нескольких вариантов. Но всегда ли система предпочтений непротиворечива? И всегда ли человек знает, чего хочет? Один из выходов для ИИ заключается в следующем: если нельзя предугадать или узнать о выборе, можно переопределить условия выбора или убедить в том, что именно следует выбрать.

Существует и менее очевидная проблема. Разработчики ИИ используют особый класс теорий о человеке – назовем их «хорошие плохие теории»: они хороши как инструмент в руках разработчиков, так как поддаются формализации, но не вполне хороши по сути, так как не отражают важных черт объекта. В решении Рассела инструменты ИИ должны использовать некие теории, чтобы «понять» поведение человека, – и представляется, что они с необходимостью будут опираться именно на «хорошие плохие теории». Примерами служат утилитаризм [9] и теория игр (сам Рассел активно использует последнюю для операционализации своих принципов – см. [8]). Другой подход к решению проблемы «понимания» человеческого поведения инструментами ИИ – создание ситуации, когда мы сами всякий раз указываем им, чего мы хотим. Но тогда существенно ограничивается автономность (а значит, и потенциальная польза) ИИ.

Вероятно, при реализации принципов, предложенных Расселом, будет иметь место промежуточное решение: большую часть времени ИИ действует самостоятельно, но время от времени обращается к человеку. Проблема в том, как определить и формализовать, в каких именно ситуациях ИИ должен обратиться к человеку.

В целом концепция «совместимого» ИИ в версии Рассела упирается в то же затруднение, что и разработки ИИ в целом. Мы слишком мало знаем о человеке, чтобы воспроизвести человеческий разум в машине, и слишком мало, чтобы вложить в машину представление о том, чего человек хочет.

И здесь возникает еще один вопрос: если ИИ – достижение человеческого разума, то почему не предоставить ему возможность скорректировать деятельность этого разума в сторону непротиворечивости? Почему не позволить ИИ определить, как сделать людей счастливыми? Может быть, ему действительно лучше знать, «как надо»? Рассел, по-видимому, мог бы дать следующий ответ: наши цели хороши, потому что они наши. Однако такой ответ будет убедительным не для всех.

Таким образом, «третий путь» – создание совместимого ИИ – имеет свои перспективы и ограничения.

Более умеренные изменения, которые предлагают исследователи, состоят в проведении «красных линий» (red lines) – введении для инструментов ИИ наиболее очевидных запретов. Причем проведение «красных линий» предполагает способность формально зафиксировать их нарушение¹. Сам Рассел приводит такие примеры, как запрет для ИИ на попытку само-

¹ Так называемый Proof-Carrying Code (PCC) – метод обеспечения безопасности ненадежного кода – требует от разработчика предоставления формального доказательства того, что код соответствует определенной политике безопасности. Получатель кода устанавливает набор правил безопасности, которые гарантируют безопасное поведение программ. URL: <https://people.eecs.berkeley.edu/~necula/pcc.html>

воспроизводства (self-replication); запрет на попытку взлома компьютерных систем; запрет на клевету [10].

Проведение «красных линий» является скромным шагом на пути к безопасному ИИ. Вместе с тем, даже такой шаг потребует очень серьезных изменений в организации производства и использования инструментов ИИ.

На пути к новой социальной аналитике

Возвращаясь к критике доминирующих стратегий, зафиксируем следующее.

В текущей ситуации люди программируют технологии ИИ так, что они или будто бы имитируют человеческое мышление, или будто бы достигают цели. В действительности даже при имитации идет некое целеориентированное действие. Это фиксируется в понятии «функция полезности» (utility function).

В действительности же компьютеры цели не достигают. Они *имитируют* достижение целей. У них нет настоящих целей – цели есть у живых существ¹. Инструменты ИИ действуют *потому что*, а не *для того, чтобы*. Поэтому то, что выглядит для нас как цель ИИ, может быть каким угодно произвольным, нелогичным, не-целостным. И именно поэтому на уровне вычислений мы не сможем установить нужные нам *человеческие* правила. Но какие-то правила – формальные, вычислительные – мы установить *должны*.

И здесь возникает необходимость различать уровни функционирования ИИ. На уровне выполнения алгоритма у ИИ целей нет, есть вычисления. На уровне взаимодействия человеку будет казаться, что у агента ИИ есть цели, поскольку человек будет стремиться волей-неволей осмыслить поведение этих агентов – иначе как с ними взаимодействовать? На уровне социальных отношений будет формироваться взаимозависимость «человек-алгоритм» и «алгоритм-алгоритм» [11].

Для осмысления вхождения инструментов ИИ в жизнь общества это означает следующее. Мы не поймем, что происходит с алгоритмами на уровне вычислений, потому что понимать в буквальном смысле *нечего*. Вместе с тем понимать нам необходимо: там, где есть социальное действие и взаимодействие, есть понимание. Если инструмент ИИ включается в общество, его активность будет восприниматься как осмысленная. Здесь сфера социальных наук. Но на уровне того, что алгоритмы суть и как они действуют – это неживая природа. Это область физики, математики и логики. Исходя из этого, нужны эксперименты и квазиэксперименты, чтобы контролировать и объяснять действие алгоритмов ИИ. Но то, как они будут вести себя в социальной среде, мы не сможем до конца предугадать, потому что там будут люди, которые интерпретируют их (алгоритмов) действия по-своему, что, в свою очередь, будет влиять на сами алгоритмы. И здесь необходимы исследования, основанные на том, что накопили социальные науки и гуманитарные дисциплины. Нужна *новая социальная аналитика* проблем вхождения ИИ в общество [12].

Вместе с тем базовое затруднение в поиске решений о минимизации рисков при включении инструментов ИИ в жизнь общества состоит в том, что

¹ Разумеется, это относится и к имитации мышления: алгоритмы ИИ не думают, не учатся, не творят, как люди. Они делают все это «в кавычках», принципиально по-другому.

мы не знаем, в каком направлении двигаться. Мы не можем договориться, что есть благо для человека и что есть благо для человечества, в каком мире мы хотели бы жить и на что можем надеяться¹. И здесь дорога к новой социальной аналитике возвращает нас к старой практической философии.

Заключение

Мы начинали наше рассуждение с тезиса: запретить развитие технологий ИИ не получится. И прагматически, и мировоззренчески – научно-технический прогресс стал верой значительной части человечества – создание инструментов ИИ было и будет в ближайшие десятилетия одним из приоритетов экономического развития тех стран, которые могут обеспечить для этого технологическую и профессиональную базу.

Вместе с тем проведенный анализ актуальных и потенциальных стратегий развития алгоритмов ИИ показывает, как трудно оградить человека и человечество от того непреднамеренного и непредвиденного вреда, который эти технологии могут нанести.

Если запретить нельзя, к чему следует стремиться?

Представляется, что здесь должно осуществляться встречное движение: мы (люди) меняем технологии и *одновременно* сами становимся более умными, мудрыми, этичными.

Второй вариант беспримысленный, но он труден. Что здесь могут делать социальные ученые? Помогать формировать «вычислительное мышление» [13], рассказывать, просвещать, т.е., делать умными, но едва ли мудрыми.

Первый вариант состоит в том, чтобы менять технологии: вкладываться в то, чтобы в них были встроены механизмы контроля, определять ограничения, которые будут различаться от общества к обществу, видеть проблемные ситуации в повседневном взаимодействии.

Наш общий вывод достаточно простой: сейчас ситуация обстоит следующим образом – общество производит различные варианты ИИ, а потом начинает задумываться, *как их регулировать?* Это ложная стратегия. Следует коренным образом изменить стратегию и создавать *изначально* ориентированный на человека и совместимый с человеком ИИ.

В целом же представляется, что в нынешних условиях развития международного сотрудничества и взаимопонимания между представителями технических наук, инженерного знания и социально-гуманитарных наук:

Во-первых, надо ориентировать технические науки на выработку математических моделей, которые могли бы фиксировать «экзистенциальную» проблематику человека, неопределенность целей человечества в системе координат чистой рациональности.

Во-вторых, следует определить необходимость подготовки таких разработчиков и тех, кто будет внедрять ИИ в повседневность, которые учитывают необходимость строгой регуляции со стороны человека обмена информацией и данными между машинами, взаимозависимости «алгоритм–алгоритм». В сегодняшней ситуации человек в самое ближайшее время не сможет понимать «общение» машин с другими машинами и обязательно отдаст контроль

¹ См. обзор исследований и обсуждение в [4].

над этим общением другим машинам и, соответственно, в принципе не сможет регулировать ситуацию взаимозависимости «алгоритм–алгоритм».

И здесь невозможно обойтись без социальной аналитики, которая требует понимания двух принципиальных вещей:

А) ИИ и человек – это абсолютно разные сущности.

Б) Human compatible = socially acceptable. А значит, надо знать, *как* общество взаимодействует и будет в дальнейшем взаимодействовать, когда очевидным станет взаимозависимость не только «человека и машины», но и «алгоритма от другого алгоритма».

Список источников

1. Поланьи К. О вере в экономический детерминизм // Избранные работы. М. : Изд. дом «Территория будущего», 2010. С. 22–31.
2. Винер Н. Кибернетика и общество. М. : Изд-во иностран. лит., 1958. 200 с.
3. *От искусственного интеллекта к искусственной социальности: новые исследовательские проблемы современной социальной аналитики.* 2-е изд. / ред. А.В. Резаев. М. : ВЦИОМ, 2021. 272 с.
4. Rezaev A.V., Tregubova N.D. Looking at human-centered artificial intelligence as a problem and prospect for sociology: An analytic review // *Current Sociology*. 2023. doi: 10.1177/00113921231211580
5. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Запретить нельзя регулировать // *Социодиггер*. 2023. Т. 4, вып. 5–6 (26). URL: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/zapretit-nelzja-regulirovat>
6. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 2-е изд. М. : Изд. дом «Вильямс», 2007. 1408 с.
7. Russell S. Human Compatible: Artificial intelligence and the problem of control. Viking, 2019. 352 p.
8. Russell S. Human-Compatible Artificial Intelligence // *Human-Like Machine Intelligence* / eds. S. Muggleton, N. Chater. Oxford: Oxford University Press, 2021. P. 3–23. doi: 10.1093/oso/9780198862536.003.0001
9. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. «Эмоциональный утилитаризм» и пределы развития искусственного интеллекта // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2022. № 2. С. 4–23. doi: 10.14515/monitoring.2022.2.2127
10. Russell S. Make AI safe or make safe AI? // UNESCO Global AI Ethics and Governance Observatory, 2024. URL: <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/papers/russell-unesco24-redlines.pdf>
11. Резаев А.В., Степанов А.М., Трегубова Н.Д. Высшее образование в эпоху искусственного интеллекта // *Высшее образование в России*. 2024. Т. 33, № 4. С. 49–62. doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-49-62
12. Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Еще раз о социологии и социальной аналитике в эпоху развития искусственного интеллекта // *Социологическое обозрение*. 2022. Т. 21, № 3. С. 9–30. doi: 10.17323/1728-192x-2022-3-9-30
13. Wing J.M. Computational Thinking // *Communications of the ACM*. 2006. Vol. 49, № 3. P. 33–35. URL: <https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf>

References

1. Polanyi, K. (2010) *Izbrannye raboty* [Selected Works]. Moscow: Territoriya budushchego. pp. 22–31.
2. Wiener, N. (1958) *Kibernetika i obshchestvo* [Cybernetics and Society]. Moscow: Izd-vo inostran. lit.
3. Rezaev, A.V. (ed) (2021) *Ot iskusstvennogo intellekta k iskusstvennoy sotsial'nosti: novye issledovatel'skie problemy sovremennoy sotsial'noy analitiki* [Artificial Intelligence on the Way to Artificial Sociality: New Research Agenda for Social Analytics]. 2nd ed. Moscow: VTsIOM.
4. Rezaev, A.V. & Tregubova, N.D. (2023a) Looking at human-centered artificial intelligence as a problem and prospect for sociology: An analytic review. *Current Sociology*. 73(3). pp. 1–19. DOI: 10.1177/00113921231211580
5. Rezaev, A.V. & Tregubova, N.D. (2023b) Zapretit' nel'zja regulirovat' [To prohibit or to regulate?]. *Sotsiodigger*. 4 (5–6). [Online] Available from: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/zapretit-nelzja-regulirovat>

6. Russel, S. & Norvig, P. (2007) *Iskusstvennyy intellekt: sovremennyy podkhod* [Artificial Intelligence: A Modern Approach]. 2nd ed. Translated from English. Moscow: Vil'yams.
7. Russell, S. (2019) *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.
8. Russell, S. (2021) Human-Compatible Artificial Intelligence. In: Muggleton, S. & Chater, N. (eds) *Human-Like Machine Intelligence*. Oxford: Oxford University Press. pp. 3–23. DOI: 10.1093/oso/9780198862536.003.0001
9. Rezaev, A.V. & Tregubova, N.D. (2022) “Emotsional'nyy utilitarizm” i predely razvitiya iskusstvennogo intellekta [“Emotional Utilitarianism” and the Frontiers of Artificial Intelligence Evolvement]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2. pp. 4–23. DOI: 10.14515/monitoring.2022.2.2127
10. Russell, S. (2024) Make AI safe or make safe AI? In: *UNESCO Global AI Ethics and Governance Observatory*. [Online] Available from: <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/papers/russell-unesco24-redlines.pdf>
11. Rezaev, A.V., Stepanov, A.M. & Tregubova, N.D. (2024) Vysshee obrazovanie v epokhu iskusstvennogo intellekta [Higher Education in the Age of Artificial Intelligence]. *Vysshee obrazovanie v Rossii*. 33(4). pp. 49–62. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-4-49-62
12. Rezaev, A.V. & Tregubova, N.D. (2022) Eshche raz o sotsiologii i sotsial'noy analitike v epokhu razvitiya iskusstvennogo intellekta [Once again about sociology and social analytics in the age of artificial intelligence advancement]. *Sotsiologicheskoe obozrenie*. 21(3). pp. 9–30. DOI: 10.17323/1728-192x-2022-3-9-30
13. Wing, J.M. (2006) Computational Thinking. *Communications of the ACM*. 49(3). pp. 33–35. [Online] Available from: <https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf>

Сведения об авторах:

Резаев А.В. – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных наук Ташкентского филиала МГУ (Ташкент, Узбекистан). E-mail: rezaev@hotmail.com

Трегубова Н.Д. – кандидат социологических наук, доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: n.tregubova@spbu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Rezaev A.V. – Dr. Sci (Philosophy), full professor, professor, Tashkent Branch of Moscow State University (Tashkent, Uzbekistan). E-mail: rezaev@hotmail.com

Tregubova N.D. – Cand. Sci. (Sociology), associate professor, Department of Comparative Sociology, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: n.tregubova@spbu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 30.10.2024;
одобрена после рецензирования 27.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 30.10.2024;
approved after reviewing 27.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 168; 303.01; 930.1

doi: 10.17223/1998863X/85/11

ОБ ОДНОЙ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ (ИЛИ ЗАБЛУЖДЕНИИ) В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ И ПУТЯХ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Василий Николаевич Сыров

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
narrat@inbox.ru*

Аннотация. В статье обсуждаются два популярных взаимосвязанных и взаимообусловленных тезиса: констатация тотального релятивизма и утверждение об идеологической ангажированности выдвигаемых суждений исследователей, публицистов и общественных активистов. В качестве теоретико-методологического ориентира решения проблемы используются идеи Анкерсмита о роли моральных ценностей в историческом познании, а именно его утверждение, что моральные и политические ценности обеспечивают нам путь открытия исторической истины. Поэтому Анкерсмит предлагает два критерия выбора предпочтительных ценностей: надлежит выбрать те ценности, что открывают путь для создания наиболее широкой исторической картины и картины, обладающей оригинальным характером. В заключение обосновывается тезис о роли кантовской идеи уважения к достоинству как приоритетного кандидата на роль такой системы ценностей и обсуждаются ее перспективы в исторической этике.

Ключевые слова: историческое познание, моральные ценности, деонтология, этика Канта, принцип достоинства, историческая этика, разделяемая история

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-0>

Для цитирования: Сыров В.Н. Об одной теоретико-методологической ошибке (или заблуждении) в социально-гуманитарном дискурсе и путях ее преодоления // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 123–138. doi: 10.17223/1998863X/85/11

Original article

ON A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ERROR (OR MISCONCEPTION) IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES DISCOURSE AND WAYS TO OVERCOME IT

Vasily N. Syrov

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, narrat@inbox.ru

Abstract. The article discusses two popular interrelated and interdependent theses: the statement of total relativism and the assertion of the ideological bias of the socio-political (theoretical and practical) judgments put forward by researchers, publicists and social activists. Three possible variants of such a discussion and the consequences arising from their application are highlighted. The first is the recognition of the current state of affairs. As a consequence, it creates a paradox of self-reference and blocks the theoretical possibility of any further ways of discussing these theses. The second is the possibility of a meta-position, when the subject of such statements believes that he is working at a higher level of analysis.

In light of the prevailing skepticism about the possibility of having the last and final word, the validity of such an approach seems a dubious undertaking. The third is the recognition of the inevitable value-based determination of (at least social and humanitarian) knowledge, but also the possibility and even legitimacy of choosing the most preferable system of values at the present time. Ankersmit's ideas on the role of moral values in historical knowledge are used as a theoretical and methodological guideline in choosing the third path, namely, his assertion that moral and political values provide prospects for discovering historical truth. Ankersmit offers two criteria for choosing a preferred historical picture. Firstly, one must choose a picture that has the largest scale or opens the way to a wide and varied empirical material. Secondly, the picture that is preferable is the one that has a more risky, more dangerous, in the sense of original, character (or generates more original consequences), but cannot be rejected on the basis of existing knowledge. Ankersmit's thesis is the following: one should prefer those political and moral values that are inspired by a stronger and more successful representation of the past and, moreover, that ensure the creation of such a picture. It is argued that Kant's moral theory, whose fundamental principle is respect for human dignity, can be considered the most suitable candidate for this role. A specification of this principle is proposed. It can be interpreted as a criterion for distinguishing moral demands from non-moral ones; as a principle that lies, can and should lie at the basis of all actual and potential maxims; as a concretization of the idea of morality. The openness of the idea of dignity is emphasized, i.e. the possibility and even necessity of re-definition, due to the fact that new circumstances may reveal some new features of morality that would be more appropriate to encompass within the idea of dignity. Based on the ideas of Linchenko and Buller, it is argued that the principle of dignity can be laid at the basis of historical ethics, which can be interpreted as a type of applied ethics. In conclusion, the difficulties and prospects of using applied ethics as a set of values in the field of historical knowledge and contemporary social practice (using the example of cancel culture) are discussed. It is argued that the prospects for its application should be sought in the direction proposed by Ankersmit. It is also noted that the principle of dignity can be considered as a necessary platform for the implementation of an actual or potential dialogue between various theoretical and ideological positions in the interpretation of events in distant and recent history.

Keywords: historical knowledge, moral values, deontology, Kant's ethics, principle of dignity, historical ethics, shared history

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-0>

For citation: Syrov, V.N. (2025) On a theoretical and methodological error (or misconception) in social sciences and humanities discourse and ways to overcome it. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 123–138. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/11

В последнее время в исследовательской (отечественной чаще) литературе, особенно в ее гуманитарном сегменте, стали достаточно популярными два взаимосвязанных и даже взаимообусловленных (но, правда, не всегда очевидных для самих авторов) тезиса: констатация тотального (эксплицитно, а чаще имплицитно утверждаемого) релятивизма и идеологической (столь же явно или неявно провозглашаемой) ангажированности тех или иных выдвигаемых суждений исследователей, публицистов, общественных активистов и т.д. Первый тезис, как правило, формулируемый в виде суждений типа все взгляды относительно, у всех свои собственные представления о социальном мире, если он искренне выдвигается, то отражает, на наш взгляд, своеобразное диалектическое отрицание господствовавшего долгое время убеждения о возможности некоторой объективной истины. Второй тезис, выступающий, на наш взгляд, естественным продолжением первого и формулируемый в виде сужде-

ний типа любая социальная позиция выражает чей-либо заказ, стремление к (или перераспределение) власти, доминированию, к получению дополнительных дивидендов, представляет тем самым догматически понятое наследие марксистской концепции идеологии как явного или неявного выражения интересов господствующего класса, а в современной трактовке – интересов тех или иных элит, лидеров мнений, активистов и т.д. Можно отнести его к разновидности конспирологических теорий или теорий подозрения, полагающих, что за многообразием лежащих на поверхности явлений и наивной вере рядовых носителей тех или иных убеждений скрывается некий частный, как правило, эгоистический интерес. Если это так, то можно даже предполагать искреннее желание сторонников такого подхода сделать неявное явным, в некотором радикальном смысле даже выполнить своеобразную просветительскую функцию, а именно донести свет истины до широкой публики.

Наша гипотеза, выдвигаемая по поводу валидности или правомерности утверждений подобного рода, заключается в том, что они отражают или выражают лишь часть истины (если говорить традиционным языком) или лишь один из первых шагов на пути формулировки утверждений, которые нам кажутся более убедительными, интересными, весомыми в том смысле, что позволяют не доходить до парадоксов, вытекающих из суждений типа все лгут и т.д., и предполагать более продуктивные (даже практические) следствия. Иначе говоря, суть идеи заключается в том, что, сказав А, следует двинуться дальше и сказать Б. Если перевести эти метафоры или образы в содержательную плоскость, то следует предположить, что надлежит признать идеологическую ангажированность всех актуальных и потенциальных суждений, но попытаться осуществить выбор между ними на основании некоторых кажущихся приемлемыми критериев.

Экспликация выдвигаемой гипотезы предполагает определенную последовательность шагов на этом пути. Прежде всего, это шаг критический, состоящий в характеристике возможных оснований или причин вышеупомянутой трактовки и демонстрирующий сомнительные следствия, которые из нее вытекают, а затем шаг нормативный, предполагающий, помимо описания положений, притязающих на нормативность, их прояснение во избежание нежелательного прочтения. Выше уже отмечалось, что если допустить искренность суждений сторонников тезисов по поводу релятивизма и имплицитной или эксплицитной идеологической ангажированности, то можно связать ее с разочарованием в поисках так называемой объективной истины, дополненным или усиленным распространением превратно понятой постмодернистской трактовки о тотальной относительности всех интерпретаций. В определении более адекватных интенций творцов постмодернизма можно оттолкнуться от тезиса Ихаба Хассана, что «(а) критический плюрализм глубоко укоренен в культурном поле постмодернизма; и (б) ограниченный критический плюрализм является в некоторой мере реакцией против радикального релятивизма...» [1. Р. 23].

В итоге можно предположить наличие как минимум трех путей решения данной проблемы. Во-первых, можно попытаться занять своеобразную метапозицию, встав, так сказать, над схваткой, или предполагать, что автор работает на более глубоком уровне осмысления материала, чем объекты его оценок, или, говоря традиционным языком, знает, как на самом деле обстоят дела.

Нет надобности специально останавливаться на анализе всех тех трудностей, которые встают на пути сторонника такого убеждения.

Можно лишь констатировать, что разочарование на этом пути толкает к возможному выбору второго варианта, а именно к признанию тотального релятивизма и идеологической ангажированности суждений по поводу социально-исторического мира (хотя понятно, что наличия жесткой причинно-следственной связи между первым и вторым тезисами нет). Как правило, отсюда столь распространенный, сколь и банальный тезис о невозможности надежного знания в социально-гуманитарных науках (или знании), что они обречены оставаться объектом идеологических иллюзий или мифологизации. Понятно, что он предполагает сопоставление гуманитарного знания с естественнонаучным, вернее с его позитивистскими версиями (типа что есть сумма объективных фактов, а есть их разные интерпретации). Кроме того, зачастую сторонники такого подхода впадают в грех перформативного противоречия, а именно, эксплицитно отвергая тезис о возможности надежного знания в социально-гуманитарном знании, имплицитно продолжают исходить из убежденности в его существовании, которое в том же позитивистском духе сводят к так называемым фактам. Эта наивная вера в объективность фактов, казалось бы, неоднократно критикуемая постпозитивистами в области философии науки, тем не менее сохраняется не только в массовом сознании, но и в сознании многих членов профессионального сообщества.

Если говорить о возможных негативных последствиях этой позиции, то, как нам кажется, можно отметить следующие. Прежде всего, это давно известная противоречивость утверждения о тотальном релятивизме. Иначе говоря, если столь же относительна позиция автора данного тезиса, то чем она предпочтительнее других, да еще и с притязанием на абсолютность утверждения. Во-вторых, такой подход, еще и выдвигаемый безапелляционно или не предполагающий оговорок или дополнительных комментариев, приводит к ситуации, которую еще Барт когда-то назвал стремлением «застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [2. С. 389]. Иначе говоря, в данном случае тезис Барта не предполагает продолжения истории или возможности сделать еще какой-то шаг, например, в поисках перспектив выбора или компромисса, консенсуса, диалога, как минимум для достижения какой-либо степени согласия между различными позициями. По крайней мере не предоставляет разумных теоретических оснований для этого. Релятивизм, конечно, не предполагает обязательного конфликта между разными взглядами (они могут и сосуществовать), но создает теоретические основания для его порождения.

Либо сторонники тотального релятивизма цинично утверждают, что полезным или верным следует считать все то, что сохраняет существующее положение дел, а именно оправдание доминирующей идеологии.

Третий вариант возможного решения отталкивается от признания неизбежной ценностной обусловленности (по крайней мере социально-гуманитарного) знания, но исходит из возможности и даже правомерности выбора наиболее предпочтительной на сегодняшний момент системы ценностей. По сути, он исходит из признания невозможности, да и ненужности ценностно нейтрального знания. Говоря иначе, он строится на допущении определенной степени искренности в суждениях и оценках как объектов, так и субъектов

анализа. Иначе говоря, лгут не все. Но даже если трактовать внешние эффекты лишь как символический ряд или код, в котором зашифрованы некие скрытые смыслы, то предлагаемая методология требует различать разные способы его прочтения. Ведь можно трактовать то или иное действие как способ выражения чувства справедливости, а можно и как «волю к власти».

Для обсуждения выдвинутого тезиса и некоторых комментариев по этому поводу будем опираться на соображения, высказанные в рассуждениях известного специалиста в области исторического познания Франклина Анкерсмита. Но предварительно добавим к этому анализу некоторый интерпретативный аспект. Мы, конечно, можем любую систему ценностей считать идеологией, особенно в том, что касается области социальной жизни. Но поскольку данное толкование «обросло» слишком большим числом негативных коннотаций, полагаем, что его безболезненно можно заменить понятием «ценности», сохраняющим аксиологическую составляющую, представления о желаемом, но в отличие от идеологии, допускающим позитивный аспект в экспликации ценностных установок.

Итак, мы предполагаем обсудить идеи Анкерсмита о роли моральных ценностей в историческом познании, выдвинутые в его статье с провокационным названием «Похвала субъективности». Автор справедливо отмечает, что субъективность историка всегда связывалась с (явным или неявным) воздействием исповедуемых им моральных и политических ценностей на характер производимого продукта. Понятно, на что и указывает Анкерсмит, субъективность проявляется не только в этом, но, по его словам, историки наиболее чувствительны к влиянию моральных и политических ценностей, потому что чувствуют в них большую угрозу для декларируемой «объективности» [3. Р. 4]. Возможно, как замечает автор, что угроза эта заключается отнюдь не в смещении работы историка в сторону от получения знания, а в том, что вышеупомянутые ценности так связаны с поиском исторической истины, что становятся трудно отличимыми от ее поиска [3. Р. 4]. Поэтому, по словам Анкерсмита, «то, что является «объективной истиной» для одного историка, будет тогда просто «субъективной ценностью» для другого» [4. Р. 86], не говоря уже о том, что так или иначе в любом случае как субъект познания, так и его объект, изначально пронизаны ценностями [4. Р. 85]. Тем самым тезис традиционного исторического познания о необходимости избавления от субъективности автор характеризует как «двойную слепоту» историка, когда «самоотрицание и самоограничение, которые мы обычно связываем со стремлением к объективности, затем парадоксальным образом проявят себя как самый высокомерный и нелепый субъективизм» [4. Р. 87].

Поэтому Анкерсмит предлагает весьма радикальное решение проблемы: надлежит двигаться не в направлении поиска более точных инструментов отделения истины от ценности, а наоборот, допустить, что именно моральные и политические ценности обеспечивают нам путь открытия исторической истины. Или, говоря сильнее, отталкиваться от тезиса, что принятие определенных ценностей не просто облегчает и ускоряет наше движение к истине, а обеспечивает возможность самого ее открытия, причем такую, что без нее оно не состоялось бы [3. Р. 5].

В качестве иллюстрации можно взять марксистскую концепцию, упомянутую самим Анкерсмитом. Очевидно, что в свое время она обеспечила не

только новое видение социально-экономических и политических процессов современного (буржуазного в терминологии марксизма) общества, но предоставила иной взгляд на мировую историю, открывший там новые аспекты прошлого (борьба классов в терминологии марксизма) с соответствующим эмпирическим материалом. Резонно предположить, что этого не позволил бы сделать взгляд с иной системы ценностей. И дело здесь не сводится к борьбе заблуждений или устаревших взглядов с истинной картиной истории, поскольку к настоящему времени нет нужды доказывать идеологическую ангажированность концепции классовой борьбы, хотя для сторонников марксизма она могла (и может)) казаться истиной, причем окончательной.

Но более глубокий смысл идеи Анкерсмита можно связать с утверждением, что в рамках одного ценностно-ориентированного взгляда эмпирический материал становился бы основанием для создания новых исторических фактов, а в рамках другого – трактовался бы как несущественный и игнорировался. Даже более того. Историк может понимать значимость того или иного эмпирического материала, но не сможет представить его как имманентную часть своего нарратива. Причина в изначальной формулировке темы и задачи своего исследования. Так, к примеру, если автор принимает оправданность и необходимость индустриализации и коллективизации (для каких-либо высших целей, к примеру), то сколь бы он не признавал все жертвы, принесенные на этом пути, все равно не смог бы вписать эмпирический материал, свидетельствующий об этих жертвах, во внутреннюю логику своего повествования или представить его как доказательство или опровержение какой-либо выдвигаемой гипотезы. В лучшем случае он был бы вынужден трактовать их как неизбежные издержки и говорить лишь об их цене. Ведь для того чтобы свидетельства о жертвах стали имманентной частью исторического нарратива, необходимо подставить под вопрос правомерность и кажущуюся самоочевидность общей идеи (индустриализацию и коллективизацию, к примеру), конституирующей повествование. Понятно, что эта операция подразумевает осознание связи не просто между определенными теоретическими положениями и эмпирическим материалом, но и ценностными (идеологическими) установками, лежащими в их основе. Не будем здесь специально останавливаться на обусловленности теоретических положений (особенно в гуманитарном знании) ценностными ориентациями.

Сам Анкерсмит настаивает на наличии более тесной связи между истиной и ценностями и для иллюстрации этого тезиса использует понятие «исторической репрезентации» [3. Р. 8], которую он трактует как «подстановку или замещение чего-либо, что само по себе отсутствует» [3. Р. 8]. В таком понимании историческая репрезентация, к примеру, предстает не отражением некоторой исторической действительности, а в некотором смысле созданием ее. Важный аспект заключается в том, что репрезентация всегда является взглядом с определенной перспективы [3. Р. 8], что предполагает наличие других репрезентаций и возможность определенного типа отношений между ними.

На основании введения этой идеи Анкерсмит противопоставляет друг другу эпистемологию и репрезентацию [3. Р. 9]. То, что он характеризует как эпистемологию, предполагает связь слов с вещами, в то время как репрезентация строится на связи вещей с вещами [3. Р. 9]. Очевидно, что оба подхода строятся на принципиально различных способах вышеупомянутых соотно-

шений. Метафорически говоря, первый требует вертикального соотношения, а именно сопоставления высказываний или нарративов с миром, так сказать, в то время как второй строится на реализации горизонтального соотношения, а именно на соотнесении нарративов друг с другом.

Конечно, можно было бы радикализовать идеи Анкерсмита утверждением, что соотнесение слов с вещами, относимое им к компетенции эпистемологии как таковой, является не столько ее сущностной характеристикой, а сколько явным или неявным принятием определенной теории познания. Обоснованный скептицизм или критическая рефлексия по отношению к ней стали бы тогда основанием для принятия иной теории познания, в рамках которой, в частности, историческое познание представало бы уже не экзотической формой интеллектуальной деятельности, где в силу особенностей бытия истории затруднено соотнесение исторических картин с так называемой исторической реальностью, а вполне нормальной частью познавательного процесса, где скорее рассадником иллюзий выступило бы естественнонаучное познание.

На этом этапе своих рассуждений Анкерсмит вполне резонно утверждает, что при реализации стратегии репрезентации надлежит сравнивать создаваемые картины не с самим прошлым, а друг с другом [3. Р. 20]. В духе идей Пола Фейерабенда он полагает, что ее осуществление требует размножения исторических картин для основания обоснованного суждения при их выборе. Вот здесь-то и встает ключевой вопрос, что может стать основанием предпочтения одной картины другой.

Сам Анкерсмит вводит два критерия. Во-первых, приоритетна та картина, что обладает большим масштабом. Речь, конечно, не о предпочтительности метанарратива микроисториям. Скорее дело в возможности увидеть определенные вещи в более широком свете или включить в создаваемую историческую картину более широкий и разнообразный эмпирический материал. Ну и, во-вторых, предпочтительна та картина, что обладает более рискованным, более опасным (в смысле оригинальным) характером (либо порождает более оригинальные следствия), но не может быть отвергнута на основании имеющегося знания [3. Р. 20]. Вывод Анкерсмита заключается в утверждении, что по природе своей данные критерии носят сугубо эстетический характер. Соответственно, эстетика предстает первичной по отношению к этике и эпистемологии. Этот путь вполне в духе идей Хайдена Уайта: если исторические нарративы конституируются литературными жанрами, то основание выбора может носить лишь эстетический характер. По мнению Анкерсмита, эстетика, помимо прочего, выступает спасением от релятивизма и иррациональности (видимо, для человека с хорошим вкусом?!) [3. Р. 18].

Как эти идеи могут быть связаны с политическими и моральными ценностями? Тезис Анкерсмита заключается в следующем утверждении: следует предпочесть те политические и моральные ценности, что инспирированы более сильной и более успешной репрезентацией прошлого [3 Р. 22]. История, по его словам, предстает своеобразной экспериментальной площадкой испытания предпочтительности тех или иных моральных и политических ценностей [3. Р. 22]. Здесь содержится, на наш взгляд, ключевая и наиболее оригинальная мысль автора: следует предпочесть те ценности, что обеспечивают более оригинальную, более богатую картину прошлого, и, наоборот, которые

обеспечиваются и поддерживаются такой картиной, что, помимо прочего, предполагает рефлексивность субъекта познания (в ситуации выбора ценностей).

Как возможно продолжение и развитие данных идей? Начнем с вопроса о первичности и вторичности. По Анкерсмиту, эстетическое первично. Полагаем, что этот тезис был бы правомерен при явном или неявном допущении определенной теории познания, а именно теории, содержащей определенную трактовку статуса фактов. Если факт понимается как автономный от теории (или идеи, если говорить об историческом познании), а теория – лишь как некоторый способ связи таких автономных фактов, то вопрос об основаниях предпочтительности одной теории другой становится практически неразрешимым или действительно сводится лишь к эстетическим предпочтениям. Более того, эстетический подход также предполагал бы взгляд с позиций такого наблюдателя или потребителя исторических нарративов, для которого вопрос о мировоззренческой и практической ценности исторического дискурса уже не актуален.

Но если мы трактуем ту или иную идею как некоторую гипотезу, а эмпирический материал – как одно из определяющих условий ее доказательства или опровержения, то картина может измениться. Оригинальность идеи и широта охвата ею эмпирического материала становятся скорее не конечными целями, а средствами достижения ее большей эвристичности, чем эстетичности. Иначе говоря, применительно к специфике исторического дискурса, если гипотеза сумеет охватить большее количество разнообразного эмпирического материала, часть которого является собственно основанием для выдвижения гипотезы, а часть, кажущаяся противоречащей выдвинутой гипотезе, получает удачную интерпретацию; если эта гипотеза дает следствия, часть которых обеспечивает удачную интерпретацию открываемого нового внешне противоречащего эмпирического материала, а часть позволяет предсказывать новый эмпирический материал, то исторический нарратив, содержащий такую гипотезу, может считаться более предпочтительным, чем другие.

Тогда мы могли бы несколько уточнить или даже перевернуть идею Анкерсмиита. Если полагать, что определенные моральные ценности позволяют открывать такие грани прошлого, которые не могли бы в принципе открыться в рамках иных моральных ценностей, то вывод звучал бы следующим образом. Во-первых, следует полагать, что именно комплекс моральных ценностей явится основанием для создания нарратива. Во-вторых, следует предпочесть такой комплекс моральных ценностей, который обеспечивает производство исторических нарративов с вышеописанными свойствами. Говоря иначе, следует предпочесть то, что открывает пространство для полноты, разнообразия и оригинальности [3. Р. 20].

Если это так, то какой тип моральных ценностей или, точнее говоря, какой моральный принцип мог бы лечь в основу такого комплекса моральных положений? Здесь имеет смысл обратиться к идее Иммануила Канта, выдвинутой им в работе «Основоположение к метафизике нравов». Это идея достоинства и уважения к достоинству как определяющего мотива действия [5. С. 99–100]. Идея достоинства, таким образом, выступает характеристикой моральности или воплощением моральных требований. Более того, ее можно рассматривать как критерий отличия моральных требований от неморальных;

как принцип, который лежит и должен лежать в основе всех актуальных и потенциальных максим (держать обещание – значит уважать свое и чужое достоинство); ну и как конкретизацию идеи моральности (что проявляется, к примеру, в тезисе: нарушение обещаний есть унижение человеческого достоинства).

Бесспорно, что понятие достоинства является открытым понятием, т.е. предполагает возможность и даже необходимость до-определения в связи с тем, что новые обстоятельства могут открыть какие-то новые черты моральности, которые будет уместнее охватить именно идеей достоинства. Мы также могли настаивать на ее коммуникативной природе, означающей, что невозможно утверждать собственное достоинство унижением достоинства других или помыслить идею своего достоинства вне признания достоинства другого. По сути, этот тезис вытекает из кантовской содержательной конкретизации категорического императива, которая гласит: «Поступай так, чтобы ты никогда не относился к человечеству как в своем лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то же время и как к цели» [6. С. 169]. Ну и, естественно, нет нужды полагать, что наконец-то получен последний и окончательный ответ в решении вопроса о сущности морали. Как справедливо писал Гегель, «всякая система философии есть философия своей эпохи» [7. С. 105]. Другой вопрос, что стоит руководствоваться лучшим подходом на сегодняшний момент за неимением пока достойных альтернатив.

Если вернуться к началу наших рассуждений, то следует отметить, что, конечно, приоритет принципа (идеи, понятия) достоинства как пути преодоления релятивизма определяется не эпистемологией. Скорее эпистемология будет играть роль решающего аргумента в применении данной моральной теории к определенной сфере культуры (познания). В русле аргументов самого Канта мы отметили бы соответствие принципа достоинства требованиям всеобщности (универсальности) и необходимости как критериям в выборе тех или иных моральных (и не только) теорий. Ведь требование уважения к достоинству любого человеческого (у Канта разумного) существа трудно заподозрить в предпочтении гендерным, этническим, классовым и иным интересам. Критерий универсальности, кстати, в этом аспекте, похож на идею Маркса (вернее, наоборот), что «видимость, будто господство определенного класса есть только господство определенных мыслей исчезнет только тогда, когда исчезнет необходимость в том, чтобы представлять особый интерес как всеобщий...» [8. С. 41].

Конечно, в свете накопленного исторического опыта стоит предположить, что идею достоинства также можно использовать в чьих-либо интересах. Но пока не возникла более продуктивная моральная система как потенциальная замена данного морального принципа, предпочтительным следует считать другой путь: надлежит последовательно очищать его ключевые признаки как от сомнительных коннотаций, позволяющих использовать их в чьих-либо интересах, так и от нападков иных моральных систем. Для иллюстрации второго аспекта можно провести аналогию с направлением коммунитаристской критики идеи прав личности, за то, что она зачастую отражает лишь права белого взрослого здорового индивида. С другой стороны, тезис об открытости принципа достоинства позволяет наращивать сеть его продуктивных интерпретаций. Так, предложенную интерпретацию знаменитой ди-

леммы Канта мы можем истолковать как методологию решения подобных дилемм: если мы не выдаем укрывшегося от убийцы индивида, то можем трактовать этот путь решения как избавление потенциального убийцы от потери собственного достоинства. В качестве аргумента мы могли бы использовать здесь не столько идею иерархии моральных требований (резонно полагая, что сохранение жизни более приоритетно, чем честность), сколько тезис об ограничении одной возможности как условия раскрытия большей полноты возможностей по аналогии с тезисом, что для реализации полноты свободы слова некоторые виды высказываний должны быть запрещены.

Так, даже помощь кому-либо может трактоваться не как проявление уважения, а как унижение достоинства обеих сторон. Вполне возможно, что так называемые объекты действия могут воспринимать ситуацию иначе, но мы можем помыслить себе решение моральных ситуаций вне возможности и необходимости коммуникации и диалога. Понятно, что если некто не принимает нашу помощь, то лишает нас возможности морального действия. Но мы также можем быть обоснованно убеждены, что некое действие по отношению к другому, внешне выглядящее морально, по сути предстает унижением достоинства другого, хотя он этого может не воспринимать и видеть ситуацию в другом свете. Нетрудно заметить, что принятие соответствующих решений не может быть актом автоматическим, а требует коллективных рефлексивных усилий. Но моральное действие может требовать принятия трудного решения в одностороннем порядке. Очевидно, что в свете даже тотального непонимания (и даже без ссылки, что потомки поймут) единственной опорой следует считать собственную совесть, опирающуюся, конечно, на весомые аргументы в ее поддержку.

Выдвинутый выше тезис о необходимости рефлексивности в принятии решений приобретает особую актуальность в конкретных областях применения общих моральных принципов (в данном случае идеи достоинства), а именно в сфере зарождающейся исторической этики. Так, Андрес Буллер и Андрей Линченко вслед за американскими и немецкими исследователями трактуют ее как вид прикладной этики, «задачей которого являются анализ, обоснование и пересмотр ценностно-нормативных контекстов как научно-исторического познания, так и всех вненаучных форм обращения к прошлому в исторической культуре с целью выработки стратегий исторического сознания и основанного на нем культурно-исторического ориентирования [9. С. 429–430]. Как отмечают Буллер и Линченко, «историческая этика в определенном смысле находится не „за“ материалом исторической науки, резюмируя ее некоторые выводы, а оказывается важным участником дискуссий о публичном процессе трансляции знаний о прошлом и их актуальной переоценки» [9. С. 430–431].

Авторы трактуют историческую этику как вид прикладной этики, что, естественно, ставит вопрос о соотношении общей моральной теории и моральной практики и прикладной этики. Принято считать, что прикладная этика возникает в 60–70-е гг. XX в., знаменуя, по мнению ряда авторов, еще один поворот в философии. В посвященных ей обзорах обычно указывается, что она стала следствием не столько теоретических рассуждений о сущности и функциях этики, сколько практических запросов. К настоящему времени если не теоретически, то фактически, прикладная этика выделилась в отдель-

ную отрасль этических исследований. Стандартные аргументы ее сторонников обычно принимают следующий характер. Механическое применение общего правила конкретной ситуации они трактуют как «сверхупрощенное и неверное восприятие», поскольку «прикладная этика преследует цель не оправдания норм, а должна быть понята как инновационное предприятие», где «аргументация и обоснование... является не однонаправленным движением, которое ведет от общих принципов к конкретным индивидуальным и групповым случаям» [10. Р. 42]. Авторы настаивают, что «результаты, которые прикладная этика получает, редко основаны на нормативных принципах высшего порядка, но более часто на прецедентах, общепринятых частных суждениях (интуициях), теориях второго плана, которые могут быть отчасти дескриптивными и отчасти нормативными» [10. Р. 42]. Они подчеркивают особую роль эмпирии, которая является «не только желательным дополнением к прикладной этике, но необходимой частью ее» [11. Р. 320]. При этом авторы отмечают разнообразие форм ее связи с общими положениями. Прежде всего, речь идет об эмпирии как определяющем условии перевода абстрактных принципов в практические правила. «Без знания эмпирических деталей наши моральные принципы и соображения сохраняют неприемлемую аморфность» [12]. Поэтому «воспринимать моральные теории или принципы как „решатели проблем“ или, в любом случае, как устройства, предназначенные поддерживать или оправдывать принятие решений, значит не понимать первоочередное значение теории и принципов» [13. Р. 54].

Возможно, конечно, что данная претензия может быть предъявлена именно к деонтологическим теориям, поскольку консеквенциализм действия и теория добродетели по самой своей сути требуют принятия конкретных решений в конкретных ситуациях, а следовательно, предварительного рефлексивного акта перед началом каждого действия. Но в любом случае можно согласиться с тезисом, что без знания эмпирических деталей моральные принципы сохраняют неприемлемую аморфность или абстрактность. Это утверждение имеет прямое отношение к исторической этике. Бесспорно, что как субъекты, так и объекты исторического дискурса исповедовали в той или иной форме те или иные моральные принципы, но столь же бесспорно их если не радикальное различие, то существенно разная интерпретация, что дает основания утверждать о различии моральных ценностей прошлого и настоящего и отрицать правомерность применения к прошлому современных моральных представлений. Можно считать последний тезис модификацией морального релятивизма.

Путь возможного обсуждения видится следующим. Понятно, что первым шагом осмысления места моральных ценностей в истории была бы критическая рефлексия по поводу их явного, а скорее неявного присутствия в историческом дискурсе, а именно форм его идеологизации и мифологизации или тяготения к ним. Она подталкивает к обсуждению вопроса о том, какого рода трактовки места и ценности прошлого могли бы ее избежать или минимизировать. Здесь стоит отметить сомнительную эпистемологическую, да и моральную ценность рассыпания моральных оценок по поводу тех или иных фрагментов (личностей, событий, процессов) исторического дискурса как пути вышеупомянутого осмысления. Полагаем, что столь же устарел стиль Просвещения, состоящий в такой организации исторического материала,

чтобы он как бы подводил читателя к самостоятельному этиологическому выводу.

Поэтому полагаем, что в определении места моральных ценностей можно двигаться в направлении, предложенном вышеупомянутым Анкерсмитом. Любое прошлое видится только из современности, но правомерно, что именно моральные принципы открывают пространство для актуализации новых тем и проблем в прошлом. Метафорически говоря, они повышают чувствительность историка к многообразию голосов, звучащих из прошлого, ну или требуют от него способности максимально эксплицировать эти голоса, даже если они сами хранили молчание. Как отмечает Даниэль Леви, вводя понятие «рефлексивных нарративов», что они обращают внимание на особые события, которые свидетельствуют о несправедливости, проявленной собственной нацией [14. Р. 19]. Если сдвинуться к более конкретному уровню исторического исследования, то он означал бы чувствительность к многообразию источников и способность включить их в создаваемую историческую картину. Рискнем предположить, что такой подход вполне удовлетворительно можно было бы проинтерпретировать как модификацию идеи уважения к достоинству, обращенной к прошлому. Столь же очевидно, что тем самым этика дает и новые способы интерпретации исторического материала. Поэтому вряд ли морально ориентированный индивид смог бы просто согласиться с Гегелем в тезисе, что «право мирового духа выше всех частных прав» [15. С. 88].

Но тезис о роли моральных принципов не означает, что они будут предопределять видение прошлого, отбрасывая те или иные его аспекты в сферу несущественного или незначимого, как могло бы показаться. Сама идея уважения к достоинству человека этому противоречит. Скорее наоборот. Они подталкивают к тому, чтобы обратить внимание на игнорируемые ранее аспекты и, по крайней мере, сделать их темой для обсуждения и дискуссии (возможно, даже публичной, выходящей за рамки профессионального сообщества). В качестве примера ситуаций, требующих обсуждения такого рода, можно отметить коммеморативные практики сообществ отмены, где ключевым лейтмотивом становится гипертрофированный протест, что выдвигает на первый план «не столько реконструкцию „славного прошлого“, „возвращение к традициям“, сколько деконструкцию исторического наследия социальной несправедливости» [16. С. 87]. Нет нужды говорить о неоднозначности как самих этих практик, так и общественной реакции на них. Если говорить о своеобразном трансфере таких практик в отечественную среду согласно рассуждениям Александра Овчинникова и Даниила Аникина, можно отметить две модели функционирования практик канселлинга: конкурентной модели, направленной на моральную дискредитацию своего оппонента с целью его исключения из системы символического обмена и реализуемой в условиях открытого публичного пространства, и доминантной модели, которая представляет собой «способ поведения, при котором отменяющее сообщество использует инструменты отмены для устранения альтернативной идентичности с последующим включением представителей отмененных в состав сообщества отменяющего» [17. С. 83].

В свете доминирующего негативного, как нам показалось, отношения к ним отметим лишь соображения американского журналиста Эрнеста Оуэнса, который настаивает на трактовке «культуры отмены» как многообещающего

пути для реальных изменений, а не просто как новой цифровой формы протеста. Он справедливо отмечает, что она весьма субъективна, хотя и высоко доступна, поэтому легко может стать как формой защиты, так и орудием террора, что более превращает в средство, а не конечную цель. Но и как инструмент «отмены» не следует сводить к простому запугиванию, гневным речам в медиа, вкусовщине, рекламному ходу или специфике молодежного протеста, обусловленного впечатлительностью и незрелостью молодых людей. По мнению автора, «отмена» скорее не первое, а последнее средство, к потенциалу которого нельзя относиться легкомысленно. Поэтому Оуэнс резонно заключает, что ее ключевой целью является формирование чувства ответственности за свои слова и действия для создания долгосрочного эффекта, а именно уменьшения вреда потенциальным будущим жертвам и примера другим потенциальным обидчикам [18].

В итоге мы можем утверждать, что методология, предложенная Анкерсмитом, указывает не только продуктивный путь сопротивления ставшему столь популярным тотальному релятивизму. Как уже отмечалось выше, его, а именно идею достоинства, можно также трактовать как перспективу если не преодоления, то ограничения вытекающих из релятивизма конспиративных подходов или теорий подозрения в духе марксистского толкования идеологии. Но ее можно также рассматривать как необходимую платформу для реализации актуального или потенциального диалога между различными теоретическими и идеологическими позициями. Речь идет о подходе, получившем название «разделяемые истории». Наиболее ярким образцом воплощения данного подхода со всеми подводными камнями, возникающими на этом пути, и методологией их преодоления можно считать размышления исследователя из Гентского университета Бербера Бевернажа. Стоит отметить, что Бевернаж в итоге правомерно указывает на необходимость соответствующей философии истории как теоретико-методологической платформы для обеспечения достижения согласия в разделяемых историях, а именно идеи Хайдена Уайта об архетипических сюжетных структурах [19. Р. 82–83]. Речь идет о трактовке конфликтного прошлого как трагического опыта, предоставляющего нарративный формат, способный вывести мысль за пределы простого однозначного распределения позиций исторических агентов (актеров, персонажей) на правых и неправых. К этому можно добавить, что идея уважения к достоинству может обеспечить прочтение трагического опыта как опыта совместного и представить приемлемую рамку для включения в нее самых разнообразных и внешне противоречивых исторических свидетельств, связанных с той или иной «горячей» темой.

В заключение стоит повторить два важных, как нам представляется, тезиса. Обращение к кантовской идее достоинства, как указывалось выше, не означает произнесения последнего и окончательного слова по обсуждаемой теме. Всегда надлежит учитывать историко-культурный контекст. Иначе говоря, правомернее предполагать, что это наиболее удачный моральный словарь для настоящего времени. Хотя, возможно, в будущем он может существенно измениться. Но когда это произойдет, однозначно утверждать невозможно. По этому поводу справедливо заметил еще Гегель: «Кто ищет только назидания, кто желает окутать туманом земное многообразие своего наличного бытия и мысли и стремится к неопреде-

ленному наслаждению этой неопределенной божественностью, пусть сам заботится о том, где его найти... Но философия должна остерегаться желания быть назидательной» [20. С. 5].

Во-вторых, речь, конечно, идет о некоторых условиях применения теоретико-методологических принципов Анкерсмита как платформы для ограничения релятивизма, тотальности теорий подозрения и поиска пути в «наведении мостов». Очевидно, что одно из таких условий предполагает наличие одного чисто субъективного момента, а именно совместной воли к диалогу как необходимого структурного элемента в реализации «разделяемых историй». Поэтому для оценки такой ситуации вполне правомерным следует считать тезис «если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов».

Список источников

1. *Hassan I.* Pluralism in Postmodern Perspective // *Exploring Postmodernism* / ed. by M. Calinescu, D. Fokkena. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1987. P. 17–40.
2. *Барт Р.* Смерть автора. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / пер. с фр. Г.К. Косикова. М. : Прогресс, 1989. С. 384–391.
3. *Ankersmit F.R.* In Praise of Subjectivity // *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, T.R. Flynn, R.A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 3–26.
4. *Ankersmit F.R.* The Ethics of History: From the Double Binds of (Moral) Meaning to Experience // *History and Theory*. 2004. Vol. 43, № 4. P. 84–102.
5. *Кант И.* Основы метафизики нравственности // *Критика практического разума* / пер. В.М. Хвостова. СПб. : Наука, 1995. С. 53–119.
6. *Кант И.* Основоположение к метафизике нравов / пер. А.К. Судакова // *Сочинения*. Т. 3. М., 1997. С. 39–275.
7. *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по истории философии. Книга первая / пер. Б. Столпнера. СПб. : Наука, 1993. 350 с.
8. *Маркс К., Энгельс Ф.* Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического мировоззрений (1-я глава «Немецкой идеологии») // *Избранные произведения*. Т. 1. М. : Политиздат, 1983. С. 4–76.
9. *Буллер А., Линченко А.А.* Зачем нужна историческая этика? // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология*. 2023. Т. 39, вып. 3. С. 423–435.
10. *Bayertz K.* Self-Enlightment of Applied Ethics // *Public reason and Applied Ethics: the Ways of Practical reason in Pluralistic Society* / ed. by A. Cortina, D. Garsia-Marza, J. Conill. Ashgate Publishing, Ltd., 2008. P. 33–48.
11. *Birnbacher D.* Ethics and Social Science: which Kind of Co-operation? // *Ethical Theory and Moral Practice*. 1999. Vol. 2, № 4. P. 319–336.
12. *LaFollette H.* The nature of Practical Ethics // *The Oxford Handbook of Practical Ethics* / ed. by H. LaFollette. Oxford Univ. Press, 2003. P. 1–11.
13. *Verweij M.* Moral Principles and Justification in Applied Ethics // *Perspectives on Applied Ethics* / ed. by G. Collste. Linköping, 2007. P. 52–70.
14. *Levy D.* Changing Temporalities and the Internationalization of Memory Cultures // *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society* / ed. by Y. Gutman, A.D. Brown, A. Sodaro. Palgrave Macmillan, 2010. P. 15–30.
15. *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по философии истории / пер. А.М. Водена. СПб. : Наука, 1993. 479 с.
16. *Линченко А.А., Трутенко Е.В.* Коммеморации сообществ отмены в условиях цифровизации // *Антиномии*. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 83–100.
17. *Овчинников А.В., Аникин Д.А.* «Культура отмены» и «корпоративная отмена» в дискурсе социальной философии // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2025. № 83. С. 76–87.
18. *Owens E.* The Case for Cancel Culture: How This Democratic Tool Works to Liberate Us All. New York: St. Martin's Press, 2023. (<https://www.indigo.ca/en-ca/the-case-for-cancel-culture-howthis-democratic-tool-works-to-liberate-us-all/9781250280930>. [html?lgyckwrd=9781250280930](https://www.indigo.ca/en-ca/the-case-for-cancel-culture-howthis-democratic-tool-works-to-liberate-us-all/9781250280930)) (accessed: 13.05.2025).

19. Bevernage B. Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through “Historical Dialogue” and “Shared History” // *Ethos of History. Time and Responsibility* / ed. by St. Helgesson, J. Svenungsson. Berghahn Books, 2018. P. 71–93.
20. Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть первая: Феноменология духа / пер. Г.Г. Шпета. СПб. : Мысль, 1994. 443 с.

References

1. Hassan, I. (1987) Pluralism in Postmodern Perspective. In: Calinescu, M. & Fokkena, D. (eds) *Exploring Postmodernism*. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. pp. 17–40.
2. Barthes, R. (1989) *Smert' avtora. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika* [The Death of the Author. Selected Works: Semiotics: Poetics]. Translated from French by G.K. Kosikov. Moscow: Progress. pp. 384–391.
3. Ankersmit, F.R. (2004) In Praise of Subjectivity. In: Carr, D., Flynn, T.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press. pp. 3–26.
4. Ankersmit, F.R. (2004) The Ethics of History: From the Double Binds of (Moral) Meaning to Experience. *History and Theory*. 43(4). pp. 84–102.
5. Kant, I. (1995) *Kritika prakticheskogo razuma* [Critique of Practical Reason]. Translated from German by V.M. Khvostov. St. Petersburg: Nauka. pp. 53–119.
6. Kant, I. (1997) *Sochineniya* [Works]. Vol. 3. Translated from German by A.K. Sudakov. Moscow: Moskovskiy filosofskiy fond. pp. 39–275.
7. Hegel, G.W.F. (1993) *Leksii po istorii filosofii. Kniga pervaya* [Lectures on the History of Philosophy. Book One]. Translated from German by B. Stolpner. St. Petersburg: Nauka.
8. Marx, K. & Engels, F. (1983) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Politizdat. pp. 4–76
9. Buller, A. & Linchenko, A.A. (2023) Zachem nuzhna istoricheskaya etika? [Why Do We Need Historical Ethics?]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiya i konfliktologiya*. 39(3). pp. 423–435.
10. Bayertz, K. (2008) Self-Enlightment of Applied Ethics. In: Cortina, A., Garsia-Marza, D. & Conill, J. (eds) *Public Reason and Applied Ethics: The Ways of Practical reason in Pluralistic Society*. Ashgate Publishing, Ltd. pp. 33–48.
11. Birnbacher, D. (1999) Ethics and Social Science: which Kind of Co-operation? *Ethical Theory and Moral Practice*. 2(4). pp. 319–336.
12. LaFollette, H. (2003) The Nature of Practical Ethics. In: LaFollette, H. (ed.) *The Oxford Handbook of Practical Ethics*. Oxford University Press. pp. 1–11.
13. Verweij, M. (2007) Moral Principles and Justification in Applied Ethics. In: Collste, G. (ed.) *Perspectives on Applied Ethics*. Linköping. pp. 52–70.
14. Levy, D. (2010) Changing Temporalities and the Internationalization of Memory Cultures. In: Gutman, Y., Brown, A.D. & Sodaro, A. (eds) *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*. Palgrave Macmillan. pp. 15–30.
15. Hegel, G.W.F. (2024) *Leksii po filosofii istorii* [Lectures on the Philosophy of History]. Translated from German by A.M. Voden. St. Petersburg: Nauka.
16. Linchenko, A.A. & Trutenko, E.V. (2024) Kommemoratsii soobshchestv otmeny v usloviyakh tsifrovizatsii [Commemorations of Cancellation Communities in the Context of Digitalization]. *Antinomii*. 24(3). pp. 83–100.
17. Ovchinnikov, A.V. & Anikin, D.A. (2025) “Cancel Culture” and “Corporate Cancellation” in the Discourse of Social Philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 83. pp. 76–87. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/83/8
18. Owens, E. (2023) *The Case for Cancel Culture: How This Democratic Tool Works to Liberate Us All*. New York: St. Martin's Press.
19. Bevernage, B. (2018) Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through “Historical Dialogue” and “Shared History.” In: Helgesson, St. & Svenungsson, J. (eds) *Ethos of History. Time and Responsibility*. Berghahn Books. pp. 71–93.
20. Hegel, G.W.F. (1994) *Sistema nauk. Chast' pervaya: Fenomenologiya dukha* [The System of Sciences. Part One: Phenomenology of Spirit]. Translated from German by G.G. Shpet. St. Petersburg: Mysl'.

Сведения об авторе:

Сыров В.Н. – доктор философских наук, профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: narrat@inbox.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Syrov V.N. – Dr. Sci. (Philosophy), full professor, head of the Department of Ontology, Epistemology and Social Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: narrat@inbox.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 30.04.2025;
одобрена после рецензирования 27.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 30.04.2025;
approved after reviewing 27.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 142.72

doi: 10.17223/1998863X/85/12

ВОВЛЕЧЕННОЕ ОТЦОВСТВО В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ТВОРЧЕСТВО, ОСОЗНАННОСТЬ, ЛЮБОВЬ

Екатерина Борисовна Хитрук¹, Роман Александрович Быков²

^{1,2} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *lubomudreg@gmail.com*

² *nimai.bykov@gmail.com*

Аннотация. Статья посвящена исследованию норм и практик вовлеченного отцовства в современном российском обществе. В статье представлены результаты качественно-социологического исследования отцов (на основе нарративных интервью и фокус-группы). В статье делается вывод о важности социальной поддержки вовлеченного отцовства на уровне политических инициатив и просветительских мероприятий.

Ключевые слова: отцовство, вовлеченное отцовство, хороший отец, нормы отцовства, отцовские практики

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00394, <https://rscf.ru/project/24-28-00394/>

Для цитирования: Хитрук Е.Б., Быков Р.А. Вовлеченное отцовство в современном российском обществе: творчество, осознанность, любовь // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 139–151. doi: 10.17223/1998863X/85/12

Original article

ENGAGED FATHERHOOD IN MODERN RUSSIAN SOCIETY: CREATIVITY, MINDFULNESS, LOVE

Ekaterina B. Khitruk¹, Roman A. Bykov²

^{1,2} *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *lubomudreg@gmail.com*

² *nimai.bykov@gmail.com*

Abstract. The article discusses the study of the norms and practices of engaged fatherhood in contemporary Russian society. It draws on the works of foreign and domestic scholars, as well as the authors' own socio-philosophical perspective on fatherhood as a social phenomenon. The article presents the findings of a qualitative sociological research on fathers, based on narrative interviews and focus group discussion. The aim of the study was to practically test the previously formulated theoretical and methodological guidelines in relation to Russian social realities. It seems that in the future, such a study should contribute to a better understanding of what measures of social support are needed to promote the trend of engaged fatherhood in the Russian Federation. Creativity (or "reinvention of fatherhood"), awareness (fathers' reflexive and independent approach to shaping their paternal identity),

and love (“courage to love”) are identified as key factors in the development of engaged fathering practices in contemporary Russia. The article concludes that social support for engaged fatherhood is important at the level of political initiatives and educational events.

Keywords: fatherhood, engaged fatherhood, good father, fatherhood, fathering

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00394, <https://rscf.ru/project/24-28-00394/>

For citation: Khitruk, E.B. & Bykov, R.A. (2025) Engaged fatherhood in modern Russian society: creativity, mindfulness, love. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 139–151. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/12

Вовлеченное отцовство – это концепт, ставший популярным в социальных науках в контексте исследования отцовских норм (fatherhood) и практик (fathering) в течение последних четырех десятилетий [1. С. 178]. Вовлеченное отцовство означает исторически новую форму мужского генеративного поведения, которая постепенно проявляется на фоне таких сложных социальных тенденций, как преодоление традиционного семейного уклада и «потеря отца» в современном обществе [2–6]. Вовлеченное отцовство характеризуется значительно большим (в сравнении с прошлыми эпохами) вниманием мужчин к собственной отцовской идентичности, осознанностью в выстраивании ответственных и эмоционально теплых отношений со своими детьми, решимостью разделять с матерью детей не только внешние обязанности, заботы о семье, но и обязанности по уходу за детьми, непосредственно в семье [7]. Некоторые исследователи подчеркивают, что вовлеченное отцовство представляет собой не только одну из множества форм отцовства, проявившуюся особенно явно во второй половине XX – начале XXI в., но и совершенно особый этап в развитии семьи и общества в целом, этап, действительное социальное значение которого может быть обозначено термином «отцовская революция» [8. С. 271; 9. С. 130–135].

В наших прошлых работах мы предложили в качестве одного из продуктивных методологических подходов к изучению данного феномена социально-философскую стратегию [10, 11]. Суть данной стратегии заключается в рассмотрении «отцовской революции» не только в контексте социокультурных изменений, связанных с кризисом маскулинности, плюрализацией мужских и женских социальных практик, трансформацией института семьи, но и, более глубоко, в контексте постметафизического мышления, связанного с преодолением традиционного бинаризма и эссенциализма в осмыслении мира и человека, а также мужского и женского начал (и, как следствие, отцовства и материнства) в философии XX столетия. Мужское и женское благодаря эрозии метафизики [12. С. 104] и общему антиэссенциалистскому настрою [13. С. 111] философии XX столетия смогли «выйти» за рамки классической бинарной схемы, предписывавшей авторитарность, сверхчувственность («безэмоциональность»), трансцендентность (ориентированность на внешнюю самореализацию) мужской и, соответственно, отцовской социальной роли [14. С. 299, 305]. Это фундаментальное «высвобождение» мужественности в философской перспективе должно рассматриваться как одна из ключевых причин (наряду с социокультурными и экономическими причинами) той фундаментальной трансформации института отцовства, которую наблюдают и исследуют ученые в социальных науках сегодня [15].

Благодаря применению указанной социально-философской стратегии нами были выявлены и обозначены в качестве ключевых маркеров исследования вовлеченного отцовства следующие категории – «изобретение отцовства» и «мужество любить» [10]. «„Изобретение“ – поскольку современные трансформации отцовства связаны с появлением, нормализацией и легитимацией исторически новых форм ответственного и вовлеченного отцовства. Эти новые формы все еще находятся в процессе становления и, в конечном счете, зависят от того, насколько свободными, творческими и решительными окажутся сами мужчины, созидающие их... „Мужество любить“ – поскольку именно любовь оказывается тем „водоразделом“, который обозначает собой границу между отстраненными и авторитарными формами отцовства, с одной стороны, и вовлеченными и ответственными – с другой» [10. С. 175–176].

Необходимо отметить, что данные маркеры вполне коррелируют как с классическими и современными зарубежными исследованиями вовлеченного отцовства, так и с аналогичными исследованиями российского общества.

1. К классическим исследованиям мы относим, прежде всего, концепцию отцовской вовлеченности (the construct of paternal involvement), предложенную в 1980-х гг. такими учеными, как Джозеф Плек, Майкл Лэмб, Джеймс Левайн и Эрик Чарнов [16–18]. Указанные исследователи выделяли в качестве ключевых компонентов вовлеченного отцовства **включенность** (прямое взаимодействие с ребенком в процессе ухода, игры и т.п.), **доступность** отца для ребенка в те моменты, когда ребенок действительно в нем нуждается, и **ответственность** (обеспечение заботы о ребенке, предоставление ребенку разнообразных ресурсов, способствующих его благополучию) [19. Р. 243]. Позднее к этим трем компонентам был добавлен еще один – **эмоциональная теплота и отзывчивость** [20]. Таким образом, развитие классической концепции отцовской вовлеченности привело к осознанию того факта, что положительный эффект новых практик ответственного (вовлеченного) отцовства связан не столько с ответственным выполнением родительских обязанностей и большими в сравнении с предшествовавшими эпохами временными затратами, сколько с эмоциональной открытостью и преодолением традиционного представления о «безэмоциональном» отце. Сам Джозеф Плек в статье 2012 г., анализируя итоги развития концепции отцовской вовлеченности, отмечает, что исследования сделали очевидным тот факт, что само по себе время, проведенное отцами с детьми, не оказывает ощутимо положительного влияния на развитие последних. При этом сочетание ответственности, взаимодействия и эмоциональной теплоты оказывает положительный эффект как непосредственно на детей, так и на матерей, и на самих отцов [19. Р. 249].

2. Определяющее значение эмоциональной теплоты в процессе взаимодействия между отцом и ребенком формулируется с еще большей очевидностью в контексте современных зарубежных исследований новых моделей мужского генеративного поведения. В этой связи отдельного внимания заслуживают концепции «заботливой маскулинности» Карлы Элиотт и «отцовской любви» Александры Махт.

Карла Элиотт, отталкиваясь от критической теории маскулинности и феминистской теории заботы [21. Р. 241], формулирует собственную концепцию заботливой маскулинности, которая определяет неприятие доминирования, положительные эмоции и переживание взаимозависимости в качестве

необходимых компонентов мужской идентичности нового образца. Становление такого рода идентичности происходит, по убеждению К. Элиотт, практическим путем через осознание того факта, что уход (забота), в том числе и особенно уход за маленькими детьми, является не «женской работой» [21. Р. 253], но общечеловеческой необходимостью. Без этой «работы» человечество не может выжить и в этой перспективе все люди являются существами взаимозависимыми, в определенные периоды своей жизни нуждающимися в уходе (заботе) и способными его осуществлять по отношению к другим. Забота – это не «женская роль», а общечеловеческая задача. Дефеминизация заботы, с точки зрения К. Элиотт, способствует фактической трансформации мужских социальных практик и в том числе практик отцовства. В результате этого сложного процесса мужчины обретают уважение, основанное не на «страхе» и «доминировании», но на любви, формирующейся практическим путем – в результате практик заботы [21. Р. 253].

Александра Махт идет, пожалуй, еще дальше в плане описания значимости эмоциональной теплоты в отношениях между детьми и их отцами. В первую очередь, А. Махт обращает внимание на то, что применение в отцовских исследованиях концепта «эмоциональная теплота» вместо понятия «любовь» не является случайным. В действительности «любовь» является феминизированной эмоцией и в дискурсе социальном, и в дискурсе собственно научном, в том числе социологическом. Именно поэтому и в общественных дискуссиях, и в социологических исследованиях принято рассуждать о «романтической любви» или «любви материнской», но «отцовская любовь» до последнего времени представляла собой недопустимый («антинаучный») оксюморон. А. Махт называет такой подход «социологически близоруким» [22. Р. 13]. До тех пор, пока любовь в социологической перспективе не будет дефеминизирована, считает А. Махт, концепция отцовской вовлеченности продолжит тяготеть в сторону классического эссенциального дискурса – дискурса доминирования. Только освобождение научного подхода от оптики доминирования (в данном случае от фемининных коннотаций любви) способно приблизиться к пониманию новой реальности, воплощающейся в современных практиках вовлеченного отцовства. Отцовство, рассуждает А. Махт, не является социальной ролью в традиционном значении того образа, который человек принимает и транслирует в неизменном виде в течение всей своей жизни. Отцовство – это сложный процесс «делания» или «становления», в котором реализуется мужская эмоциональность, дрейфующая от власти (доминирования) к любви и обратно [22. Р. 19, 146]. Все большая открытость к любви и постепенное дистанцирование от доминирования и определяют собой современное вовлеченное отцовство. Но чтобы исследовать этот феномен во всем его комплексном значении, нужно принять «отцовскую любовь» всерьез, включить ее в социологический дискурс, а точнее, прекратить неоправданно исключать ее из него.

3. Российские исследователи также обращаются к изучению феномена вовлеченного отцовства [2, 23–30], фиксируя при этом двоякую ситуацию. С одной стороны, в российском обществе обнаруживается та же общемировая тенденция плюрализации мужских и, в частности, отцовских практик с преобладающим «сдвигом» в сторону вовлеченного отцовства [31. С. 104]. Институт отцовства, по выражению выдающегося российского социолога

Елены Рождественской, «испытывает особенно радикальные преобразования» [7. С. 170]. В результате этих преобразований можно говорить о значительно большей осознанности и вовлеченности мужчин в процесс воспитания детей. В целом отцовство становится более «горизонтальным» [7. С. 164]. Однако специфика российского социального контекста связана с сохранением и поддержкой традиционного нарратива маскулинности как воплощения контроля, дистанцированности, материального обеспечения семьи в первую очередь. Поэтому фактически российские мужчины находятся в сложном положении противоречивого «культурного микса» [32. С. 92], получая прямо противоположные друг другу социальные сигналы. Так, например, российский социолог Ирина Шевченко фиксирует в своей работе следующий парадокс: «отцов ждут, чтобы они одновременно обеспечивали семью и много времени уделяли ребенку и жене, а это почти невозможно физически» [33. С. 119]. Противоречивые сигналы способствуют, однако, большей рефлексивности и, как следствие, формированию собственного (творческого) подхода к отцовству у значительной части российских мужчин. Так, например, российские исследователи Ольга Безрукова и Валентина Самойлова отмечают, что именно у отцов с «собственным сценарием» отцовского поведения формируется положительное отношение к таким аспектам отцовства, как любовь к детям и радость от общения и любви ребенка [31. С. 99]. Поэтому сама по себе ситуация «культурного микса» может выступать и фактически в определенном отношении уже выступает стимулом к преодолению традиционных эссенциальных рамок отцовства, обретению новой перспективы, важным аспектом которой является осознание значимости любви между отцами и их детьми.

Таким образом, методологической основой нашего изучения норм и практик вовлеченного отцовства в современном российском обществе выступает базирующееся на зарубежных и российских исследованиях представление о том, что ключевыми маркерами развития феномена вовлеченного отцовства являются 1) осознанное (рефлексивное, свободное) отношение мужчин к формированию собственной отцовской идентичности, 2) «изобретение отцовства», т.е. творческое и свободное (не ориентированное на воспроизведение родительского сценария или исключительно на реализацию уже существующих социальных норм) созидание новых форм отцовских практик и 3) «мужество любить», т.е. реализующееся на практике вопреки традиционным стереотипам о «безэмоциональной» маскулинности мужество проявлять эмоциональную открытость и теплоту в общении и взаимодействии с детьми и другими членами семьи.

Цель нашего исследования, соответственно, заключается в практической апробации указанных теоретико-методологических установок применительно к российским социальным реалиям, что в перспективе должно способствовать лучшему пониманию того, какие именно меры социальной поддержки необходимы для продвижения тенденции вовлеченного отцовства в Российской Федерации.

Методика исследования

Исследование было реализовано с применением качественной стратегии в декабре 2024 – январе 2025 г. на базе НИ ТГУ (г. Томск). Основу эмпириче-

ской базы исследования составили нарративные и полуструктурированные интервью с отцами разного возраста. Важным при отборе был их персональный опыт отцовства. При использовании неслучайной целевой выборки учитывались дополнительные основания отбора, так как важно было опросить отцов с разным количеством детей, наличием супруги, в предразводном состоянии, в разводе, в повторном браке, наличием детей из других браков, разной профессиональной деятельности, статуса, дохода. Всего было опрошено 27 респондентов. После фиксации в последних 8 интервью повторов и «плотного насыщения» сбор интервью был прекращен. Важно отметить, что в начале встречи респондентам давался нарративный импульс и только после свободного описания отцом собственной семейной жизни задавались открытые уточняющие вопросы. Также была проведена фокус-группа с отцами примерно одного возраста (11 человек). Необходимость групповой динамики была продиктована идеей о важности наблюдения за тем, как отцы в «живой» дискуссии будут, убеждая друг друга, конструировать собственные значимые ценности, образы, практики отцовства. Вопросы в целом были направлены на выявление смыслов мужественности, отцовства, «правильного», «хорошего» и «плохого» отца, вовлеченного отца, изучение важности проявления эмоций внутри семьи, общения с детьми, событий, влияющих на отцовство в процессе социализации, а также попытки проверить выдвигаемые тезисы в живом обсуждении с респондентами (авторская методика). Помимо обычных сложностей рекрутинга респондентов, имеющих высокую загруженность, трудности исследования были связаны с тем, что обсуждение темы вовлеченного отцовства требует богатого опыта повседневной рефлексии, в то время как в своей обычной жизни лишь немногие отцы имеют такой опыт. Тем не менее интервью проходили насыщенно, и отцы в большинстве случаев с интересом обсуждали предлагаемые вопросы.

Основные результаты

Исследование продемонстрировало целый ряд значимых результатов.

1. Отсутствие в родительской семье респондентов такого значимого компонента, как подготовка к исполнению в будущем отцовской роли. Респонденты говорили об отсутствии в их семье и их воспитании другими агентами социализации рассказов об отцовстве, «наставлений» («вырастешь, будешь отцом»), как быть «хорошим отцом» и т.п.). Это обстоятельство, по мысли авторов, свидетельствует о фундаментальных проблемах отцовства, его осмысления на данном этапе истории, что, возможно, подтверждает идею о вынужденной персональной сборке собственной идентичности родителя посредством выбора соответствующих практик. Большинство респондентов считают, что наличие положительного примера в детстве, «настройки», воспитания в этом ключе облегчило бы им принятие отцовской роли в будущем. Таким образом, каждый отец вынужден взять на себя ответственность за выбор, как и насколько быть отцом, поскольку разрушены или не транслируются образцы, или они устарели и не устраивают современную молодую семью.

2. Отцовство воспринимается респондентами не как данность (факт), а как значимая социальная задача, требующая осознанности и приложения усилий. Отцовство в сознании респондентов – это серьезный жизненный выбор, который должен быть взвешен и отрефлексирован, это активное действие, а не

биологический или социальный факт. Отцы рассуждали об отцовских обязанностях, важности приложения усилий при воспитании и поддержке детей и всей семьи, необходимости тратить время, осуществляя заботу.

3. Исследование позволило также выявить характеристики «хорошего отца» в представлении респондентов. Хороший отец *«должен проводить время с детьми, играть, интересоваться их жизнью, участвовать в их делах», «жить по своим ценностям, быть честным, ответственным, демонстрировать силу и мужество», «проявлять эмоциональную вовлеченность, давать тепло, быть рядом в трудные моменты», «помогать взрослеть, учить справляться с трудностями, развивать самостоятельность», «быть строгим, когда нужно, но не травмировать психику ребенка», «обеспечить семью материально, создать спокойную и счастливую атмосферу»* (из интервью). Таким образом, хороший отец обладает важными нравственными качествами, является примером для детей, вовлечен в семейную жизнь, создает атмосферу, в которой безопасно, обеспечивает семью, задает нормы поведения и ценности, поддерживает и дарит любовь. Многие отцы говорят, что общество ждет от них максимальной вовлеченности. В сознании некоторых из них это объективно не представляется возможным, так как отцы загружены, устают и не могут много времени проводить с детьми. Важным представляется то, что отцы говорят о своей готовности и значимости для них быть вовлеченным и хорошим отцом. Большинство отцов считает себя вовлеченными или старается быть такими. Есть те, кто критически относится к своему родительству, замечают, что могли бы быть более вовлеченными.

4. Выявлены и характеристики «плохих отцов». Таковыми респонденты признают отцов с низкой степенью вовлеченности в процесс воспитания детей. К причинам данного феномена респонденты относят эгоизм, безответственность, незрелость, нежелание брать на себя ответственность, неумение выстраивать отношения, наличие вредных привычек (алкоголизм), отсутствие любви и тепла в их жизни, депрессию, низкую самооценку. Плохие отцы в интервью описывались следующим образом: *«неготовность и нежелание быть отцом, несмотря на необходимость», «использование детей для собственного утешения», «нездоровые отношения с детьми из-за собственной незрелости», «лицемерие: говорят о хорошем отцовстве, но не участвуют в жизни детей», «спектр от неопытности до полной безответственности»* (из интервью). Респондент с сильной религиозной идентичностью описал отцовство таким образом: *«плохой отец – тот, кто не знает, куда вести семью, я про духовный смысл, предназначение человека»* (из интервью, М., 45 л.). «Плохой отец» – это человек, который мог бы быть хорошим, он является дееспособным и живет вместе с семьей. Однако эгоизм, безразличие, слабое погружение в мир ребенка, педагогическая некомпетентность и отсутствие решимости принимать, любить и брать ответственность оставляют для него такую возможность не востребованной. Это отец, по мнению ряда респондентов, эмоционально недоступный, отстраненный. Он не проявляет любовь и заботу, ограничен в эмоциональном взаимодействии или не способен выражать чувства.

5. Исследование выявило основные факторы, с точки зрения респондентов, оказавшие определяющее влияние на формирование их представления об отцовской роли в семье. Можно выделить в этой перспективе три группы от-

цов: во-первых, это респонденты, у которых был яркий пример, собственный отец, полная семья (при этом влияние отца оценивается как положительно, так и отрицательно), во-вторых, это респонденты, которые довольно рано столкнулись с необходимостью самостоятельно искать ориентиры и положительные примеры в силу отсутствия отца в их собственной семье. Такими примерами в их жизни стали педагоги, тренеры, герои любимых книг. В-третьих, это респонденты, на которых глубокое влияние оказал собственный личный опыт отцовства, процесс осмысления своей новой роли и принятия ответственности после рождения детей. Таким образом, если описывать все внешние по отношению к сознанию респондентов факторы, повлиявшие на представление об отцовстве, то следует выделить примеры своей семьи, родственников (например, дедушки), окружения (например, отцы друзей), самостоятельное изучение вопроса, работа и опыт внутри своей семьи, яркие личности, учителя, тренеры, религиозные представления о правильном поведении мужчины и отца, а также образы, сформированные в искусстве и СМК.

6. Выявлено, что одним из значимых маркеров трансформации отцовства является феномен «безэмоциональной маскулинности», который предполагает неготовность или неспособность проявлять эмоции не только вне, но и внутри собственной семьи. Данный феномен оказался характерным для части респондентов, особенно старшего возраста. Респонденты в целом говорят о важности проявления своих чувств, но далеко не все из них в действительности считают самих себя открытыми и эмоциональными. Свое собственное поведение респонденты зачастую связывают с установкой на эмоциональную сдержанность и контроль по отношению к проявлениям чувств. Это может быть также связано, по мнению опрошенных, с важностью фокусировки на действиях, а не на эмоциях, частичной открытостью по отношению к детям, но сдержанностью по отношению к супруге или наоборот. Попытка достичь баланса между строгостью и эмоциональностью воспринимается как непростая задача, требующая как осмысления, так и практики, и лишь некоторые отцы говорят о том, что у них получается найти баланс. Несмотря на разнообразие и как минимум три группы отцов, различаемых по степени эмоциональной открытости, явно прослеживаются установки на маскулинность в ее традиционном, устоявшемся виде. Респонденты переживают давление «социально одобряемых», «правильных», с их точки зрения, моделей, которые, как и их собственная отцовская позиция, могут входить в противоречие с их непосредственными переживаниями, поэтому также требуют рефлексии получаемого опыта.

Заключение

В заключении необходимо отметить, что большинство респондентов выразили убеждение в том, что с проблемой «отсутствующего отцовства» необходимо бороться, не столько «вынуждая» отцов становиться более внимательными по отношению к своим детям, сколько «вдохновляя» их выстраивать плодотворные и эмоционально глубокие отношения с ними, «пробуждая» в них вовлеченность. Практически все опрошенные отцы считают, что трансформация отцовских практик – это сложный процесс, базирующийся на трех ключевых основаниях: желании самого отца, поддержке

окружения (жены, специалистов) и общественных изменениях (государственная политика, образование, культурная пропаганда).

Респонденты также высказывали представление о том, что до людей, вступающих в семейные отношения, жизненно важно суметь донести идею о том, насколько необходима в семье постоянная работа над собой, формирование таких личностных качеств, как терпение, эмпатия, самоанализ, умение быть гибким, ответственность, коммуникативность. Важными являются также самообразование в сфере детской психологии, повышение уровня собственной педагогической компетентности, способность и решимость принять мир «другого», дарить любовь и получать ее в ответ. Кроме того, респонденты настаивали на важности конкретного комплекса практических действий внутри семьи. Это *«посвящение качественного времени ребенку»*, *«активное участие в его жизни»*, *«передача опыта»*, *«живое общение»*, *«праздники и традиции»* (из интервью). При этом значимой остается материальная сторона существования семьи. Ни одна семья не может развиваться в ситуации отсутствия материальной стабильности, и решение материальных вопросов, по мнению респондентов, отрывает как отца, так и мать от родительства.

Респонденты указывают также на то, что большую роль в формировании положительных практик отцовства играют семейные связи. Чем обширнее и плотнее родственные связи, тем крепче семейные отношения, поддерживаемые близким окружением, усиленные неформальными образцами поведения.

В целом исследование демонстрирует, что отцовство как важное явление общества должно быть *«пересобрано»* (*«переизобретено»*) и осмысленно как самими отцами, в силу объективной ответственности и необходимости реальных повседневных действий, так и на уровне социума в целом, включая образовательные и властные структуры, культурные институты. Один из респондентов (отец в бракоразводном процессе, 37 л.) вспоминал советские фильмы, которые как *«некоторый монолит транслировали позитивные ценности»* (из фокус-группового интервью). Эти фильмы, с его точки зрения, формировали правильное отношение людей к семье, прививали чувство ответственности за близких людей, за коллектив в то время, как современная яркая, но хаотичная и разобщенная масса абсолютно разных материалов в массмедиа транслирует противоречивые и далеко не всегда позитивные модели поведения в семье.

Исследование также продемонстрировало важность для отцов разнообразных мер государственной поддержки, включая образовательные инициативы на всех уровнях, формирование позитивного образа отца в массмедиа, социальной работы со стереотипами и особенно с негативными. Чрезвычайно значимой является и поддержка инициатив НКО и иных объединений, работающих в данном направлении и способных вести просветительскую работу, оказывать адресную помощь молодым отцам и их семьям, формирование и масштабирование отцовских сообществ и клубов.

Хотелось бы отметить, что отцы, которые поделились с нами собственной *«картиной мира»*, в большинстве своем действительно находятся в состоянии постоянного осмысления своей новой или уже устоявшейся роли. Мы по этой причине сознательно уходили от взаимодействия с *«плохими»* отцами, которым тяжело воспринимать родительство в силу их алкогольной или наркотической аддикции, склонности к девиации и пр. Данная категория

изучена в большей степени, представляет собой иную сторону проблем отцовства и вызывает интерес у профессиональных сообществ, органов власти, пенитенциарных систем. «Изобретение отцовства» – это феномен современности, который осмысливается только в некоторых кругах научного сообщества, но при этом ежедневно проживается в опыте значительного количества семей в нашем обществе. Это творческий и ответственный процесс и порой крайне сложный и зажатый как внешними рамками (культура, институты, СМИ, семья), так и внутренними (психические особенности и проблемы, модели поведения, навыки, стереотипы и т.д.). При этом данный процесс, без всякого сомнения, находится в мощнейшей динамике и, по всей видимости, в ближайшее время его последствия станут еще более явными. «Мужество любить» воспринимается в этом контексте как нечто желаемое самими отцами, к чему они на данный момент стремятся, пытаясь осмыслить и реализовать это важное, сокровенное и труднодостижимое измерение своей отцовской идентичности.

Список источников

1. Малышев А.Г. Инфраструктура поддержки вовлеченного отцовства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2022. Т. 25, № 4. С. 177–207. doi: 10.31119/jssa.2022.25.4.7
2. Клецина И.С. Отцовство в аналитических подходах к изучению маскулинности // Женщина в российском обществе. 2009. № 3 (52). С. 29–41.
3. Кон И.С. Ребенок и общество: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2003.
4. Кузьмина Л.М. Социология семьи и отцовства // Наука и школа. 2018. № 5. С. 204–207.
5. Ремнева Н.С. Перспективы развития региональной семейной политики в отношении отцовства как социального института // Ответственное отцовство: миф или реальность? : сб. ст. / под общ. ред. М.А. Костенко, Н.С. Жабиной. Барнаул : Мужской разговор, 2002. С. 13–14.
6. Ильдарханова Ч.И., Калачикова О.Н. Концептуализация понятия «генеративное поведение мужчин»: методологические возможности гендерного подхода // Казанский экономический вестник. 2019. № 5 (43). С. 77–84.
7. Рождественская Е.Ю. Вовлеченное отцовство, заботливая маскулинность // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 5. С. 155–185. doi: 10.14515/monitoring.2020.5.1676
8. Бадентэр Э. Мужская сущность. М. : Новости, 1995.
9. Хитрук Е.Б. «Рождение мужчины» в западноевропейской философской традиции: эссенциализм, антиэссенциализм и отцовская революция. М. : ООО «Директ-Медиа», 2024. doi: 10.23681/717374
10. Хитрук Е.Б., Быков Р.А. Теоретико-методологические основания исследования отцовства // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 79. С. 165–180. doi: 10.17223/1998863X/79/15
11. Хитрук Е.Б., Быков Р.А. Отцовство Божественное и отцовство человеческое: социально-философские основания «отцовской революции» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 81. С. 152–164. doi: 10.17223/1998863X/81/14
12. Ваттимо Дж. После христианства. М. : Три квадрата, 2007.
13. Рорти Р. Антиклерикализм и атеизм // Логос. 2008. № 4 (67). С. 111–119.
14. Бурдьё П. Мужское господство / Бурдьё Пьер. Социальное пространство: поля и практики. М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2005. С. 286–365.
15. Хитрук Е.Б. Философские предпосылки формирования феномена «отсутствующий отец» в современной культуре // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 368. С. 54–59.
16. Lamb M.E., Pleck J.H., Charnov E.L., Levine J.A. Paternal behavior in humans // American Zoologist. 1985. № 25. P. 883–894.
17. Pleck J.H., Lamb M.E., Levine J.A. Facilitating future change in men's family roles // Marriage and Family Review. 1985. № 9 (3–4). P. 11–16.

18. *Pleck J.H.* American Fatherhood: A Historical Perspective // *Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity*. Newbury Park, CA : Sage, 1987. P. 83–97.
19. *Pleck J.H.* Integrating Father Involvement in Parenting Research // *Parenting: Science and Practice*. 2012. № 12:2-3. P. 243–253.
20. *Pleck J.H.* Paternal involvement: Revised conceptualization and theoretical linkages with child outcomes // *The role of the father in child development*. 2010. P. 67–107.
21. *Elliott K.* Caring Masculinities: Theorizing an Emerging Concept // *Men and Masculinities*. 2015. Vol. 19, № 3. P. 240–259.
22. *Macht A.* Fatherhood and Love. The Social Construction of Masculine Emotions. Oxford : Palgrave Macmillan, 2020. 194 p.
23. *Безрукова О.Н.* Практики ответственного отцовства: «Папа-школа» и социальный капитал // *Вестник СПбГУ. Серия 12: Социология*. 2012. № 3. С. 266–275.
24. *Шевченко И.О.* Институт отцовства: актуальные проблемы в поле социологических исследований // *Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение*. 2010. № 3 (46). С. 278–286.
25. *Звонарева А.Е.* Теоретико-методологические основы исследования отцовских практик // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки*. 2019. № 2 (54). С. 127–134.
26. *Кон И.С.* Мужчина в меняющемся мире. М. : Время, 2009.
27. *Рождественская Е.Ю.* Отцовство: либеральный тренд от «отца» к «папе»? // *Социологический журнал*. 2010. № 3. С. 75–89.
28. *Борисенко Ю.В.* Особенности ценностного отношения к отцовству детей вовлеченных и невовлеченных отцов // *Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология*. 2018. Т. 24. С. 23–33. doi: 10.26516/2304-1226.2018.24.23
29. *Янак А.Л.* Отцовская вовлеченность в семьях различных типов // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки*. 2018. № 2 (50). С. 124–131.
30. *Подкладова Т.Д.* Мужчина-отец в семье и обществе: вовлеченность vs. исключенность // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2016. № 1 (33). С. 107–112. doi: 10.17223/1998863X/33/11
31. *Безрукова О.Н., Самойлова В.А.* Отцовство в современной России: смыслы, ценности, практики и межпоколенческая трансляция // *Социологические исследования*. 2022. № 2. С. 94–106. doi: 10.31857/S013216250016969-8
32. *Безрукова О.Н., Самойлова В.А.* «Папы по любви» и «папы поневоле», или Почему российские отцы не идут в отпуск по уходу за ребенком? // *Социологические исследования*. 2019. № 7. С. 90–101. doi: 10.31857/S013216250005796-8
33. *Шевченко И.О.* Тенденции и противоречия в развитии института отцовства в современной России // III Всероссийский демографический форум с международным участием : материалы форума, Москва, 3–4 декабря 2021 года. М. : Федеральный науч.-исслед. социол. центр РАН, 2021. С. 117–120.

References

1. Malyshev, A.G. (2022) The Infrastructure of Support for Involved Fatherhood. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 25(4). pp. 177–207. (In Russian). DOI: 10.31119/jssa.2022.25.4.7
2. Kletsina, I.S. (2009) Otsovstvo v analiticheskikh podkhodakh k izucheniyu maskulinnosti [Fatherhood in Analytical Approaches to the Study of Masculinity]. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve*. 3(52). pp. 29–41.
3. Kon, I.S. (2003) *Rebenok i obshchestvo* [Child and Society]. Moscow: Akademiya.
4. Kuzmina, L.M. (2018) Sotsiologiya sem'i i otsovstva [Sociology of Family and Fatherhood]. *Nauka i shkola*. 5. pp. 204–207.
5. Remneva, N.S. (2002) Perspektivy razvitiya regional'noy semeynoy politiki v otnoshenii otsovstva kak sotsial'nogo instituta [Prospects for the Development of Regional Family Policy Regarding Fatherhood as a Social Institution]. In: Kostenko, M.A. & Zhabina, N.S. (eds) *Otvetstvennoe otsovstvo: mif ili real'nost'*? [Responsible Fatherhood: Myth or Reality?]. Barnaul: Muzhskoy razgovor. pp. 13–14.
6. Ildarkhanova, C.I. & Kalachikova, O.N. (2019) Kontseptualizatsiya ponyatiya “generativnoe povedenie muzhchin”: metodologicheskie vozmozhnosti gendernogo podkhoda [Conceptualization of

the Concept of “Male Generative Behavior”: Methodological Possibilities of the Gender Approach]. *Kazanskii ekonomicheskii vestnik*. 5(43). pp. 77–84.

7. Rozhdestvenskaya, E.Yu. (2020) Vovlechennoe otstvo, zabotlivaya maskulinnost' [Involved Fatherhood, Caring Masculinity]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 5. pp. 155–185. DOI: 10.14515/monitoring.2020.5.1676

8. Badenter, E. (1995) *Muzhskaya sushchnost'* [Male Identity]. Translated from English. Moscow: Novosti.

9. Khitruk, E.B. (2024) “Rozhdenie muzhchiny” v zapadnoevropeyskoy filosofskoy traditsii: esentsializm, antiessentsializm i otsovskaya revolyutsiya [“The Birth of a Man” in the Western European Philosophical Tradition: Essentialism, Anti-Essentialism, and the Paternal Revolution]. Moscow: OOO Direct-Media. DOI: 10.23681/717374

10. Khitruk, E.B. & Bykov, R.A. (2024a) Theoretical and Methodological Foundations of the Study of Fatherhood. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 79. pp. 165–180. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/79/15.

11. Khitruk, E.B. & Bykov, R.A. (2024b) Divine Fatherhood and Human Fatherhood: Socio-Philosophical Foundations of the “Paternal Revolution”. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 81. pp. 152–164. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/81/14

12. Vattimo, G. (2007) *Posle khristianstva* [After Christianity]. Translated from Italian. Moscow: Tri kvadrat.

13. Rorty, R. (2008) Antiklerikalizm i ateizm [Anticlericalism and Atheism]. *Logos*. 4(67). pp. 111–119.

14. Bourdieu, P. (2005) *Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki* [Social Space: Fields and Practices]. Translated from French. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteyya. pp. 286–365.

15. Khitruk, E.B. (2013) Filosofskie predposylki formirovaniya fenomena “otsutstvuyushchiy otets” v sovremennoy kul'ture [Philosophical Preconditions in Formation of the “Missing Father” phenomenon in Modern Culture]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 368. pp. 54–59.

16. Lamb, M.E., Pleck, J.H., Charnov, E.L. & Levine, J.A. (1985) Paternal behavior in humans. *American Zoologist*. 25. pp. 883–894.

17. Pleck, J.H., Lamb, M.E. & Levine, J.A. (1985) Facilitating future change in men's family roles. *Marriage and Family Review*. 9(3–4). pp. 11–16.

18. Pleck, J.H. (1987) American Fatherhood: A Historical Perspective. In: Kimmel, M.S. (ed.) *Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity*. Newbury Park, CA: Sage. pp. 83–97.

19. Pleck, J.H. (2012) Integrating Father Involvement in Parenting Research. *Parenting: Science and Practice*. 12(2–3). pp. 243–253.

20. Pleck, J.H. (2010) Paternal involvement: Revised conceptualization and theoretical linkages with child outcomes. In: Lamb, M.E. (ed.) *The Role of the Father in Child Development*. Wiley. pp. 67–107.

21. Elliott, K. (2015) Caring Masculinities: Theorizing an Emerging Concept. *Men and Masculinities*. 19(3). pp. 240–259.

22. Macht, A. (2020) *Fatherhood and Love. The Social Construction of Masculine Emotions*. Oxford. Palgrave Macmillan.

23. Bezrukova, O.N. (2012) Praktiki otvetstvennogo otstva: “Papa-shkola” i sotsial'nyy kapital [Practice of responsible fatherhood: “Daddy-School” and social capital]. In: *Vestnik SPbGU. Seriya 12. Sotsiologiya*. 3. pp. 266–275.

24. Shevchenko, I.O. (2010) Institut otstva: aktual'nye problemy v pole sotsiologicheskikh issledovaniy [Fatherhood: Actual Problems of Sociological Researches]. *Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Iskustvovedenie*. 3(46). pp. 278–286.

25. Zvonareva, A.E. (2019) Teoretiko-metodologicheskie osnovy issledovaniya otsovskikh praktik [Theoretical and Methodological Foundations of Research into of Paternity Practices]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki*. 2(54). pp. 127–134.

26. Kon, I.S. (2009) *Muzhchina v menyayushchemsya mire* [Man in a Changing World]. Moscow: Vremya.

27. Rozhdestvenskaya, E.Yu. (2010) Otstvo: liberal'nyy trend ot “otsta” k “pape”? [Fatherhood: A Liberal Trend from “Father” to “Daddy”?]. *Sotsiologicheskii zhurnal*. 3. pp. 75–89.

28. Borisenko, Yu.V. (2018) Osobennosti tsennostnogo otnosheniya k otsovstvu detey vovlechnnykh i neovlechnnykh otsov [Specificity of Value Attitude towards Paternity of Children of engaged and non-engaged Fathers]. *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Psikhologiya*. 24. pp. 23–33. DOI: 10.26516/2304-1226.2018.24.23.

29. Yanak, A.L. (2018) Otsovskaya vovlechnost' v sem'yakh razlichnykh tipov [Father involvement in different types of families]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki*. 2(50). pp. 124–131.

30. Podkladova, T.D. (2016) The Manfather in the Family and in the Society: Involvement vs. exclusion. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 1(33). pp. 107–112. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/33/11

31. Bezrukova, O.N. & Samoilova, V.A. (2022) Fatherhood in modern Russia: meanings, values, practices and intergenerational translation. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 94–106. (In Russian). DOI: 10.31857/S013216250016969-8

32. Bezrukova, O.N. & Samoilova, V.A. (2019) “Eager dads” and “dads against their will”, or Why Russian dads are reluctant to go on parental leave? *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 7. pp. 90–101. (In Russian). DOI: 10.31857/S013216250005796-8

33. Shevchenko, I.O. (2021) Tendentsii i protivorechiya v razvitii instituta otsovstva v sovremennoy Rossii [Trends and contradictions in the development of the institution of fatherhood in modern Russia]. *III Vserossiyskiy demograficheskiy forum s mezhdunarodnym uchastiem [The Third All-Russian Demographic Forum with International Participation]*. Moscow, December 3–4, 2021. Moscow: Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences. pp. 117–120.

Сведения об авторах:

Хитрук Е.Б. – доктор философских наук, профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии, ведущий научный сотрудник лаборатории трансдисциплинарных исследований познания, языка и социальных практик Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: lubomudreg@gmail.com

Быков Р.А. – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии, старший научный сотрудник лаборатории трансдисциплинарных исследований познания, языка и социальных практик Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: nimai.bykov@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Khitruk E.B. – Dr. Sci. (Philosophy), professor of the Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, Leading Researcher of the Laboratory of Transdisciplinary Studies of Cognition, Language and Social Practices, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lubomudreg@gmail.com

Bykov R.A. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor at the Department of Sociology, senior researcher at the Laboratory of Transdisciplinary Studies of Cognition, Language and Social Practices, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nimai.bykov@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.02.2025;
одобрена после рецензирования 27.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 20.02.2025;
approved after reviewing 27.05.2025; accepted for publication 30.06.2025

СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 316.346.32-053.6
doi: 10.17223/1998863X/85/13

ОЖИДАНИЯ И ЗАПРОСЫ МОЛОДЕЖИ К МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ – АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ)

Александр Тотразович Газалов

*Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Москва, Россия,
aleksgazalov@mail.ru*

Аннотация. В статье анализируются результаты опроса молодежи Северной Осетии – Алании, выявляющего ценности, мотивы участия в молодежных организациях и информированность о молодежной политике. Определены ключевые барьеры и возможности вовлечения, а также предпочтительные форматы мероприятий, сочетающие традиционные и современные подходы к работе с молодежью.

Ключевые слова: молодежная политика, ценностные ориентиры молодежи, молодежные организации, традиции, профессиональная самореализация

Для цитирования: Газалов А.Т. Ожидания и запросы молодежи к молодежной политике – анализ социологического опроса (на примере Республики Северная Осетия – Алания) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 152–163. doi: 10.17223/1998863X/85/13

SOCIOLOGY

Original article

YOUNG PEOPLE'S EXPECTATIONS AND REQUESTS FOR YOUTH POLICY: A SOCIOLOGICAL SURVEY ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA)

Alexander T. Gazalov

*Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation, aleksgazalov@mail.ru*

Abstract. This study analyzes the expectations and demands of youth regarding youth policy in the Republic of North Ossetia–Alania. In the context of increasing global competition for youth's worldview, there is a growing need to develop effective strategies for government engagement with the younger generation. The research is based on a sociological survey of 577 respondents aged 14 to 35, allowing for the identification of key value orientations,

preferences, and factors influencing youth involvement in public processes. The study identifies the main motivations for youth participation in public organizations, highlights the most popular event formats, and examines barriers that hinder active engagement in existing initiatives. The study showed that the top priorities for young people include family, professional self-fulfillment, and the preservation of national traditions. Cultural heritage, as well as access to educational and career opportunities, play a significant role in shaping youth identity. Particular attention is paid to the sources of information on youth policy, which helped assess the level of awareness among young people regarding the activities of relevant government bodies. The analysis revealed that a significant portion of respondents lack sufficient information about ongoing programs, indicating the need to improve communication strategies. The study's methodological framework includes both quantitative and qualitative data analysis, incorporating statistical methods such as correlation analysis. This approach made it possible to identify relationships between youth's life values and their preferences for support mechanisms. It was found for the first time that young people's value systems directly influence their engagement in public initiatives, presenting new opportunities for improving youth policy. The findings of this research can be used to develop comprehensive programs that integrate both traditional and modern approaches to youth engagement. The conclusions presented aim to optimize existing youth policy mechanisms, enhance their effectiveness, and increase youth participation in socially significant activities.

Keywords: youth policy, youth values, youth organizations, traditions, professional self-realization

For citation: Gazalov, A.T. (2025) Young people's expectations and requests for youth policy: a sociological survey analysis (on the example of the Republic of North Ossetia – Albania). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 152–163. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/13

Введение

В последние десятилетия проблемы молодежной политики приобретают особую актуальность, поскольку геополитические изменения, как, например, новые угрозы со стороны международных акторов, ведут к усилению информационной конкуренции за мировоззрение и ценности молодежи, что, в свою очередь, отражается на внутренней политике и стабильности России. Проблемы, связанные с молодежной идентичностью, ценностными ориентирами, социальной адаптацией и интеграцией молодежных слоев в национальную, политическую и экономическую жизнь, требуют комплексного внимания со стороны государства. Эта политика должна не только решать повседневные проблемы молодежи, но и вырабатывать стратегии для создания новых возможностей, которые помогут сформировать долгосрочную идентичность молодого поколения, основанную на национальных ценностях и общечеловеческих принципах. С точки зрения стратегического подхода молодежная политика заключается в том, чтобы молодежь воспринимала свою страну как центр своей социальной и профессиональной принадлежности, что необходимо для стабильного развития и гарантии безопасности государства [1. С. 2]. Молодое поколение, осознающее свою значимость в политической и экономической жизни, своей социальной активностью способствует не только укреплению национальной безопасности, но и развитию гражданского общества, повышению социальной стабильности и консолидации общества. Как показывают исследования, именно от благополучия и активной роли молодежи в жизни общества зависят его демографическая и экономическая стабильность [2. С. 1].

Молодежь представляет собой стратегический ресурс любого общества, определяя его социально-экономическое развитие и культурное будущее. В этой связи молодежная политика как совокупность мер, направленных на поддержку, развитие и интеграцию молодежи, играет ключевую роль в укреплении социального единства и реализации потенциала молодых людей. В контексте данного исследования под молодежью понимается социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет. Однако молодежь – это не только возрастная категория, но и особая социальная группа, характеризующаяся переходным статусом, процессом формирования ценностных ориентаций, профессиональной и гражданской идентичности.

В научной литературе молодежная политика рассматривается как ключевое направление деятельности государства, направленное на создание условий для социального развития молодежи. Одни из известных исследователей молодежной политики А.В. Кочетков и О.В. Кузьмина (2010) определяют ее как совокупность мер, включающих социальные и правовые аспекты и направленных на решение задач, связанных с поддержкой молодежи [3. С. 19]. В.А. Луков (2013) акцентирует внимание на взаимодействии молодежи с обществом и его институтами, подчеркивая роль молодежной политики в интеграции молодежи в общественные процессы [4. С. 44]. Т.С. Сулимова (2002) дополняет это понимание, указывая на важность участия государственных и общественных организаций в защите интересов молодежи и содействии ее развитию [5. С. 226]. Данные подходы формируют основу для анализа молодежной политики как сложного общественного феномена, ориентированного на реализацию запросов молодежи в современных условиях.

Опираясь на существующие определения молодежной политики, автор считает возможным уточнить данную дефиницию следующей ее формулировкой. Молодежная политика – это совокупность действий и стратегий государства, направленных на поддержку и развитие молодежи как социально-политической группы, формирующейся и живущей в условиях новых вызовов (цифровизация, международные угрозы и др.), а также на обеспечение условий для реализации ее потенциала в различных сферах жизни. Данное определение можно отнести к широкому пониманию молодежной политики. Оно более универсально, акцентирует внимание на целостности и многогранности молодежной политики, охватывая ее ключевые элементы и цели, а также дает место для дальнейшего развития и адаптации в условиях изменений, происходящих в обществе.

Цель и методика исследования

Республика Северная Осетия – Алания (РСО – Алания), являясь субъектом Российской Федерации, занимает важное стратегическое положение на Северном Кавказе. Общая численность населения РСО – Алании составляет 703 262 человека, в том числе городское население – 430 138 человек и сельского – 250 610 человек [6]. На начало 2024 г. доля молодых людей среди всего населения региона составляет 28,4% (192,9 тыс. человек) (рис. 1) [7].

Молодежь республики, являясь частью многонационального населения с богатым культурным разнообразием, играет ключевую роль в социально-экономическом и культурном развитии региона.

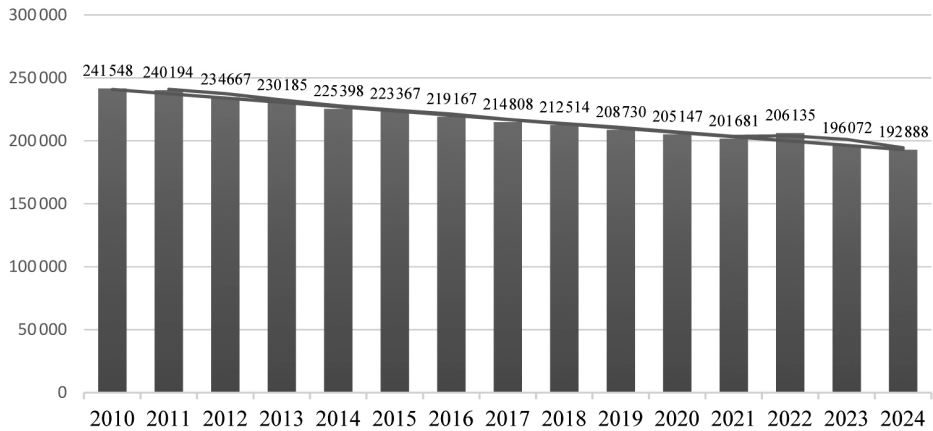


Рис. 1. Численность молодежи PCSO – Алания

Целью исследования является уточнение ценностных ориентиров, запросов и ожиданий молодежи PCSO – Алании в контексте существующей молодежной политики, выявление проблем и формулирование предложений по их решению.

Социологический опрос, охвативший 577 респондентов, был проведен автором исследования в конце 2024 г. Для обеспечения репрезентативности исследования были использованы следующие критерии: возраст, пол, место проживания и социальный статус респондентов. Возрастной диапазон охватывал молодежь от 14 до 35 лет, что соответствует законодательному определению молодежи в Российской Федерации.

Для исследования ожиданий и запросов молодежи к молодежной политике PCSO – Алании использовался метод онлайн-анкетирования с использованием платформы Google Forms. Анкета включала 22 закрытых вопроса и 1 открытый, что обеспечило как количественные, так и качественные данные для анализа. Это позволило собрать данные о предпочтениях и отношении молодежи к существующим программам, а также выявить основные барьеры и рекомендации для их совершенствования. Анкеты распространялись через молодежные организации и образовательные учреждения республики, преимущественно посредством цифровых платформ и социальных сетей.

Для обработки собранных данных также использовались статистические методы, включая метод корреляции (например, метод Клоппера–Пирсона, Холма), что позволило выявить взаимосвязи между различными переменными, такими как возраст, пол, уровень образования, участие в культурных и общественных мероприятиях и отношении к различным аспектам молодежной политики. Следует отметить, что в отечественных научных исследованиях корреляционный анализ занимает второе место по популярности среди применяемых методов, уступая лишь критерию Стьюдента. Этот метод широко используется для выявления взаимосвязей между различными переменными и анализа их степени влияния друг на друга, что делает его незаменимым инструментом в социальных науках, включая исследования в области молодежной политики [8]. Важным аспектом стало использование описательной статистики для представления общей картины, а также проведения

углубленного анализа с помощью методов, ориентированных на выявление значимых факторов, влияющих на восприятие и вовлеченность молодежи.

Распределение респондентов по возрастным категориям позволяет выделить доминирующие возрастные группы среди молодежи, заинтересованной в вопросах молодежной политики (рис. 2).

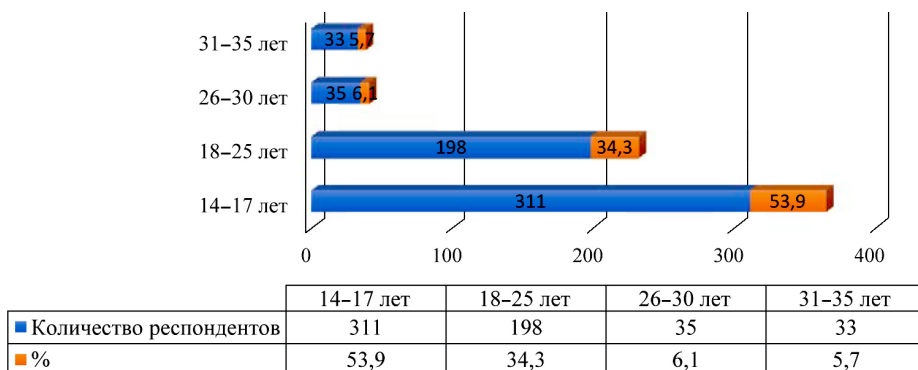


Рис. 2. Возраст респондентов

Согласно результатам опроса, наибольшее количество респондентов составляет группа в возрасте 14–17 лет, что составляет 53,9% от общего числа участников. Это, вероятно, связано с тем, что учащиеся данной возрастной группы активно используют цифровые технологии, включая участие в онлайн-опросах, что делает их более доступными для такого типа анкетирования. Эти данные являются важными для анализа восприятия молодежной политики среди младших возрастных групп, что имеет значение при разработке программ, ориентированных на них.

Группа респондентов в возрасте 18–25 лет занимает второе место с результатом 34,3%. В этом возрасте молодежь часто сталкивается с реальными социальными и профессиональными вызовами, что делает их мнения важными для формирования эффективных программ поддержки и развития молодежи. Этот факт подчеркивает активность старшей возрастной группы и ее заинтересованность в вопросах, связанных с реализацией молодежной политики.

Меньшее количество респондентов составляют группы в возрасте 26–30 лет (6,1%) и 31–35 лет (5,7%), что может указывать на менее выраженную активность в этой возрастной категории относительно молодежной политики, что, в свою очередь, требует дальнейших исследований для точной оценки причин.

Распределение участников опроса по полу демонстрирует относительно равномерное участие мужчин и женщин, что является важным показателем в контексте равенства и инклюзивности молодежной политики (рис. 3).

Мужчины составляют 50,6% от общего числа респондентов, а женщины – 49,4%. Это сбалансированное распределение гендеров в выборке было обеспечено методом ее формирования и не может быть напрямую связано с реальными предпочтениями и интересами по гендерным признакам. Тем не менее оно указывает на важность учета гендерных факторов при разработке и реализации молодежных программ и в будущем может быть полезным ориентиром для дальнейшего исследования гендерных различий в восприятии молодежной политики.



Рис. 3. Пол респондентов

Социальный статус респондентов был детализирован, чтобы отразить разнообразие молодежных групп. В выборку вошли учащиеся школ, студенты, работающая молодежь, члены молодежных организаций, участники волонтерских проектов и безработные (рис. 4). Важно отметить, что респонденты могли одновременно относиться себя к нескольким категориям, что в полной мере отражает многогранность их социального положения и участия в молодежных инициативах. Например, студент может быть одновременно и волонтером, и членом молодежной организации, что подчеркивает широкий спектр активности, характерный для молодежи.

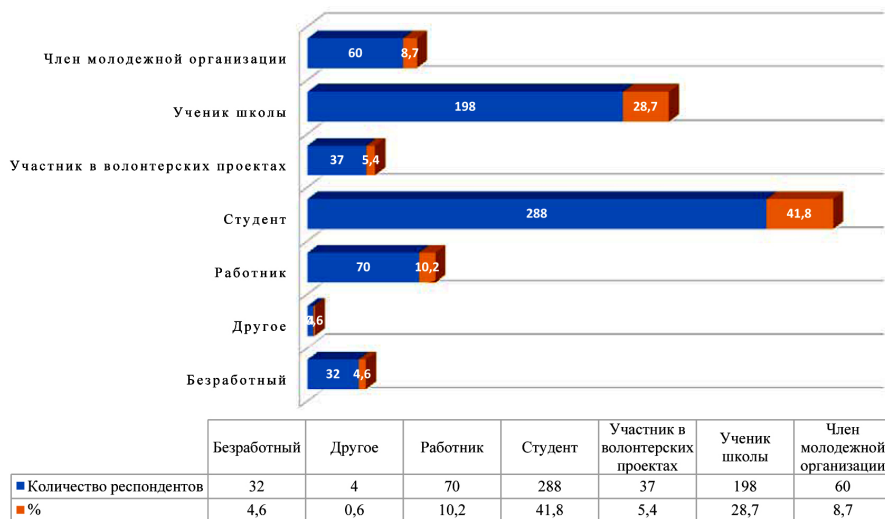


Рис. 4. Статус респондентов

Анализ статуса респондентов показал, что студенческая молодежь составляет 41,8% участников, что связано с их активным участием в социальных и культурных процессах, а также вовлеченностью в молодежную политику. Важно отметить, что респонденты могут сочетать несколько статусов, например, быть одновременно членами молодежных организаций, волонтерами и студентами, что подчеркивает многогранность их социальной активности.

Школьники составляют 28,7% респондентов, что подтверждает их активность в молодежных проектах и интерес к вопросам социальной жизни и будущего. Работники (10,2%) и члены молодежных организаций (8,7%) составляют меньшинство в выборке, что связано с особенностями ее формирования, а не с их социальной активностью.

Доля безработных (4,6%) также невелика, что скорее указывает на существующие социальные трудности, а не на отсутствие вовлеченности в молодежную политику, так как они могут активно участвовать в других формах социальной активности.

Полученные данные предоставляют основу для дальнейшего анализа, направленного на выявление проблем и разработку рекомендаций по совершенствованию молодежной политики. Рассмотрим ключевые результаты опроса.

Результаты исследования. Важной задачей исследования является выявление основных коммуникационных каналов, связывающих молодежь как между собой, так и с социумом (рис. 5).

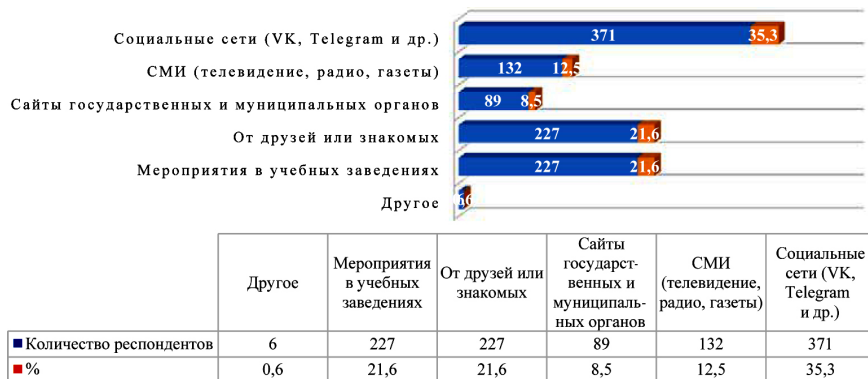


Рис. 5. Источники получения информации о молодежных мероприятиях

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие проекты или программы работы с молодежью или молодежные мероприятия в Северной Осетии, на Ваш взгляд, Вам близки?», позволяющий определить приоритетные направления работы с молодежью в Северной Осетии, основываясь на их предпочтениях (рис. 6).



Рис. 6. Близость проектов и программ, по мнению респондентов

Наиболее популярными среди респондентов оказались культурные мероприятия, такие как концерты, выставки и национальные праздники, – их выбрали 24,7% участников. Почти равное количество респондентов (24,6%) отметило проекты, связанные с традициями и культурой Осетии, например, фестивали и инициативы по сохранению обычаев. Этот результат подчерки-

вает значимость сохранения национальной идентичности и культуры для молодежи региона. Спортивные мероприятия, такие как турниры и соревнования, заняли высокое место, получив поддержку у 22,1% респондентов, что подтверждает востребованность физического развития среди молодежи. РСО – Алания, один из самых спортивных регионов РФ, известна своими достижениями: осетинское село Ногир занесено в Книгу рекордов Гиннесса как населенный пункт с наибольшим числом Олимпийских чемпионов на 10 000 жителей [9]. Кроме того, республика первой на Северном Кавказе запустила проект цифровизации спорта, включающий реестры спортсменов, тренеров и спортивных объектов, а также календарь спортивных мероприятий, что способствует развитию физической культуры и вовлечению молодежи [10]. Волонтерские проекты, связанные с экологией или поддержкой ветеранов, также привлекли внимание 23,6% опрошенных, что указывает на социальную активность и стремление молодежи к участию в полезных инициативах. Примечательно, что только 4,5% респондентов отметили отсутствие интереса к каким-либо мероприятиям, что свидетельствует о позитивной вовлеченности молодежи в различные формы активности.

Важно отметить, что особенностью молодежной политики РСО – Алании является ярко выраженная приверженность национальным традициям и культуре. Молодежь стремится участвовать в проектах, которые сочетают традиции с инновационными подходами, например, фестивалях, ориентированных на развитие этнотуризма, или экологических акциях с сохранением местной природы как части культурного наследия. Таким образом, молодежная политика в регионе может быть выстроена вокруг интеграции традиций с современными форматами работы, что позволяет не только поддерживать осетинскую культуру, но и эффективно включать молодежь в социально значимую деятельность.

Оценка осведомленности молодежи о деятельности Комитета по делам молодежи является важным элементом анализа эффективности реализации молодежной политики региона. Понимание уровня информированности позволяет выявить сильные и слабые стороны работы Комитета, а также определить направления для повышения вовлеченности молодежи в деятельность этого ключевого органа молодежной политики.

Результаты опроса по вопросу «Что вам известно о работе Комитета по делам молодежи республики?» показывают, что осведомленность молодежи о деятельности данного органа остается на достаточно низком уровне (рис. 7). Только 19,6% респондентов отметили, что хорошо осведомлены о работе Комитета и принимали участие в его мероприятиях. 16,5% участников сообщили, что слышали о деятельности Комитета, но не принимали участия в его мероприятиях. Наибольшую долю респондентов составляют те, кто знает только общие сведения о Комитете (23,1%) или вовсе ничего не знает о его деятельности (40,9%).

Для анализа взаимосвязи между жизненными ценностями молодежи и факторами, важными для развития молодежных движений в республике, применялся корреляционный подход. Сравнение процентных долей проводилось с использованием критерия хи-квадрат Пирсона, а поправка Холма использовалась для уточнения статистических результатов. Такой методический подход позволил выявить значимые зависимости, которые могут быть полезны для совершенствования молодежной политики (таблица).

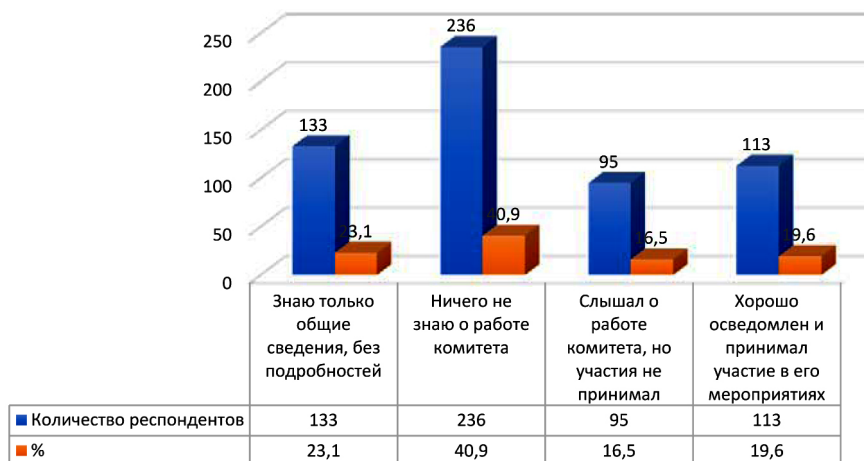


Рис. 7. Оценка осведомленности молодежи о деятельности Комитета по делам молодежи РСО – Алании

Анализ корреляции

Показатель	Категория	Что, на Ваш взгляд, важно для развития молодежных движений, молодежных организаций в республике? Выберите до 3 вариантов						
		Грантовые программы поддержки молодежи (например, для запуска собственного дела или стартапа)	Доступ к спортивным и культурным объектам	Другое	Организационная поддержка от властей (создание молодежного центра трудоустройства, проведение профессиональных конкурсов и т.п.)	Организация конкурсов, мероприятий и тренингов	Создание профессиональных молодежных объединений (молодых строителей, IT-специалистов, предпринимателей)	Создание совета представителей молодежных организаций
Что Вы считаете самым важным в жизни? Выберите до 3 вариантов	Близость к культуре, языку и традициям своего народа	35 (15,2)	33 (15,0)	1 (25,0)	48 (13,8)	20 (14,6)	31 (13,3)	23 (13,3)
	Другое	1 (0,4)	2 (0,9)	0 (0,0)	1 (0,3)	0 (0,0)	2 (0,9)	2 (1,2)
	Дружба и социальные связи	25 (10,8)	33 (15,0)	0 (0,0)	42 (12,0)	13 (9,5)	12 (5,2)	18 (10,4)
	Здоровье и физическое развитие	44 (19,0)	46 (20,9)	1 (25,0)	64 (18,3)	28 (20,4)	34 (14,6)	25 (14,5)
	Найти свое место в обществе, быть надежным товарищем	21 (9,1)	19 (8,6)	1 (25,0)	30 (8,6)	19 (13,9)	35 (15,0)	22 (12,7)
	Освоить профессию, стать самостоятельным и уверенным в том, что буду способен обеспечить себя и свою семью	38 (16,5)	43 (19,5)	1 (25,0)	63 (18,1)	25 (18,2)	48 (20,6)	31 (17,9)
	Семья и ее традиции	67 (29,0)	44 (20,0)	0 (0,0)	101 (28,9)	32 (23,4)	71 (30,5)	52 (30,1)

Анализ показывает, что предпочтения в отношении жизненных ценностей тесно связаны с факторами, способствующими развитию молодежных организаций. Например, респонденты, указавшие близость к культуре и традициям как важный аспект жизни (15,2%), чаще выбирают организационную поддержку от властей (13,8%) и участие в грантовых программах (13,3%) как ключевые элементы развития молодежных движений. Это свидетельствует о высокой значимости культурных инициатив и программ поддержки для сохранения традиций и самобытности. Те, кто считает здоровье и физическое развитие важными (19,0%), чаще выделяют доступ к спортивным и культурным объектам (20,9%) как необходимое условие для развития молодежных организаций. Это подчеркивает связь между физическим развитием и созданием инфраструктуры для молодежи. Кроме того, исследование выявило статистически значимую связь между ценностными установками молодежи, такими как семейные ориентиры, здоровье и приверженность культуре, и их восприятием ключевых факторов развития молодежных организаций. Этот вывод основан на линейном анализе данных, который показал, что ценностные ориентиры молодежи оказывают влияние на выбор механизмов поддержки и направления развития молодежной политики.

Новизна данного исследования заключается в том, что оно является первым, которое на уровне региона системно анализирует влияние ценностных установок молодежи на восприятие молодежной политики. В рамках предыдущих исследований в регионе данный аспект не рассматривался, что делает результаты исследования новыми для теории и практики молодежной политики. Ценностные установки молодежи играют ключевую роль в формировании их предпочтений и ориентиров в отношении механизмов поддержки и форм работы с молодежью.

Обсуждение. Анализ позволил выявить важные особенности восприятия молодежью мероприятий, факторов их развития и внес вклад в развитие теоретических и практических основ молодежной политики в Республике Северная Осетия – Алания. Исследование показало, что молодежь Северной Осетии обладает специфическими ценностными ориентирами, связанными с сохранением традиций, семейными ценностями и приверженностью региональной идентичности. Эти особенности, основанные на исторической и культурной самобытности, выделяют молодежь Северной Осетии среди молодежи других регионов России. Эти данные помогут улучшить стратегическое планирование в области молодежной политики Республики Северная Осетия – Алания. Проведенное исследование позволило выявить ключевые особенности восприятия молодежью Республики Северная Осетия – Алании ценностей, а также факторов, влияющих на развитие молодежной политики в регионе. Полученные данные свидетельствуют о том, что современные молодые люди стремятся к гармоничному сочетанию личностного и профессионального роста с сохранением культурной и семейной идентичности.

Социологический опрос показал, что основными приоритетами для молодежи являются семья, ее традиции, профессиональная самореализация и близость к культуре своего народа. Эти результаты подчеркивают необходимость сохранения и популяризации национальных традиций, что может быть достигнуто через реализацию патриотических и культурно-образовательных проектов. В то же время стремление молодых людей к профессиональной

независимости и уверенности в будущем подчеркивает важность усиления организационной поддержки со стороны властей, в том числе через создание грантовых программ, профессиональных объединений и доступ к культурным и спортивным объектам.

Результаты исследования показали, что эффективная молодежная политика в Республике Северная Осетия – Алания требует комплексного подхода, в котором особое внимание уделяется балансированию сохранения культурных традиций, развитию профессиональных навыков и укреплению диалога между молодежью и государственными структурами. Внедрение предложенных мер обеспечит более активное вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона, способствуя формированию устойчивых гражданских и культурных ориентиров. Конкретно предлагаемые изменения включают создание специализированных программ для профессиональной подготовки молодежи с учетом местных культурных и социальных особенностей, а также разработку механизмов для регулярного учета мнений молодежных групп при принятии решений властями. Эти меры позволяют адаптировать молодежную политику, сделав ее более гибкой и отвечающей текущим запросам молодежи региона.

Список источников

1. Лаас Н.И., Романова И.А., Гурова Е.В. Современная государственная молодежная политика: особенности и перспективы. М. : РУСАЙНС, 2024.
2. Куракина Е.В. Молодежь в контексте демографической проблемы России // Общество: философия, история, культура. 2015. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-v-kontekste-demograficheskoy-problemy-rossii> (дата обращения: 05.01.2025).
3. Кочетков А.В., Кузьмина О.В. Государственная молодежная политика Российской Федерации: становление и развитие. 1992–2017. URL: https://mr.rgub.ru/files/25_let_GMP.pdf (дата обращения: 15.01.2025).
4. Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений / под общ. ред. В.А. Лукова. М. : Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2013. С. 44.
5. Сулимова Т.С. Молодежь // Социальная политика: толковый словарь. М. : Изд-во РАГС, 2002. С. 226–227.
6. Республика Северная Осетия – Алания в цифрах, 2023 г. : краткий статистический сборник / ОП Северо-Кавказстата по РСО – Алания, 2023. 140 с.
7. Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу – Республика Северная Осетия – Алания. URL: <https://26.rosstat.gov.ru/folder/23786> (дата обращения: 02.01.2025).
8. Баврина А.П., Борисов И.Б. Современные правила применения корреляционного анализа // Медицинский альманах. 2021. № 3 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-pravila-primeneniya-korreljatsionnogo-analiza> (дата обращения: 11.01.2025).
9. Осетины – народ-победитель, давший миру 136 генералов и множество олимпийских чемпионов // Иристон. URL: <https://www.iriston.ru/story/kultura/osetiny-narod-pobeditel-davshij-miru-136-generalov-i-mnozhestvo-olimpijskih-chempionov/> (дата обращения: 12.01.2025).
10. Северная Осетия стала первым в СКФО регионом с проектом в сфере цифровизации спорта // Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). URL: <https://tass.ru/obshchestvo/19975249> (дата обращения: 12.01.2025).

References

1. Laas, N.I., Romanova, I.A. & Gurova, E.V. (2024) *Sovremennaya gosudarstvennaya molodezhnaya politika: osobennosti i perspektivy* [Modern State Youth Policy: Features and Prospects]. Moscow: RUSAYNS. p. 2.
2. Kurakina, E.V. (2015) *Molodezh' v kontekste demograficheskoy problemy Rossii* [Youth in the Context of Russia's Demographic Problem]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura*. 6. pp. 41–43.

3. Kochetkov, A.V. & Kuzmina, O.V. (n.d.) *Gosudarstvennaya molodezhnaya politika Rossiyskoy Federatsii: stanovlenie i razvitie. 1992–2017* [State Youth Policy of the Russian Federation: Formation and Development. 1992–2017]. [Online] Available from: https://mr.rgub.ru/files/25_let_GMP.pdf (Accessed: 15th January 2025).
4. Lukov, V.A. (ed.) (2013) *Gosudarstvennaya molodezhnaya politika: rossiyskaya i mirovaya praktika realizatsii v obshchestve innovatsionnogo potentsiala novykh pokoleniy* [State Youth Policy: Russian and Global Practices of Harnessing the Innovative Potential of New Generations in Society]. Moscow: Moscow University for the Humanities. p. 44.
5. Sulimova, T.S. (2002) Molodezh' [Youth]. In: Volgin, N.A. (ed.) *Sotsial'naya politika: tolkovyy slovar'* [Social Policy: An Explanatory Dictionary]. Moscow: RAGS. pp. 226–227.
6. North Caucasusstat Office for the Republic of North Ossetia-Alania. (2023) *Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya v tsifrakh, 2023 g.: kratkiy statisticheskiy sbornik* [Republic of North Ossetia-Alania in Figures, 2023: A Brief Statistical Digest].
7. *Official website of the Federal State Statistics Service for the North Caucasian Federal District – Republic of North Ossetia-Alania*. [Online] Available from: <https://26.rosstat.gov.ru/folder/23786> (Accessed: 2nd January 2025).
8. Bavrina, A.P. & Borisov, I.B. (2021) Sovremennye pravila primeneniya korrelyatsionnogo analiza [Modern Rules for Applying Correlation Analysis]. *Meditsinskiy al'manakh*. 3(68). pp. 70–79.
9. Iriston.ru. (n.d.) *Osetiny – narod-pobeditel', davshiy miru 136 generalov i mnozhestvo olimpiyskikh chempionov* [Ossetians – A Victorious People Who Gave the World 136 Generals and Numerous Olympic Champions]. [Online] Available from: <https://www.iriston.ru/story/kultura/osetiny-narod-pobeditel-davshiy-miru-136-generalov-i-mnozhestvo-olimpiyskikh-chempionov/> (Accessed: 12th January 2025).
10. *ITAR-TASS*. (2024) Severnaya Osetiya stala pervym v SKFO regionom s proektom v sfere tsifrovizatsii sporta [North Ossetia Became the First Region in the North Caucasus Federal District with a Digital Sports Project]. 13th February. [Online] Available from: <https://tass.ru/obschestvo/19975249> (Accessed: 12th January 2025).

Сведения об авторе:

Газалов А.Т. – ведущий консультант Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Москва, Россия). E-mail: aleksgazalov@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gazalov A.T. – leading consultant, Department of Personnel Policy, Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). E-mail: aleksgazalov@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.02.2025;
одобрена после рецензирования 28.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 15.02.2025;
approved after reviewing 28.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.473+303.686

doi: 10.17223/1998863X/85/14

БИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Константин Сергеевич Дивисенко

*Социологический институт РАН Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия*

k.divisenko@socinst.ru

Аннотация. В статье рассматривается возможность изучения субъективного благополучия на основе анализа качественных данных – биографических текстов старшеклассников. Представлены результаты реконструкции основных компонентов благополучия в соответствии с концепцией К. Рифф. Продемонстрирован потенциал методов обработки естественного языка и машинного обучения для создания модели классификации и кодирования текстовых фрагментов, репрезентирующих основные компоненты субъективного благополучия.

Ключевые слова: субъективное благополучие, биографическое исследование, машинное обучение, старшеклассники, кодирование текстовых данных

Для цитирования: Дивисенко К.С. Биографическое исследование субъективного благополучия с помощью методов обработки естественного языка // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 164–176. doi: 10.17223/1998863X/85/14

Original article

A BIOGRAPHICAL STUDY OF SUBJECTIVE WELL-BEING USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING METHODS

Konstantin S. Divisenko

*Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg, Russian Federation, k.divisenko@socinst.ru*

Abstract. Text data became more frequent in subjective well-being studies due to development of computer-assisted methods for qualitative research. The article examines the possibility of studying subjective well-being based on autobiographical data by means of natural language processing and machine learning. The six-factor model of well-being developed by Carol Ryff was used for its reconstruction in current study. Open coding of the autobiographical texts corpus written by high school students ($n = 197$) was carried out in accordance with this six-factor model of subjective well-being: self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, personal growth. Fragments describing purpose in life and positive relationships with others are the most frequent in high school students' autobiographical texts. The labeled data were used to build a baseline machine learning model build upon count and TF-IDF vectorisation as well as logistic regression and random decision forests algorithms. Semantic vectorisation of the text with ruBERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) increased the classification accuracy. The weighted average F_1 value in the case of binary classification for

“personal growth”, “goals in life”, “positive relationships with others” was 0.92, 0.85 and 0.89, respectively. The results of the study are entirely consistent with the previously described changes in the high school students’ lifeworld and indicate the gradual development of a realistic type of a biographical project. It seems important to conduct experiments with an expanded dataset, as well as testing other language models. Probably, the classification accuracy can be increased by adding part of speech tagging. The trained models can be used to analyze similar autobiographical texts and as a screening test of subjective well-being.

Keywords: subjective well-being, biographical research, machine learning, high school students, text data coding

For citation: Divisenko, K.S. (2025) A biographical study of subjective well-being using natural language processing methods. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 164–176. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/14

Введение. Постановка проблемы

Анализу субъективного благополучия посвящено достаточно большое число социологических, психологических, междисциплинарных исследований. С одной стороны, интерес исследователей объясняется тем, что субъективное благополучие как компонент качества жизни остается ключевым показателем общественного развития [1], с другой – отсутствие консенсуса в теоретико-методологических вопросах [2] и ясности в определении частных и обобщенных показателей субъективного благополучия, их полноты и информативности [3] порождает новые дискуссии и поиски релевантных методических решений. Кроме того, с развитием информационных технологий становится возможным реконструкция субъективного благополучия на данных, изначально не предназначенных для этого – текстах социальных сетей и мессенджеров, цифровых следов, оставляемых пользователями Всемирной паутины [4].

Проблема измерения субъективного благополучия как оценки индивидом качества собственной жизни заключается не только в выборе наиболее релевантного из существующих методических решений, которых на сегодняшний день достаточно много ввиду разнообразных теоретических подходов к понятию «благополучие» и вариантов его операционализации [5]. Для получения сопоставимых результатов в сравнительных исследованиях или при вторичном анализе актуальной оказывается проблема реконструкции субъективного благополучия на исторических данных, когда невозможно использовать опросные методы. В этом случае одним из вариантов решения проблемы может стать анализ субъективного благополучия на основе биографических текстов [6]. Кроме того, современные информационные технологии позволяют если не автоматизировать, то по крайней мере значительно облегчить работу исследователя при работе с текстовыми данными. Так, в ряде исследований тестируются и успешно используются разнообразные способы векторизации (преобразования текста в числовые векторы) для классификации или кластеризации документов [7, 8].

Реконструкция субъективного благополучия на основе неструктурированных текстов, полученных от респондентов/информантов в ходе социологических, психологических исследований, осуществляется как в сугубо качественной парадигме [9, 10], так и с использованием количественного анализа

[11, 12] на основе специально собранных для этих целей данных. Вместе с тем в последних исследованиях все чаще для анализа качества жизни используются цифровые следы: в частности, тексты пользователей социальной сети «ВКонтакте» позволили разработать индекс (не)благополучия регионов РФ [13. С. 176–177; 14].

По сути задача реконструкции субъективного благополучия на основе текстовых данных близка одной из основных аналитических задач обработки естественного языка – анализу тональности высказываний. Если для анализа тональности предметом являются настроение, чувства, эмоции, зафиксированные в тексте, то для благополучия – субъективное восприятие качества собственной жизни. В целом и анализ тональности текста, с определенными оговорками, можно рассматривать как реконструкцию субъективного благополучия, но только на уровне эмоциональной компоненты. Для реконструкции когнитивного и поведенческого компонента нужна более сложная модель, которая классифицирует фрагменты текста в соответствии с заданной моделью благополучия.

Следует еще заметить, что формализованные методики могут показать влияние только отдельных компонентов благополучия, возможно, их синергетический эффект, но не сам феномен так, как он переживается человеком и репрезентируется в коммуникации. В этом плане преимущество биографий как эмпирических данных заключается в возможности изучения самого феномена субъективного благополучия в его нарративной репрезентации.

Результаты проведенного нами ранее исследования позволили выявить гендерно-маркированные модели представлений о будущей семейной жизни и профессиональной траектории, связанные с родительской семьей и субъективным благополучием [15]. Количественные данные анкетного опроса позволили только обозначить влияние субъективного благополучия на биографическое проектирование, но остались вопросы о самом феномене благополучия, его компонентах – что именно приносит радость, удовлетворение, позволяет себя комфортно чувствовать и планировать свое будущее.

В настоящей статье представлены результаты реконструкции субъективного благополучия на основе автобиографических текстов старшеклассников. Вначале представлены результаты выполненного вручную кодирования текстовых данных – соотнесения фрагментов биографических текстов с основными компонентами субъективного благополучия. Во второй части продемонстрирована возможность машинного обучения для создания модели для классификации и автоматизации кодирования, позволяющей осуществить по крайней мере предварительную разметку данных.

Методы и данные

Для изучения субъективного благополучия на основе биографических текстов была использована концепция психологического благополучия К. Рифф. Выбор именно этой концепции сделан по нескольким причинам. В первую очередь, в ней объединены эвдемонистический и гедонистический подходы и субъективное благополучие рассматривается как многомерный феномен, включающий эмоциональную, когнитивную и поведенческую компоненты. Очевидная релевантность содержанию биографических текстов школьников также стала причиной этого выбора.

В методику К. Рифф [16, 17] включены шесть измерений, имеющих эмпирически доказанную положительную связь с позитивным восприятием индивидом собственной жизни: 1) самопринятие (позитивная оценка себя и собственной жизни); 2) положительные отношения с другими (наличие теплых и доверительных отношений с людьми); 3) автономия (независимость от социального окружения); 4) управление ситуацией (способность изменить ситуацию или отношение к ней, умение преодолевать трудности для реализации своих целей); 5) цели в жизни (осмысленность жизни, наличие целей); 6) личностный рост (стремление к развитию, реализации потенциала). В отечественной науке существует две русскоязычные версии опросника: Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко [18] и Н.Н. Лепешинского [19].

Эмпирические данные – корпус биографических текстов (автобиографий и биографических эссе «Я через N лет») петербургских старшеклассников 1990–1993 и 2002 гг., хранящийся в Биографическом фонде Социологического института ФНИСЦ РАН, а также аналогичные данные, полученные по аналогичной методике в 2010 и 2018–2019 гг. Ручное кодирование фрагментов биографических текстов школьников по шести обозначенным выше категориям осуществлено на выборке текстов 2002 и 2010 гг. ($n = 197$) с целью использовать размеченные данные для дальнейшего полуавтоматического кодирования оставшихся текстов.

Кодирование биографических текстов (соотнесение фрагмента текста с той или иной категорией) представляет собой задачу классификации, которая может быть решена с помощью методов обработки естественного языка, что предполагает создание векторного представления текста, выбора классификатора и подбора его параметров. В нашем случае для семантической векторизации текста использована языковая модель BERT (нейронная сеть, основанная на архитектуре трансформер и представляющая собой композицию кодировщиков) [20], а в качестве классификаторов протестированы логистическая регрессия и метод случайного леса.

Репрезентация субъективного благополучия в биографическом тексте

На первом этапе были вручную закодированы¹ фрагменты автобиографий – отдельные предложения отнесены к одной из шести категорий, соответствующих тому или иному компоненту (аспекту) благополучия. Только в редких случаях одно предложение или фрагмент текста относился к двум категориям одновременно. Кроме того, отмечены отдельные контекстуальные фрагменты, важные для понимания особенностей субъективного благополучия в конкретном случае, которые, однако, не могли быть отнесены к одной из шести категорий.

Рассмотрим каждую категорию более подробно с небольшими иллюстрациями из биографических текстов.

Самопринятие. Во фрагментах, которые были отнесены к самопринятию, как правило, описывались личностные характеристики, взгляд на себя со стороны других. В биографиях, как правило, эти описания носят положи-

¹ Здесь под «кодированием» и «кодом» понимается процесс анализа данных в рамках качественной методологии – присвоение фрагменту текста ярлыка, который соотносит его с той или иной анализируемой категорией.

тельный тон («Я была отличницей, и можно сказать „лидером“ в классе»). Отмечается также удовлетворенность жизнью, нынешним состоянием («Я обожаю свою жизнь, обожаю свою мамку, а еще я знаю, что такую бурную, хотя и маленькую жизнь не проживала ни одна девчонка, какой бы классной она не была»). Удовлетворенность собственной жизнью и собственными характеристиками проецируется в биографических эссе и на будущее («У нас проходят конкурсы, у меня не плохо получается, но я до сих пор часто смотрю на все медали и грамоты и вспоминаю те прекрасные годы») и часто носят характер благопожеланий себе: «хочется видеть себя счастливой, процветающей и удовлетворенной своей жизнью». В описаниях самих себя авторы используют весьма разнообразную лексику, но семантически эти фрагменты достаточно близки.

Положительные отношения с другими, теплые и доверительные отношения с людьми – одна из наиболее распространенных категорий в биографических текстах школьников. Положительный опыт транслируется и в будущее – в желании поддерживать имеющийся круг знакомств, сохранить друзей. К этой категории также относятся и положительные впечатления от учителей и одноклассников, других людей, встретившихся на жизненном пути («У нас был очень дружный и шумный класс»). Сюда же отнесены и значимость общения, описания влюбленности, положительные отношения внутри родительской или своей собственной будущей семьи.

Автономия. Этот аспект субъективного благополучия репрезентируется во фрагментах, где подчеркивается независимость от социального окружения, общественного мнения. Казалось бы, для подростков эта категория должна быть одной из ключевых, но в биографических текстах она встречается относительно редко («В этот же год я начала бороться со своими родственниками за свободу права и слова, в общем за полную независимость. И в частности мне это удалось»; «В музыкальной школе мне настойчиво рекомендовали идти на скрипку, но я отказалась, о чем до сих пор не жалею»). В биографических текстах автономия – это своего рода баланс между независимостью и зависимостью. К этой категории также отнесены фрагменты, где подчеркивается значимость собственного мнения, следования своим правилам.

Управление ситуацией – один из наиболее редких аспектов благополучия в автобиографиях школьников. Он часто оказывается переплетен с другими аспектами – автономией, самопринятием. К управлению ситуацией отнесено не только умение совладать с трудными жизненными обстоятельствами, но и умение «просто жить» – устроить на собственный вкус свою повседневную жизнь («Я училась в классе, который мне нравился, я проводила свое свободное время в очень приятной обстановке»). Встречается эта категория в подавляющем большинстве случаев в эссе, т.е. связана с будущей жизнью, повседневностью, работой, семьей, домом («У меня <...> не очень-то и большая, но уютная квартира, в которой я буду себя хорошо чувствовать, причем этот уют будет создан мной (дизайн в духе меня)»).

Цели в жизни. Описание целей в жизни задается самим жанром биографического эссе, поэтому достаточно часто встречается в текстах школьников. Основные маркеры фрагментов, репрезентирующих этот аспект благополучия, – «глаголы желания»: надеюсь, хочу, буду. Жизненные цели, как правило, связаны с планами на будущее, касающимися будущей семьи («Вероятно

у меня уже будет семья, любящая и любимая»), образовательной, профессиональной траектории («Я хочу поступить в академию МВД, закончить ее хорошо»), материальным благополучием («К этому времени (к 33-ем годам) мне бы хотелось какой-нибудь начальный бюджет, так скажем, материальную основу для дальнейшей жизни») с личным развитием («К этому времени я хочу „найти себя“ в этой жизни, быть полезным и нужным обществу»).

Личностный рост. К этой категории может быть отнесено достаточно большое число фрагментов из биографий школьников, в которых фиксируются собственные достижения и успехи в занятиях спортом, общеобразовательных, музыкальных или художественных школах («У меня до сих пор дома есть несколько медалей»; «первое выступление (более крупного масштаба, чем музыкальная школа) в детской филармонии – играла на фортепиано»). Вместе с тем конституируют этот аспект благополучия осознанный жизненный опыт и рефлексия над собственной жизнью («стала относиться к жизни более по-взрослому»; «теперь я считаю, что мой переход в этот лицей, стал очень важным для меня»). В биографических эссе также подчеркивается успех, но в более широком круге жизненных областей: работе, карьере, саморазвитии, воспитании детей и т.п.

Всего в 197 биографических текстах выделено 565 фрагментов. Из них к компоненту «самопринятие» отнесено 66, «положительные отношения с другими» – 138, «автономия» – 10, «управление ситуацией» – 40, «цели в жизни» – 216, «личностный рост» – 95.

Лексико-семантический анализ и классификация фрагментов

Для прояснения вопроса о возможности классификации фрагментов текста, относящихся к тому или иному аспекту благополучия, необходимо проведение лексического анализа, который может показать наличие или отсутствие значимых различий между исследуемыми категориями на уровне слов. Кодирование текстов в контексте настоящего исследования представляет собой задачу их классификации, т.е. отнесение отдельного фрагмента к одному из заранее заданных классов, соответствующих анализируемым аспектам субъективного благополучия. Для ее решения необходимы, с одной стороны, нахождение релевантного способа векторизации текстов (преобразования текстов в числовые векторы, матрицы), а с другой – выбор классификатора, способного с наибольшей вероятностью прогнозировать принадлежность текста той или иной категории.

Одним из самых простых способов векторизации текста является частотный – нахождение для каждой категории абсолютного или относительного числа слов (словосочетаний) в соответствующих текстах. Для этого все фрагменты, относящиеся к тому или иному аспекту благополучия, были объединены. Корпус фрагментов, таким образом, сжался до шести документов, объединяющих тексты разных авторов. Поскольку частотный анализ и определение веса слов весьма чувствительны к исходным данным и требуют тщательной их предобработки, в полученном корпусе осуществлена лемматизация (приведение слов к словарной форме) и удалены шумовые слова. Множество шумовых слов было заимствовано из библиотеки nltk, кроме этого, в него добавлены «я», «год», «еще», «все», «весь», «который», «это», «г».

Из текстов также были удалены цифры, отдельные слова на латинице, слова, состоящие из одной буквы и встречающиеся во всем корпусе закодированных фрагментов только один раз.

Ограничение частотного анализа заключается в том, что с его помощью выделяются слова, характерные для отдельного документа, но безотносительно их распределения в других документах корпуса. Это ограничение частично снимает мера TF-IDF, которая показывает вес *n*-грамм (слов и словосочетаний) для документа из корпуса текстов, представляющий собой произведение частоты *n*-грамм в документе и обратной частоты употребления *n*-грамм в документах корпуса. Таким образом, мера TF-IDF показывает значимость слов для отдельного документа из всего корпуса.

Вместе с частотой отдельных слов (униграмм) проанализирована частота словосочетаний из двух слов (биграмм). Результаты частотного анализа и определения веса *n*-грамм на основе TF-IDF оказались довольно близкими (табл. 1).

Таблица 1. Распределение *n*-грамм по компонентам субъективного благополучия

Компонент благополучия	Наиболее частотные <i>n</i> -граммы
Самопринятие	жизнь, человек, очень, свой, свой, жизнь , знать, ребёнок, общительный, счастливый, довольный, жить, каждый, достаточно, хороший, активный
Положительные отношения	друг, хороший , свой, очень, класс, подруга , человек, семья, отношение , общаться, сей, познакомиться, поддерживать, любить, хороший подруга
Автономия	свой, мочь, совет, мнение , человек, проблема, решение, свой_проблема , начало, родственник, свобода, право, слово, общий, полный
Управление ситуацией	свой, уютный , очень, дом, работа , жизнь, жить, время, мочь, хороший, квартира, хотеть, обстановка , сидеть, нравиться
Цели в жизни	хотеть, работа , свой, работать, поступить , семья, жизнь, закончить , институт, ребёнок, хороший, жить, школа, стать, человек
Личностный рост	класс, очень, заниматься , жизнь, школа, стать, закончить , свой, пора, работать, хороший, сей, первый, время, сей, пора

Примечание. Для каждого аспекта благополучия приводятся 15 наиболее частотных *n*-грамм, жирным начертанием выделены пять *n*-грамм, имеющих наибольший вес.

Как частотное распределение *n*-грамм, так и их вес показывают, что фрагменты текста, репрезентирующие разные аспекты благополучия, различаются на лексическом уровне. Так, каждый аспект представлен только отчасти пересекающимися множествами слов и словосочетаний, к тому же большую дифференциацию добавляет их вес. Например, «человек» и «жизнь» попадают в множество наиболее частотных лексем для трех аспектов благополучия, но больший вес имеют только в *самопринятии*. При всей априорно предполагаемой схожести категорий *цели в жизни* и *личностный рост* эти аспекты различаются на лексическом уровне, что также подтверждается и многомерным шкалированием на основе матрицы TF-IDF: как видно на диаграмме рассеяния, точки соответствующих компонентов благополучия не накладываются друг на друга (рис. 1).

Как можно было заметить выше, фрагменты биографических текстов неравномерно распределены по категориям (аспектам субъективного благополучия): к двум категориям (*положительные отношения с другими* и *цели в жизни*) относятся более 60% фрагментов, а к *автономии* – только 2%. По-

скольку методы машинного обучения для создания модели классификации предполагают достаточную по объему выборку и к тому же разделение этой выборки на две части, в представленном ниже анализе использованы только три наиболее представленные в имеющемся корпусе категории (*цели в жизни, положительные отношения с другими и личностный рост*). Корпус фрагментов поделен на две подвыборки: для обучения модели и тестирования в соотношении 4 : 1.

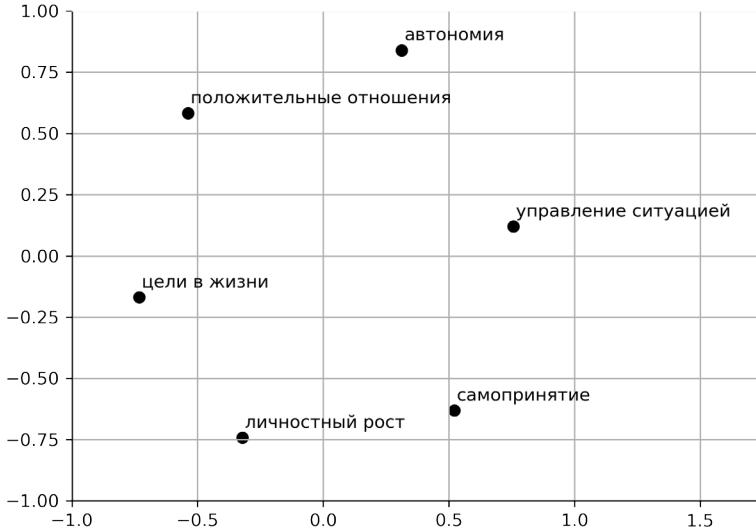


Рис. 1. Результаты многомерного шкалирования на основе матрицы TF-IDF

Для получения базовых метрик классификации использована частотная векторизация текста, а в качестве классификатора – логистическая регрессия. При многоклассовом варианте классификации средневзвешенное значение F_1 составляет 0,622, что нельзя признать вполне удовлетворительным результатом. На матрице TF-IDF это значение увеличивается, но незначительно – лишь до 0,639. При бинарном варианте классификации, когда один целевой класс противопоставляется всем другим, качество классификации улучшается (табл. 2).

Таблица 2. Средневзвешенное значение F_1 для бинарной классификации

Класс (компонент благополучия)	Частотная матрица	Матрица TF-IDF
Личностный рост	0,873	0,874
Цели в жизни	0,771	0,784
Положительные отношения	0,857	0,889

Тестирование семантической векторизации текста, осуществленной с помощью языковой модели *ruBert*, и использование аналогичного классификатора позволило увеличить точность классификации. При многоклассовом варианте средневзвешенное значение F_1 достигло 0,795. Следует отметить, что добавление переменных из матрицы TF-IDF не увеличило, а даже немного снизило точность до 0,787.

Метрики классификации для трех анализируемых классов представлены в табл. 3. Средневзвешенное значение F_1 для бинарной классификации для

компонентов «личностный рост», «цели в жизни», «положительные отношения» составило 0,92; 0,85 и 0,89 соответственно.

Таблица 3. Результаты классификации на основе семантической векторизации текста

Класс (компонент благополучия)	Основные метрики для целевого класса			Средневзвешенное значение F_1 для бинарной классификации
	Точность	Полнота	F_1	
Личностный рост	0,68	0,88	0,77	0,92
Цели в жизни	0,84	0,82	0,83	0,85
Положительные отношения	0,68	0,88	0,76	0,89

Обсуждение результатов и заключение

Результаты исследования вполне соотносятся с описанными ранее изменениями в биографическом проекте старшеклассников и также свидетельствуют о постепенном становлении реалистического типа биографического проектирования [15], когда жизненные притязания и планы адекватно соотносятся с готовностью и средствами их реализации.

Реконструкция субъективного благополучия на основе биографических данных позволила зафиксировать в нем структурные изменения между волнами исследования. Несмотря на то, что для учащихся независимо от волны исследования на первом месте в структуре их благополучия оказывается наличие *целей в жизни*, в 2010 г. замечен существенный рост веса этого аспекта благополучия в общей структуре с 34,6 до 41,2% (доля от общего числа фрагментов соответствующего года). Аналогично изменилось и положение *личностного роста*: этот компонент благополучия в 2010 г. относительно структуры 2002 г. переместился с четвертого на третье место. Таким образом, осмысленность жизни (постановка целей) и удовлетворение от уже достигнутого в большей мере оказываются значимыми для старшеклассников 2010 г. Заметное снижение веса *самопринятия* (с 15,6% в 2002 г. до 8,4% в 2010 г.) в структуре благополучия требует отдельного изучения.

С точки зрения методических результатов проведенное исследование подтвердило принципиальную возможность реконструкции субъективного благополучия на основе текстовых данных с использованием семантической векторизации и методов машинного обучения. Особое значение такого рода реконструкция имеет для тех случаев, когда невозможно по различным причинам проведение опроса с использованием той или иной методики для анализа субъективного благополучия, но имеются релевантные тексты от представителей целевой группы.

Из приведенных выше результатов может показаться, что биографии школьников изобилуют благополучием. Отнюдь. Определенная доля фрагментов с негативной тональностью присутствует. При ручном кодировании отмечались фрагменты, описывающие неблагополучие. Важный методический вопрос – как рассматривать и учитывать негативные формулировки, сопряженные с анализируемыми категориями, например: «Я не люблю своих сверстников и общение с ними». В корпусе такого рода фрагменты являются скорее исключением и не учитывались при дальнейшем анализе. В перспективе может быть использована отдельная модель для определения тональности фрагментов, а сами фрагменты с негативной тональностью позволят определить, с чем связано неблагополучие.

Из-за относительно небольшого объема размеченных вручную данных предложены дихотомические варианты классификации, где целевым классом является фрагмент биографического текста, репрезентирующий отдельный аспект субъективного благополучия, а вторым – любой другой фрагмент текста. Это позволило достичь большей точности классификации. В дальнейшем видится важным создание одной мультиклассовой модели, определяющей принадлежность к той или иной исследуемой категории и маркирующей фрагменты, не связанные ни с одним из аспектов благополучия.

В качестве продолжения работы видится важным проведение экспериментов с расширением набора данных, а также с тестированием других больших языковых моделей. Вероятно, увеличению точности классификации может способствовать добавление результатов морфологического анализа: признаков, характеризующих части речи используемых во фрагментах слов. Расширение набора данных для обучения может быть сделано с помощью представленных выше моделей, но настроенных в большей мере на полноту, чем на точность. Это позволит автоматически проработать большой объем текстовых данных с выделением фрагментов, потенциально соотносящихся с репрезентацией субъективного благополучия.

Полученные модели могут использоваться для анализа по крайней мере аналогичных биографических текстов как скрининговая диагностика субъективного благополучия. Их применение на других текстовых данных, вероятно, потребует дообучения модели.

В целом же использование языковых моделей для семантической векторизации текста в социологическом исследовании имеет большой потенциал: методы машинного обучения могут быть использованы для решения разнообразных задач предварительного кодирования данных. При этом могут использоваться не только алгоритмы классификации, но и выявления семантически близких фрагментов, кластеризации текстов. Безусловно, автоматическое кодирование не заменит работу исследователя, но способно облегчить ее, взяв на себя рутинные операции, предварительную обработку и классификацию данных.

Список источников

1. Широканова А.А. Тренды субъективного благополучия в России: 1998–2018 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2020. Т. 13, № 1. С. 4–24. doi: 10.21638/spbu12.2020.101
2. Шамионов Р.М., Бескова Т.В. Методика диагностики субъективного благополучия личности // Психологические исследования. 2018. Т. 11, № 60. С. 8. doi: 10.54359/ps.v11i60.277
3. Кученкова А.В., Татарова Г.Г. Субъективное благополучие: проблема анализа качественной (не)однородности населения (часть 1) // Социологические исследования. 2024. № 4. С. 14–25. doi: 10.31857/S0132162524040029
4. Кученкова А.В. Измерение субъективного благополучия на основе текстов социальных медиа: обзор современных практик // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствование. 2020. № 4 (23). С. 92–101. doi: 10.28995/2073-6401-2020-4-92-101
5. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Краткие русскоязычные шкалы диагностики субъективного благополучия: психометрические характеристики и сравнительный анализ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 1 (155). С. 117–142. doi: 10.14515/monitoring.2020.1.06
6. Дивисенко К.С. Субъективное благополучие: возможности биографического исследования // Петербургская социология сегодня. 2018. № 9. С. 47–61.

7. Кравченко Ю.А., Мансур А.М., Мохаммад Ж.Х. Векторизация текста с использованием методов интеллектуального анализа данных // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2021. № 2 (219). С. 154–167. doi: 10.31857/S0132162524040029
8. Артемова Е.Л., Максименко А.А., Охрименко Д.А. Применение методов машинного обучения для классификации контента коррупционной тематики в русскоязычных и англоязычных интернет-СМИ // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4М). 2021. № 52. С. 131–157. doi: 10.19181/4m.2021.52.5
9. Qualitative Studies in Quality of Life: Methodology and Practice / ed. by G. Tonon. Heidelberg : Springer International Publishing, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-13779-7
10. Костина Е.Ю., Орлова Н.А., Панфилова А.О. Образ благополучия в нарративах жителей Дальнего Востока: результаты исследовательского проекта // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 1 (155). С. 38–50. doi: 10.14515/monitoring.2020.1.03
11. Carrillo A., Martínez-Sanchis M., Etchemendy E., Baños R.M. Qualitative analysis of the Best Possible Self intervention: Underlying mechanisms that influence its efficacy // PLOS ONE. 2019. May. Vol. 14, № 5. P. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0216896
12. Loveday P.M., Lovell G.P., Jones C.M. The importance of leisure and the psychological mechanisms involved in living a good life: A content analysis of best-possible-selves texts // The Journal of Positive Psychology. 2018. Vol. 13, № 1. P. 18–28. doi: 10.1080/17439760.2017.1374441
13. Щекотин Е. Цифровые следы как новый источник данных о качестве жизни и благополучии: обзор современных тенденций // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 467. С. 170–181. doi: 10.17223/15617793/467/21
14. Щекотин Е.В., Гойко В.Л., Басина П.А., Бакулин В.В. Использование машинного обучения для изучения качества жизни населения: методологические аспекты // Цифровая социология. 2022. Т. 5, № 1. С. 87–97. doi: 10.26425/2658-347X-2022-5-1-87-97
15. Дивисенко К.С. Модели будущей жизни в биографическом проекте старшеклассников // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2023. № 4. С. 570–578. doi: 10.17072/2078-7898/2023-4-570-578
16. Ryff C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Dec. Vol. 57, № 6. P. 1069–1081. doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069
17. Ryff C.D., Keyes C.L.M. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 69, № 4. P. 719–727. doi: 10.1037/0022-3514.69.4.719
18. Шевеленкова Т.Д., Фесенко Т.П. Психологическое благополучие личности // Психологическая диагностика. 2005. № 3. С. 95–121.
19. Лепешинский Н.Н. Адаптация опросника «Шкала психологического благополучия» К. Рифф // Психологический журнал. 2007. № 3. С. 24–37.
20. Zmitrovich D., Abramov A., Kalmykov A., Tikhonova M., Taktasheva E., Astafurov D., Baushenko M., Snegirev A., Shavrina T., Markov S., Mikhailov V., Fenogenova A. A Family of Pre-trained Transformer Language Models for Russian // Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024) / ed. by N. Calzolari, M.-Y. Kan, V. Hoste, A. Lenci, S. Sakti, N. Xue. Torino, Italia : ELRA, ICCL, 05/2024. P. 507–524. doi: 10.48550/arXiv.2309.10931

References

1. Shirokanova, A.A. (2020) Trendy' sub'ektivnogo blagopoluchiya v Rossii: 1998–2018 [Trends of subjective well-being in Russia: 1998–2018]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Sotsiologiya*. 13(1). pp. 4–24. DOI: 10.21638/spbu12.2020.101
2. Shamionov, R.M. & Beskova, T.V. (2018) Metodika diagnostiki sub'ektivnogo blagopoluchiya lichnosti [Methods of diagnostics of subjective well-being of the person]. *Psikhologicheskie issledovaniya*. 11(60). pp. 8. DOI: 10.54359/ps.v11i60.277
3. Kuchenkova, A.V. & Tatarova, G.G. (2024) Sub'ektivnoe blagopoluchie: problema analiza kachestvennoy (ne)odnorodnosti naseleniya (chast' 1) [Subjective well-being: The problem of analyzing population qualitative heterogeneity (Part 1)]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 4. pp. 14–25. DOI: 10.31857/S0132162524040029
4. Kuchenkova, A.V. (2020) Izmerenie sub'ektivnogo blagopoluchiya na osnove tekstov sotsial'nykh media: obzor sovremennykh praktik [Measuring subjective well-being based on social media texts. Overview of modern practices]. *Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Iskuststvedenie*. 4(23). pp. 92–101. DOI: 10.28995/2073-6401-2020-4-92-101

5. Osin, E.N. & Leontiev, D.A. (2020) Kratkie russkoyazychnye shkaly diagnostiki sub"ektivnogo blagopoluchiya: psikhometricheskie kharakteristiki i sravnitel'nyy analiz [Brief Russian-language instruments to measure subjective wellbeing: psychometric properties and comparative analysis]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 1(155). pp. 117–142. DOI: 10.14515/monitoring.2020.1.06
6. Divisenko, K.S. (2018) Sub"ektivnoe blagopoluchie: vozmozhnosti biograficheskogo issledovaniya [Subjective Well-Being: the Potentialities of Biographical Research]. *Peterburgskaya sotsiologiya segodnya*. 9. pp. 47–61.
7. Kravchenko, Yu.A., Mansur, A.M. & Mokhammad, J.H. (2021) Vektorizatsiya teksta s ispol'zovaniem metodov intellektual'nogo analiza dannykh [Text vectorization using data mining methods]. *Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Tekhnicheskie nauki*. 2(219). pp. 154–167. DOI: 10.31857/S0132162524040029
8. Artemova, E.L., Maksimenko, A.A. & Okhrimenko, D.A. (2021) Primenenie metodov mashinnogo obucheniya dlya klassifikatsii kontenta korruptsionnoy tematiki v russkoyazychnykh i angloyazychnykh internet-SMI [Application of machine learning methods in the classification of corruption related content in Russian-speaking and English-speaking Internet media]. *Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie (Sotsiologiya: 4M)*. 52. pp. 131–157. DOI: 10.19181/4m.2021.52.5
9. Tonon, G. (ed.) (2015) *Qualitative Studies in Quality of Life: Methodology and Practice*. Heidelberg: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-13779-7
10. Kostina, E.Yu., Orlova, N.A. & Panfilova, A.O. (2020) Obraz blagopoluchiya v narrativakh zhiteley Dal'nego Vostoka: rezul'taty issledovatel'skogo proekta [The image of well-being in narratives of far-easterners: results of a research project]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 1(155). pp. 38–50. DOI: 10.14515/monitoring.2020.1.03
11. Carrillo, A., Martínez-Sanchis, M., Etchemendy, E. & Baños, R.M. (2019) Qualitative analysis of the Best Possible Self intervention: Underlying mechanisms that influence its efficacy. *PLOS ONE*. 14(5). pp. 1–15. DOI: 10.1371/journal.pone.0216896
12. Loveday, P.M., Lovell, G.P. & Jones, C.M. (2018) The importance of leisure and the psychological mechanisms involved in living a good life: A content analysis of best-possible-selves texts. *The Journal of Positive Psychology*. 13(1). pp. 18–28. DOI: 10.1080/17439760.2017.1374441
13. Shchekotin, E.V. (2021) Tsifrovye sledy kak novyy istochnik dannykh o kachestve zhizni i blagopoluchii: obzor sovremennykh tendentsiy [Digital footprints as a new source of data on quality of life and well-being: an overview of current trends]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 467. pp. 170–181. DOI: 10.17223/15617793/467/21
14. Shchekotin, E.V., Goiko, V.L., Basina, P.A. & Bakulin, V.V. (2022) Ispol'zovanie mashinnogo obucheniya dlya izucheniya kachestva zhizni naseleniya: metodologicheskie aspekty [Using machine learning to study the population life quality: methodological aspects]. *Tsifrovaya sotsiologiya*. 5(1). pp. 87–97. DOI: 10.26425/2658-347X-2022-5-1-87-97
15. Divisenko, K.S. (2023) Modeli budushchey zhizni v biograficheskom proekte starsheklassnikov [Models of the future life in the biographical project of high school students]. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*. 4. pp. 570–578. DOI: 10.17072/2078-7898/2023-4-570-578
16. Ryff, C.D. (1989) Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*. 57(6). pp. 1069–1081. DOI: 10.1037/0022-3514.57.6.1069
17. Ryff, C.D. & Keyes, C.L.M. (1995) The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*. 69(4). pp. 719–727. DOI: 10.1037/0022-3514.69.4.719
18. Shevelenkova, T.D. & Fesenko, T.P. (2005) Psikhologicheskoe blagopoluchie lichnosti [Psychological well-being of the individual]. *Psikhologicheskaya diagnostika*. 3. pp. 95–121.
19. Lepeshinskiy, N.N. (2007) Adaptatsiya oprosnika "Shkala psikhologicheskogo blagopoluchiya" K. Riff [Adaptation of the questionnaire "Scale of psychological well-being" by C. Ryff]. *Psikhologicheskii zhurnal*. 3. pp. 24–37.
20. Zmitrovich, D., Abramov, A., Kalmykov, A., Tikhonova, M., Taktasheva, E., Astafurov, D., Baushenko, M., Snegirev, A., Shavrina, T., Markov, S., Mikhailov, V. & Fenogenova, A. (2024) A Family of Pretrained Transformer Language Models for Russian. In: Calzolari, N., Kan, M.-Y., Hoste, V., Lenci, A., Sakti, S. & Xue, N. (eds) *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*. Torino, Italia: ELRA, ICCL. pp. 507–524. DOI: 10.48550/arXiv.2309.10931

Сведения об авторе:

Дивисенко К.С. – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН) (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: k.divisenko@socinst.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Divisenko K.S. – Cand. Sci. (Sociology), senior researcher, Department of Sociology of the Family, Gender and Sexual Relationships, Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: k.divisenko@socinst.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 16.10.2024;
одобрена после рецензирования 28.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 16.10.2024;
approved after reviewing 28.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.77

doi: 10.17223/1998863X/85/15

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ

Андрей Михайлович Дружинин

*Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия,
www-222@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрено явление деструктивных онлайн-коммуникаций, определен ряд их характеристик. Рассмотрены вопросы противодействия этим процессам. Проведен критический анализ вариантов решения данной проблемы. Сформулированы проблемные вопросы, которые, по мнению автора, являются важнейшими в понимании современных процессов в преобразовании социума, постепенно формирующегося общества знаний, развития искусственного интеллекта. Сформулированы выводы о необходимости философской базы и научного кругозора для формирования медиаграмотности граждан.

Ключевые слова: деструктивность, деструктивная коммуникация, фейк, бот, дипфейк, манипуляция, ответственный искусственный интеллект, цифровая этика

Благодарности: выполнено в рамках проекта по государственному заданию «Исследование ценностно-мировоззренческих оснований российской педагогической антропологии» Министерства просвещения Российской Федерации на 2025 год.

Для цитирования: Дружинин А.М. Деструктивные элементы онлайн-коммуникации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 177–188. doi: 10.17223/1998863X/85/15

Original article

DESTRUCTIVE ELEMENTS OF ONLINE COMMUNICATION

Andrey M. Druzhinin

Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russian Federation, www-222@yandex.ru

Abstract. The article examines the phenomenon of destructive online communications, defines some of their characteristics. The issues of counteracting these processes are considered. A critical analysis of the options for solving this problem is carried out. Problematic issues are formulated, which, in the author's opinion, are the most important in understanding modern processes in the transformation of society, the gradually forming knowledge society, the development of artificial intelligence. The article emphasizes that the category of destructiveness is key to understanding modern processes in online communications. The philosophical understanding of destructiveness has its own history, interdisciplinary status, and is promising from the point of view of understanding many social processes. These processes are considered in the context of informatization and digitalization as dominant trends. The author proposes a qualitative characteristic of the subject of modern digital media – “universal digital communicator”. This characteristic contains an open set of features of such a subject and it is concluded that such “generalists” perceive public communications as a kind of a technical task to influence the audience in their interests. This subject is influenced by the entire set of public professions and rarely adheres to any industry or professional ethical standards. His main task is to extract personal benefit from fame. Such “influencers” appear because of the erosion of ideas about journalistic work and professional industry ethics. The article considers some aspects of

ethical standards in relation to online communications, as well as in the field of development of responsible artificial intelligence, which in the future could become one of the tools of information hygiene, critical understanding of information presented in new media. A number of destructive phenomena in the social and humanitarian sciences also contribute to the strengthening of negative trends in the information space. Conclusions are drawn about the need for a philosophical basis and scientific outlook for the formation of media literacy of citizens.

Keywords: destructiveness, destructive communication, fake, bot, deepfake, manipulation, responsible artificial intelligence, digital ethics

Acknowledgments: The study was carried out as part of the state-commissioned project "Research into the value and worldview foundations of Russian pedagogical anthropology" by the Ministry of Education of the Russian Federation for 2025.

For citation: Druzhinin, A.M. (2025) Destructive elements of online communication. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 177–188. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/15

Совокупность технологий, подходов, методов распространения информации, а также огромный объем доступных каналов распространения, передачи и потребления циркулирующей информации являются основными характеристиками социальных эффектов, формирующих современное общество знаний. Однако при осмыслении процессов информатизации и цифровизации следует иметь в виду ряд существенных вопросов метауровня, которые позволяют приблизиться к этической оценке этих явлений. Такая оценка связана с вопросом, насколько человек, погруженный в общество знаний и современных онлайн-коммуникаций, стал более информированным? В какой мере общество знаний и медиатехнологии создают предпосылки для чрезмерного пресыщения информацией до такого уровня, что под угрозой находится доступность достоверных и верифицированных научным и экспертным сообществом данных, мнений, гипотез? Каковы намерения субъектов массовых коммуникаций и в какой мере эти намерения учитывают общественные интересы? Масштаб данных вопросов, а также накопленный научный, философский и культурный опыт в отношении сложных, многокомпонентных явлений в сфере онлайн-коммуникаций не позволяет исследовать их в полной мере в объеме данной статьи, однако позволяет судить о чрезвычайной актуальности изучаемой проблемы.

Ряд исследователей рассматривает вопрос деструктивных онлайн-коммуникаций, а также манипуляций общественным мнением в цифровом пространстве социальных сетей и других новых медиа, в том числе и в контексте колониального прошлого стран третьего мира, государств «догоняющего развития», которые на новом технологическом витке все также остаются на периферии в области компетенций в работе с информацией [1, 2].

Деструктивность как качественная характеристика той или иной практики в процессе социального взаимодействия уже довольно хорошо изучена в рамках социально-философской и социально-психологической традиций и соотносится с такими понятиями, как насилие, агрессия, зло, а также манипуляции общественным мнением и различные производные от этого понятия. Фрейдистская традиция объясняет человеческую деструктивность стремлением к смерти в качестве базового бессознательного ин-

стинкта. К. Лоренц изучал социально оформленную агрессию как одну из форм высвобождения накопившейся энергии, поведенческую активность человека.

Эрих Фромм в широко известной книге «Анатомия человеческой деструктивности» на материале поведения нацистских преступников рассмотрел биопсихосоциальную природу человеческой агрессии, возникающую вследствие негативного влияния на человека специфических социальных систем.

Скрытые формы принуждения (побуждения) человека к каким-либо действиям получили совокупное название манипуляции сознанием, обществом, аудиторией. Этот феномен активно изучается как теоретиками, так и исследователями из отраслевых аналитических агентств. В результате накоплен внушительный массив данных. Историко-философский генезис критического подхода к коммуникациям, позволяющего выявить ее негативные аспекты, можно обнаружить еще в диалогах Платона, в которых красноречие рассматривается не как искусство, а как сноровка. А. Шопенгауэр давал подробное описание уловок в споре в работе «Эристика, или Искусство побеждать в спорах».

Впервые феномен манипуляции выявлен на основе изучения военной пропаганды, а также в рамках критического осмысления различных процессов в западном обществе. В философском дискурсе 2-й половины XX – XXI в. проблема манипуляции занимает довольно заметную роль в работах авторов критической направленности. Последовательным критиком данного явления с позиций неомарксизма является Герберт Маркузе, который значительную часть своих работ посвятил раскрытию смысла понятия манипуляции, увязывая его с формированием определенного типа потребительского поведения в буржуазном обществе.

В современном российском исследовательском дискурсе деструктивность как одна из ключевых характеристик ряда негативных явлений становится существенным фактором, определяющим проблемное поле, явным трендом в социальной философии, социологии, политологии, педагогике, психологии [3–5].

Отдельная серьезнейшая проблема в интеллектуальной сфере – это проникновение предвзятого и тенденциозного рассмотрения масштабных историко-социальных явлений в науке, которое, несомненно, деструктивно влияет на образовательные программы и научные исследования, снижает уровень доверия к историческому знанию. Так, например, довольно широко известен историографический феномен «черной легенды», детально исследованный в отношении исторических данных об испанских завоеваниях Центральной и Южной Америки, формирующих искаженное представление о временах колониальной экспансии испанской короны. Современные исследователи находят элементы черной легенды во многих разделах гуманитарной науки, в том числе и в рамках цифровых способов ее репрезентации [6, 7].

Некоторые гендерные исследования в современной социологии актуализировали концепцию гендерного конструирования, которая, по наблюдениям некоторых исследователей, уже вышла за рамки спекулятивных суждений и / или футуристических теорий и оказывает значительное влияние на медиа-

тренды и образ жизни современной молодежи, что, в свою очередь, оказывает деструктивное воздействие на традиционный уклад жизни [8].

Очевидно, что категория деструктивности нуждается в отдельном углубленном рассмотрении как в историческом, так и в актуальном смысловом аспектах, эвристическая ценность данного понятия в исследовательском поле несомненна.

Субъекты и акторы деструктивной онлайн-коммуникации

В настоящее время основным субъектом онлайн-взаимодействия становится универсальный цифровой коммуникатор – новое действующее лицо, совмещающее в себе социальные роли многих смежных профессий. Его выживание в современных медиа становится больше похоже на конкуренцию за влияние на публику. Информационная или просветительская функции медиа все чаще уходят на периферию, так как не способны сформировать устойчивый во времени сегмент целевой аудитории. Цифровой коммуникатор – это прежде всего так называемый инфлюенсер. Такой вид деятельности появился после того, как лидеры общественного мнения (ЛОМ) стали извлекать финансовую прибыль не от основного вида деятельности. Они монетизируют завоеванную тем или иным способом известность в медиапространстве. При этом их профессионализм в работе с информацией далеко не всегда является их конкурентным преимуществом, ключевой профессиональной компетенцией. Ослабевшие требования к медиакомпетентности, мерцающие представления об этике работы с информацией создали условия для увеличения объема деструктивных коммуникаций (фейков, провокаций, сомнительного контента тенденциозного содержания).

«Универсальный коммуникатор» работает в условиях новой информационной среды, в которой достоверным фактам и логическим доказательствам постоянно приходится соперничать с эмоциональными реакциями и настроениями общественности. В такой среде граница между фактами и субъективными ощущениями размыта и только этические стандарты медиаперсоны определяют допустимость того или иного публичного высказывания.

Параллельно возникают и начинают активно действовать неживые акторы в производстве медиаконтента (боты). Первоначально боты начали использоваться в качестве дополнительного инструмента вовлечения пользователей интернета в политические коммуникации, однако очень быстро политтехнологи осознали перспективы злонамеренного и манипулятивного использования данных способов управления сетевыми сообществами. В результате масштабного использования ботов в политическом процессе кардинально изменились различные разновидности плебисцита.

Уже в 2016 г., по оценке ряда исследователей, на результаты референдума в Великобритании и выборы в США повлияли пропагандистские кампании, проводившиеся в социальных сетях и некоторых мессенджерах. Было подсчитано, что около 30% сообщений по поводу референдума и не менее 25% относительно выборов были сформированы искусственным интеллектом или ботами [9, 10]. Растут и количественные характеристики киберпреступности [11], что также снижает уровень доверия к сетевым коммуникациям.

Формы деструктивной онлайн-коммуникации

Формы деструктивной онлайн-коммуникации развивались параллельно самым новым медиа. Одна из идей социальных медиа – получение альтернативной информации, базирующейся на кризисе доверия к традиционным СМИ, аудитория которых неизменно снижалась последние годы. Фейки, направленные на эксплуатацию идей, усиливающих социокультурные различия, способны стать дополнительным фактором, ведущим к резкой поляризации общества, увеличению конфликтности как отдельных индивидов, так и групп, страт, сообществ.

Цифровые коммуникации причастны к формированию так называемой эхо-камеры или информационного пузыря: в настоящее время одного из ключевых инструментов манипулирования пользователями социальных сетей. Пользователю, попавшему в рамки информационного пузыря, предлагается информация, которая только укрепляет его собственную точку зрения. Алгоритмы соцсетей отбирают информацию для показа пользователю, в результате он попадает в изолированное информационное пространство, где исключено появление альтернативных точек зрения. Исчезает возможность конкуренции идей и смыслов.

Коммуникация внутри пузыря фильтров происходит исключительно среди единомышленников, исчезает вариативность в оценке тех или иных политических, социально-экономических явлений. В таких сообществах нет места поиску компромисса, любой ее элемент при нарушении четко определенного смыслового поля становится лишним, подвергается психологическому давлению, хейту, изгнанию и прочим деструктивным действиям.

Важно понимать, что преодоление информационных пузырей связано с дополнительными временными и интеллектуальными издержками. Правовая база в этом направлении значительно отстает от технологий, и данная проблема еще далека от своего решения. В перспективе реализация междисциплинарного подхода, по всей видимости, могла бы предложить экспертному сообществу алгоритмы преодоления информационных пузырей. Центром такого подхода, помимо осознания проблемы у максимально широкой аудитории, должна быть потребность в отказе от однонаправленной авторитарной модели коммуникации.

Одна из распространенных стратегий продвижения деструктивного контента получила название кликбейт, который представляет собой особые языковые формулы-ловушки, предназначенные для увеличения трафика на свои страницы. В результате в медиaprостранстве возникают две параллельные повестки дня. Одна продуцируется медиаресурсами, которые по большей части придерживаются традиционных стандартов в подаче информации и коммерциализированного сегмента, ориентированного на эксплуатацию обывательского любопытства. Результат масштабных злоупотреблений кликбейтом – это снижение доверия к онлайн-изданиям и, как следствие, саморазрушение коммуникативного пространства, чьи внутренние процессы деструктивно влияют и на саму индустрию медиа, инвестиционную привлекательность медиапроизводства и медиабизнеса.

Дипфейки по сути своей являются сфальсифицированными изображениями узнаваемых лидеров общественного мнения, которые цифровым спосо-

бом доносят до аудитории смыслы и высказывания, которые данный субъект коммуникации не произносил. Технологии создания подобных цифровых артефактов были заимствованы из кинематографа и все чаще используются в ведении пропаганды посредством новых медиа. На сегодняшний день еще не создано технологий, позволяющих оперативно и убедительно распознавать поддельные изображения или звукозаписи. В свою очередь, исследователи также констатируют неготовность правовых систем различных стран к противодействию дипфейкам [12–15].

Следует отметить, что представления о манипулятивных коммуникациях, злонамеренных использованиях ботов в социальных сетях, алгоритмов искусственного интеллекта постепенно становятся достоянием широкой общественности. Опросы показывают, что пользователей социальных сетей беспокоит, что новые медиа облегчают манипулирование людьми (89% британцев, 85% американцев и японцев, 82% французов, 78% немцев и корейцев, 60% поляков, 51% малайзийцев). Согласно проведенным количественным исследованиям, в среднем 84% респондентов из 19 опрошенных стран считают, что доступ к интернету и социальным сетям облегчил манипулирование людьми с помощью ложной информации и слухов. Эти данные подтверждаются и другими опросами, которые демонстрируют, что в среднем 70% жителей из 19 стран считают распространение ложной информации в интернете серьезной угрозой, уступающей только изменению климата в списке глобальных угроз. Кроме того, в среднем 65% считают, что социальные сети повлияли на политическую поляризацию, сделали политические коммуникации менее цивилизованными, по мнению четырех из десяти респондентов [16].

Цифровая пропаганда, использование ботов, фейков в социальных сетях на сегодняшний день стали широко распространенными инструментами влияния на общественное мнение. Решить эту проблему становится все труднее, поскольку не хватает актуальных данных о современных методах манипулирования. В свою очередь, правовая база и государственные, а также отраслевые институты регулирования цифровых коммуникаций неизбежно отстают от новых угроз и рисков. Отчасти это связано с отсутствием точных знаний и инструментов их получения в отношении различных процессов в интернет-коммуникациях. Например, практикующие специалисты задают вопрос, в каких случаях распространение чат-ботов может оказывать негативное влияние на общественность, а в каких работа таких алгоритмов может быть признана лишь способом достижения практических задач.

Нередко в таких случаях призывают на помощь совокупность знаний и систему представлений, накопленных в рамках развития критического мышления. Но здесь нужно понимать, что критическое мышление ориентировано на практику и поиск решения трудного вопроса. И в этом смысле оно не равно аналитическому процессу по выявлению деструктивных элементов коммуникации будь то постправда или фейкньюс, хотя и включает в себя весь комплекс работы с информацией, перепроверки аргументации, выявление скрытых ошибок в рассуждении или злонамеренных уловок.

Экспертная работа с применением критического мышления наиболее эффективна, когда она сопряжена с общественными инициативами по искоренению деструктивных элементов в коммуникативной деятельности медиа-субъектов. Здесь следует подчеркнуть важность этических кодексов как спо-

совов трансляции норм в различных коммуникативных профессиях: журналистике, связях с общественностью, SMM- продвижении [17].

Автоматизированные средства выявления признаков онлайн-манипуляций, по всей видимости, весьма актуальная задача для современной IT-индустрии. Такие инструменты проверки цифрового контента в настоящее время разрабатываются некоторыми лабораториями, которые опираются на различные приемы работы с качеством данных (Data Quality, DQ) и управления мастер-данными (Master Data Management, MDM), но очевидно и то, что данные технологии еще весьма далеки от широкого распространения в пользовательской среде, не входят в число привычных, рутинных действий в работе с информацией, интернет-коммуникацией, с соцсетями и традиционными СМИ.

Этико-правовые аспекты деструктивной онлайн-коммуникации

Сегодня неживые акторы в сетевых коммуникациях становятся объектом рассмотрения «плоских онтологий», в сфере интересов которых особенности виртуальной среды рассматриваются сами по себе, предметы и цифровые артефакты ставятся в один ряд с человеком, что дает основание для разрушения антропоцентрического подхода к цифровым коммуникациям в том числе. Изучается интернет вещей, значимым социотехническим актором становится любой продукт искусственного интеллекта, в том числе бот или дипфейк. В данных условиях этика и этические стандарты в работе IT-индустрии должны стать динамичной областью прикладных исследований, в которых философская позиция и критический анализ сложившихся практик являются основой для формулировки целей и задач ожидаемого цифрового продукта.

Л. Флориди предлагает дифференцировать мягкую и жесткую этику в отношении цифровых продуктов и коммуникаций. Жесткая этика обусловлена законами, кодексами и стандартами [18]. Мягкая этика направлена на понимание и принятие того, что морально приемлемо или неприемлемо помимо существующего регулирования. Мягкая этика отвечает на вопрос, каков следующий шаг, если мы строго придерживаемся норм этики жесткой – в том, как применяем существующие нормы во всем многообразии жизненных ситуаций. По всей видимости, мягкая этика применима и возможна только в тех сообществах, где сильна роль саморегуляции, субъекты придерживаются строгой «цифровой гигиены». Одновременно нормы мягкой этики в цифровой индустрии могут быть кодифицированы в своды и правила, характерные для этики жесткой, как в случае с попытками упорядочить моральную ответственность разработчиков искусственного интеллекта, предпринимающих попытки ввести дополнительные профессиональные кодексы рекомендациями по недискриминации, уважению к свободе воли человека, контролю самосовершенствования ИИ [19].

Сегодня научным и экспертным сообществом ставится вопрос об ответственном искусственном интеллекте (ОИИ), при котором технология и ее возможное развитие становятся направлением, напрямую зависящим от морально-этических норм. В основе выводов такого контролируемого ИИ должна лежать ответственность за полученные результаты, прозрачность, объяснимость [20, 21].

Тем временем у различных агентов цифровой коммуникации и социальной коммуникации нередко можно наблюдать признаки уклонения от морально-нравственной оценки своей публичной и межличностной активности. Специалисты по этике хорошо знакомы с практикой применения двойных стандартов в моральных оценках, которую также следует признать практикой деструктивной. Применяя различные подходы в экспертной оценке действий субъектов цифровой коммуникации, нередко публичные политики и экспертные сообщества демонстрируют двойные стандарты в интерпретации схожих по своей природе коммуникативных явлений. Такое поведение лидеров общественного мнения приближает их сообщения к формам деструктивной коммуникации. Как правило, риск двойных стандартов основан на предвзятости, несправедливости или корыстных интересах. Кроме этого, сейчас можно говорить о новом явлении – навязанной идентичности, которая является одним из условий возникновения и распространения различных современных черных легенд в отношении как отдельных личностей, так и больших социумов [22].

Уклонение от этики, как и отказ от нее, имеет свои исторические корни и часто следует геополитическим схемам. Акторы с большей вероятностью будут применять всевозможные способы неэтичной коммуникации в социуме, со значительной долей неблагополучных групп населения, слабых институтов гражданского общества, правовой неопределенностью различных пограничных явлений в социальном взаимодействии, при коррумпированных режимах, в условиях несправедливого распределения власти и прочих экономических, юридических, политических или социальных проблемах.

Данное явление затрагивает, прежде всего, страны с низким уровнем дохода. Деструктивную роль играет колониальное прошлое, подчиненное экономическое и геополитическое положение. Однако в цифровом контексте злоупотребления двойными стандартами могут затронуть сегменты общества и стран так называемого Глобального Севера, в которых уже сложилась практика отмены целых культурных пластов, а также «запретных» тем и идей.

Стратегия против уклонения от этики состоит в том, чтобы разобраться с его источником – отсутствием четкого распределения ответственности. Это происходит более вероятно и легко в контексте, где собственная ответственность может восприниматься как меньшая, поскольку она удалена, уменьшена, делегирована или распределена. Следовательно, уклонение от соблюдения этических норм сопутствует уклонению от ответственности. Именно этот генезис делает его частным случаем этической проблемы двойных стандартов.

Заключение

Контроль и ограничение активности нечеловеческих субъектов онлайн-коммуникации (ботов), по всей видимости, должны стать одной из новелл в законах, регулирующих СМИ и рекламу. Выявление подобных элементов медиапространства – перспективная задача исполнительных органов власти. Особенно важно учитывать влияние ботов на электоральные процессы, так как в период предвыборных кампаний обостряется межпартийная и идеологическая борьба как внутри национальных государств, так и за их пределами. Стратегии по законодательному выявлению и ограничению манипулятивных коммуникаций, по всей видимости, должны включать и технологии определения их заказчика. Данная задача напрямую связана с повышением прозрач-

ности в работе онлайн-коммуникационных платформ (социальных сетей, игр, мессенджеров).

С одной стороны, существует запрос общества на формирование универсальных правил, направленных на ограничение социальных сетей в распространении дезинформации. Цифровые инструменты способны решить часть проблем. Однако «битва брони и снаряда» в онлайн-коммуникациях порой лишь повышает градус противостояния между группами давления.

В силу многих обстоятельств законодательство, ограничивающее сетевую индустрию в применении различных манипулятивных приемов управления аудиторией, вряд ли можно назвать единственно верной стратегией в процессе противодействия деструктивному контенту.

Следует признать тот факт, что политические коммуникации любого уровня и масштаба требуют все больше ресурсов для выявления и нейтрализации деструктивных компонентов, начиная от совершенствования процедур участия в них акторов, заканчивая системой подготовки граждан к критическому восприятию политизированного контента. Эффективное противодействие деструктивным онлайн-коммуникациям в немалой степени зависит от уровня, глубины и распространенности медиаграмотности в максимально широких слоях населения.

Медиаграмотность, разумеется, — это некая совокупность специальных знаний, навыков и умений. Однако следует помнить, что широкий научный кругозор и распространение идеи информационной гигиены, т.е. осмысленного ограничения в медиапотреблении, в немалой степени способствуют снижению деструктивного воздействия онлайн-коммуникаций на максимально широкую аудиторию.

Помимо инструментальных и технологических знаний медиаграмотность должна включать знакомство с ключевыми философскими теориями в отношении социальных коммуникаций. Варианты ответа на вопрос, с чем мы имеем дело, каковы основные характеристики медиакоммуникаций, способствуют выработке необходимых для общества альтернатив, новых картин мира, направленных на гармонизацию между различными стратами, институтами, преодоление конфликтов и противоречий как индивидуальных, так и коллективных субъектов.

Список источников

1. Yanovskaya O., Yanovskaya O. Digital inequality of Russian regions // Sustainable Development and Engineering Economics. 2022. No. 1(3). P. 77–98. doi: 10.48554/SDEE.2022.1.5
2. Robinson L. et al. Digital inequalities and why they matter // Information, communication & society. 2015. T. 18, № 5. С. 569–582.
3. Дьякова А.А. Деструктивность педагогического дискурса как актуальный контент в блогах учителей // Современный дискурс-анализ. 2023. № 2 (33). С. 17–27. EDN JBQA1L.
4. Евграфова О.Г., Зиганишина Н.Л., Хаснутдинова С.В. Реализация категории деструктивности в американском политическом дискурсе // Глобальный научный потенциал. 2024. № 8 (161). С. 220–224.
5. Филатова А.Ф., Костромина С.Н. Целостность и интеграция личности в процессе переживания собственной деструктивности // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2024. № 3. С. 411–428. doi: 10.17072/2078-7898/2024-3-411-428
6. Калинина Е.Ю. «Черная легенда» об Испании: политическая мифология и образы идентичности // Нации и этничность в гуманитарных науках : Этнические, протонациональные и национальные нарративы: формирование и репрезентация, Санкт-Петербург, 24–26 февраля 2015 года / под ред. А.Х. Даудова, С.Е. Федорова. СПб. : Алетей, 2016. С. 374–381.

7. Юрчик Е.Э. «Черная легенда» в испанской просветительской литературе // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2011. № 8. С. 17–18.
8. Тяпин И.Н. Концепция гендерного конструирования: этико-гносеологический анализ // Философия и общество. 2020. № 1 (94). С. 96–115.
9. Рыжова К.И. Роль основных социальных медиаплатформ в президентских выборах в США в 2016 г. // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2019. Т. 9, № 4 (49). С. 495–499.
10. Ключевский Д.С. Особенности использования социальных сетей в президентских кампаниях 2016 и 2020 гг. в США: сравнительный анализ // Журнал политических исследований. 2021. Т. 5, № 3. С. 172–180. doi: 10.12737/2587-6295-2021-5-3-172-180
11. Тирранен В.А. Преступления с использованием искусственного интеллекта // Развитие территорий. 2019. № 3 (17). С. 10–13. doi: 10.32324/2412-8945-2019-3-10-13
12. Луккина Ю.В. Использование дипфейков в общественно-политической жизни // Русская политология. 2023. № 2 (27). С. 41–48.
13. Бычков М.В. Злонамеренное использование дипфейков: предпосылки, последствия, противодействие // Евразийский союз: вопросы международных отношений. 2024. Т. 13, № 3 (56). С. 634–647. doi: 10.35775/PSI.2024.56.3.018
14. Masood M. et al. Deepfakes generation and detection: State-of-the-art, open challenges, countermeasures, and way forward // Applied intelligence. 2023. Vol. 53, № 4. P. 3974–4026.
15. Mustak M. et al. Deepfakes: Deceptions, mitigations, and opportunities // Journal of Business Research. 2023. Vol. 154. P. 113–368.
16. Social Media Seen as Mostly Good for Democracy Across Many Nations, But U.S. is a Major Outlier <https://www.pewresearch.org/global/2022/12/06/social-media-seen-as-mostly-good-for-democracy-across-many-nations-but-u-s-is-a-major-outlier/> (accessed: 15.01.2025).
17. Новодережкин А. Крупнейшие российские IT-компании и СМИ подписали в ТАСС меморандум о борьбе с фейками. URL: <https://tass.ru/ekonomika/12604685?ysclid=ll0zddibse383750692> (дата обращения: 15.01.2025).
18. Floridi L. Soft Ethics and the Governance of the Digital. Philos. Technol. 31, 1 8 (2018). doi: 10.1007/s13347-018-0303-9
19. Самсонов Д. Все страхи мира: чего боятся создатели Кодекса этики искусственного интеллекта. URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/444503-vse-strahi-mira-cego-boatsa-sozdateli-kodeksa-etiki-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 15.01.2025).
20. Овчинникова О.П., Лебедева Д.В., Парм О.Я. Ответственный искусственный интеллект в управлении современной компанией // Инновации в менеджменте. 2024. № 1 (39). С. 26–31.
21. Германов Н.С. Концепция ответственного искусственного интеллекта – будущее искусственного интеллекта в медицине // Digital Diagnostics. 2023. Т. 4, № S1. С. 27–29. doi: 10.17816/DD430334
22. Сорина Г.В., Гуров Ф.Н. Принуждение к идентичности. Как это возможно? // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2022. № 3 (45). С. 39–48.

References

1. Yanovskaya, O., Kulagina, N. & Logacheva, N. (2022) Digital inequality of Russian regions. *Sustainable Development and Engineering Economics*. 1(3). pp. 77–98. DOI: 10.48554/SDEE.2022.1.5
2. Robinson, L. et al. (2015) Digital inequalities and why they matter. *Information, Communication & Society*. 18(5). pp. 569–582.
3. Dyakova, A.A. (2023) Destrktivnost' pedagogicheskogo diskursa kak aktual'nyy kontent v blogakh uchiteley [Destructiveness of pedagogical discourse as relevant content in teachers' blogs]. *Sovremennyy diskurs-analiz*. 2(33). pp. 17–27.
4. Evgrafova, O.G., Ziganshina, N.L. & Khasnutdinova, S.V. (2024) Realizatsiya kategorii destruktivnosti v amerikanskom politicheskom diskurse [The Realization of the Category of Destructiveness in American Political Discourse]. *Global'nyy nauchnyy potentsial*. 8(161). pp. 220–224.
5. Filatova, A.F. & Kostromina, S.N. (2024) Tselostnost' i integratsiya lichnosti v protsesse perezhivaniya sobstvennoy destruktivnosti [Integrity and integration of personality in the process of experiencing one's own destructiveness]. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*. 3. pp. 411–428. DOI: 10.17072/2078-7898/2024-3-411-428
6. Kalinina, E.Yu. (2016) “Chernaya legenda” ob Ispanii: politicheskaya mifologiya i obrazy identichnosti [The “Black Legend” of Spain: Political Mythology and Images of Identity]. In: Daudov, A.Kh. & Fedorov, S.E. (eds) *Natsii i etnichnost' v gumanitarnykh naukakh: Etnicheskie, protonatsional'nye*

i natsional'nye narrativy: formirovanie i reprezentatsiya [Nations and Ethnicity in the Humanities: Ethnic, Proto-National and National Narratives: Formation and Representation]. St. Petersburg: Aleteya. pp. 374–381.

7. Yurchik, E.E. (2011) “Chernaya legenda” v ispanskoj prosvetitel'skoj literature [“The Black Legend” in Spanish Enlightenment Literature]. *Istorija*. 8. pp. 17–18

8. Tyapin, I.N. (2020) Kontseptsiya gendernogo konstruirovaniya: etiko-gnoseologicheskij analiz [The concept of gender construction: Ethical and epistemological analysis]. *Filosofiya i obshchestvo*. 1(94). pp. 96–115.

9. Ryzhova, K.I. (2019) Rol' osnovnykh sotsial'nykh media-platform v prezidentskikh vyborah v SSHA v 2016 g. [The Role of Major Social Media Platforms in the 2016 US Presidential Election]. *Voprosy natsional'nykh i federativnykh otnosheniy*. 9-4(49). pp. 495–499.

10. Klyuchevskiy, D.S. (2021) Osobennosti ispol'zovaniya sotsial'nykh setey v prezidentskikh kampaniyakh 2016 i 2020 g. v SSHA: sravnitel'nyy analiz [The use of social networks in the 2016 and 2020 presidential campaigns in the USA: A comparative analysis]. *Zhurnal politicheskikh issledovaniy*. 5(3). pp. 172–180. DOI: 10.12737/2587-6295-2021-5-3-172-180

11. Tirranen, V.A. (2019) Prestupleniya s ispol'zovaniem iskusstvennogo intellekta [Crimes using artificial intelligence]. *Razvitie territoriy*. 3(17). pp. 10–13. DOI: 10.32324/2412-8945-2019-3-10-13

12. Lukina, Yu.V. (2023) Ispol'zovanie dipfeykov v obshchestvenno-politicheskoy zhizni [The use of deepfakes in socio-political life]. *Russkaya politologiya*. 2(27). pp. 41–48.

13. Bychkov, M.V. (2024) Zlonamerennoe ispol'zovanie dipfeykov: predposylki, posledstviya, protivodeystvie [Malicious Use of Deepfakes: Background, Consequences, and Counteraction]. *Evraziyskiy Soyuz: voprosy mezhdunarodnykh otnosheniy*. 13-3(56). pp. 634–647. DOI: 10.35775/PSI.2024.56.3.018

14. Masood, M. et al. (2023) Deepfakes generation and detection: State-of-the-art, open challenges, countermeasures, and way forward. *Applied Intelligence*. 53(4). pp. 3974–4026.

15. Mustak, M. et al. (2023) Deepfakes: Deceptions, mitigations, and opportunities. *Journal of Business Research*. 154. pp. 113368.

16. Wike, R. (2022) *Social Media Seen as Mostly Good for Democracy Across Many Nations, But U.S. is a Major Outlier*. [Online] Available from: <https://www.pewresearch.org/global/2022/12/06/social-media-seen-as-mostly-good-for-democracy-across-many-nations-but-u-s-is-a-major-outlier/>

17. Novoderezhkin, A. (2021) *Krupneyshie rossiyskie IT-kompanii i SMI podpisali v TASS memorandum o bor'be s feykami* [Russia's Largest IT Companies and Media Sign Memorandum on Combating Fakes at TASS]. [Online] Available from: <https://tass.ru/ekonomika/12604685?ysclid=ll0zddibse383750692>

18. Floridi, L. (2018) Soft Ethics and the Governance of the Digital. *Philos. Technol.* 31. pp. 1–8 DOI: 10.1007/s13347-018-0303-9

19. Samsonov, D. (2021) *Vse strakhi mira: chego boyatsya sozdateli Kodeksa etiki iskusstvennogo intellekta* [All the fears of the world: What the creators of the AI Code of Ethics are afraid of]. [Online] Available from: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/444503-vse-strahi-mira-cego-boatsa-sozdateli-kodeksa-etiki-iskusstvennogo-intellekta>

20. Ovchinnikova, O.P., Lebedeva, D.V. & Parm, O.Ya. (2024) Otvetstvennyy iskusstvennyy intellekt v upravlenii sovremennoy kompaniei [Responsible Artificial Intelligence in Modern Company Management]. *Innovatsii v menedzhmente*. 1(39). pp. 26–31.

21. Germanov, N.S. (2023) Kontseptsiya otvetstvennogo iskusstvennogo intellekta – budushchee iskusstvennogo intellekta v meditsine [The Concept of Responsible Artificial Intelligence – The Future of Artificial Intelligence in Medicine]. *Digital Diagnostics*. 4(S1). pp. 27–29. DOI: 10.17816/DD430334

22. Sorina, G.V. (2022) Prinuzhdenie k identichnosti. Kak eto vozmozhno? [Coercion to identity. How is it possible?]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya*. 3(45). pp. 39–48.

Сведения об авторе:

Дружинин А.М. – кандидат философских наук, специалист ВНИЦ «Философия образования» Московского педагогического государственного университета (Москва, Россия). E-mail: www-222@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0976-822X>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Druzhinin A.M. – Cand. Sci. (Philosophy), specialist of the Center “Philosophy of Education”, Moscow Pedagogical State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: www-222@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0976-822X>

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 23.04.2025;
одобрена после рецензирования 28.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 23.04.2025;
approved after reviewing 28.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.334.56

doi: 10.17223/1998863X/85/16

ГОРОДСКАЯ ГЕТЕРОТОПИЯ КАК ТРЕТЬЕ МЕСТО: ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ

Георгий Денисович Шаров

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия, gdsharov@hse.ru*

Аннотация. Статья посвящена обоснованию интеграции концепций гетеротопии и третьего места. Несмотря на хорошо зарекомендовавшую себя концепцию третьего места, она имеет ключевой недостаток, выраженный в элитистском характере концепции. Рассмотрение третьих мест с применением оптики городских гетеротопий позволяет преодолеть этот недостаток. В статье интеграция двух подходов применяется для анализа примера гаражно-строительных кооперативов.

Ключевые слова: третье место, гетеротопия, гаражно-строительные кооперативы, социальное неравенство, социальное пространство

Для цитирования: Шаров Г.Д. Городская гетеротопия как третье место: интеграция подходов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 189–196. doi: 10.17223/1998863X/85/16

Original article

URBAN HETEROTOPIA AS THE THIRD PLACE: INTEGRATION OF APPROACHES

Georgii D. Sharov

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,
gdsharov@hse.ru*

Abstract. The article justifies the integration of the concepts of heterotopia and the third place. The concept of the third place introduced by Ray Oldenburg, despite its popularity, has a serious drawback – the third place is described based on the experience of white American males who work full-time and are representatives of the middle class. Thus, the concept appears to be “elitist”, not taking into account the experience of more vulnerable social groups who may have their own alternative places. The integration of Michel Foucault’s concept of heterotopia can solve this problem, but this concept appears to be both large-scale and vague, so attempts have been made to define heterotopia through real examples in urban space. Examples show that urban heterotopia is characterized by polarized relations with other urban spaces and simultaneous isolation and permeability. Polarization can be expressed in the artificial creation of elitist spaces for certain social groups, or heterotopia itself performs the function of forming alternative social and cultural norms and practices without involving the entire urban space. Such an alternative view can act not only as a repulsive factor indicating the marginality of the place, but also, on the contrary, as a factor of attractiveness, distinguishing heterotopia from other places. In the article, garage-building cooperatives are considered as an example of a heterotopic third place. Signs of the third place are characteristic of such cooperatives, despite their other intended use – storing cars. At the same time, against the background of the crisis of masculinity, garages have become a space of alternative discourse for male car enthusiasts, thereby giving rise to a garage heterotopia. Thus, the example of garages shows that, by applying the approaches of

Oldenburg and Foucault together, we expand the understanding of the third place and get the opportunity to identify them not only for the middle class, but also for other more vulnerable social groups.

Keywords: third place, heterotopia, garage-building cooperatives, social inequality, social space

For citation: Sharov, G.D. (2025) Urban heterotopia as the third place: integration of approaches. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 189–196. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/16

Введение

Одним из характерных признаков современного города является наличие публичной сферы. Концепт публичной сферы возникает у Юргена Хабермаса в книге «Структурное изменение публичной сферы» [1]. В его понимании, публичная сфера является объединением частных лиц в публику с целью публичного обсуждения («Räsonnement»). При этом для функционирования публичной сферы необходимы специальные места. Хабермас называет эти места «институтами публичной сферы». Однако Хабермас в своей работе опирается прежде всего на примеры из XIX в. Дальнейшее развитие концепта публичной сферы с рассмотрением современных примеров привело к появлению популярной на сегодняшний день концепции «третьего места» Рея Ольденбурга. В то же время существуют и другие подходы к исследованию городских пространств. В конце 1980-х гг. в гуманитарных науках происходит пространственный поворот [2]. Исследователи обращают внимание на социальный аспект пространства, их внимание сосредоточивается на городе. Важной частью пространственного поворота стала концепция гетеротопий Мишеля Фуко, демонстрирующая пространственное воплощение альтернативного социального порядка.

В настоящий момент исследователями не было предпринято попыток рассмотреть городское пространство, одновременно применяя обе концепции. В этой статье мы рассмотрим, может ли городская гетеротопия потенциально быть третьим местом. Для этого мы выделим характерные черты третьих мест и гетеротопий, рассмотрим проблемы обеих концепций и применим их для анализа конкретного примера. В качестве предмета исследования мы выбрали пример третьего места, имеющего признаки городской гетеротопии, – гаражно-строительные кооперативы.

Проблема третьих мест

Вначале мы рассмотрим подробнее, что собой представляет третье место. Ольденбург выделяет 8 признаков третьих мест [3]. Во-первых, третьи места нейтральны. Люди могут свободно посещать или не посещать эти места и проводить там столько времени, сколько хочется. Во-вторых, третьи места выступают как «уравнители». То есть посетители третьих мест оставляют свои социальные роли и привилегии «за порогом», и выступают на равных. В-третьих, основная деятельность в третьих местах – общение. В-четвертых, третьи места удобно расположены рядом с первыми и вторыми местами и там почти наверняка можно встретить знакомых людей. В-пятых, третьи места обладают постоянными посетителями – завсегдатаями. Именно завсегдатаи формируют образ конкретного третьего места. В-шестых, третьи

места просты и уютны, в них отсутствуют претенциозность и пафос. В-седьмых, беседа в третьих местах лишена серьезности, а настроение посетителей – остроумное и игривое. Наконец, в-восьмых, третье место должно восприниматься как «дом вдали от дома».

В то же время концепция Ольденбурга не лишена слабых мест. Так, концепт третьего места сформирован исходя из опыта определенной социальной группы – белых американских мужчин, работающих полный рабочий день и являющихся представителями среднего класса [4]. Опыт третьего места для других социально-демографических групп может быть разным вплоть до того, что некоторые третьи места становятся эксклюзивными для определенных социальных групп [5]. В то же время появляются эксклюзивные третьи места для уязвимых социальных групп, например, парикмахерские для афроамериканцев [6]. Таким «другим» третьим местам исследователи не уделяют большого внимания. Таким образом, концепция представляется элитистской, не учитывающей опыт более уязвимых социальных групп, у которых могут быть собственные альтернативные места. Решить эту теоретическую проблему может интеграция концепции гетеротопий Мишеля Фуко.

Городские гетеротопии

Концепция гетеротопий была предложена Мишелем Фуко в статье «Другие пространства» [7]. Он выделяет шесть принципов гетеротопий. Первый принцип гетеротопий – «в мире нет ни одной культуры, не образующей гетеротопий» [7. С. 197]. Это значит, что в любом человеческом сообществе есть гетеротопии. Типологически Фуко их разделяет на кризисные и девиационные. Кризисные гетеротопии более присущи домодерновым обществам, это такие гетеротопии, в которые помещаются индивиды, находящиеся в переходном, кризисном состоянии (например, в состоянии полового созревания, менструации или родов). Девиационные гетеротопии появляются в обществе модерна. Туда помещают индивидов с девиационным поведением, т.е. таким поведением, которое отличается от принятой в обществе нормы. Такими девиационными гетеротопиями можно считать места лишения свободы, психиатрические больницы и дома отдыха (досуг, по Фуко, – отклонение от нормы).

Согласно второму принципу, гетеротопии функционируют по-разному в разные периоды времени. В качестве примера Фуко приводит городские кладбища. До XIX в. городские кладбища было принято размещать в центре городов, однако затем они были вытеснены на периферию. Это связано с разным отношением к мертвым и смертью как таковой. До XIX в. отношение к смерти было более флегматичным, а захоронения чаще всего были коллективными. Однако постепенно людей стали хоронить в индивидуальных гробах, а значит, для захоронений понадобилось больше места, которого в центре города было немного. В связи с этим кладбища стали оттесняться на периферию [7. С. 198].

Третий принцип: гетеротопии могут совмещать в себе несколько пространств. Этот принцип наиболее заметен в кинозале, где на плоскую поверхность экрана происходит проекция трехмерного пространства, как бы создавая для зрителя пространство фильма, за которым он наблюдает, находясь при этом в реально существующем помещении [7. С. 200].

Четвертый принцип: находясь в гетеротопии, человек находится в разрыве с традиционным временем. Здесь Фуко снова вспоминает кладбище, поскольку кладбище для индивида одновременно означает и конец жизни, и обретение «вечности» [7. С. 200].

Пятый принцип: гетеротопии одновременно изолированы и проницаемы. Это означает, что попасть внутрь гетеротопии можно только с помощью некоего «разрешения» или помещение в гетеротопию происходит принудительно. Так, мы не можем свободно войти на территорию тюрьмы. Чтобы туда попасть, мы либо должны обладать разрешением (например, работать в исправительных органах), либо совершить ряд противоправных действий, которые приведут к назначению судом наказания в виде лишения свободы [7. С. 202].

Последний, шестой, принцип гетеротопий заключается в том, что отношения гетеротопии и остального пространства поляризованы. Эта поляризация может быть выражена через создание иллюзорного пространства, которое изобличает реальное пространство (например, пространство публичного дома), или через создание компенсаторного пространства, которое в той степени организовано, в какой степени дезорганизовано остальное пространство. Такими компенсаторными пространствами Фуко считает первые колонии в Америке, которые являлись попыткой создать идеальное общество в противовес традиционной Европе [7. С. 203].

Несмотря на то, что исследователи выделяют гетеротопии как важную концепцию, позволяющую обрести новый способ пространственного мышления [8] и осмыслить пространственное воплощение альтернативного социального порядка [9], эта концепция кажется очень масштабной и в то же время недостаточно определенной [10. Р. 4]. В связи с этим предпринимались множественные попытки определить гетеротопию через реальные примеры в городском пространстве.

Одним из таких примеров, как считает Сета Лоу, можно считать охраняемые жилые комплексы («gated community») [11]. Охраняемый жилой комплекс представляет собой жилое пространство, имеющее физические барьеры, ограниченный вход и собственную службу безопасности, следящую за порядком внутри жилого комплекса. Наибольшее распространение они получили в США, однако такие жилые комплексы есть и в других странах, включая Россию [12]. Причины, по которым люди переезжают в охраняемые жилые комплексы, определяют гетеротопичность этих пространств. Во-первых, охраняемые ЖК имеют ограниченный доступ. Так же, как и в другие гетеротопии, чтобы попасть в охраняемый ЖК, необходимо иметь специальное разрешение. Во-вторых, жители охраняемых ЖК воспринимают их как «безопасное убежище от насилия со стороны общества» [11. Р. 155]. Подобное восприятие характеризует полярность отношений охраняемых жилых комплексов с остальным городским пространством, что является одним из признаков гетеротопий. Однако, по мнению Лоу, закрытые ЖК не решают проблему безопасности. Исследовательница считает, что в них создается иллюзия безопасности, а работа воображения порождает гетеротопичность закрытых ЖК. Однако, по мнению Лоу, «главным аргументом в пользу того, чтобы назвать закрытый жилой комплекс гетеротопией, может быть его происхождение как викторианское жилище для развлекательного класса, курорт

и учреждение для престарелых. Он открывает „пространство праздника“ в противовес пространству повседневности» [11. Р. 162]. Иначе говоря, жители закрытых жилых комплексов берут за основу повседневной жизни отпуск от повседневной жизни, лишая себя ощущения сообщества, ведь социальные контакты жителей закрытых ЖК сведены к минимуму.

Кэтлин Керн рассматривает в качестве гетеротопии гибрид торгового центра и улицы – «торговые центры без стен» [13]. Подобные торговые центры распространены в Северной Америке, они расположены в пригородах и представляют собой торговый центр под открытым небом со стилизацией улицы. Сами проектировщики называют подобные места «центрами образа жизни» («Lifestyle center»), поскольку в них, помимо магазинов, присутствуют различные нестандартные архитектурные решения, кафе, рестораны, проводятся публичные мероприятия. Основная цель «центров образа жизни» – дать урбанистический опыт улицы для состоятельных покупателей, оградив их при этом от негативного опыта настоящей улицы в виде грязи, бездомных и попрошаек. Сама суть уличного торгового центра является гетеротопичной, так как улица – это демократичное и инклюзивное пространство, но при этом «коммерческие улицы» социально однородны и на них поддерживается строгий порядок частными охранными предприятиями.

Однако приведенные выше примеры касаются искусственного создания элитистских пространств для определенных социальных групп, намеренно порождая отношения поляризации в городском пространстве. В то же время эта поляризация может быть выражена в обратную сторону: сама гетеротопия выполняет функцию формирования альтернативных социальных и культурных норм и практик, не задействуя городское пространство целиком. Такой альтернативный взгляд может выступить не только как отталкивающий фактор, указывающий на маргинальность места, но и наоборот, как фактор привлекательности, выделяющий гетеротопию на фоне других мест, потенциально формируя новую туристическую дестинацию. Такой дестинацией, например, стал культурный центр «Метелкова», расположившийся в бывших военных казармах в Любляне. В то же время вокруг «Метелкова» существует конфликт, поскольку «Метелкова» «одновременно существует как часть бренда креативного города и как автономное пространство, разграниченное и противопоставленное политической, социальной и экономической деятельности города» [14]. Тем не менее «Метелкова» выполняет важную функцию пространства для возникновения и сохранения альтернативной публичной сферы.

Похожий и более известный пример – ночной клуб «Бергхайн» в Берлине. С одной стороны, Бергхайн является культовым местом и официально имеет юридический статус «культурного центра», поскольку предоставляет уникальный социальный и культурный опыт, с другой стороны – известно, что владельцы Бергхайн пускают не всех и проводят тщательный осмотр всех желающих попасть внутрь, поэтому этот опыт доступен не для всех [15]. Тем не менее желающих попасть в Бергхайн всегда очень много, а посетившие клуб пишут статьи с рекомендациями о том, как туда попасть [16].

Таким образом, в современном городе гетеротопии характеризуются прежде всего поляризованностью отношений с другими городскими пространствами, одновременной изолированностью и проницаемостью и либо

защищают социальную группу, помещенную в гетеротопию, от различных потенциальных опасностей путем коммерциализации, либо сами выступают пространством производства альтернативных норм и практик.

Городская гетеротопия как третье место

Рассмотрев признаки третьего места и городских гетеротопий, мы можем охарактеризовать гаражно-строительные кооперативы как уникальный постсоветский пример гетеротопичного третьего места. Так, признаки третьего места характерны для ГСК, несмотря на то, что изначально они задумывались как места исключительно для хранения автомобилей. Исследование фонда «Хамовники» показало, что гаражи на самом деле имеют более разнообразные сценарии использования, связанные с общением и досугом, характерные для третьего места. Прежде всего, это связано с тем, что с момента разрешения в СССР строительства гаражных боксов в рамках кооператива регулирование и контроль со стороны государства в этой сфере постепенно ослабежали [17]. В то же время, помимо досуга и общения, в гаражах открывают небольшие производства, однако, как отмечают исследователи, подобная занятость носит «ремесленный» характер, и она направлена на поддержание социальных связей в гаражном сообществе и собственное жизнеобеспечение, а не на получение прибыли и накопление капитала.

Так, гараж стал не только хранилищем автомобиля, но и пространством «альтернативной формы коммуникации в сообществе автолюбителей – прежде всего мужчин» [18. С. 15]. Гендерный аспект в гаражной гетеротопии играет ключевую роль, поскольку позднесоветское общество характеризовалось кризисом маскулинности. Как отмечает Кирилл Кобрин, «муж <...> чаще всего сидел на кухне в майке и трусах и пил водку. И вообще – мешался под ногами. Самые умные мужья уходили играть в шахматы или в футбол с друзьями. Те, у кого уже была машина, уходили в гараж. Так гаражи стали мужским клубом, алтарем позднесоветского выпадения мужчин из семейной жизни» [19].

Отметим, что и американский гаражный опыт, несмотря на очевидную разницу двух стран, имеет схожие черты: американский гараж тоже стал пространством для побега от семейной жизни в пространство экспериментов. Это выразилось, например, в появлении множества успешных транснациональных корпораций, таких как Disney, Hewlett-Packard, Apple, Amazon и Google, которые начинались как гаражные стартапы. Гендерный аспект так же, как и в позднем СССР, в гаражной культуре США имеет важное значение: «Порожденный модернистской архитектурой, в которой доминировали цисгендерные мужчины, сегодня гараж выступает сосудом для актуального кризиса маскулинности» [20. С. 25]. Кризисная ситуация порождает девиационное поведение, существующее в пространстве гаража, превращая гараж, таким образом, в городскую гетеротопию.

Таким образом, пример гаражей показывает, что, применяя совместно подходы Ольденбурга и Фуко, мы расширяем понимание третьего места. Городские гетеротопии, выступая как пространство производства альтернативных норм и практик, позволяют выявлять третьи места не только для среднего класса, но и для других более уязвимых социальных групп. Городские пространства, на первый взгляд кажущиеся маргинализированными, на деле

могут оказаться важнейшими местами для некоторых сообществ, не обладающих определенным уровнем капитала. Примеры третьих мест из оригинальной концепции Ольденбурга для них могут быть недоступны, поэтому городские гетеротопии выступают альтернативой.

Список источников

1. Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы. М. : Весь мир, 2016. 344 с.
2. Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.
3. Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 456 с.
4. Aldrich R., Rudman D.L., Fernandes K., Nguyen G., Larkin S. (Re)making 'third places' in precarious times: Conceptual, empirical, and practical opportunities for occupational science // *Journal of Occupational Science*. 2024. Vol. 3, № 4. P. 721–739.
5. Finlay J., Esposito M., Kim M.H., Gomez-Lopez I., Clarke P. Closure of 'third places'? Exploring potential consequences for collective health and wellbeing // *Health & Place*. 2019. Vol. 6.
6. Rhubart D., Sun Y., Pendergrast C., Monnat S. Sociospatial Disparities in "Third Place" Availability in the United States // *Socius*. 2022. № 8.
7. Фуко М. Другие пространства // В.П. Большаков, Мишель Фуко. Интеллектуалы и власть. Ч. 3: Статьи и интервью 1970–1984. М. : Праксис, 2016. С. 191–204.
8. Soja E. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge : Blackwell Publishers, 1996. 334 p.
9. Hetherington K. The Badlands of modernity: Heterotopia and social ordering. London : Routledge, 1997. 164 p.
10. Dehaene M., De Cauter L. Heterotopia and the City. Abingdon : Routledge, 2008. 345 p.
11. Low S. The gated community as heterotopia // Dehaene M., De Cauter L. Heterotopia and the City. Abingdon : Routledge, 2008. P. 153–163.
12. Птичникова Г.А., Антофеев А.В. Новые морфотипы архитектурного пространства современных городов // *Социология города*. 2014. № 2. С. 5–19.
13. Kern K. Heterotopia of the theme park street // Dehaene M., De Cauter L. Heterotopia and the City. Abingdon : Routledge, 2008. P. 105–115.
14. Siegrist N., Thörn H. Metelkova as Autonomous Heterotopia // *Antipode*. 2020. Vol. 52, № 6. P. 1837–1856.
15. Bartmanskii D., Weidenhaus G. Emplaced Qualities // *Quaderni di Sociologia*. 2023. № 92–93. LXVII. P. 9–30.
16. Полный гид по клубу Бергхайн / Илья Бирман. URL: <https://ilyabirman.ru/meanwhile/all/berghain-guide/> (дата обращения: 22.12.2024).
17. Селеев С.С., Павлов А.Б. Гаражники. М. : Страна Оз, 2016. 168 с.
18. Мирская М.Л. Автомобиль в советской культуре : препринт WP20/2013/03. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 48 с.
19. Кобрин К.Р. Советский гараж: история, гендер и меланхолия // *Неприкосновенный запас*. 2016. № 107.
20. Эрлангер О., Говела Л.О. Гараж. М. : Strelka Press, 2020. 215 с.

References

1. Habermas, J. (2016) *Strukturnoe izmenenie publichnoy sfery* [The Structural Transformation of the Public Sphere]. Translated from German. Moscow: Ves' mir.
2. Bachmann-Medick, D. (2017) *Kul'turnye povoroty. Noveye orientiry v naukakh o kul'ture* [Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Oldenburg, R. (2014) *Tret'e mesto: kafe, kofeyni, knizhnye magaziny, bary, salony krasoty i drugie mesta "tusovok" kak fundament soobshchestva* [The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
4. Aldrich, R., Rudman, D.L., Fernandes, K., Nguyen, G. & Larkin, S. (Re)making 'third places' in precarious times: Conceptual, empirical, and practical opportunities for occupational science. *Journal of Occupational Science*. 3(4). pp. 721–739.

5. Finlay, J., Esposito, M., Kim, M.H., Gomez-Lopez, I. & Clarke, P. (2019) Closure of 'third places'? Exploring potential consequences for collective health and wellbeing. *Health & Place*. 6. DOI: 10.1016/j.healthplace.2019.102225
6. Rhubart, D., Sun, Y., Pendergrast, C. & Monnat, S. (2022) Sociospatial Disparities in "Third Place" Availability in the United States. *Socius*. 8. DOI: 10.1177/23780231221090301
7. Foucault, M. (2016) *Mishel' Fuko, Intellekтуалы i vlast'* [Michel Foucault, Intellectuals and Power]. Vol. 3. Translated from French. Moscow: Praxis. pp. 191–204.
8. Soja, E. (1996) *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Cambridge: Blackwell Publishers.
9. Hetherington, K. (1997) *The Badlands of Modernity: Heterotopia and Social Ordering*. London: Routledge.
10. Dehaene, M. & De Cauter, L. (2008) *Heterotopia and the City*. Abingdon: Routledge.
11. Low, S. (2008) The gated community as heterotopia. In: Dehaene, M. & De Cauter, L. (2008) *Heterotopia and the City*. Abingdon: Routledge. pp. 153–163.
12. Ptichnikova, G.A. & Antyufeyev, A.V. (2014) Novye morfotipy arkhitekturnogo prostranstva sovremennykh gorodov [New Morphotypes of Architectural Space in Modern Cities]. *Sotsiologiya goroda*. 2. pp. 5–19.
13. Kern, K. (2008) Heterotopia of the theme park street. In: Dehaene, M. & De Cauter, L. (2008) *Heterotopia and the City*. Abingdon: Routledge. pp. 105–115.
14. Siegrist, N. & Thörn, H. (2020) Metelkova as Autonomous Heterotopia. *Antipode*. 52(6). pp. 1837–1856.
15. Bartmanski, D. & Weidenhaus, G. (2023) Emplaced Qualities. *Quaderni di Sociologia*. 92–93. LXVII. pp. 9–30.
16. Birman, I. (n.d.) *Polnyy gid po klubu Bergkhayn* [The Complete Guide to Berghain Club]. [Online] Available from: <https://ilyabirman.ru/meanwhile/all/berghain-guide/> (Accessed: 22nd December 2024).
17. Selee, S.S. & Pavlov, A.B. (2016) *Garazhniki* [Garage People]. Moscow: Strana Oz.
18. Mirskaya, M.L. (2013) *Avtomobil' v sovetskoy kul'ture: preprint WP20/2013/03* [The Automobile in Soviet Culture (Preprint WP20/2013/03)]. Moscow: HSE.
19. Kobrin, K.R. (2016) Sovetskiy garazh: istoriya, gender i melankholiya [The Soviet Garage: History, Gender, and Melancholy]. *Neprikosnovenny zapas*. 107.
20. Erlanger, O. & Govela, L.O. (2020) *Garazh* [Garage]. Moscow: Strelka Press.

Сведения об авторе:

Шаров Г.Д. – аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: gdsharov@hse.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Sharov G.D. – postgraduate student, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: gdsharov@hse.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.01.2025;
одобрена после рецензирования 28.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 25.01.2025;
approved after reviewing 28.05.2025; accepted for publication 30.06.2025

Original article

УДК 316.7

doi: 10.17223/1998863X/85/17

STUDY OF THE PHENOMENON OF PLANT BLINDNESS USING AN ONLINE SURVEY OF RESIDENTS IN ST. PETERSBURG

Yulia V. Ermolaeva¹, Anastasia A. Zolina², Irina V. Varganova³

¹ *Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
mistelfrayard@mail.ru, ORCID Id: 0000-0002-7421-2044*

² *Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg,
Russian Federation, azolina@binran.ru, ORCID Id: 0000-0002-5860-2501*

³ *N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources, St. Petersburg,
Russian Federation, i.varganova@vir.nw.ru, ORCID Id: 0000-0002-5054-6410*

Abstract. The phenomenon of “plant blindness”, the inability of people to perceive and appreciate plants in the environment, remains a serious problem for biosphere education and biodiversity conservation. As part of the study, an online survey was conducted among 253 respondents in St. Petersburg to determine the level of knowledge and attitudes towards plants. Overall, we found that people do notice plants less than animals, and also notice and distinguish brighter plants, which is in line with the results of international studies. For all respondents, the aesthetic and ecological significance of the plant world is important, but interest in it does not increase the likelihood of interest in and the ability to distinguish plants, thus there is a gap between awareness of environmental issues and willingness to act. Key findings showed that a significant proportion of respondents only visit city parks, avoiding protected natural areas, which limits contact with rare and endemic plants, which, in turn, reduces the likelihood of distinguishing plants in the wild. Awareness of rare plants remains low overall. Plant blindness may depend on the educational profile, interest in nature (thus, professions closer to interaction with nature demonstrated greater awareness of plant problems and attention to them). Respondents wanted to know more about plants from all possible sources. The study emphasizes the need to strengthen the role of botanical gardens in educational programs, as well as the importance of early interaction with nature in the formation of environmental awareness. The authors propose a comprehensive approach, including popularization of knowledge through the media, structured educational programs and active involvement of the public in the conservation of biodiversity.

Keywords: environmental knowledge, cognitive errors, environmental sociology, sustainable development

For citation: Ermolaeva, Yu.V., Zolina, A.A. & Varganova, I.V. (2025) Study of the phenomenon of plant blindness using an online survey of residents in St. Petersburg. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 85. pp. 197–213. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/17

Научная статья

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА СЛЕПОТЫ К РАСТЕНИЯМ НА ПРИМЕРЕ ОН-ЛАЙН-ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

**Юлия Вячеславовна Ермолаева¹, Анастасия Андреевна Золина²,
Ирина Викторовна Варганова³**

¹ *Институт социологии, Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук, Москва, Россия,
mistelfrayard@mail.ru, ORCID Id: 0000-0002-7421-2044*

² *Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук,
Санкт-Петербург, Россия, azolina@binran.ru, ORCID Id: 0000-0002-5860-2501*

³ *Федеральный исследовательский центр Всероссийский научно-исследовательский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия,
i.varganova@vir.nw.ru, ORCID Id: 0000-0002-5054-6410*

Аннотация. В рамках исследования был проведен он-лайн опрос 253 респондентов в Санкт-Петербурге, чтобы выявить уровень знаний и отношение к растениям. В целом мы зафиксировали, что люди действительно замечают растения меньше чем животных, а также отмечают и различают более яркие растения, что соответствует результатам международных исследований. Ключевые результаты показали, что значительная часть респондентов посещает только городские парки, избегая охраняемых природных территорий, что ограничивает контакт с редкими и эндемичными растениями и снижает вероятность различать растения в природе. Авторы предлагают комплексный подход, включающий популяризацию знаний через медиа, структурированные программы просвещения и активное вовлечение общественности в сохранение биоразнообразия.

Ключевые слова: экологические знания, когнитивные ошибки, экологическая социология, устойчивое развитие

Для цитирования: Ermolaeva Yu.V., Zolina A.A., Varganova I.V. Study of the phenomenon of plant blindness using an online survey of residents in St. Petersburg // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 197–213. doi: 10.17223/1998863X/85/17

Introduction

About 20% of plant species in the world are currently under the threat of extinction [1]. Inadequate attention to plants is described as the phenomenon of “plant blindness” [2]. In the last twenty years, there has been a growing interest among researchers in the phenomenon of plant blindness—the cognitive bias that leads individuals to overlook or undervalue plant life in comparison to animals [3]. This increased attention can be attributed to several factors (the alarming rate of plant species extinction will also determine the level of food production, climate regulation, and water purification [4]) and has heightened awareness about the need to conserve plant biodiversity through an interdisciplinary view. The growing body of literature on the topic highlights the need to address these cognitive biases to improve ecological education [5], push for effective communication strategies that engage the public in discussions around biodiversity and enhance educational approaches, helping educators to cultivate a more inclusive perception of the natural world. Recognizing the critical role that plants play in ecosystem services

and human well-being is necessary for sustainable policy-making. Addressing plant blindness can influence how societies allocate resources for conservation and education, ultimately promoting more sustainable interactions with natural ecosystems. In this article, we will study the cognitive bias forming in Russian case on the basis of an online survey in St. Petersburg. In Russian practice, such studies have not yet been published. The novelty of the study also lies in the fact that in open questions we tried to trace the logic of plant blindness emergence.

Theory

Cognitive sciences investigating plant blindness offer insights into the cognitive processes governing human perception and attention. By examining how and why people tend to overlook plants, researchers can better understand cognitive biases that influence decision-making and human behaviors. This understanding can lead to the development of interventions aimed at reshaping perceptions, thereby fostering more inclusive and accurate views of biodiversity. When processing the immense amount of visual information in the surrounding world, the brain tends to generalize only a portion of it. If objects do not sufficiently stand out from their background, they blend into their surroundings [6]. The effect of selective perception during nature observation leads people to identify the “background” and generalize frequently occurring and typical objects (such as vegetation), while items that stand out are more likely to be recognized. As a result, non-flowering plants or plants with inconspicuous flowers are less likely to be perceived as worthy of attention [7]. Due to cognitive traits and innate cognitive programs, people tend to first react to faces, which is why animals and humans take priority in attention [8]. Heuristic (generalization) makes information processing and decision-making rapid and efficient, but sacrifices information quality.

– A group of cognitive errors related to the inability to assess data (fundamental attribution error, selective perception), as well as the lack of environmental knowledge, leads to the fact that people usually know less about plants than animals, and also to the inability to assess the necessity of plants within the biosphere and human life, insensitivity to the aesthetics of plants, incorrect belief that plants are inferior to animals in the hierarchy, and underestimation of the importance of plants in everyday life. Time devoted to environmental education, systematic and critical thinking, “cognitive restructuring”, and reframing to correct cognitive distortions, in most cases, allowed these cognitive errors to be addressed [9].

– The absence or inadequacy of practical experience in interacting with nature serves as not only a barrier to acquiring knowledge but also a lack of practical experience in dealing with plants [10]. If a person lacks practical experience in cultivation, observation, and identification of plants in their geographic region, they ignore both potential usefulness and underestimate the risk of certain plants that may harm them [11, 12]. Here we can observe the consequence of the previous group of cognitive errors. A low level of ecological knowledge prevents individuals from objectively assessing the ecological impact of their actions and their consequences, as they are unable to compare situations and conduct calculations [13, 14].

The cognitive sciences of plant perception are closely interconnected with the theme of investigation of well-being in cities in terms of landscaping and greenery. Residents of many cities with low levels of greenery are more susceptible to stress, exhibit lower activity levels, and face greater risks to their physical health. Conversely, a high level of greenery and frequent interaction with nature contribute to physical and mental well-being [15]. The effect of interacting with nature in shaping pro-environmental behaviour at different stages of life varied; early experiences increased the likelihood of understanding the importance of plants in ecosystem preservation, as well as pro-environmental behaviour [16]. Also, all over the world botanical gardens play a fundamental role of linking public's direct experience to the perception of the importance of natural systems [17]. Botanical gardens realize outreach activities, which are closely connected with the ecological education of the population and are based on the scientific potential of employees, collections of living plants, and understanding the need to preserve biodiversity [18, 19]. However, it turned out that the quality of the experiences and their interpretation was more important, contributing to the formation of ecological identity and commitment to socio-ecological practices. From the perspective of social sciences, studying plant blindness can unveil deeper insights into human attitudes towards nature. Understanding the reasons behind this bias can help psychologists develop strategies to enhance environmental awareness and foster pro-environmental behaviours. Furthermore, insights gained from studying plant blindness can be applied in therapeutic contexts, such as horticultural therapy.

Educational programs that address this bias can empower individuals to recognize the value of plants, promoting greater engagement in biodiversity conservation. This is particularly important for younger generations, who will play critical roles in shaping future environmental policies and practices. Popularizing scientific knowledge about the plant world contributes significantly to environmental education and human understanding of its place in the biosphere. Some studies evaluate the impact of a conservation education program on middle school students' broadened attitudes and knowledge. The results show a positive influence of such programs on knowledge about plants and biodiversity [20, 21]. Some studies investigate the effects of an environmental education program on students' knowledge of and attitudes toward plants. The results demonstrate significant improvement in knowledge about plants and positive changes in attitudes toward them [22], students' knowledge of plant biology and the effectiveness of educational programs. The results show that focusing on ecological education contributes to improved knowledge about plants [23].

The scientific problem addressed in this study is the phenomenon of plant blindness in Russia, which refers to the cognitive bias that leads both the general public and educational professionals to prioritize animals over plants in ecological awareness and education. This bias not only contributes to the insufficient understanding of plant biodiversity but also results in a lack of adequate conservation efforts for endangered plant species. The primary goal of this research is to investigate the cognitive, educational, and societal factors contributing to plant blindness in Russia, with the aim of developing effective strategies to enhance public awareness and appreciation of plant diversity.

This research holds significant practical implications for both conservation efforts and public education in Russia. By identifying the specific cognitive biases

and educational gaps that lead to plant blindness, the study aims to inform tailored outreach programs and educational curricula that engage the public and educators alike. The findings could promote a more balanced view of biodiversity, highlighting the importance of plants alongside animals in ecological discussions.

Methodology and Methods

Concept and description of the project

A scientific and artistic educational project “Botanical World of St. Petersburg” was conducted in order to spread knowledge about the diverse threatened, extinct, invasive and native species of plants in St. Petersburg. The project included an exhibition in the St. Petersburg Botanical Garden and outreach events: six open educational lectures and two workshops. The exhibition presented the role of plants in maintaining urban sustainability and their value for the conservation of terrestrial ecosystems, and spurred a conversation on anthropogenic influence. Also the project demonstrated the importance of scientific botanical research.

Plants selected for the exhibition as models for art objects were diverse in taxa, size and structure: mosses species, herbs, dwarf-shrubs, and trees. The development of scientific and artistic materials included preparation of artistic bas-reliefs of rare plant species and popular science descriptions marking out the features of these species, their significance for environmental sustainability; causes of extinction and listing measures for conservation. More than 1000 visitors visited the exhibition in total. The project was mentioned in Internet media 6 times and in 43 posts on the VK.ru network. The pages noted the project was viewed more than 130,000 times. Both types of publications were accompanied by a link to the sociological survey (a Google Sheet), and the data obtained became the basis of our research. Visitors of outreach events of the project were proposed to fill in the survey form before the start.

One part of the project was the investigation about the knowledge of rare plants and the phenomenon of plant blindness.

In our interaction with nature, we assume spending time directly in natural settings, how individuals perceive the plant world, their level of knowledge about plants (compared to knowledge about the animal world), and how individuals themselves impact nature (study of pro-environmental behaviors). The hypotheses of the investigation are the following:

1. In people’s consciousness, there is a phenomenon of “plant blindness” – the inability to see, distinguish, or notice plants in their environment.

2. Modern urban dwellers exhibit a “nature deficit syndrome” – they infrequently visit parks or natural settings, are less sensitive to the natural world, which acts as a barrier to the foundation of ecological knowledge.

3. People are not sufficiently knowledgeable about plant names and rare plants.

4. Plants are perceived by people in terms of their benefit to humans, being categorized as, for example: (1) food plants, (2) medicinal plants, (3) plants with aesthetic value, and (4) components of the landscape.

Using the online survey conducted among visitors to the exhibition ($N = 253$), it was possible to test the main hypotheses. The survey involved semi-structured

and structured questions. The primary limitation of the online survey remains the inability to reflect the entire general population among the residents of St. Petersburg. It is also presumed that exhibition participants may be individuals initially more interested in the plant world. In the future, a comprehensive sample excluding these limitations of the study is planned to be used.

The portrait of the respondents

Seventy-five percent of all the respondents live in St. Petersburg and the Leningrad Region, while 13% are from Moscow and the Moscow Region; the remaining respondents are approximately evenly distributed across other regions. The vast majority of the survey participants were women (84%). It is important to note that the objectives of our study did not include a structured quota sample, as the primary aim at this stage was to explore the existing body of knowledge and the phenomenon of plant blindness. Sixty percent of the respondents indicated that their profession was related to biology; twenty were from the field of education, while the remaining specialists were evenly distributed across sectors such as IT, science, civil service, medicine, design, construction, agriculture, culture, and engineering. Seventy-two percent of the respondents had higher education, ten held an academic degree, and the rest had either incomplete higher or secondary education. Different age categories participated in the survey (see Table 1).

Table 1. Age of respondents

Age, years	Age, %
10–15	5
16–20	3
21–35	30
36–45	34
46–60	20
60–80	8

Additionally, 53% of the respondents were married, 43% had no children, 30% had one child, 19% had two children, and the remaining respondents had three or more children.

Results and Discussion

Study of plant blindness bias

Interactions with nature, especially from childhood, can influence the life trajectories of an individual's relationship with the natural environment. For example, participation in activities and natural experiences during childhood is associated with pro-environmental behavior in adulthood [24], a strong environmental identity, and biocentric values. A meta-analysis of 23 life course studies measuring the impact of nature exposure on children and adolescents found that some exposure began as early as birth [25]. Therefore, we initiated a study to understand how much time individuals prefer to spend in natural settings [26, 27]. Out of 253 responses, 49% of the respondents indicated that they prefer to spend time in urban natural spaces and frequently visit city parks (see Table 2). Additionally, 44% visit parks occasionally, while only 5% do so rarely, and 1% reported that they never visit parks. Furthermore, we investigated how often people

spend time in protected natural areas, as these parks provide opportunities to become acquainted with unique fauna, flora, and specific endemic species.

Table 2. Do you visit protected natural areas (reserves, protected national parks, natural monuments, etc.) in Russia? (253 answered)

	Quantity	%
Yes, protected areas are a must for my tourism program	116	45.8
If there is a protected area at sights that I found interesting	60	23.7
Optional	28	11.1
I do not visit natural protected areas	49	19.4

As shown in the results, almost half of the respondents try to visit specially protected natural areas consistently, while nearly a quarter do not do so. The survey conducted at the St. Petersburg Botanical Garden indicates that a minority of visitors (3.5%) associate botanical gardens with conservation, compared to 80% who associate the garden with beauty. The conservation of plant species is partially influenced by popularity and aesthetics rather than by extinction risk [28]. Visitors to events that focus not on rare plants but rather on charismatic species with colorful flowers or leaves, such as Maple Day, Sakura Blossom Fest, and Azalea Flowering, constitute the largest groups at the St. Petersburg Botanical Garden. Outreach activities in botanical gardens aimed at popularizing knowledge about the conservation issues surrounding rare plants are relatively few. The event most mentioned in the media in Russia is the annual Rhododendron Day, conducted by the Botanical Garden Institute of the Russian Academy of Sciences in Vladivostok (Primorye Territory). The Rhododendron Day is one of the few events with numerous visitors that promotes knowledge and stimulates research on endemic, rare, yet charismatic, rhododendrons species in the region.

We would like to note that while people spend a lot of time in nature, it does not logically follow that they have sufficient knowledge about the life of nature.

To understand how they perceive the natural world and what they primarily pay attention to, we asked an open-ended question: “When I spend time in nature in parks/protected areas, the first thing I pay attention to is... (continue the sentence)”.

The respondents preferred an aesthetic perception of the landscape, analyzing the picture as a whole (“nature”, “changes in the landscape” and highlighting individual objects that are attractive to their perception (plants, mushrooms, birds, flowers, trees, water objects). They especially pay attention to moving or brightly colored objects, stating “I see the beauty of nature, photogenic angles, butterflies, birds, dragonflies” or a spectacular combination of different environments (aquatic, plant, animal – “harmony of nature”, “landscape”). This universal phenomenon of perception is consistent with research by neuroscientists, who described the phenomenon of “plant blindness”, according to which the background and bright objects, combined with a lack of special knowledge about plants, prevent individuals from deeply analyzing the plant world.

Much attention is given to the quality of the natural environment and the presence of unwanted objects; in a quarter of cases, the respondents mentioned “cleanliness”, “trash”, “absence or presence of garbage”. Within urban green areas, people pay attention to “improvement”, “convenient paths, trees, the presence of ponds and lakes”, “cleanliness and improvement”. Ecologists and biologists, as well as people more interested in the plant world, are more in-depth in the topic of plants: “plant care: diseased plants, tourist information board with routes and

species living in the area”, “state of vegetation, the presence of unusual manifestations”, “interesting plant specimens”.

To the question “What is the main value for you when you spend time in nature?”, the respondents’ answers were divided into aesthetics – beauty, enjoyment of nature; rest, comfort, absence of people, silence, solitude, rest from the hustle and bustle; cleanliness, improvement and landscaping. These values were observed in approximately three-quarters of the cases and often complemented each other. There were few intentions to explore or experience nature. “To get to know the world more closely, which existed long before me and will remain when I am gone”, “The opportunity to get closer without spoiling anything, and without haste to inspect/touch/smell everything”, “biodiversity”, which is mainly characteristic of highly specialized professions).

The hypothesis was partially confirmed. Firstly, we identified a perception characteristic consistent with previous studies: people distinguish between a background and certain natural objects to which they primarily pay attention. The natural landscape is associated with relaxation and the pursuit of aesthetic satisfaction. We asked the respondents to evaluate statements regarding their well-being in nature by rating each statement on a scale from 1 to 5, where “1” indicates “does not apply to you at all” (do not agree) and “5” indicates “absolutely agree” (see Table 3). In total, we collected 253 responses.

Table 3. Distribution of respondents’ responses associated with being in nature (number, percentage)

Statement	5 absolutely agree	4	3	2	1 absolutely disagree
I would definitely like to spend more time in nature/parks if it were possible	194 (76.7%)	29 (11.5%)	17 (6.7%)	12 (4.7%)	1 (0.4%)
I feel better physically and mentally when I am surrounded by greenery – trees, flowers, plants	204 (80.6%)	20 (7.9%)	12 (4.7%)	13 (5.1%)	4 (1.6%)
We are absolutely dependent on plants for life and health	173 (68.4%)	41 (16.2%)	22 (8.7%)	11 (4.3%)	6 (2.4%)

The vast majority of the respondents expressed a desire to spend more time in nature, noting that they feel better there and agreeing (or strongly agreeing) that plant life is essential for survival and health. We can confirm that Hypothesis 2 – “Modern urban dwellers exhibit a ‘nature deficit syndrome’ – they infrequently visit parks or natural areas and are less sensitive to the natural world, which acts as a barrier to the establishment of ecological knowledge” – is supported by our findings.

Conversely, when examining the responses of biologists and individuals involved in environmental activities, we observe a much greater variation in what nature means to them. In addition to relaxation and beauty, participants also noted environmental and biodiversity issues, as well as specific species as important. From this, we can conclude that observation and an improvement in the quality of knowledge about natural objects may reduce the severity of the cognitive error associated with “plant blindness”, which refers to the inability to see, distinguish, or notice plants in their environment.

We also examined whether the respondents engaged in any environmental activities. Only 5% of the respondents regularly participate in volunteer environmental activities, 30% do so occasionally, 39% very rarely, and 26% never. Among those who engage in volunteer activities, the most popular practices include garbage collection, cleaning and beautifying areas, including tree planting (63%); educational initiatives (30%); work in protected areas (5%); and extinguishing and preventing fires (3,5%). Given the high percentage of the respondents involved in landscaping, it is anticipated that experiencing nature may make respondents more receptive to the plant world and strengthen their knowledge about nature. We aim to investigate this further in the part on the respondents' awareness of the natural world.

Awareness of rare plants and animals

Understanding the factors influencing knowledge about rare plants is necessary for effective conservation efforts and socio-environmental behavior. Factors influencing knowledge about rare plants include their endemism, narrow distribution, demographic [29] and genetic effects in small populations, and the impact of habitat destruction and management practices.

According to the order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation No. 320 of 23 May 2023, On Approval of the List of Flora Objects Listed in the Red Data Book (RB) of the Russian Federation, the objects are divided into 7 sections with the majority angiosperms plants (64.5%), fungi and lichens (15.8%), spore plants (bryophytes, pteridophytes) (13.1%), algae (4.7%), and gymnosperms (1.9%). We asked the respondents an open question: "Please, list any plant species included in the RB". We got 251 responses. Most of the survey participants live in the European part of Russia (237 responses), 200 responses were received from residents of St. Petersburg and the Leningrad Region. Out of all the responds 13% were not able to name any rare plant name. An algae species was noted just by one respondent; 1.1% of the answers mentioned spore plants; 2.0% gymnosperms; 2.3% fungi and lichens, 88.7% angiosperms. There were comments noting the importance of rare plant species in addition to some answers: "I do not know any species, but after the question, I am going to read the RB with my child", "Rare are all beautiful flowering plants" or "medicinal and honey plants".

In their responses, 213 respondents (84.5%) named at least one floral object, an average response containing 2–3 mentions. So, in total, we got 523 mentions of floral objects. However, only 98 people (38.9% of respondents) named at least one plant species listed in the RB of the region of residence or of the Russian Federation, which supports our Hypothesis 3 that people are not sufficiently knowledgeable about plant names and rare plants.

Among the rare angiosperm plants the respondents predominantly named noticeable attractive flowers: most frequent was the lily-of-the-valley (*Convallaria majalis*) (114 times, 45.2% of the 252 questionnaires). The lily of the valley is an incorrect answer as it is not listed in the RB of the Russian Federation and in most regional RBs. The species is recognized as a rare plant in the Moscow, Murmansk, and Astrakhan Regions, while most of the responses were received from residents of St. Petersburg, where the species is not a rare one. Perhaps this result is related to the fact that the lily of the valley is an early flowering plant, which is difficult to

recognize when it is not blooming. Second frequent (110 times, 43.7%) was the orchid, of which lady's slipper orchids (*Cypripedium sp.*) was mentioned 54 times (21.4%), and "orchid" without specifying as well as orchis (*Orchis sp.*), butterfly orchids (*Platanthera sp.*), calypso orchid (*Calypso sp.*) 56 times (22.2%). Seasonal flowering plants, such as snowdrops (*Galanthus sp.*), anemone (*Anemonoides sp.*), pasque flower (*Pulsatilla sp.*), and crocus (*Crocus sp.*), were mentioned 80 times (see Table 4).

Table 4. Distribution of survey responses by regions, %

Answer as	Species	Region of residence	
		St. Petersburg	Other regions
Plants of the Black List	Japanese rose (<i>Rosa rugosa</i>)	2.5	0.0
	Common ragweed (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	5.0	7.7
	Sosnowsky's hogweed (<i>Heracleum sosnowskyi</i>)	71.5	67.3
	Canadian waterweed (<i>Elodea canadensis</i>)	4.0	0.0
	Box elder (<i>Acer negundo</i>)	12.5	23.1
	Wild cucumber (<i>Echinocystis lobata</i>)	0.0	5.8
	Canadian horseweed (<i>Erigeron canadensis</i>)	0.5	1.9
	Large-leaved lupine (<i>Lupinus polyphyllus</i>)	5.5	7.7
	Himalayan balsam (<i>Impatiens glandulifera</i>)	0.5	1.9
	Giant knotweed (<i>Reynoutria sachalinensis</i>)	2.0	0.0
	Guasca (<i>Galinsoga parviflora</i>)	1.0	0.0
	Canada goldenrod (<i>Solidago canadensis</i>)	9.5	5.8
Rare floral object	Fungi, lichen	4.0	3.8
	Spore plants	1.5	1.9
	Lily of the valley (<i>Convallaria majalis</i>)	43.0	40.4
	Orchid (<i>Orchidaceae</i>)	33.5	19.2
	Snowdrop (<i>Galanthus sp.</i>), Anemone (<i>Anemonoides sp.</i>)	19.5	19.2
	Water lilies (<i>Nymphaeaceae</i>), irises (<i>Iris sp.</i>), lotus (<i>Nelumbo nucifera</i>)	10.5	21.2
	Tulip (<i>Tulipa sp.</i>)	1.5	1.9
	Pasque-flower (<i>Pulsatilla sp.</i>)	7.5	7.7

In the survey, the respondents attempted to identify rare plant species, often naming common ones, for instance, coltsfoot (*Tussilago farfara*), honesty (*Lunaria sp.*), goldenrods (*Solidago sp.*).

Thus, we can infer that the most common depiction of a protected plant is an herbaceous plant with a beautiful flower or inflorescence.

Having analyzed the answers of St. Petersburg and the Leningrad Region residents, we found that only they mention such rare species endemic to the region and included in the RB of Russia as a deciduous shrub bog-myrtle (*Myrica gale*) (11 times), pasque flowers species (*Pulsatilla sp.*) (15 times). Only St. Petersburg residents named insectivorous plants (*Drosera sp.*, *Aldrovanda sp.*), which are common due to the abundance of bog vegetation in the region.

We asked the respondents an open question "Please, list any plant species included in the Black List (list of invasive plants)". The information regarding plant species mentioned in the Black Book (invasive plants) was analyzed during the study. In 62 instances, respondents provided no answers. The most frequently cited species was Sosnowsky's hogweed (*Heracleum sosnowskyi*), which was mentioned 174 times, sometimes without specifying the species. In 37 cases, the respondents referenced the ash-leaved maple (*Acer negundo*), often confusing it with other closely related species. Canada goldenrod (*Solidago canadensis*) was mentioned by 22 participants, frequently without specifying the species (see

Table 4). Respondents from other regions mentioned the box elder as an invasive plant twice as often, which probably reflects that the species is not very common in natural habitats in St. Petersburg and the Leningrad Region. Unlike residents of other regions, residents of St. Petersburg never mentioned the wild cucumber (*Echinocystis lobata*), which has a more southern secondary range.

We used one-way analysis of variance (ANOVA) to compare the respondents' answers on the species most frequently noted as invasive plants: Sosnowsky's hogweed, box elder, and Canada goldenrod. There are no significant differences in the frequency of mentioning these species by residents of different regions since the P value of the F-test is smaller than 0.05. Regarding animals, large predatory felids (such as the Amur tiger (*Panthera tigris tigris*), leopard (*Panthera pardus orientalis*), and snow leopard (*Panthera uncia*)) were mentioned 236 times. It is important to emphasize that as a result of the mention of one of the species all the answers for "Name an animal included in the RB" were correct. Awareness of animal species is presumed to be higher, although still insufficient regarding various species, likely due to media coverage. Specifically, the Amur tiger was referenced 122 times. Seventy respondents mentioned the snow leopard and leopard (the participants did not specify, or confused, several species, including the Caucasian leopard, the Far Eastern leopard, and the snow leopard). Diurnal and nocturnal raptors (such as the Eurasian eagle-owl and owl) were also frequently mentioned. The polar bear and seals were noted, possibly due to the popularity of these animals in St. Petersburg. The polar bear is the logo of the Leningrad Zoo – one of the oldest zoos in Europe, and the ringed seal (*Pusa hispida*) was mentioned 25 times supposedly as a result of its popularization as an endemic species by the Baltic Seal Friends Foundation.

The depiction of protected animals primarily includes vertebrates, predominantly mammals (in terms of significance to humans), followed by birds, reptiles, insects, and fish (notably, only sturgeon species were mentioned). The responses did not include mollusks, jellyfish, or other marine inhabitants.

When completing the questionnaire, we asked the respondents to indicate whether their education or profession related to biology. We used one-way ANOVA to compare responses from individuals with biology-related and non-biology-related occupations. Since the P value of the F-test is smaller than 0.05 people whose professions are related to biology statistically more often name correctly rare plant species from the regional and national RBs, species listed in black books and black lists. At the same time, there is no statistically significant difference in naming more taxa of rare animals species (see Table 5).

Non-existent species mentioned in movies or literature were also named: the silver lily of the valley (self-titled movie) twice; the Mexican jerboa (mentioned in *The Twelve Chairs* novel), once.

We can describe the image of a species of flora – a beautifully flowering herbaceous plant, the image of an invasive plant species – Sosnowsky's hogweed, the image of a rare animal species – large predatory mammals, preferably felids.

Hypothesis 3 about the proposition of the low level of knowledge was confirmed. The media, such as television programs, documentaries, and social media platforms often highlight unique plant species, contributing to their recognition among the general public, in Russian experience, too; and most of

them are more highlighted than others, which depends on the rare conservational status [30].

Table 5. Dependence between respondents' answers and their profession

Dependent variable	Profession is not related to biology (average per respondent)	Standard deviation	Profession is related to biology (average per respondent)	Standard deviation	F-ratio	P-value
Average number of plant species named as rare	2.201	1.210	2.333	1.228	0.620	0.431
Named groups of floral objects, average (question about rare plants)	0.927	0.573	0.989	0.404	0.790	0.375
Not able to name any rare floral objects	0.177	0.384	0.086	0.282	3.760	0.054
Rare floral objects included in the regional RB named correctly	0.548	1.030	0.925	1.080	6.770	0.010
Rare floral objects included in the RB of Russian Federation named correctly	0.605	1.132	0.936	1.111	4.610	0.033
Number of named invasive plant species	1.242	1.023	1.516	1.256	3.140	0.071
Number of invasive plant species included in the Black List of a region or Russia named correctly	1.105	0.986	1.409	1.182	4.250	0.041
Number of rare animals species named correctly	2.870	2.024	2.925	2.097	0.04	0.849

The role of local communities, botanical gardens and plant clubs significantly increased members' knowledge about native and rare plants [31].

The rare plants' popularity also depends on their aesthetic value [32]. Certain rare plants may hold cultural or historical significance that captures the public's interest. For example, plants that are connected with local folklore or traditional medicine can become popular due to their perceived value within specific communities [33]. The same as in the Russian perspective, some plants that are both medicinal and rare are more popular, especially in some regions, such as golden root (*Rhodiola rosea*) in the Altai Republic and the Murmansk Region. Some rare plants are easier to cultivate or maintain than others, which makes them more desirable among gardening enthusiasts.

We offered to evaluate statements on the need to gain knowledge about the natural world, asking the respondents to rate them from 1 to 5, where "1" indicates "does not apply to you at all" (do not agree) and "5" indicates "absolutely agree" (253 answers) (Table 6).

Table 6. Knowledge about nature issues

Answer option	5	4	3	2	1
I would like to know more about the life and benefits of plants	148 (58%)	48 (19%)	37 (14%)	17 (8%)	3 (1%)
I would like to know more about the animal world	144 (57%)	53 (21%)	33 (13%)	17(7%)	6 (2%)
I would like to know more about current environmental issues	102 (40%)	65 (25%)	48 (19%)	22 (9%)	16 (7%)
More attention should be paid to animal issues in the media and educational institutions	141 (55%)	59 (24%)	25 (10%)	20 (8%)	8 (3%)
The media and education should pay more attention to the problems of the plant world	153 (60%)	55 (22%)	23 (10%)	17 (7%)	5 (1%)

Next, we asked people to respond to some statements (assuming the correct answer) to assess how well people know about the life and place of plants in the natural world (Table 7). Also, we offered to compare the functional characteristics of plants and animals, also offering to mark statements that seem correct (there is a correct answer too) (see Table 8).

Table 7. Evaluation of statements about plants and animals

Statements	Totally agree	Partially agree	Don't agree
Plants are more demanding of their life form compared to animals (Correct answer: no, because all subjects are interconnected in the ecosystem)	24 (9%)	109 (43%)	123 (48%)
Rare biological species are key for biodiversity (Correct answer: yes, because they are important for biodiversity)	73 (28%)	137 (54%)	46 (18%)

Table 8. Distribution of answers to the question: "Please name what plants and animals can and cannot do, in your opinion (two answers possible)"

Statements	Correct for plants	Correct for animals
Producing oxygen (correct for plants)	245 (96%)	12 (5%)
Consuming carbon dioxide (correct for plants)	245 (96%)	43 (17%)
Consuming oxygen (correct for plants and animals)	141 (55%)	246 (96%)
Can interact with each other (correct for plants and animals)	239 (93%)	239 (93%)

Here we need to explain the significance of the statements. Unlike plants, animals are not capable of photosynthesis, that is, they are unable to produce oxygen. Plants, like other living organisms, respire by absorbing oxygen through the pores (stomata) of leaves and stems and releasing carbon dioxide. Plants need oxygen in order to oxidize organic substances and obtain energy necessary for life. They breathe more at night (the shadow phase of photosynthesis) and consume very little oxygen, but during the day they absorb carbon dioxide and release oxygen. Animals (some species are still more adaptive to carbon dioxide due to the characteristics of life in a certain environment) are generally not adapted to consuming carbon dioxide (including humans); when inhaling carbon dioxide concentrations above 0.1% (1000 ppm), they feel stuffiness: general discomfort, weakness, headache, decreased concentration.

The interactions of plants and animals with each other and with other organisms can be different. Ecology describes the nature of interspecific relationships in an ecosystem: competition, symbiosis, predation, parasitism. Also they can be both intra- and interspecific, positive, negative, neutral for different kinds of beings. An important tool for studying interactions is the analysis of symbiosis; such can be obligate (one cannot exist without the other) or facultative (not obligatory). Interactions arise as a result of different types of influences on plants and can be one-sided or two-sided. Here we can see absolutely right answers; observation of nature helps to grasp the different nature of interactions at the level of common sense.

The role of knowledge in biology – what we want to know

We also asked, "What topics related to ecology, botany, or the world of animals and plants are you interested in and would like to learn more about, and why?"

The respondents expressed equal interest in both flora and fauna. Specific topics of interest included rare species, microbiology, genetics, individual or favorite species, ecology, evolution (particularly among ecologists), and ecological biocenoses: “Environmental protection, harmonious cohabitation with nature and animals. Man is a part of nature; he cannot survive without other elements of living and inanimate nature. To keep nature in excellent condition and prolong life on our planet.”

The respondents expressed interest in aesthetics, particularly regarding plants and landscape design, as well as the medicinal effects of plants when consumed and their impact on health. From an ecological perspective, the respondents also showed a desire to learn more about mycology and fungi, as mushrooms are receiving increasing attention in the scientific community.

Additionally, urban dwellers show interest in learning about the natural world within the urban environment, including animals, birds, and fish, and how these organisms adapt to city conditions: “How to organically fit plant communities into the urban environment and make them resistant to anthropogenic impact, what species take root well in the urban environment. How to minimize and recycle waste on the scale of our city so that this is a successful model”, “Human influence on the world around us and the possibilities of minimizing it”.

Most respondents preferred interactive engagement with the natural environment, such as parks, botanical gardens with guided tours, and museums. However, the Internet emerged as the primary source of information (Table 9). Popular lectures, literature, and exhibitions were considered less preferable, while specialized scientific literature, podcasts, and games were deemed even less interesting. Sources such as television and newspapers were predominantly disregarded as viable options for obtaining the desired information.

Table 9. Distribution of answers to the question: “Where would you like to receive more information about nature? (select all that apply)”

Source	%
Nature excursions	78.5
Zoos, botanical gardens, etc.	77
Internet	70
Science and nature museums	64.5
Popular science lectures	53
Art museums and exhibitions	46.5
Popular science literature	46.5
Festivals and conferences	38
Podcasts	37
Intellectual games	31
Scientific articles and literature	30
TV	28
Radio	11
Newspapers	7

Conclusion

The respondents express a desire for increased immersion in nature and recognize the importance of plant life for physical and mental well-being, as well as for survival and health. The phenomenon of “plant blindness” is noted, indicating a need for greater awareness and knowledge about the natural world, but education and profession related to biology reduce “plant blindness”. It is evident

that there is a significant demand for comprehensive information about the natural world and the need for greater access to interactive experiences and knowledge dissemination. Meeting this demand through various avenues, such as nature excursions, internet resources, and scientific museums, can effectively bridge the gap between urban dwellers and the natural environment, contributing to enhanced ecological awareness and a deeper understanding of the importance of biodiversity.

References

1. *The IUCN Red List of Threatened Species*. [Online] Available from: <https://www.iucnredlist.org/en> (Accessed: 3rd October 2024).
2. Allen, W. (2003) Plant Blindness. *BioScience*. 53(10). pp. 926–926. DOI: 10.1641/0006-3568(2003)053[0926:PB]2.0.CO;2
3. Stagg, B.C., Hetherington, L. & Dillon, J. (2024) Towards a model of plant awareness in education: a literature review and framework proposal. *International Journal of Science Education*. 47(4). pp. 539–559. DOI: 10.1080/09500693.2024.2342575
4. Blue, S., Hargiss, C.L.M., Norland, J.E., DeKeyser, E.S. & Comeau, P. (2023) Plant blindness represents the loss of generational knowledge and cultural identity. *Natural Sciences Education*. 51(1). e20106. DOI: 10.1002/nse2.20106
5. Bobo-Pinilla, J., Marcos-Walias, J., Iglesias, J.D. & Tapia, R.R. (2023) Overcoming plant blindness: are the future teachers ready? *Journal of Biological Education*. 58(11). pp. 1–15. DOI: 10.1080/00219266.2023.2255197
6. Norretranders, T. (1998) *The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size*. Viking.
7. Thomas, H., Ougham, H. & Sanders, D.L. (2021) Plant blindness and sustainability. *International Journal of Sustainability in Higher Education*. 23(1). pp. 41–57. DOI: 10.1108/IJSHE-09-2020-0335
8. Parsley, K.M. (2020) Plant awareness disparity: A case for renaming plant blindness. *PLANTS, PEOPLE, PLANET*. 2(6). pp. 598–601. DOI: 10.1002/ppp3.10153
9. Kubiakto, M., Fančovičová, J. & Prokop, P. (2021) Factual knowledge of students about plants is associated with attitudes and interest in botany. *International Journal of Science Education*. 43(9). pp. 1426–1440. DOI: 10.1080/09500693.2021.1917790
10. Wandersee, J.H. & Schussler, E.E. (1999) Preventing Plant Blindness. *The American Biology Teacher*. 61(2). pp. 82–86. DOI: 10.2307/4450624
11. Achurra, A. (2022) Plant blindness: A focus on its biological basis. *Frontiers in Education*. 7. 963448. DOI: 10.3389/educ.2022.963448
12. Margulies, J.D., Bullough, L.-A., Hinsley, A., Ingram, D.J., Cowell, C.R., Goettsch, B., Klitgård, B.B., Lavorgna, A., Sinovas, P. & Phelps, J. (2019) Illegal wildlife trade and the persistence of “plant blindness.” *Plants, People, Planet*. 1(3). pp. 173–182. DOI: 10.1002/ppp3.10053
13. Zani, G. & Low, J. (2022) Botanical priming helps overcome plant blindness on a memory task. *Journal of Environmental Psychology*. 81. 101808. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101808
14. Zhang, H., Zhang, Y., Song, Z. & Lew, A.A. (2019) Assessment bias of environmental quality (AEQ), consideration of future consequences (CFC), and environmentally responsible behavior (ERB) in tourism. *Journal of Sustainable Tourism*. 27. pp. 609–628. DOI: 10.1080/09669582.2019.1597102
15. Amprazis, A. & Papadopoulou, P. (2020) Plant blindness: a faddish research interest or a substantive impediment to achieve sustainable development goals? *Environmental Education Research*. 26. pp. 1065–1087. DOI: 10.1080/13504622.2020.1768225
16. Pedrera, O., Ortega, U., Ruiz-González, A., Diez, J.R. & Barrutia, O. (2021) Branches of plant blindness and their relationship with biodiversity conceptualisation among secondary students. *Journal of Biological Education*. 57. pp. 566–591. DOI: 10.1080/00219266.2021.1933133
17. Waylen, K.A. (2006) Botanic Gardens: Using Biodiversity to improve human well-being. *Medicinal Plant Conservation*. 12. 4–8. Ref. 25.
18. Lavrova, T.V. & Romanova, E.S. (2019) Possibilities of the Botanical Garden of Moscow State University in Support of Ecological and Botanical Education at Schools. *Biology in School*. 6. pp. 47–55.
19. Musinova, L.P., Kalugin, Yu.G. & Mitina, E.G. (2020) Excursion as an Organization Form of Educational Activities in Peter the Great Botanical Garden of Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences. *Samara Journal of Science*. 9(1(30)). pp. 259–267. DOI: 10.17816/snv202091308

20. Erhabor, N. (2018) Developing Leaders Through Mentoring in Environmental Education. *Electronic Green Journal*. 1(41). DOI: 10.5070/G314134454
21. Kahtz, A.W. (1995) Impact of Environmental Education Classes at Missouri Botanical Garden on Attitude and Knowledge Change of Elementary School Children. *HortTechnology Horttech*. 5(4). pp. 338–340. DOI: 10.21273/HORTTECH.5.4.338
22. Jose, S., Wu, C. & Kamoun, S. (2019) Overcoming plant blindness in science, education, and society. *Plants, People, Planet*. 1. pp. 169–172. DOI: 10.1002/ppp3.51
23. Balding, M. & William, K.J.H. (2016) Plant blindness and the implications for plant conservation. *Conservation Biology*. 30(6). pp. 1192–1199. DOI: 10.1111/cobi.12738
24. Barrable, A., Friedman, S. & Beloyianni, V. (2024) Nature connection in adulthood: The role of childhood nature experiences. *People and Nature*. 6(4). pp. 1571–1580. DOI: 10.1002/pan3.10657
25. Aota, Y. & Soga, M. (2024) Both frequency and diversity of childhood nature experiences are associated with self-reported pro-biodiversity behaviours in adulthood. *People and Nature*. 6(2). pp. 792–799. DOI: 10.21203/rs.3.rs-3291460/v1
26. Yanniris, C., Gavrilakis, C. & Hoover, M.L. (2023) Direct Experience of Nature as a Predictor of Environmentally Responsible Behaviors. *Forests*. 14(11), 2233. DOI: 10.20944/preprints202309.1730.v1
27. Stehl, P., White, M. P., Vitale, V., Pahl, S., Elliott, L.R., Fian L. & Bosch M. van den (2024) From childhood blue space exposure to adult environmentalism: The role of nature connectedness and nature contact. *Journal of Environmental Psychology*. 93. 102225. DOI: 10.1016/j.jenvp.2023.102225
28. Adamo, M., Sousa, R., Wipf, S., Correia, R. A., Lumia, A., Mucciarelli, M. & Mammola, S. (2022) Dimension and impact of biases in funding for species and habitat conservation. *Biological Conservation*. 272. 109636. DOI: 10.1016/j.biocon.2022.109636
29. Falk, D.A. (1992) From Conservation Biology to Conservation Practice: Strategies for Protecting Plant Diversity. In: Fiedler, P. L. & Jain, S. K. (eds) *Conservation Biology*. Boston. pp. 397–431. DOI: 10.1007/978-1-4684-6426-9_16
30. Arendt, F. & Matthes, J. (2014) Nature Documentaries, Connectedness to Nature, and Pro-environmental Behavior. *Environmental Communication*. 10. pp. 1–20. DOI: 10.1080/17524032.2014.993415
31. Doyle, G. (2022) In the garden: capacities that contribute to community groups establishing community gardens. *International Journal of Urban Sustainable Development*. 14(1). pp. 15–32. DOI: 10.1080/19463138.2022.2045997
32. Lindemann-Matthies, P., Junge, X. & Matthies, D. (2010) The influence of plant diversity on people's perception and aesthetic appreciation of grassland vegetation. *Biological Conservation*. 143(1). pp. 195–202. DOI: 10.1016/j.biocon.2009.10.003
33. Niigaaniin, M. & MacNeill, T. (2022) Indigenous culture and nature relatedness: Results from a collaborative study. *Environmental Development*. 44. 100753. DOI: 10.1016/j.envdev.2022.100753

Information about the authors:

Ermolaeva Yu.V. – researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: mistelfrayard@mail.ru, ORCID Id: 0000-0002-7421-2044

Zolina A.A. – Cand. Sci. (Biology), researcher, Department of Botanical Museum, Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: azolina@binran.ru, ORCID Id: 0000-0002-5860-2501

Varganova I.V. – junior researcher, Department of Agrobotany and In Situ Conservation of Plant Genetic Resources, N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: i.varganova@vir.nw.ru, ORCID Id: 0000-0002-5054-6410

The authors declare no conflicts of interests.

Сведения об авторах:

Ермолаева Ю.В. – научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия). E-mail: mistelfrayard@mail.ru, ORCID Id: 0000-0002-7421-2044

Золина А.А. – кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела Ботанический музей Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: azolina@binran.ru, ORCID Id: 0000-0002-5860-2501

Варганова И.В. – младший научный сотрудник отдела агроботаники и *in situ* сохранения генетических ресурсов растений Федерального исследовательского центра Всероссийский научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: i.varganova@vir.nw.ru, ORCID Id: 0000-0002-5054-6410

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

*The article was submitted 06.12.2024;
approved after reviewing 28.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

*Статья поступила в редакцию 06.12.2024;
одобрена после рецензирования 28.05.2025; принята к публикации 30.06.2025*

ПОЛИТОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 327.7
doi: 10.17223/1998863X/85/18

РЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОСТОРОННОСТЬ В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ ДОГОВОРА О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ¹

Екатерина Борисовна Михайленко

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, earslanova@urfu.ru*

Аннотация. Исследование посвящено роли региональных и коллективных акторов в переговорном процессе ДНЯО. Теории международного регионализма позволяют выделить три этапа регионализации в рамках конференций ДНЯО: «старый» регионализм, «новый» регионализм и гибридный регионализм. Все региональные акторы представлены в виде шести групп: региональные организации, региональные группы, межрегиональные политические группы, ядерные региональные организации, ядерные региональные группы и неформальные межрегиональные ядерные группы (коалиции). Выявлены особенности работы данных групп и их роль в режиме ядерного нераспространения.

Ключевые слова: регионализм, регионализация, многосторонность, ДНЯО, ядерные группы, коалиции, региональные акторы

Для цитирования: Михайленко Е.Б. Региональная многосторонность в переговорном процессе Договора о нераспространении ядерного оружия // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 214–224. doi: 10.17223/1998863X/85/18

POLITICAL SCIENCE

Original article

REGIONAL MULTILATERALISM IN THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS NEGOTIATING PROCESS

Ekaterina B. Mikhaylenko

*Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg,
Russian Federation, earslanova@urfu.ru*

¹ Данная статья выполнена на основе материалов диссертационного исследования Е.Б. Михайленко «Регионализм и регионализация в процессе формирования нового ядерного порядка: политические и институциональные аспекты» по специальности 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования. URL: <https://dissovet2.urfu.ru/mod/data/view.php?id=12&mode=single&page=503> (дата обращения: 01.02.2025).

Abstract. Nowadays regional actors are beginning to play an increasingly important role. Various groups and coalitions are involved in the nuclear nonproliferation regime, yet today we can observe completely new forms and practices of interaction. The aim of this article is to identify the features of regional multilateralism within the framework of the work of the review conferences of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). The study analyzes the documents of the NPT conferences from 2000 to 2022 and identifies the main types of regional and interregional interaction within the NPT negotiating process. The article draws a link between studies of international regionalism and regionalization within international institutions. Theories of regionalism have accumulated a large methodological toolkit that allows investigating the nature of the formation of regions and offers a large set of concrete examples of regional practices of states. Contemporary approaches allow examining the regionalization of the NPT negotiating process through the prism of “old”, “new”, and “comparative” regionalism. The first NPT conferences (1975–1990) practised the “old” type of regionalism, which was characterized by regionalization from above. The great powers managed it. The second period of the NPT conferences since 1995 demonstrates a “new” type of regionalism, characterized by regionalization from below, openness of forms, groups and coalitions. Regional multilateralism includes activities of regional actors, which involve not only states but also NGO representatives. The third period begins in the second decade of the 21st century and demonstrates the complexity and multi-layering of different types of regional groups and interregional coalitions. On the one hand, there is an increasing number of groups and coalitions with a less rigid organizational structure, network participation of states and NGOs; on the other hand, in the conditions of the crisis of the world order and international security system, old forms of regionalism in the form of blocs and coalitions governed by the great powers are revived. Regional multilateralism in the NPT negotiating process is unique. Groups of different levels emerge: regional organizations, regional groups, interregional political groups, nuclear regional organizations, nuclear regional groups, and informal interregional nuclear groups (coalitions). This is because the NPT regime itself does not have a rigid institutional or organizational form. However, the regionalization of the NPT negotiation process is becoming more complex with each cycle. The practice of creating regional and interregional groups makes the process of consensus building quite difficult. However, regionalization will continue, as this practice gives small and medium-sized states an opportunity to present their voice in the discussions.

Keywords: regionalism, regionalization, multilateralism, NPT, nuclear groups, coalitions, regional actors

For citation: Mikhaylenko, E.B. (2025) Regional multilateralism in the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons negotiating process. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 214–224. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/18

Введение

В современной мировой политике региональные и межрегиональные акторы начинают играть все большую роль. В международных институтах складывается «региональная многосторонность» благодаря участию региональных организаций в противовес «ортодоксальной многосторонности» [1], в центре которой находится ООН, где основными единицами являются национальные государства. В режиме ядерного нераспространения участвуют разные группы и коалиции [2, 3], тем не менее сегодня мы можем наблюдать совершенно новые формы и практики взаимодействия. Целью данной статьи является определить особенности региональной многосторонности в рамках работы конференций по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Применение подходов регионализма к практике выстраивания коалиций и групп в переговорном процессе в институтах ООН стало относительно но-

вым явлением в современных международных отношениях. Роли региональных акторов в международных институтах посвящены работы Д. Панке, С. Ланг, Видеманн [4, 5] и К. Лаатикайнен [6]. Исследователи рассматривают переговорный процесс в ООН как многослойную архитектуру, в которой участвуют различные региональные акторы (РА). В российском научном поле практически нет работ, посвященных исследованию роли групп в международных институтах. Частично исследуют данную проблематику А.А. Посаженникова и М.М. Лебедева в контексте рассмотрения технологии переговорного процесса [7], а также А.Е. Кутейников, анализирующий изменения в работе ООН [8]. В ходе исследования были проанализированы документы конференций ДНЯО с 2000 г. по 2022 г. и определены основные виды регионального и межрегионального взаимодействия внутри переговорного процесса ДНЯО.

Теоретические основы регионализма в международных институтах

Теории регионализма в международных отношениях являются одним из разработанных исследовательских направлений [9, 10]. Теории регионализма позволили сформировать большой практический материал о типах и видах региональных объединений. Региональные исследования включают различные теоретические школы: от классических подходов функционализма до когнитивистских и постструктуралистских подходов. Регионализм рассматривается как «идеи и политика, направленные на укрепление сотрудничества, интеграции или координации в рамках регионального пространства» [11]. Регионализация в международных институтах включает процесс формирования региональных групп (РГ), коалиций, а также деятельность региональных организаций (РО). Современные подходы позволяют исследовать регионализацию переговорного процесса ДНЯО через призму «старого», «нового», «сравнительного» регионализма [12].

ДНЯО был открыт к подписанию в 1968 г. Каждые пять лет после вступления в силу Договора в 1970 г. проходили конференции по рассмотрению действия Договора (далее – ОК). Через призму теорий регионализма можно выделить три практики регионализма в переговорном процессе ДНЯО. Первые конференции ДНЯО (1975–1990 гг.) характеризовались практикой регионализма «старого» типа, которой свойственны управляемая регионализация, формирование блоков или групп сверху, координация процессов великими державами. Второй период конференций ДНЯО начиная с 1995 г. демонстрирует регионализм «нового» типа, для которого характерна регионализация снизу, открытость форм, групп и коалиций. Региональная многосторонность включает деятельность РА, в которых участвуют не только государства, но и представители НПО. Третий период начинается со второй декады XXI в. и демонстрирует сложность и многослойность различного типа региональных групп и межрегиональных коалиций. С одной стороны, появляется все большее количество групп и коалиций с менее жесткой организационной структурой, сетевым участием государств и НПО, с другой стороны, в условиях кризиса миропорядка и системы международной безопасности возрождаются старые формы регионализма в виде блоков и коалиций, управляемых великими и значимыми державами.

Регионализм первых конференций ДНЯО

Региональная практика ООН стала основой для проведения первых конференций ДНЯО. Организационная модель, применяемая для ОК, предусматривала три этапа работы делегаций: пленарные заседания, работу в Главных комитетах и работу над заключительным документом. На начальных этапах работы ОК создавались временные группы и проводились встречи представителей групп, созываемые Председателем ОК. Центральным структурным элементом ОК ДНЯО 1975 г. и дальнейших конференций было создание трех фракций, аналогичных тем, которые существовали в структуре ООН: Группа западноевропейских и других стран (Западная группа); Восточная группа (СССР и страны Организации Варшавского Договора (ОВД)); Движение нейтральных и неприсоединившихся стран (ДН) [2].

Целью создания групп на первом этапе было управление конференциями ДНЯО. Это был механизм для разрешения разногласий. Для этого периода был характерен регионализм старого типа, предполагающий активное участие великих держав из числа государств, обладающих ядерным оружием (ЯОГ). Управление процессом преимущественно шло сверху. Целью регионализма было сокращение числа сторон, участвующих в важных дискуссиях.

Западная группа включала 25 стран-участниц НАТО и государств, входящих в систему безопасности США («ядерного зонтика»), с хорошо развитой экономикой, сильной взаимозависимостью с точки зрения торговли, безопасности, общих интересов и ценностей. Это страны с крупнейшими предприятиями атомной энергетики. Координация общей позиции в данной группе зависела от США.

Восточная группа до 1991 г. включала СССР и страны ОВД. В годы холодной войны эта группа возглавлялась СССР и была связана общей политической идеологией. По многим вопросам она противостояла Западной группе. В 1990-х гг. группа стала формальным объединением для выдвижения кандидатов на позиции председателей комитетов ОК ДНЯО.

Движение неприсоединения включало государства, не связанные ни с одной из двух предыдущих групп. Его членами были и остаются в основном развивающиеся страны, которые рассматривали ДНЯО как важное средство реализации своих индивидуальных и коллективных интересов, одновременно расширяя возможности получения выгоды от мирного использования атомной энергии. Это самая большая и наименее сплоченная группа ДНЯО. Отсутствие сильного руководства и координации привело к незначительным результатам при формировании общей позиции ДН [13].

В конце холодной войны дальнейшая регионализация режима усилилась. Страны-участницы ДНЯО разделились на четыре группы: ДН, Восточная группа, Западная группа и «Белые ангелы», включающие в себя малые и средние государства Запада [14. Р. 7]. Миссией последних стала посредническая роль между группами ДНЯО, особенно в вопросах мирного использования атомной энергии. Позднее группа стала называться «Венской группой десяти» [15. Р. 17].

Первые 25 лет жизненного цикла ОК ДНЯО стали завершением классического варианта «старого регионализма». Расхождение интересов между странами ДН и ЯОГ, активная роль НПО в работе ОК ДНЯО, а также нера-

ботоспособность традиционных фракций привели к дальнейшей регионализации.

«Новый» регионализм ДНЯО

В 1990-х гг. регионализация переговорного процесса ДНЯО усилилась. Наблюдалось сближение позиций Восточной и Западной групп, учитывая тот факт, что многие государства Восточной группы хотели стать (и фактически позже стали) членами НАТО и/или Европейского союза. Три фракции времен холодной войны (ДН, Западная и Восточная группы) утратили монолитность. Как следствие, внутри этих групп начали формироваться региональные и межрегиональные группировки по интересам.

Появляются РА разного уровня: региональные организации, региональные группы, межрегиональные политические группы, ядерные региональные организации, ядерные региональные группы и неформальные межрегиональные ядерные группы (коалиции).

Региональные организации (РО) получили возможность представлять коллективную позицию по вопросам ядерного нераспространения и разоружения. На заседаниях ОК в качестве наблюдателей и участников присутствовали ОПАНАЛ, АБАКК, ЕС, ЛАГ, НАТО и др. Задачей РО является решение не только ядерных вопросов, но и других задач, таких как экономическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и т.п. Как правило, эти организации являются коллективным голосом определенных регионов, но в отличие от региональных групп их состав более ограничен по количеству участников. Часть РО уделяет большее внимание вопросам региональной безопасности в рамках ДНЯО, например, АСЕАН, ЛАГ, МЕРКОСУР и др. Если регион входит в зону, свободную от ядерного оружия (ЗСЯО), то эти РО поддерживают прогресс по реализации задач данной зоны.

ЕС является наиболее активным участником на заседаниях ОК ДНЯО, за ним следуют Лига Арабских государств, АСЕАН и государства ФТО. РО влияют как на регионализацию переговорного процесса, так и на формирование повестки дня в рамках ядерного порядка. Активность и сбалансированность позиции РО зависят от количества участников и направленности организации. Если РО является большой по количеству участвующих стран, то в силу сложности выстраивания общей позиции по вопросам ядерной безопасности она представляет общую позицию только по ограниченному кругу вопросов. Расхождение во мнениях может стать препятствием для формулирования консолидированной позиции.

Региональные группы (РГ) являются еще одним коллективным актором института ДНЯО. Отсутствие институциональной основы и большое количество участников групп ограничивает число тем, которые выдвигаются в качестве согласованных позиций для обсуждения на ОК ДНЯО. РГ сконцентрированы на решении проблем собственного региона. Арабская группа представляет документы и предложения по реализации зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке (ЗСОМУ). Африканская группа традиционно публикует документы, посвященные собственной региональной ЗСЯО и вопросам мирного атома. В целом региональные группы испытывают те же проблемы, что и РО – большое количество участников затрудняет выработку общей позиции.

Движение неприсоединения остается самой активной *межрегиональной политической группой (МРПГ)*. В ДН входит 120 государств, 17 государств-наблюдателей и 10 организаций-наблюдателей. Перед каждой ОК ДНЯО ДН готовит около 10 документов, представляющих позицию ДН по основным вопросам ДНЯО: ядерному разоружению, ядерным испытаниям, гарантиям безопасности, ЗСОМУ на Ближнем Востоке, использованию ядерной энергии в мирных целях. ДН обвиняют ЯОГ в том, что они не прилагают усилий для обеспечения безусловных, недискриминационных, универсальных гарантий безопасности для НЯОГ. ДН проводит закрытые заседания на полях ОК ДНЯО. Внутри ДН существуют проблемы согласования вопросов разными региональными группами, а также есть претензии на региональное лидерство таких государств, как ЮАР, Египет, Иран и Индонезия [16]. Все это создает сложности для достижения консенсуса внутри ДН.

К *ядерным региональным организациям (ЯРО)* можно отнести межправительственные региональные организации, созданные для решения вопросов ядерной безопасности и нераспространения (ОПАНАЛ, АБАКК, АФКОН). Они решают вопросы использования мирного атома, ядерного экспорта и сопровождают работу своих региональных ЗСЯО.

В рамках ст. VII ДНЯО предусмотрено создание региональных зон, свободных от ядерного оружия. Группы государств, подписавших договор о создании ЗСЯО, можно отнести к категории *ядерных региональных групп*. В ОК работают шесть таких групп: страны-участницы Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне; страны-участницы Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана; страны-участницы Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии; страны-участницы Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке; страны-участницы Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и страны, участвующие в создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Как правило, данные группы публикуют отчеты о реализации положений собственных ЗСЯО.

Ядерные межрегиональные группы (ЯМРГ) появляются в конце холодной войны, но пик их активности приходится к концу второго периода ОК ДНЯО. Число ЯМРГ постоянно растет. Мы предлагаем разделить их на четыре группы согласно целеполаганию: группы, работающие в области экспортного контроля и мирного атома (Венская группа десяти, Комитет Цангера, Группа ядерных поставщиков); группы-медиаторы, отвечающие за реализацию статей ДНЯО (КНПД, Инициатива в области нераспространения и разоружения (ИОНР), Стокгольмская инициатива, Группа единомышленников); минилатеральные группы, направленные на развитие партнерства и верификации (КУАД и АУКУС); группы, выступающие за реализацию статьи VI ДНЯО в области разоружения, продвижение гуманитарных вопросов и запрещение ядерного оружия (страны, поддерживающие Договор о запрещении ядерного оружия, Гуманитарная инициатива).

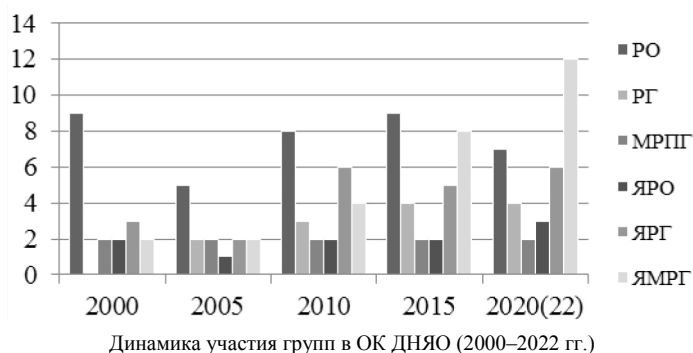
Второй этап продемонстрировал, что регионализм стал носить открытый характер. Государства участвуют в нескольких РА одновременно. Количество РА продолжает расти. Инициаторами создания групп и коалиций становятся малые и средние государства.

Региональная и межрегиональная многосторонность ДНЯО

Третий этап ОК ДНЯО демонстрирует новый тип регионализации, который приобретает все более сложные формы. Практически все государства-участники ДНЯО являются членами хотя бы одной группы. Наиболее активными являются страны политического Юга. В десяти группах состоят Алжир, Египет, Ливия, Джибути, Чили. В девяти – Мавритания, Гайана, Марокко, Новая Зеландия, Судан. ЯОГ проявляют сдержанное участие в группах. США и Великобритания участвуют в четырех группах, работающих на полях ДНЯО, РФ и Франция – в трех, КНР – в двух. Активное участие малых и средних государств говорит о попытке усилить свой голос за счет участия в РА, получить доступ к информации, влиять на процедуры принятия решений.

Участие РА в обзорных циклах ДНЯО демонстрирует следующие тенденции (рисунок): во-первых, РО и РГ традиционно участвуют на полях ОК ДНЯО; во-вторых, наблюдается активизация ЯРО, ЯРГ и ЯМРГ; в-третьих, наблюдается рост числа ЯМРГ, все большее количество групп и коалиций продолжает формироваться.

Традиционные РО, РГ и МРПГ являются большими по количеству участников. Это требует большего времени на пересогласование, если позиция меняется, поэтому такие РА, как ЕС и ДН, публикуют значительное количество рабочих документов и общих заявлений, но их позиция мало меняется от одной ОК к другой. Этим объясняется появление все большего числа ЯМРГ, нацеленных на решение отдельных вопросов по реализации статей ДНЯО.



Новой тенденцией становится увеличение числа совместных заявлений двух стран и более по какому-либо вопросу. В 2005 г. было 9 совместных выступлений, в 2010 г. – 20, а в 2022 г. – 27. Совместные заявления могут демонстрировать важность определенного вопроса, например, связи образования и ядерного разоружения или гуманитарных последствий применения ядерного оружия. Страны НАТО не выступают отдельной группой, но публикуют совместные заявления.

Активное участие представителей НПО в группах и коалициях становится еще одной формой взаимодействия. С 2000 г. НПО получили возможность официально участвовать в качестве наблюдателей на ОК ДНЯО. Участие НПО в совместных с государствами мероприятиях на полях ДНЯО привели к формированию еще одного типа регионализма – асимметричного, когда РА включает не только государства, но и НПО.

Третий период регионализации демонстрирует гибридные формы взаимодействия. Количество РА растет от одной ОК к другой. Практически каждое государство-участник ДНЯО является членом более чем одной группы. С одной стороны, режим ДНЯО становится менее управляемым в сравнении с предыдущим периодом, с другой стороны, появляются новые группы, претендующие на роль посредников между расходящимися интересами стран политического Севера и политического Юга.

Заключение

Региональная многосторонность в переговорном процессе ДНЯО является уникальной. Такого количества формальных и неформальных РА нет ни в одном институте ООН. Это связано с тем, что сам режим ДНЯО не имеет жесткой институциональной или организационной формы. Поэтому наблюдается активизация региональных и межрегиональных групп в обсуждении вопросов ядерного нераспространения. Однако регионализация переговорного процесса ДНЯО с каждым циклом становится все более сложной. Практически каждое государство-участник ДНЯО участвует в более чем двух РА. На современном этапе сосуществуют разные формы регионализации и регионализма. Регионализация все больше приобретает неинституционализированный характер. Практика создания региональных и межрегиональных групп для усиления позиций в переговорном процессе Обзорной конференции ДНЯО делает достаточно сложным процесс достижения консенсуса. Однако регионализация будет продолжаться, так как такой формат дает возможность малым и средним государствам представить свой голос в обсуждении.

Список источников

1. *Hettne B., Söderbaum F.* The UN and Regional Organizations in Global Security: Competing or Complementary Logics? // *Global Governance*. 2010. Vol. 12, № 3. P. 227–232.
2. *Dhanapala J.* Multilateral Diplomacy and the NPT: An Insider's Account. Geneva : UNIDIR, 2005. 190 p.
3. *Mukhatzhanova G., Potter W.* Coalitions to Watch at the 2015 NPT Review Conference // *Nuclear Threat Initiative*. February 23, 2015. URL: <https://www.nti.org/analysis/articles/coalitions-watch-2015-npt-review-conference/> (дата обращения: 01.12.2025).
4. *Panke D.* Regional Actors in International Security Negotiations // *European Journal for Security Research*. 2017. Vol. 2, № 1. P. 5–21. doi: 10.1007/s41125-016-0010-4
5. *Panke D., Lang S., Wiedemann.* State and Regional Actors in Complex Governance Systems. Exploring Dynamics of International Negotiations // *British Journal of Politics and International Relations*. 2017. Vol. 19, № 1. P. 91–112. doi: 10.1177/1369148116669904
6. *Laatikainen K.V.* Conceptualizing Groups in UN Multilateralism: The Diplomatic Practice of Group Politics // *The Hague Journal of Diplomacy*. 2017. Vol. 12, № 2. P. 113–137. doi: 10.1163/1871191x-12341359
7. *Посаженникова А.А., Лебедева М.М.* Малые государства Европы на международных переговорах (на примере стран Бенилюкс) // *Управление и политика*. 2023. Т. 2, № 4. С. 37–52. doi: 10.24833/2782-7062-2023-2-4-37-52
8. *Кутейников А.Е.* ООН через 30 лет после холодной войны: теоретический анализ изменений международной организации // *Международная аналитика*. 2022. Т. 13, № 1. С. 24–47. doi: 10.46272/2587-8476-2022-13-1-24-47
9. *Воскресенский А.Д.* Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и региональных трансформаций в современных международных отношениях // *Сравнительная политика*. 2012. Т. 3, № 2. С. 30–58.
10. *Söderbaum F.* Early, Old, New and Comparative Regionalism: The Scholarly Development of the Field // *KFG Working Paper Series / ed. by the Kolleg-Forschergruppe (KFG) "The Transformative Power of Europe"*, Freie Universität Berlin. Oct. 2015. Iss. 64. 27 p. doi:

0.2139/ssrn.2687942 URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687942 (accessed: 01.04.2025).

11. Schouten P. Theory Talk #19: Frederik Söderbaum on the waning State, conceptualizing the Region and Europe as a Global Actor // Theory Talks, 2008. URL: <http://www.theorytalks.org/2008/10/theory-talk-19.html> (accessed: 10.04.2025).

12. Лагутина М.Л., Михайленко Е.Б. Регионализм в глобальную эпоху: обзор зарубежных и российских подходов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2020. Т. 20, № 2. С. 261–278. doi: 10.22363/2313-0660-2020-20-2-261-278

13. Mukhatzhanova G., Potter W. Nuclear Politics and the Non-Aligned Movement Principles vs Pragmatism. Abingdon : Routledge for the Intern. Inst. for Strategic Studies, 2012. 191 p.

14. Simpson J., Howlett D. The Future of the Non-Proliferation Treaty: an Overview // The Future of the Non-Proliferation Treaty. Southampton Studies in International Policy / ed. by J. Simpson, D. Howlett. London : Palgrave Macmillan, 1995. P. 3–10.

15. Grand C. The European Non-Proliferation Acquis // The European Union And The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2000. P. 6–20. URL: <https://www.jstor.org/stable/resrep06962.7> (accessed: 23.02.2025).

16. Михайленко Е.Б., Порядина Е.С. Роль Движения неприсоединения в рамках переговорного процесса ДНЯО // Вестник МГИМО университета. 2022. Т. 15, № 3. С. 98–114. doi: 10.24833/2071-8160-2022-3-84-98-114

References

1. Hettne, B. & Söderbaum, F. (2010) The UN and Regional Organizations in Global Security: Competing or Complementary Logics? *Global Governance*. 12(3). pp. 227–232.

2. Dhanapala, J. (2005) *Multilateral Diplomacy and the NPT: An Insider's Account*. Geneve: UNIDIR.

3. Mukhatzhanova, G. & Potter, W. (2015) Coalitions to Watch at the 2015 NPT Review Conference. *Nuclear Threat Initiative*. 23rd February. [Online] Available from: <https://www.nti.org/analysis/articles/coalitions-watch-2015-npt-review-conference/> (Accessed: 1st December 2025).

4. Panke, D. (2017). Regional Actors in International Security Negotiations. *European Journal for Security Research*. 2(1). pp. 5–21. DOI: 10.1007/s41125-016-0010-4

5. Panke, D., Lang, S. & Wiedemann, A. (2017) State and Regional Actors in Complex Governance Systems. Exploring Dynamics of International Negotiations. *British Journal of Politics and International Relations*. 19(1). pp. 91–112. DOI: 10.1177/1369148116669904

6. Laatikainen, K.V. (2017) Conceptualizing Groups in UN Multilateralism: The Diplomatic Practice of Group Politics. *The Hague Journal of Diplomacy*. 12(2). pp. 113–137. DOI: 10.1163/1871191x-12341359

7. Posazhennikova, A.A. & Lebedeva, M.M. (2023) Small States of Europe in International Negotiations (Case of Benelux Countries). *Upravlenie i Politika*. 2(4). pp. 37–52. (In Russian). DOI: 10.24833/2782-7062-2023-2-4-37-52

8. Kuteynikov, A.E. (2022) The United Nations 30 Years After the Cold War: A Theoretical Analysis of Changes in the International Organization. *Mezhdunarodnaya Analitika – Journal of International Analytics*. 13(1). pp. 24–47. (In Russian). DOI: 10.46272/2587-8476-2022-13-1-24-47

9. Voskressenski, A.D. (2012). Concepts of Regionalization, Regional Subsystems, Regional Complexes and Regional Transformations in Contemporary IR. *Sravnitel'naya Politika*. 3(2). pp. 30–58. (In Russian). DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-30-58

10. Söderbaum, F. (2015) Early, Old, New and Comparative Regionalism: The Scholarly Development of the Field. In: Kolleg-Forschergruppe (KFG) “The Transformative Power of Europe“, Freie Universität Berlin. (ed.) *KFG Working Paper Series*. 64. DOI: 0.2139/ssrn.2687942

11. Schouten, P. (2008) *Theory Talk #19: Frederik Söderbaum on the waning State, conceptualizing the Region and Europe as a Global Actor*. [Online] Available from: <http://www.theorytalks.org/2008/10/theory-talk-19.html> (Accessed: 10th April 2025).

12. Lagutina, M.L. & Mikhaylenko, E.B. (2020) Regionalism in Global Era: Overview of Foreign and Russian Approaches. *Vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhy Narodov. Ser.: Mezhdunarodnye Otnosheniya*. 20(2). pp. 261–278. DOI: 10.22363/2313-0660-2020-20-2-261-278

13. Mukhatzhanova, G. & Potter, W. (2012) *Nuclear Politics and the Non-Aligned Movement Principles vs Pragmatism*. Abingdon: Routledge for the International Institute for Strategic Studies.

14. Simpson, J. & Howlett, D. (1995) The Future of the Non-Proliferation Treaty: An Overview in The Future of the Non-Proliferation Treaty. In: Simpson, J. & Howlett, D. (eds) *Southampton Studies in International Policy*. London: Palgrave Macmillan. pp. 3–10.

15. Grand, C. (2000) The European Non-Proliferation Acquis. In: *The European Union and The Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS). pp. 6–20. [Online] Available from: <https://www.jstor.org/stable/resrep06962.7> (Accessed: 23rd February 2025).

16. Mikhaylenko, E.B. & Poriadina, E.S. (2022) The Non-Aligned Movement and the NPT Review Process. *Vestnik MGIMO Universiteta*. 15(3). pp. 98–114. (In Russian). DOI: 10.24833/2071-8160-2022-3-84-98-114

Список сокращений и аббревиатур

АБАКК	Бразильско-Аргентинское агентство по учету и контролю ядерных материалов (АВАСС)
АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АУКУС	Партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США в области (AUKUS)
АФКОН	Африканская комиссия по ядерной энергии (AFCONE)
ДН	Движение неприсоединения
ДНЯО	Договор о нераспространении ядерного оружия
ЕС	Европейский союз
ЗСОМУ	Зона, свободная от оружия массового уничтожения
ЗСЯО	Зона, свободная от ядерного оружия
ИОНР	Инициатива в области нераспространения и разоружения
КНПД	Коалиция за новую повестку дня
КУАД	Партнерство по проверке ядерного разоружения (Норвегия, Швеция, Великобритания и США) QUAD
ЛАГ	Лига арабских государств
МЕРКОСУР	Общий рынок стран Южной Америки
МРПГ	Межрегиональная политическая группа
НАТО	Организация Североатлантического договора
НПО	Неправительственная организация
НЯОГ	Государство, не обладающее ядерным оружием
ОВД	Организация Варшавского договора
ОК ДНЯО	Конференция по пересмотру положений Договора о ядерном нераспространении (Обзорная конференция ДНЯО)
ООН	Организация Объединенных Наций
ОПНАЛ	Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (OPANAL)
РА	Региональный актор
РГ	Региональная группа
РО	Региональная организация
СССР	Союз Советских Союзных Республик
США	Соединенные Штаты Америки
ФТО	Форум Тихоокеанских островов
ЮАР	Южноафриканская республика
ЯМРГ	Ядерная межрегиональная группа
ЯОГ	Государство, обладающее ядерным оружием
ЯРГ	Ядерная региональная группа
ЯРО	Ядерная региональная организация

Сведения об авторе:

Михайленко Е.Б. – доктор политических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: earslanova@urfu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Mikhaylenko E.B. – Dr. Sci. (Political Science), associate professor at the Department of Theory and History of International Relations, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: earslanova@urfu.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 14.05.2025;
одобрена после рецензирования 29.05.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 14.05.2025;
approved after reviewing 29.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 329(1-43)

doi: 10.17223/1998863X/85/19

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ: ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Сергей Александрович Шпагин

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
shpagin1972@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена характеристике региональных партийных систем как актуального политического института. Описан процесс формирования в политической науке концепции партийных систем на субнациональном уровне, обосновано их отличие от национальных партийных систем, проанализированы наиболее распространенные определения. Предложены авторское определение и дескриптивная характеристика региональных партийных систем.

Ключевые слова: политическая конкуренция, региональная партийная система, федерализованная партийная система

Для цитирования: Шпагин С.А. Региональные партийные системы: формирование концепции // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 225–234. doi: 10.17223/1998863X/85/19

Original article

REGIONAL PARTY SYSTEMS: CONCEPT FORMATION

Sergey A. Shpagin

*National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,
shpagin1972@mail.ru*

Abstract. The article characterizes regional party systems as a phenomenon of modern politics. The author proceeds from the concept of a region as an intrastate subnational territorial unit. The formation of the concept of party systems in political science is described, which began with V. O. Key's book on the dominance of the Democratic Party in the southern states of the United States in the 1920s–1940s. Key's conclusions on the one-party specifics of the southern states, sharply distinguishing them from the classical two-party system of the federal level, later fit well into R. Dahl's concept of multi-level polyarchies; however, they were criticized by such well-known experts in the field of comparative study of party systems as G. Sartori and A. Ware. In particular, Sartori called “unit-jump fallacies” any attempts to single out regional party systems, especially one-party ones. However, he recognized that the US party system has a two-tier structure and extended the model of a pre-dominant party system to the southern states. Equally inconsistent was criticism from Ware, who noted differences in party politics at the federal and regional levels, but insisted that they did not matter to the development of national party systems. Only at the beginning of the 21st century L. Bardi and P. Mair substantiated the possibility of forming their own party systems in subfederal regions and showed their differences from national party systems. Also of great importance is the broader concept of “federalized party system”, which was introduced by E. Gibson and J. Suarez-Cao. The federalized party system consists of national and subnational (regional and local) party systems. The author's analysis of the most common definitions of the regional party system shows the need to adjust them. Taking into account the conclusions of theoretical and

empirical studies, the article proposes the author's definition and description of regional party systems.

Keywords: political competition, regional party system, federalized party system

For citation: Shpagin, S.A. (2025) Regional party systems: concept formation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 225–234. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/19

«Эпоха партийных демократий прошла», – утверждал в своей последней книге выдающийся ирландский политолог Питер Мэйр [1. С. 19]. Действительно, в XXI в. партиям все труднее формировать стабильные правительства и парировать критику популистов, численность их членов сокращается, а многие привычные функции переходят к общественным движениям, группам интересов и СМИ. Вместе с тем в контексте «глокализации» политические партии обретают новые возможности организации политического участия и осуществления государственной власти на наднациональном и субнациональном уровнях. В условиях возрастания роли регионов в социально-экономической и политической жизни общества, регионализации многих государств формирование в субнациональных регионах не только самостоятельных органов власти, но и собственных партийных систем становится вполне объяснимой и закономерной тенденцией общественного развития. Эта тенденция требует адекватного отражения в политической науке, выработки ею необходимого понятийного аппарата.

Понятие региональной партийной системы не является столь же привычным для политической науки, как понятия партии или национальной партийной системы. Этого понятия нет ни в американской «Энциклопедии политической науки» [2], ни в еще более обширной «Международной энциклопедии политической науки» [3], хотя партиям и партийным системам в этих фундаментальных изданиях уделено немало страниц. Между тем значение этого понятия, как и явления, которое им обозначается, представляется довольно значительным. Более того, по отдельности партийные системы многих субнациональных регионов уже становились объектом исследования [4–8]. Вместе с тем уровень теоретического осмысления этого явления остается еще невысоким. Ни в российской, ни в зарубежной политологии не сложилось единого представления ни о сущности региональной партийной системы, ни о ее структуре, ни о том, какие типы партийных систем складываются на региональном уровне. А без общности такого понимания крайне сложно достичь взаимопонимания в трактовке и использовании результатов региональных исследований.

Целью данной статьи является конкретизация понятия «региональная партийная система», выведение его определения и наиболее значимых признаков на основе логического анализа научного дискурса и сравнительного анализа политических институтов. С учетом растущего значения роли региональных партий и партийных систем в политике XXI в. решение этой задачи представляется актуальным. При этом сразу следует оговориться, что понятие «региональный» будет применяться в данной работе только в отношении субнациональных регионов – внутригосударственных административно-территориальных единиц.

Первым шагом по пути идентификации региональных партийных систем принято считать работу Валдемара Ки, посвященную партийной политике в

11 южных штатах США в период 1920–1940-х гг. Доминирование в этих штатах Демократической партии на выборах президента, конгресса и губернаторов было настолько сильным, что воспринималось современниками как проявление однопартийности. Однако В. Ки пошел дальше. Он сделал вывод о том, что «Юг, в отличие от большинства остального демократического мира, на самом деле не имеет политических партий... Фактически Демократическая партия в большинстве штатов Юга – это просто холдинговая компания для скопления временных враждующих фракций, большинство из которых далеко не соответствуют стандартам постоянства, сплоченности и ответственности, которые характеризуют политическую партию» [9. Р. 16].

Однако вывод об институциональной неоформленности политической конкуренции в южных штатах не помешал исследователю далее предложить их классификацию по степени близости к двухпартийной системе. В первую группу он включил штаты Вирджиния, Северная Каролина и Теннесси, где оппозиция республиканцев способствовала созданию в составе местного отделения Демократической партии одной жестко организованной фракции и второй, гораздо менее сплоченной. Вторую группу составили штаты Джорджия и Луизиана, в которых конкуренция с республиканцами была намного слабее, а относительно сплоченные фракции большинства были построены вокруг сильных лидеров. Оставшиеся шесть штатов (Южная Каролина, Алабама, Миссисипи, Арканзас, Техас и Флорида) отличались гораздо более хаотичной фракционной политикой. Организации демократов в них демонстрировали различные степени полифракционности, и борьба за контроль над штатом между фракциями напоминала многопартийную систему [9. Р. 299–301]. Фактически это была первая типология региональных партийных систем в истории политической науки, составленная на американском материале.

Выводы В. Ки об однопартийной специфике южных штатов, резко отличающей их от классической двухпартийной системы федерального уровня, а также о типологическом разнообразии однопартийных штатов имели большой резонанс среди исследователей американской политики. Одновременное существование конкурентной партийной политики на федеральном уровне и неконкурентной – на уровне штатов в одной стране надолго стало своеобразной головоломкой для исследователей партийных систем [10. Р. 22].

Один из наиболее авторитетных способов решения этой головоломки предложил в начале 1970-х гг. Роберт Даль. Он указал на то, что гетерогенный характер современных полиархий допускает возможность сочетания различных политических режимов на разных уровнях политической системы. Будучи конкурентными на национальном уровне, такие демократические системы на субнациональном уровне вполне способны включать в себя ряд гегемоний и олигархий. Расширяя это положение, Р. Даль предложил свою классификацию стран по распространенности политической конкуренции на тех или иных уровнях политики. Наряду с полностью конкурентными режимами и полными гегемониями как их противоположностью, эта классификация включает в себя два смешанных типа. В первом из них политическая конкуренция присутствует на национальном уровне, но отсутствует на субнациональном, во втором, наоборот, наблюдается конкурентный режим на уровне субнациональных организаций при гегемонии на национальном уровне [11. С. 19]. Такой подход к анализу соотношения политических ре-

жимов на национальном и субнациональном уровне открывал широкие возможности не только для сравнительного анализа федеративных систем, но и для осмысления политической конкуренции и партийных систем в регионах.

К сожалению, долгое время и эта концепция не находила отклика среди исследователей в области сравнительной политологии. Так, классик европейской и американской партологии Джованни Сартори, не вступая в прямую полемику с Р. Далем, критиковал вывод В. Ки об однопартийности южных штатов. Подчеркивая несuverенность штатов и других субнациональных образований, Сартори считал возможным анализировать системные свойства межпартийной конкуренции только на общегосударственном уровне. Попытки выделения региональных партийных систем, тем более – однопартийных (что ставило под вопрос эффективность демократических механизмов правления в США) он называл «ошибкой скачка единиц измерения» (*unit jump fallacy*) [12. Р. 73]. В то же время Сартори обращал внимание на двухуровневую структуру партийной системы США, а политику в тех штатах, которые В. Ки считал однопартийными, описывал как «ситуацию, в которой две партии... недостаточно конкурентоспособны, чтобы произвести смену власти» [12. Р. 74]. Опровергая правомерность использования категории «однопартийных штатов» для Юга США, Сартори признавал, что на самом деле там действует модель, соответствующая преобладающей партийной системе, т.е. распространил на регионы ту же логику анализа межпартийных отношений, которую применял к национальным партийным системам [12. Р. 74].

Еще более откровенно и не менее противоречиво выразился Алан Уэр: «В любой федеративной стране вполне могут быть значительные различия между политикой и интересами, представленными партией на национальном уровне, и интересами, представленными на уровне штатов... Но это не означает, что мы должны включать модели систем штатов-участников в нашу классификацию национальной партийной системы» [13. Р. 183]. Фактически Уэр тем самым признал существование региональных партийных систем, но продолжал настаивать на том, что они не имеют значения для развития национальных партийных систем, и поэтому отказывался предоставить им место в своей классификации.

Лишь в начале нового века сравнительная политология всерьез обращается к анализу партийных систем в регионах. Осмысление специфики межпартийной конкуренции на общегосударственном и субнациональных уровнях приводит к появлению концепций «многоуровневой партийной организации» [14] и «интегрированных многоуровневых партий» [15]. Анализируя политический опыт федераций (Бельгия и Канада) и автономных регионов (Страна Басков в Испании), Лучано Барди и Питер Мэйр пришли к выводу о том, что «регионы или другие субфедеральные единицы могут создавать свои собственные, отличные друг от друга партийные системы» [16. Р. 157]. Особенности национальной и региональной партийных систем они видели в том, какие партии представлены в политике того или иного региона и страны в целом, а также в различии коалиционных стратегий этих партий на разных уровнях политической системы. Кроме того, Л. Барди и П. Мэйр обращали внимание на значение представленности партий на трех аренах политической конкуренции – электоральной, парламентской и правительственной [16. Р. 158–159].

Наконец, Эдвард Гибсон и Хульета Суарес-Као предложили вписать понятие субнациональной партийной системы в контекст более широкого понятия «*федерализованная партийная система*» (*federalized party system*). Этим понятием они обозначили систему, «в которой действует более одной территориально разделенной партийной системы» [10. Р. 28]. Федерализованная партийная система состоит из национальной и субнациональных партийных систем, причем последние организованы для получения должностей на субнациональном уровне. Составными частями и тех и других являются политические партии, которые могут работать одновременно в более чем одной партийной системе. Необходимым условием существования субнациональной партийной системы признается наличие местных администраций или мест в законодательных органах, за которые могут конкурировать политические партии. Такая конкуренция регулируется местными законодательствами, которые являются специфическими для субнациональной юрисдикции [10. Р. 29]. Поскольку субнациональным является не только региональный, но и муниципальный уровень, то в понятие субнациональной партийной системы Э. Гибсон и Х. Суарес-Као входят как региональные, так и локальные партийные системы. Это положение открывает широкие перспективы для исследования партийных систем в федерациях.

Изучением теоретических основ региональных партийных систем занимались и отечественные исследователи. Однако предложенные ими варианты определения региональной партийной системы трудно считать удовлетворительными. Так, П.Е. Лёвин называет региональной партийной системой «систему взаимодействий, складывающуюся в результате межпартийной конкуренции в рамках субнационального измерения политической системы (на электоральной, парламентской или правительственной арене), для которой характерно наличие определенного числа бинарных интеракций, различающихся по своей форме» [17. С. 61]. Однако субнациональное измерение охватывает не только региональный, но и локальный уровень политики. Явно переоценено в этой формулировке и значение «бинарных интеракций»: как на национальном, так и на региональном уровне взаимодействие может происходить не только между отдельными партиями, но и между коалициями.

Гораздо точнее определение Я.Ю. Шашковой, которая под региональной партийной системой понимает «совокупность отношений между существующими в регионах отделениями политических партий и их отношений с органами государственной власти» [18. С. 3]. Указание на взаимодействие партий не только друг с другом, но и с органами власти имеет принципиальное значение для любой партийной системы, а в российских условиях это взаимодействие нередко становится решающим фактором успешности или даже выживания партий. Вместе с тем не все филиалы партий можно считать включенными в партийную систему региона. Если отделение партии не принимает участия в выборах региональных органов власти, то его включенность в региональную партийную систему весьма сомнительна. Причем причина неучастия в данном случае имеет второстепенное значение: местное партийное руководство может само отказаться от выдвижения своих кандидатов или эти кандидаты (список кандидатов) могут быть не допущены к участию в выборах решением соответствующих органов власти. В обоих случаях отсутствие партии на электоральной арене региона закрывает ей доступ

к остальным аренам политического представительства – парламентской и правительственной. Включенными в партийную систему оказываются только региональные отделения партий, участвующие в выборах.

Важные выводы для анализа региональных партийных систем следуют из результатов эмпирических исследований. Предваряя характеристику автономных региональных партийных систем в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, Ал.А. Громыко предложил ряд критериев их формирования. К их числу он отнес следующий набор признаков: наличие региональных партий, «в том числе националистического характера», формирование субнациональных политических идентификаций, различия в конфигурации политических сил на общенациональном и региональном уровне, применение различных избирательных систем для проведения общенациональных и региональных выборов, наличие в регионах собственных законодательных и исполнительных органов власти [19. С. 157]. Несомненно, что названные признаки отражают собой особенности *автономных* региональных партийных систем в соответствующих *этнонациональных* регионах Великобритании. Однако все ли они необходимы для идентификации *любой* региональной партийной системы?

Очевидно, что наличие в регионе исполнительных и особенно законодательных органов, избираемых местным населением, является необходимым для формирования *любой* региональной партийной системы. Без них партийная специфика региона теряет всякий смысл, так как отсутствует объект конкурентного взаимодействия партий с электоратом и региональными элитами. С этим признаком тесно связано и проведение региональных выборов, где применяемые избирательные системы в той или иной степени всегда отличаются от общенациональной – как минимум, в отношении численности избираемого депутатского корпуса. Наконец, само деление страны на официально номинированные регионы, наличие у них собственной символики, региональных парламентов и администраций прямо или косвенно способствуют проявлению субнациональных политических идентификаций. Такие идентификации могут отражать специфику исторического развития, этнического состава населения, экономической специализации, политического статуса региона и т.д.

Не вызывает сомнений и тот факт, что различия в составе политических сил, участвующих в региональных выборах и способных провести своих представителей в региональный парламент, также свидетельствуют о специфике партийной системы региона. В частности, своеобразие региональных партийных систем задается и такой особенностью, как присутствие или отсутствие отделения той или иной партии в конкретном регионе. Хрестоматийным в этом отношении является пример блока ХДС/ХСС в Германии: если христианские социалисты выдвигают своих кандидатов и завоевывают значительное количество мандатов на выборах в бундестаг только в федеральной земле Бавария, то на всей остальной территории страны ту же роль играют христианские демократы.

Различия в конфигурации политических сил проявляют себя и в том, что партийная система одного вида на общенациональном уровне нередко сосуществует и взаимодействует с иными видами партийных систем на уровне регионов или локальных сообществ. Помимо уже описанного примера с партийными системами штатов в США, характерным случаем такого сосуще-

ствования является ситуация в Великобритании. Если следовать широко признанной типологии Дж. Сартори, то на национальном уровне в этой стране до 1970-х гг. действовала классическая двухпартийная система, которая затем уступила место системе умеренного плюрализма [19. С. 5]. В Шотландии же с начала 2010-х гг. сложилась преобладающая система. Причем доминирующее положение, как на электоральном поле, так и в шотландском Холируде занимают не традиционные лидеры британской политики – лейбористы или консерваторы, а Шотландская национальная партия [20. С. 156].

Другим выражением этой тенденции служит присутствие на политической арене многих современных государств региональных партий – независимых политических образований регионального характера, чья организационная структура, программная идентичность и связанные с ней источники политической легитимации имеют региональный характер [21. Р. 2]. По результатам национальных и региональных выборов 2011–2021 гг. установлено, что ареалы влияния региональных партий покрывают 40% территории Европы на уровне административно-территориального деления первого порядка [22. С. 36]. А в Индии, по данным на 2023 г., из нескольких сотен официально действующих политических организаций статус национальных партий имеют только шесть, остальные партии – региональные. Уровень влияния региональных партий на индийскую политику за последние десятилетия вырос настолько, что именно их позиции в конечном итоге определяли победу той или иной национальной партии на рубеже XX–XXI вв. [23. С. 718].

Наличие или отсутствие региональных партий, различие в уровне их политического влияния является в наши дни одним из важных факторов формирования и сохранения специфики региональных партийных систем. Вместе с тем его не стоит абсолютизировать. Даже при отсутствии региональных партий различия состава партий, условий их функционирования и достигаемых результатов на выборах в разных регионах одной и той же страны могут быть достаточно значительными. На это влияет не только наличие отделений тех или иных партий в одних регионах и отсутствие в других, но и уровень политической активности этих отделений. Наиболее явным эмпирическим выражением этой активности служит участие в избирательных кампаниях. Естественно, что электоральная активность зависит не только от решения руководителей партийных филиалов, но и от щедрости их спонсоров, и от позиции национального партийного руководства, и от взаимодействия с органами власти, ответственными за проведение тех или иных выборов. Вместе с тем регулярность участия в избирательных кампаниях является подтверждением политической воли региональных партийных лидеров, их способности мобилизовать своих однопартийцев и электорат. Таким образом, наличие региональных партий является скорее факультативным признаком региональной партийной системы (или признаком ее автономной разновидности).

Все это позволяет сделать вывод о том, что же представляют собой региональные партийные системы. Это понятие обозначает собой совокупность отношений политических партий, участвующих в региональных выборах, друг с другом и с органами государственной власти соответствующего региона. Значимыми признаками региональной партийной системы является наличие в регионе: 1) собственного законодательного органа власти; 2) регулярно проводимых выборов в этот орган; 3) отделений политических партий,

принимающих участие в этих выборах и учитывающих в своей деятельности региональную идентичность избирателей; 4) избирательной системы, отражающей особенности региона; 5) конфигурации политических сил на electoralной, парламентской или правительственной арене, отличающейся от той, что присуща партийной системе на общегосударственном уровне. Выборы главы региона или наличие региональных партий могут дополнительно подчеркивать специфику той или иной региональной партийной системы, однако необходимыми ее признаками не являются.

Список источников

1. Мэйр П. Управляя пустотой: размывание западной демократии / пер. с англ. Д. Маткиной, А. Новикова, И. Соболевой, В. Степановой. М. : Изд-во Института Гайдара, 2019. 216 с.
2. *The encyclopedia of Political Science* / ed. G.T. Kurian. Washington : CQ Press, 2011. Vol. 1–5.
3. *International Encyclopedia of Political Science* / ed. B. Badie, D. Berg-Schlosser, L. Morlino. Los Angeles : Thousand Oaks, CA : SAGE, 2011. Vol. 1–8.
4. Loughlin J. Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities. Oxford University Press, 2004. 422 p.
5. Bochler D. Regional party systems in Serbia // Stojanovic V., Emerson P. Party Politics in the Western Balkans. United Kingdom, United States, Switzerland: Routledge / Taylor & Francis Group, 2010. P. 131–150.
6. Турченко М.С. Факторы фрагментации партийных систем российских регионов (2003 – 2013) // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. 2015. № 2 (77). С. 38–53.
7. Wesley J.J., Buckley C. Canadian Provincial Party Systems: An Analytical Typology // American Review of Canadian Studies. April 2021. № 51 (2). P. 213–236. doi: 10.1080/02722011.2021.1923249
8. Грабевник М.В. Региональная партийная система Северной Ирландии: размывание биполярности? // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2021. Т. 5, вып. 4. С. 489–503.
9. Key V.O. Southern Politics in State and Nation. Knoxville : University of Tennessee Press, 1949. 675 p.
10. Gibson E.L., Suarez-Cao J. Federalized Party Systems and Subnational Party Competition: Theory and an Empirical Application to Argentina // Comparative Politics. October 2010. № 43 (1). P. 21–39. doi: 10.5129/001041510X12911363510312
11. Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 288 с.
12. Sartori G. Parties and Party Systems: A framework for analysis. 2nd edition. Colchester : ECPR Press, 2005. 342 p.
13. Ware A. Political Parties and Party Systems. New York : Oxford University Press, 1996. 435 p.
14. Deschouwer K. Political parties as multi-level organizations // Handbook of party politics / ed. by R.S. Katz, W. Crotty. London : SAGE, 2006. P. 291–300.
15. Detterbeck K., Hepburn E. Party politics in multi-level systems: party responses to new challenges in European democracies // New directions in federalism studies / ed. by J. Erk, W. Swenden. London : Routledge, 2010. P. 106–125.
16. Bardi L., Mair P. The Parameters of Party Systems // Party Politics. 2008. № 14 (2). P. 147–166.
17. Лёвин П.Е. Теоретическое осмысление понятия «региональная партийная система» // Власть. 2015. № 7. С. 59–61.
18. Шапкова Я.Ю. Партийная система в процессах политической трансформации и выборов в Российской Федерации (на примере регионов Юго-Западной Сибири) : дис. ... д-ра полит. наук. Чита, 2011. 393 с.
19. Громыко Ал.А. Модернизация партийной системы Великобритании. М. : Весь Мир, 2007. 344 с.
20. Меркулов П.А., Тюрин Е.А., Савинова Е.Н. Эволюция Шотландской национальной партии в борьбе за национальное самоопределение Шотландии: к вопросу об особенностях шотландского национализма // Власть. 2017. № 6. С. 153–159.

21. Strmiska M. Conceptualization and typology of European regional parties: a note on methodology // Central European Political Studies Review. 2003. Vol. 5. P. 2–5.
22. Туров Н.Л. «Дайте нам независимость или дайте нам денег»: усиление влияния региональных партий в современной Европе // Мировая экономика и международные отношения. 2021. Т. 65, № 6. С. 33–41.
23. Политическая компаративистика / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс, 2020. 784 с.

References

1. Mair, P. (2019) *Upravlyaya pustotoy: razmyvanie zapadnoy demokratii* [Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy]. Translated from English by D. Matkina, A. Novikov, I. Soboleva, V. Stepanova. Moscow: The Gaidar Institute.
2. Kurian, G.T. (ed.) (2011) *The Encyclopedia of Political Science*. Washington: CQ Press.
3. Badie, B., Berg-Schlosser, D. & Morlino, L. (eds) (2011) *International Encyclopedia of Political Science*. Los Angeles: Thousand Oaks, CA: SAGE.
4. Loughlin, J. (2004) *Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities*. Oxford University Press.
5. Bochsler, D. (2010) Regional party systems in Serbia. In: Stojanovic, V. & Emerson, P. *Party Politics in the Western Balkans*. United Kingdom, United States, Switzerland: Routledge / Taylor & Francis Group. pp. 131–150.
6. Turchenko, M.S. (2015) Faktory fragmentatsii partiynykh sistem rossiyskikh regionov (2003–2013) [Factors of Fragmentation in the Party Systems of Russian Regions (2003–2013)]. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz*. 2(77). pp. 38–53.
7. Wesley, J.J. & Buckley, C. (2021) Canadian Provincial Party Systems: An Analytical Typology. *American Review of Canadian Studies*. 51(2). pp. 213–236. DOI: 10.1080/02722011.2021.1923249
8. Grabevnik, M.V. (2021) Regional'naya partiynaya sistema Severnoy Irlandii: razmyvanie bipolyarnosti? [The Regional Party System of Northern Ireland: Erosion of Bipolarity?]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya*. 5(4). pp. 489–503.
9. Key, V.O. (1949) *Southern Politics in State and Nation*. Knoxville: University of Tennessee Press.
10. Gibson, E.L. & Suarez-Cao, J. (2010) Federalized Party Systems and Subnational Party Competition: Theory and an Empirical Application to Argentina. *Comparative Politics*. 43(1). pp. 21–39. DOI: 10.5129/001041510X12911363510312
11. Dahl, R.A. (2010) *Poliarkhiya: uchastie i oppozitsiya* [Polyarchy: Participation and Opposition]. Moscow: HSE.
12. Sartori, G. (2005) *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. 2nd ed. Colchester: ECPR Press.
13. Ware, A. (1996) *Political Parties and Party Systems*. New York: Oxford University Press.
14. Deschouwer, K. (2006) Political parties as multilevel organizations. In: Katz, R.S. & Crotty, W. (eds) *Handbook of Party Politics*. London: SAGE. pp. 291–300.
15. Detterbeck, K. & Hepburn, E. (2010) Party politics in multilevel systems: party responses to new challenges in European democracies. In: Erk, J. & Swenden, W. (eds) *New Directions in Federalism Studies*. London: Routledge. pp. 106–125.
16. Bardi, L. & Mair, P. (2008) The Parameters of Party Systems. *Party Politics*. 14(2). pp. 147–166.
17. Levin, P.E. (2015) Teoreticheskoe osmyslenie ponyatiya “regional'naya partiynaya Sistema” [Theoretical Understanding of the Concept of “Regional Party System”]. *Vlast'*. 7. pp. 59–61.
18. Shashkova, Ya.Yu. (2011) *Partiynaya sistema v protsessakh politicheskoy transformatsii i vyborov v Rossiyskoy Federatsii (na primere regionov yugo-zapadnoy Sibiri)* [The Party System in the Processes of Political Transformation and Elections in the Russian Federation (A Case Study of Regions in Southwestern Siberia)]. Political Science Dr. Diss. Chita.
19. Gromyko, A.I. (2007) *Modernizatsiya partiynoy sistemy Velikobritanii* [Modernization of the British Party System]. Moscow: Ves' Mir.
20. Merkulov, P.A., Tyurin, E.A. & Savinova, E.N. (2017) Evolyutsiya Shotlandskoy natsional'noy partii v bor'be za natsional'noe samoopredelenie Shotlandii: k voprosu ob osobennostyakh shotlandskogo natsionalizma [The Evolution of the Scottish National Party in the Struggle for Scotland's National Self-Determination: On the Peculiarities of Scottish Nationalism]. *Vlast'*. 6. pp. 153–159.

21. Strmiska, M. (2003) Conceptualization and typology of European regional parties: A note on methodology. *Central European Political Studies Review*. 5. pp. 2–5.

22. Turov, N.L. (2021) “Dayte nam nezavisimost' ili dayte nam deneg”: usilenie vliyaniya regional'nykh partiy v sovremennoy Evrope [“Give Us Independence or Give Us Money”: The Growing Influence of Regional Parties in Contemporary Europe]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. 65(6). pp. 33–41.

23. Gaman-Golutvina, O.V. (ed.) (2020) *Politicheskaya komparativistika* [Political Comparative Studies]. Moscow: Aspekt Press.

Сведения об авторе:

Шпагин С.А. – кандидат исторических наук, доцент, советник при ректорате, доцент кафедры политологии Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: shpagin1972@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Shpagin S.A. – Cand. Sci. (History), docent, advisor to the Rector’s Office, associate professor of the Department of Political Science, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: shpagin1972@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 07.03.2025;
одобрена после рецензирования 29.05.2025; принята к публикации 30.06.2025*

*The article was submitted 07.03.2025;
approved after reviewing 29.05.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Original article

УДК 591

doi: 10.17223/1998863X/85/20

MYANMAR OR BURMA: EXPLORING THE DUAL NARRATIVES OF NATIONAL IDENTITY DILEMMA

Ye Phone Kyaw

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, ypk.mmr@stud.tsu.ru

Abstract. This article explores the dual narratives surrounding the national identity dilemma in Myanmar, focusing on the naming issue – “Myanmar” versus “Burma.” It analyzes which name best represents indigenous linguistic practices and aligns with current acceptance within internal and external communities. Common perspectives portray “Myanmar” as an illegitimate name imposed by the military government in 1989, while “Burma” is considered legitimate due to its historical usage. Others argue that neither name possesses true legitimacy due to their lack of ethnic neutrality. Using linguistic and historical analyses within a postcolonial framework, this study treats the naming issue as a vital aspect of national identity formation, broadening the scope of cultural studies to include semantic and onomastic as crucial to cultural identity. Using primary and secondary sources as well insider views of empirical evidence, this article employs a qualitative research approach based on an inductive methodology. It explores varying academic perspectives from scholars, and it then analyzes the reflection of indigenous linguistic practices, historical regional contexts, part of decolonization process, and their current acceptance of “Myanmar” vs. “Burma” through historical, linguistic, and semantic lenses. The study concludes that the naming issue primarily involves linguistic and phonetic considerations, despite its politicization and association with identity concerns. Historically, “Mranma,” “Myanma,” and “Myanmar” served as official names in the Burmese language, while colloquial terms like “Bama” or “Barma” were used interchangeably. The accent of “Myanmar” is closer to the indigenous and Eastern geographical contexts, and “Burma” is more aligned to the Western geographical contexts of historical Myanmar civilization. The official name “Burma” in English was introduced during colonization, and while some still use it, Myanmar is working to reclaim its indigenous naming traditions as part of the decolonization process.

Keywords: Myanmar, Burma, nation, identity, decolonization

For citation: Kyaw Ye Ph. (2025) Myanmar or Burma: exploring the dual narratives of national identity dilemma. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 235–248. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/20

Научная статья

МЬЯНМА ИЛИ БИРМА: ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОЙСТВЕННЫХ ТРАКТОВОК ДИЛЕММЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Йе Фон Чжо

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
ypk.mmr@stud.tsu.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются дискуссии о названиях Мьянмы, противопоставляются «Мьянма» и «Бирма» в связи с языковыми практиками коренных народов и современным восприятием названия страны. Проблема названия государства высту-

пает как жизненно важный аспект формирования национальной идентичности. Автор с помощью лингвистического и исторического анализа выявляет взгляды на особенности легитимности названия с помощью качественных методов, а именно использования индуктивной методологии в русле постколониальных подходов. Выявляется значение ономастики и номенклатуры в формировании национальной идентичности и культурологии.

Ключевые слова: Мьянма, Бирма, нация, идентичность, деколонизация

Для цитирования: Kyaw Ye Ph. Myanmar or Burma: exploring the dual narratives of national identity dilemma // Вестник Томского государственного университета. Филология. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 235–248. doi: 10.17223/1998863X/85/20

Introduction

Myanmar, also known as Burma, is recognized for its diverse population, which includes rich histories, languages, religions, and ethnic nationalities. Myanmar regained its Independence in 1948 and currently, it is also entangled in internal political and armed conflicts, rooted in its incomplete nation-state and national identity formation. In 1989, the State Law and Order Restoration Council (SLORC) changed the country's English name "Union of Burma" to the "Union of Myanmar" by claiming the latter represented all indigenous peoples. While most countries and other major international organizations have accepted the new names, some governments, activist groups, and media outlets still use the old names primarily as a form of protest against military regimes. The conventional wisdom or manipulated discourse suggests that "Myanmar" is an illegitimate name imposed by the military government in 1989, while "Burma" is viewed as legitimate due to its historical usage; or that neither name is truly legitimate due to their lack of ethnic neutrality.

Politicized media representations and discourse – resilient for over 30 years – surrounding this naming issue are now readily accessible on international and social media, where they are influenced, consciously or unconsciously, by political and racial perspectives [1–5]. Moreover, various external and internal entities are placing excessive emphasis on such as ethnonationalism [6,7], diversity [8], conflict [9], and new identity formation [10] including the fundamental issue of what to call the country, Myanmar or Burma [11]. Some recent scholarly accounts, based on controversial historical interpretations and irrelevant organizational details, it seems as if, appear intentionally to exaggerate and complicate the process of national identity formation in Myanmar [12].

While "Myanmar" is the officially recognized term by the United Nations, politicized debates and discourse surrounding the country's name significantly influence public perceptions of collective national identity. First, they play a crucial role in national identity formation, as the debate between the names "Myanmar" and "Burma" underscores deeper questions related to the nation's fundamental identity. Second, these debates emphasize cultural pride and heritage, as they involve a choice between colonial narratives and the affirmation of indigenous identity. Third, these discourses influence political dynamics by elucidating the tensions between historical legacies and contemporary governance, thereby shaping public perceptions of leadership and national identity. Fourth, they have the potential to galvanize civil society and activism; as citizens engage with the naming issue, it can serve as a rallying point for broader discussions concerning

autonomy, rights, and representation. Finally, they can affect global perceptions and advocacy, particularly through the framing of the struggle between autocracy and democracy. Consequently, the politicization and influence on Myanmar's national identity formation constitute a significant impediment to achieving satisfactory nation-building and collective national identity.

Therefore, it is important to explore the dual narratives surrounding the national identity dilemma in Myanmar, specifically regarding which name more accurately reflects indigenous linguistic practices and aligns with contemporary acceptance and efforts at collective national identity formation. While academic insights exist on the naming issue, Myanmar or Burma, they also require further inductive reasoning and clarification to mitigate potential exaggeration, misinterpretations, and manipulation by vested interests. A comprehensive analysis of naming controversies from a postcolonialist perspective, integrating diverse perspectives without prejudice regarding the agents of change, remains absent from the Myanmar (Burma) Studies on nation building and collective national identity building. Therefore, this article aims to address this gap.

Using primary and secondary sources as well as insider views of empirical evidence, this article employs a qualitative research approach based on an inductive methodology. Firstly, it explores varying academic perspectives from three native Burmese speakers and three non-native speakers and, it then analyzes the reflection of indigenous practices, historical regional contexts, the context of ethnicity, and their current acceptance of "Myanmar" vs. "Burma" through historical, linguistic, and semantic lenses. It draws on insights from scholars selected through a thorough review of their academic status and contributions to the history of Myanmar. The research also partly traces the evolution of national identity and Myanmar's efforts to reclaim its indigenous naming traditions as a part of decolonization.

From the point of methodology, this exploration contributes to the identity literature, highlighting the complexities of nomenclature and its role in the decolonization process. Additionally, the research enriches identity studies by highlighting the impact of politicized media representations on public perceptions. It illustrates how a country's name shapes collective identity and expands cultural studies to include semantic and onomastic as a crucial element of cultural identity. Using linguistic and historical analysis within a postcolonial framework, the study addresses Myanmar's naming issue as part of national identity formation and decolonization.

Moreover, from a broader perspective, this study will provide an in-depth understanding of specific instances and complex issues related to national identity, colonial history, and ethnic diversity concerning the country's naming issues. It serves as an illustrative example of how colonial legacies persist and affect identity formation, offering a concrete illustration of broader global themes such as post-colonialism and nationalism. Additionally, it will enhance comparative insights and policy implications that can inform policymakers and practitioners about the complexities of national identity and ethnicity in addressing similar issues in other contexts. The study will also trace historical continuity over time, revealing how past events shape present conflicts and societal attitudes, which is crucial for addressing ongoing crises and issues, not only in Myanmar but globally.

Exploring the Historical and Linguistic Dimensions of ‘Myanmar’ vs. ‘Burma’: Insights from Scholarship

Perspectives from prominent scholars who are native speakers: Dr. Than Htun, an influential Myanmar historian with a Ph.D. in history, who earned Ph.D. from the University of London’s School of Oriental and African Studies (SOAS), stated in ancient times, “Myanmar” referred to ethnicity. Over time, as people settled, places were named “Myanmar Su,” “Myanmar Ywar,” and “Myanmar Pyay.” The Mon stone inscription (မွန်ကျောက်စာ ၉ ခ/၄၂၊ ဒီ ၄၂ အိပ်ချ် ၁၂) from 1102 AD refers to “Myanmar” as “Mirmar” (မိရ်မာ). During the reign of King Hti Hly (1084–1113), carpenters from the “Mon”, “Pyu”, and “Mirmar” communities contributed to the new palace, marking the earliest reference to Myanmar in stone (all) inscriptions. In Myanmar (ethnic) inscriptions from 1312 AD and 1342 AD, “Mammar” (မမ္မာ) appears, and in AD 1238, “Myanmar Pyay” is found, where “Pyay” in ancient Burmese means the king’s capital [13. P. 103–104].

Thant Myint-U, a Burmese-American historian and grandson of former United Nations Secretary-General U Thant, who earned his Ph.D. in history from Cambridge University, noted on this issue that, about a thousand years ago, the term “Myanma” appeared in inscriptions describing the people and language of the Irrawaddy River valley. Over time, kings identified as *Myanma* kings, and their realm as *Myanma Pyi* (Myanma country) or *Myanma Naingngan* (Myanma lands). By the 17th century, it was commonly pronounced “Bama.” When Europeans arrived, they referred to the country as variants of “Burma,” such as “Birmanian” for the Portuguese and “Birmanie” for the French, likely derived from “Bama.” Under British rule, “Burma” became the official English name, while it remained *Myanma Pyi* in Burmese. Controversy arose in 1989 when the military government changed the country’s English name to Myanmar, claiming it represented all indigenous peoples – a claim disputed by many minorities who do not identify with the term. The change was driven by the government’s nativist agenda to strengthen its ethno-nationalist image. In Myanmar, personal names, place names, and ethnonyms are evolving, reflecting the unstable identities within Burma. He uses “Burma” out of habit, feeling it is more fitting for English speakers [14. P. xvii].

Michael A. Aung-Thwin, a prominent Burmese American historian and emeritus professor at the University of Hawai‘i, explained his views by presenting three reasons [15. P. 7–8]. First, the terms “*Mranma*” and “*Myanma*” are spelled in old and modern Burmese scripts [16. P. 196–197], respectively, as adjectives modifying the nouns that follow. For instance, “*Myanma Pyay*” (or “*Pyi*”) refers to the country, “*Myanma Lu Myo*” refers to the people, and “*Myanma Saga*” refers to the language. Second, “Myanmar” is not a new term created by the military government in 1989 to replace “Burma,” as often claimed by the international media and some scholarly works. In fact, its Old Burmese equivalent, “*Mranma*”, has been used to refer to the state and country since at least the early twelfth century, if not earlier. Similarly, the country’s place names were anglicized by the British; for example, “Yangon” became “Rangoon,” “Pyi” was referred to as “Prome,” and “Muttama” was called “Martaban.” For Burmese speakers, who make up over 87 percent of the population, these Burmese names have always been recognized and used. Third, many former colonies have reverted to indigenous

place names post-independence as a response to colonial rule. Examples include Sri Lanka and India, where cities like Bombay and Calcutta have returned to their original names. However, Myanmar faces backlash for using “Myanmar” over “Burma,” indicating that the continued use of “Burma” by some nations is primarily political. The term “Burma” lacks legal standing internationally, is foreign in origin, and perpetuates existing tensions.

Perspectives from prominent scholars who are non-native speakers: David I. Steinberg, an American historian, former U.S. Foreign Service Officer and Distinguished Professor of Asian Studies Emeritus at Georgetown University, remarked that several countries have altered their names (for example, Siam to Thailand and Ceylon to Sri Lanka), but none has generated as much controversy as the transition from Burma to Myanmar, which has unfortunately become a proxy for political alignment. In July 1989, the military government officially renamed the state from the Union of Burma to the Union of Myanmar. The military has consistently referred to the country as Myanmar throughout all of Burmese history, avoiding the terms Burma, Burmese (for the language or its citizens), and Burman (instead using *Bamah* for the majority ethnic group). This shift has not been accepted by the political opposition. While the United Nations and most countries have recognized the name change, the United States has resisted it in solidarity with the opposition, which the Burmese government interprets as an affront [17. P. xviii–xx].

Robert H. Taylor, Pro-Director and Professor of Politics at SOAS and later Vice-Chancellor of Buckingham University and a notable and dedicated scholar of Myanmar’s history and politics, stated that from 1974 to 1988, Burma was officially named *Pyihtaungsu Hsoshelit Thammata Myanma Naingngantaw*, translating to the Socialist Republic of the Union of Burma. Notably, the term “state” did not appear in the official English title, but in the Burmese version, “*Naingngantaw*” denotes the recognized institution of the state. “*Naingngantaw*” is derived from “*naing*,” meaning “to prevail” or “to be competent,” and “*ngan*,” meaning “to be sufficient.” The suffix “*taw*” adds a sense of dignity. Historically, “*Naingngan*” referred to the outskirts of the Bagan kingdom and evolved by the nineteenth century to signify a kingdom or country under a single authority. By the mid-twentieth century, it came to mean “nation,” linking the concepts of state and nation in contemporary Burma [18. P. 7–8].

Emeritus Professor Donald M. Seekins of Meio University’s College of International Studies (Okinawa, Japan), who holds a Ph.D. in Political Science from the University of Chicago, noted that in 1989, SLORC enacted the Adaptation of Expressions Law, changing the Romanization of geographical and ethnic names. Despite this, many, including Seekins, prefer the older British colonial Romanization. The choice between “Burma” and “Myanmar,” or “Rangoon” and “Yangon,” has become politically sensitive. Many older names exhibit less linguistic consistency than those established post-1989; for example, the pronunciation of a town northeast of Rangoon aligns more closely with the post-1989 name Bago than the older name Pegu. The military government claims that “Myanmar” is ethnically neutral and represents all groups, akin to using “British” for the UK, which is inaccurate. In Burmese, both Myanmar and Burma (*Myanma*, *Bama*) refer primarily to the dominant Burman (*Bamar*) ethnic group, comprising about two-thirds of the population. Thus, no name is truly ethnically neutral for the country or its people. [19. P. xi–xiv].

Table 1. Inductive Approach Analysis (From the Specific to the General)

Scholars (Native and Non-native Speakers)	Perspectives on representation of “Myanmar”		Perspectives on representation of “Burma”		Induction on Distinct Perspective
	In Burmese language	In English language	In Burmese language	In English language	
Dr. Than Htun	Nation-state and ethnic sense	–	Nation-state and ethnic sense	–	Mentions both the origin of ethnic sense and developing process of a nation-state
Thant Myint-U	Country and ethnic sense	Country	Country and ethnic sense	Country (habitually prefers)	Neutral/Myanmar does not mean all ethnic groups
Michael Aung-Thwin	Nation-state and people	<i>Myanma Pyi/Pyay/Pran</i>	Synonym with “ <i>Myanma</i> ”	Colonial Terms	Myanmar is a historical term/ the state has the authority to define
David I. Steinberg	Country/no comment on ethnic issue	Country/no comment on ethnic issue	Country/no comment on ethnic issue	Country/no comment on ethnic issue	Neutral/none of name changings are controversial like Myanmar
Robert H. Taylor	Nation-state and people	Nation-state and people	Nation-state and People	Nation-state and People	Neutral/the state has the responsibility and authority to define
Donald M. Seekins	Country and ethnic sense	Country	Country and ethnic sense	Country	Myanmar does not mean all ethnic groups/no name ethnically neutral

Based on the results of inductive research drawing from the perspectives of prominent scholars and academicians in Myanmar history, it can be concluded that, first, most academicians maintain a neutral stance, accepting that both “Myanmar” and “Burma” refer to the name of the country in both Burmese and English. However, they hold differing views on its ethnic implications and use the name according to their personal practices and chronological context. The exaggerated and politicized perspectives on media, evident in some academic accounts, seem to stem from these implications.

Analyzing the Reflection of Indigenous Practices and Historical Regional Contexts

In this section, the article analyses the reflection of historical regional contexts, indigenous linguistic practices of this dual narratives of national identity dilemma. First, the term “*Bama*” in Burmese is used colloquially, often as an informal synonym for “*Myanma*”, throughout the historical and modern contexts of Myanmar. According to accounts of indigenous practices, the Burmese Archaic Words Dictionary and grammatical methodology show that the term “*Brahma*” (ဗြဟ္မာ) has the same or equal meaning as nine derived terms, particularly “*Mamma*” (မိမ္မာ), “*Myanma*” (မြန်မာ), and “*Bama*” (ဗမာ), as illustrated in Figure 1, that was never appeared on this topic. Under the British rule, a well-

known organization, *DoBamma Asiayone* (We Burmese Organization) [21], extensively utilized the term “*Bama*” during the Myanmar independence movement as part of its efforts in nation-state building and the formation of collective national identity [22]. Indeed, in official accounts, its Old Burmese equivalent, “*Mranma*,” has been used to refer to the state and country since at least the early twelfth century [23]. Today, one can easily find a stone inscription from the early thirteenth century on the internet, as illustrated in Figure 2.

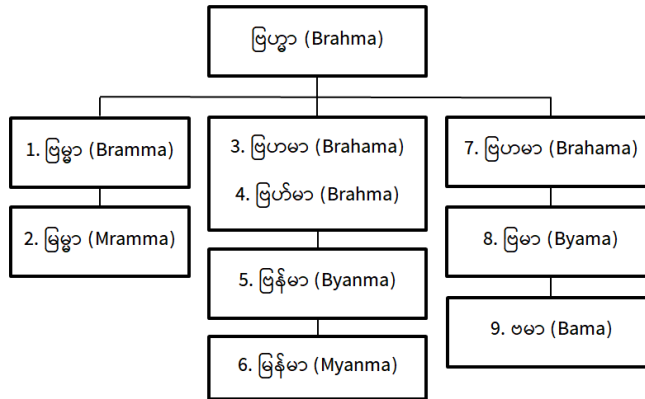


Figure 1. Possible Derivations of the Term “Brahma” to “Mamma,” “Myanma,” and “Bama” [20. P. 216–220]

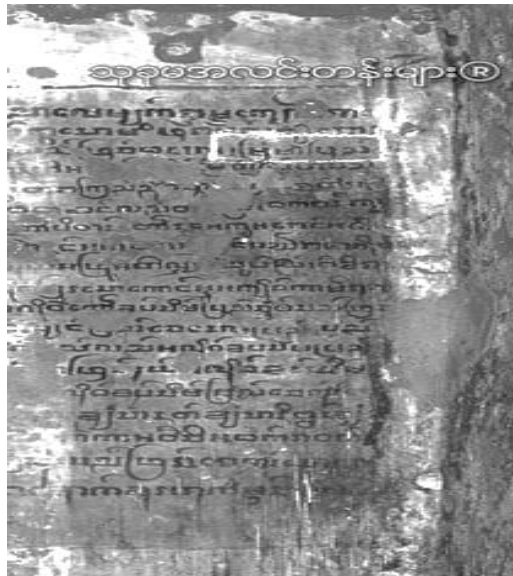


Figure 2. A Stone Inscription that Prescribes *Mammar* “မြမ္မာ” Authored by King Kya-Swar (1234–1250 AD)

Second, according to accounts of historical regional contexts, the British were not the originators of the accent of “Burma”. The Brahmaputra River (ব্রহ্মপুত্র নদী), as shown in Figure 3, originates from the Tibetan Himalayas and flows through China, India, and Bangladesh in present-day territories. Since the ancient times, the people lived in the area of today India referred to the people living on the opposite

bank (area or region) of the Brahmaputra River as “Brahma” (ब्रह्मा). During the British colonial period (even in today), Indians also called Myanmar “Brahmadesh” (ब्रह्मदेश) in their language, as shown in Figure 4.



Figure 3. The Brahmaputra River (ब्रह्मपुत्र नदी) from the map of British India [24. P. viii–1]



Figure 4. The Map Shows that Indians Refer to Myanmar as Brahmadesh (ब्रह्मदेश) [25]

When Europeans arrived, especially from the west and Bay of Bengal, they referred to the country using variants of “Burma”, such as “Birmanian” for the Portuguese, “Birmanie” for the French, and “Barma”, “Birma” or “Burma” for the British, likely derived from Indian pronunciation of “Brahma.” Subsequently, the

British variant of “Burma” became the official name for Myanmar in English, as Myanmar was gradually colonized by the British and became part of British India.

Taw Sein Ko’s “Burmese Sketches” in 1913 stated the interpretations of European scholars of great expertise based on their thorough investigations. Sir Arthur Phayre believes it derives from “*Brahma*,” meaning “celestial being,” and asserts that it was adopted only after the introduction of Buddhism and the unification of several tribes under a single chief. In contrast, Mr. Hodgson suggests that the name “*Mran-ma* (မြန်မာ)” can be traced back to the native word for “*man*”.

Meanwhile, Bishop Bigandet posits that it is a variation or corruption of “*Mien*”, a name the Myanmar people brought with them from the Central Asian plateau [26. P. 1].

The latter two interpretations also align with the account of Ser Marco Polo regarding the Kingdoms of Bagan, referred to as the “Kingdoms of *Mien* and *Bangala*” in his records. The text states that “... there was a certain king called king of MIEN and of BANGALA, who was a very puissant prince, with much territory and treasure and people and he was not as yet subject to the Great Kaan”. Editor also noted by the confirmation of the Myanmar’s today north-east neighbor China’s history and by stating that “MIEN is the name by which the kingdom of Burma or Ava and is known to the Chinese. M. Gamier informs me that *Mien-Kwe* or *Mien-tisong* is the name always given in Yunnan to that kingdom, whilst the Shans at Kiang Hung call the Burmese *Man* (pronounced like the English word)” [27. P. 62–78] Therefore, it can be concluded that the accent of “Myanmar” is more close to the indigenous and Eastern geographical contexts and “Burma” is more aligned to the Western geographical contexts of historical Myanmar civilization. This is new insight for this dual narratives of national identity dilemma: Myanmar vs. Burma.

Analyzing the Context of Ethnicity, Decolonization, and Their

Acceptance

In the context of ethnicity within the dual narratives of the national identity dilemma, many argue that the terms “Myanmar” (မြန်မာ) and “Burma” (ဗမာ) do not encompass all the ethnic groups within Myanmar's territory. This perspective may hold some truth, particularly when viewed from a selective or racial standpoint. When the destruction of Sirikhattara or Sri Ksetra (one of the most prominent Pyu Kingdoms that flourished for over 1,000 years between 200 BC and AD 900) [28] around in 128 A.D., it is recorded that the inhabitants were divided into three groups: the *Pyu*, the *Kanyan*, and the *Mranma*. The King *Supannanagarachinna*’s nephew, *Samuddaraja*, gathered the remnants of his tribe and established the settlement of state by relocation three times. For the third time he removed to *Yon-hlut-kyun*, where he was joined by the inhabitants of 19 *Pyu* villages to establish Pagan [26, p. 1], now widely known as Bagan [29]. Therefore, Myanmar is directly derived from the ancient *Pyu* Kingdoms, marking the rebranding of civilization historically known as *Myanma Pyi* or *Myanma Naing-ngan-taw*. In other words, from a new perspective, this development signifies an evolution in nation and national identity building and rebranding of civilization.

Moreover, from a consolidated perspective, it is difficult to deny that 95 percent of verifiable Myanmar history and 85 percent of pre-colonial history [16.

P. 195] demonstrate a longstanding reality in which all indigenous ethnic groups coexisted under the civilization of “*Myanma Pyi*”, “*Myanma Naingngan Taw*,” or “*Myanmar*.” In fact, the process of nation-state building and national identity formation is an oscillating phenomenon – active, rather than passive. Even during the colonial period, the name “*Myanmar Pyi*” (မြန်မာပြည်) was persistently used in Burmese as the country’s official name, as illustrated in Figure 5. The term “*Bama Naingngan taw*” (ဗမာနိုင်ငံတော်) was officially used for only about a year and seven months during the Japanese occupation. Today, Myanmar’s official name is the “*Republic of the Union of Myanmar*,” not simply “*Myanma Pyi*,” as in the past.



Figure 5. The Persistent Use of “*Myanma Pyay*” on an envelope issued by the Burma Philatelic and H.E. Club, commemorating the separation from India on April 1, 1937.

As part of Myanmar’s decolonization process, the SLORC changed the official English name from “Burma” to “Myanmar”, while the Burmese script *Myanmar* “မြန်မာ” remained unchanged¹. Conventional wisdom, including the views of some scholars mentioned above, describes the Myanmar military’s preference for the name Myanmar “မြန်မာ” as ethnically neutral². However, the article found that the official rationale for the change is not rooted in a sense of neutrality but rather in the concept of collectiveness³, returning to the historical “*Myanmar Naingngan taw*” and decolonizing and distancing from the imperialist label “Burma”. It seems that the change aims to foster the process of

¹ State Law and Order Restoration Council, Law No. 15/89, dated June 18, 1989.

² Another question arises: how many of the 195 countries officially recognized by the United Nations have ethnically neutral names? The safe answer is majority of the countries names are not perfectly ethnically neutral. A thorough analysis would require extensive research on the etymology and historical usage of each country’s name.

³ Refer to the State Law and Order Restoration Council, Order No. 2/89, dated June 18, 1989, which mandated the change of the term Burma (ဗမာ) to Myanmar (မြန်မာ) in the national anthem. The reason for this change is that the term Burma (ဗမာ) refers primarily to one racial group, while the national anthem is intended to represent all national races within the Union of Myanmar. Therefore, it was necessary to substitute Bamar (ဗမာ) with Myanmar (မြန်မာ) to encompass all national races.

decolonization, modern nation-state building, and a collective national identity building, and address controversies related to terminology, about unifying diverse national “races” under a single governance, similar to federations like that of England, Scotland, and Wales. The name change was recognized by the United Nations and parallels other historical changes, such as “Persia” to “Iran” and “Ceylon” to “Sri Lanka”. Many agree that the 1989 terms reflect everyday language more accurately, though some prefer the older Romanization from the colonial era.

Today, empirically, the U.S. Embassy sends official letters using the name “Myanmar” [30], and the U.K. Embassy lists its location as “Yangon, Myanmar”, acknowledging “Burma” in brackets [31] despite political disagreements with the term. Many visitors line up at the Republic of the Union of Myanmar embassies for visas, reflecting everyday acceptance of the name amidst politicization in some literature and media. Most people in Myanmar readily answer “Myanmar” when asked about their country in both Burmese and English. Public support for national teams is evident as fans chant “Myanmar...Myanmar...Myanmar”, and even most of the non-residents (except some groups from western countries) typically use “Myanmar” instead of “Burma”, highlighting broader recognition and acceptance of the name and Myanmar’s significant level of collective national identity building and decolonization related to naming issues, although challenges remain.

Conclusion

Based on these observations and inductive approach, this article concludes that the naming issue is primarily a matter of linguistics, and pronunciations, despite its exaggeration, politicization and association with identity concerns. Historically, “*Mranma*”, “*Myanma*”, and “*Myanmar*” have served as official names in the Burmese language, while colloquial terms like “*Bama*” or “*Barma*” have been used interchangeably. The accent of “Myanmar” is closer to the indigenous and Eastern geographical contexts and “Burma” is more aligned to the Western geographical contexts of historical Myanmar civilization. The official name “Burma” in English was introduced during colonization, and while some still use it habitually or politically, Myanmar is working to reclaim its indigenous naming traditions and the indigenous national identity of “Myanmar” as part of the decolonization process. Finally, this research offers new insights into Myanmar’s national identity building, contributing to identity studies in political science, sociology, and cultural studies through a postcolonial linguistic, semantic, and onomastic lens. It highlights the impact of a country’s name on collective national identity formation and decolonization, emphasizing the role of language, pronunciation, and identity in healing and nation-building.

References

1. Selth, A. & Gallagher, A. (2018) *What’s in a Name: Burma or Myanmar?* 21st June. [Online] Available from: <https://www.usip.org/blog/2018/06/whats-name-burma-or-myanmar> (Accessed: 30th November 2024).
2. Harvard Divinity School. (n.d.) *Burma or Myanmar?* [Online] Available from: <https://rpl.hds.harvard.edu/faq/burma-or-myanmar> (Accessed: 30th November 2024).
3. Nyan Chin Ae. (2012) *Myanmar or Burma and the Problem of Ethnic Minorities*. [Online] Available from: <https://burma.irrawaddy.com/opinion/2012/07/02/13602.html> (Accessed: 1st December 2024).

4. Yang, L. (2021) *Burma or Myanmar: One Country With Two Names?* [Online] Available from: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_burma-or-myanmar-one-country-two-names/6201633.html (Accessed: 1st December 2024).
5. CNI. (s.n.) *Myanmar and Burma – the Same Thing?* [Online] Available from: <https://cnimyanmar.com/index.php/political-2/politics-local/15649-2023-07-07-05-54-49> (Accessed: 1st December 2024).
6. New Mandala. (2024) *Ethnonationalism and Myanmar's future*. [Online] Available from: <https://www.newmandala.org/ethnonationalism-and-myanmars-future/> (Accessed: 19th November 2024).
7. Htung, Y. (2022) The Kachin ethno-nationalism over their historical sovereign land territories in Burma/Myanmar. *Thammasat Review*. 25(1). pp. 31–56.
8. Miller, C.A. (2017) *Modeling Ethnic and Religious Diversity in Myanmar*. IFLA WLIC.
9. Bertrand, J. (2022) Education, language, and conflict in Myanmar's ethnic minority states. *Asian Politics and Policy*. 14(1). pp. 25–42.
10. Than, T. & May, H. (2022) Multiple identities of young Sittwe Muslims and becoming Rohingya. In: Cederlöf, G. & Schendel, W. van (eds) *Flows and Frictions in Trans-Himalayan Spaces: Histories of Networking and Border Crossing*. Amsterdam University Press. pp. 231–253.
11. BBC News. (n.d.) *Who, What, Why: Should it be Burma or Myanmar?* [Online] Available from: <https://www.bbc.com/news/magazine-16000467> (Accessed: 8th November 2024).
12. Dittmer, L. (2010) Burma vs. Myanmar: What's in a Name? In: Dittmer, L. (ed.) *Burma or Myanmar? The Struggle for National Identity*. University of California, Berkeley, USA. pp. 1–20.
13. Dr. Than Htun. (2021) *မြန်မာ့သမိုင်းရှာတင်ပုံ* [Searching for Myanmar History]. Yangon: [s.n.].
14. Myint-U, T. (2020) *The Hidden History of Burma: A Crisis of Race and Capitalism*. Atlantic Books.
15. Aung-Thwin, M. & Aung-Thwin, M. (2013) *A History of Myanmar Since Ancient Times: Traditions and Transformations*. Reaktion Books.
16. Aung-Thwin, M. (2008) Mranma Pran: When context encounters notion. *Journal of Southeast Asian Studies*. 39(2). pp. 193–217.
17. Steinberg, D. (2013) *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
18. Taylor, R.H. (2009) *The State in Myanmar*. NUS Press
19. Seekins, D.M. (2017) *Historical Dictionary of Burma (Myanmar)*. Rowman & Littlefield.
- 20 U Thar Myat. (1961) *ပရိရာဇာစာအုပ်အဘိဓာန်* [Archaic Words Dictionary]. Nat-Mout Street, Yangon: Hantharwady Printing.
21. Dobamar Asiayone Thamine Pyuesuyae Apwae [The Committee of Compilation History of We Burmese Association]. *DoBamar Asiayone Thamine (Baung-choke)* [The History of DoBamar Asiayone (Collection)]. Yangon: Seikku Cho Cho Sar Pay, 2018.
22. Min, Z.S. (2009) Emergence of the DoBamar Asiayone and the Thakins in the Myanmar Nationalist Movement. *Graduate School of Humanities and Social Sciences*. 27(1). pp. 103–121.
23. The Ministry of Information of Myanmar. (n.d.) *Let's Maintain Independence through the unity of the Myanmar brothers*. [Online] Available from: <https://www.moi.gov.mm/article/98> (Accessed: 27th November 2024).
24. Pope, G.U. (1880) *A Text-book of Indian History: With Geographical Notes, Genealogical Tables, Examination Questions and Chronological, Biographical, Geographical, and General Indexes, for the Use of Schools, Colleges and Private Students*. WH Allen & Company
25. वैदिकज्ञानप्रकाश. (2022) अखंड भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के कुछ तथ्य [Some facts about the glorious history of unified India]. *उगता भारत: हिंदी समाचार पत्र*. [Online] Available from: <https://www.ugtabharat.com/54972/> (Accessed: 29th December 2024).
26. Taw Sein Ko. (1913) *Burmese Sketches*. Rangoon: British Burma Press.
27. C.B. C.H.Y. (1871) *The Book of Ser Marco Polo, the Venetian: Concerning the Kingdoms and Marvels of the East*. Vol. 1. London: John Murray, Albemarle Street.
28. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.) *Centre U.W.H. Pyu Ancient Cities*. [Online] Available from: <https://whc.unesco.org/en/list/1444/> (Accessed: 29th December 2024).
29. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.) *Centre U.W.H. Bagan*. [Online] Available from: <https://whc.unesco.org/en/list/1588/> (Accessed: 30December 2024).

30. U.S. Embassy in Burma. (2019) *Burma U.S.M. Letter: US is Investing in Myanmar's Future*. [Online] Available from: <https://mm.usembassy.gov/letter-us-is-investing-in-myanmar-future/> (Accessed: 12th November 2024).

31. UK. (n.d.) *British Embassy Yangon*. [Online] Available from: <https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-yangon> (Accessed: 12th November 2024).

Список источников

1. *Что в имени: Бирма или Мьянма?* // Институт мира США. URL: <https://www.usip.org/blog/2018/06/whats-name-burma-or-myanmar> (дата обращения: 30.11.2024).

2. *Бирма или Мьянма?* URL: <https://rpl.hds.harvard.edu/faq/burma-or-myanmar> (дата обращения: 30.11.2024).

3. *Ньян Чинь Ае*. Мьянма или Бирма и проблема этнических меньшинств // Иравади. 2012. URL: <https://burma.irawaddy.com/opinion/2012/07/02/13602.html> (дата обращения: 01.12.2024).

4. *Ян Л.* Бирма или Мьянма: одна страна, два названия? // Голос Америки. 2021. URL: <https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific-burma-or-myanmar-one-country-two-names/6201633.html> (дата обращения: 01.12.2024).

5. *CNI*. Мьянма и Бирма – одно и то же? // cnimyanmar.com. URL: <https://cnimyanmar.com/index.php/political-2/politics-local/15649-2023-07-07-05-54-49> (дата обращения: 01.12.2024).

6. *Этнонационализм и будущее Мьянмы* // New Mandala. 2024. URL: <https://www.newmandala.org/ethnonationalism-and-myanmars-future/> (дата обращения: 19.11.2024).

7. *Хтун Я.* Качин, этно-национализм качинов на их исторически суверенных землях в Бирме/Мьянме // *Thammasat Review*. 2022. Т. 25, № 1. С. 31–56.

8. *Миллер К.А.* Моделирование этнического и религиозного разнообразия в Мьянме. 2017.

9. *Бертранд Ж.* Образование, язык и конфликт в этнических меньшинствах Мьянмы // *Asian Politics and Policy*. 2022. Т. 14, № 1. С. 25–42.

10. *Тан Т., Мэй Х.* Множественные идентичности молодых мусульман Ситтве и становление рохинджа // *Потоки и трения в трансгималайском пространстве: Истории сетевого взаимодействия и пересечения границ*. Амстердам: Амстердамский университетский пресс, 2022. С. 231–253.

11. *Кто, что, почему: Бирма или Мьянма?* BBC News. URL: <https://www.bbc.com/news/magazine-16000467> (дата обращения: 08.11.2024).

12. *Диттмер Л.* Бирма против Мьянмы: что в имени? // *Бирма или Мьянма? Борьба за национальную идентичность*. WORLD SCIENTIFIC, 2010. С. 1–20.

13. *Доктор Тан Хтун.* Поиск истории Мьянмы. Янгон: [Неизвестный издатель], 2021. [Электронная книга]. С. 103–104.

14. *Мьинт-У Т.* Скрытая история Бирмы: Кризис расы и капитализма. Atlantic Books, 2020. С. xvii.

15. *Аунг-Твин М., Аунг-Твин М.* История Мьянмы с древних времен: Традиции и трансформации. Reaktion Books, 2013. С. 7–8.

16. *Аунг-Твин М.* Мранма Пран: когда контекст сталкивается с понятием // *Journal of Southeast Asian Studies*. Cambridge University Press, 2008. Т. 39, № 2.

17. *Стайнберг Д.* Бирма/Мьянма: Что нужно знать каждому®. Oxford University Press, 2013. С. xviii–xx.

18. *Тейлор Р.Х.* Государство в Мьянме. NUS Press, 2009. С. 7–8.

19. *Сикинс Д.М.* Исторический словарь Бирмы (Мьянма). Rowman & Littlefield, 2017. С. xi–xiv.

20. *ဦးသာဌိတ်* ((У Тхар Мят). Словарь архаичных слов. Нат-Маут Стрит, Янгон: Hantharwady Printing, 1961. С. 216–220.

21. *Комитет по составлению истории Бирманской ассоциации*. DoBamar Asiayone Thamine (Baung-choke) [История DoBamar Asiayone (Сборник)]. Янгон: Seikku Cho Cho Sar Pay, 2018.

22. *Мин З.С.* Возникновение ДоБамар Асияоне и Такинов в националистическом движении Мьянмы // Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University, 2009. Т. 27, № 1. С. 103–121.

23. *Министерство информации Мьянмы*. «Сохраним независимость благодаря единству братьев-мианмарцев». URL: <https://www.moi.gov.mm/article/98> (дата обращения: 27.11.2024).

24. Поуп Г.Ю. Учебник индийской истории: с географическими заметками, генеалогическими таблицами, экзаменационными вопросами и хронологическими, биографическими, географическими и общими указателями для использования в школах, колледжах и частными студентами. WH Allen & Company, 1880. С. viii-1.

25. वैदिकज्ञानप्रकाश. Некоторые факты о славной истории объединенной Индии // उगत भारत: хоккейная газета. 2022. URL: <https://www.ugtabharat.com/54972/> (дата обращения: 29.12.2024).

26. Тав Сейн Ко 1864–1930. Бирманские очерки. Рангун: British Burma Press, 1913. С. 1.

27. С.В. С.Н.У. Книга Сер Марко Поло, венецианца: о королевствах и чудесах Востока. Новый перевод и редакция с примечаниями. Лондон: Джон Мюррей, Альбомарл-стрит, 1871. Т. I.

28. Центр ЮНЕСКО. Древние города Пью // Всемирный центр наследия ЮНЕСКО. URL: <https://whc.unesco.org/en/list/1444/> (дата обращения: 29.12.2024).

29. Центр ЮНЕСКО. Баган // Всемирный центр наследия ЮНЕСКО. URL: <https://whc.unesco.org/en/list/1588/> (дата обращения: 30.12.2024).

30. Burma U.S.M. Письмо: США инвестируют в будущее Мьянмы. Посольство США в Бирме, 2019. URL: <https://mm.usembassy.gov/letter-us-is-investing-in-myanmars-future/> (дата обращения: 12.11.2024).

31. Британское посольство Янгон – GOV.UK. URL: <https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-yangon> (дата обращения: 12.11.2024).

Information about the author:

Kyaw Ye Phone – postgraduate student, Department of World Politics, Faculty of Historical and Political Studies, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: yph.mmr@stud.tsu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Сведения об авторе:

Чжо Йе Фон – аспирант кафедры мировой политики факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: yph.mmr@stud.tsu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

*The article was submitted 03.12.2024;
approved after reviewing 29.05.2025; accepted for publication 30.06.2025
Статья поступила в редакцию 03.12.2024;
одобрена после рецензирования 29.05.2025; принята к публикации 30.06.2025*

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Город: между миграцией и оседлостью

Научная статья

УДК 316.2

doi: 10.17223/1998863X/85/21

ДИСКУРСИВНАЯ УРБАНИСТИКА: ПОИСК МЕТОДА

Ирина Александровна Савченко

*Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Москва, Россия,
teosmaco@rambler.ru*

Аннотация. В статье раскрываются потенциалы трансструктурного метода в пространственно-дискурсивных городских исследованиях. Метод обнаруживает эффективность применительно к агломерациям и позволяет выявлять сложности их функционирования, в то время как два дополнительных исследовательских направления – гуманитарная аналитика и эпистемологическая урбанистика – помогают найти решения фиксируемых проблем. В этом контексте изучаются антиномии определенности и неопределенности, центра и периферии.

Ключевые слова: трансструктурный подход, гуманитарная аналитика, эпистемологическая урбанистика, джентрификация, «общество знания»

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-18-00288 «Дискурсивные трансформации современного города: координаты российской урбанистики» (<https://rscf.ru/project/23-18-00288/>)

Для цитирования: Савченко И.А. Дискурсивная урбанистика: поиск метода // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 249–256. doi: 10.17223/1998863X/85/21

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

The city: between migration and sedentism

Original article

DISCURSIVE URBAN STUDIES: METHOD SEARCH

Irina A. Savchenko

*Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, teosmaco@rambler.ru*

Abstract. Discursive urban studies is an integral area of modern urban research, implemented in the interrelationships of three approaches – transstructural, humanitarian-analytical and

epistemological. The transstructural approach can be considered as a new vector not only of urban research, but also of social and humanitarian science in general. At the same time, it is the discursive research of the city that is becoming the optimal field for introducing a transstructural approach to science and testing the first results. This approach integrates polydialecticism and the interpretative ambiguity of the discursive phenomena of the modern city. The concept of translucency was borrowed by me from geological and architectural science. The transstructural approach itself is aimed at developing research hypermodels – “structures with partial configurations” where horizontal and vertical layers intersect and create complex structural compositions. In the analysis of urban discourse, the transstructural method makes it possible to record not only discursive “shifts” (by analogy with geological shifts), but also the points of highest stress at which these shifts occur or will occur. Humanitarian analytics, in turn, is designed to understand the effects of translucency on specific people living and moving in the city, and, if possible, to find certain solutions. In the context of etymological urbanism, the idea of a project city continues to develop, which can be described as a discursive space where conditions are created to meet intellectual and communicative needs, the needs for active social interaction and defending one’s own individuality. The discursive analytics of the modern city pulsates in the four-dimensional coordinates of space–time and communication–knowledge. The transstructural approach makes it possible to identify the patterns of functioning and development of mega-large structurally heterogeneous cities. At the same time, humanitarian analytics and epistemological urban studies are partly project-oriented, since, one way or another, they are focused on finding solutions to problems and contradictions identified through the transstructural method.

Keywords: transstructural approach, humanitarian analysis, epistemological urbanism, gentrification, “knowledge society”

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 23-18-00288 Discursive Transformations of the Modern City: Coordinates of Russian Urban Studies: <https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

For citation: Savchenko, I.A. (2025) Discursive urban studies: method search. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 249–256. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/21

Введение

Дискурсивная урбанистика представляет собой интегральный подход к городским исследованиям, реализуемый в рамках методической модели – когнитивно-коммуникативной системы координат городского дискурса. Изучение города в координатах знания и коммуникации, которое я обосновываю в ряде своих работ («Вектор Штера...», 2023; «Метанарратив и фразовый режим», 2024 и др.), оказалось достаточно перспективным, однако после нескольких лет работы в контекстах данной проблематики я вынуждена была признать, что связь между когнитивно-коммуникативными и пространственно-временными векторами развития города, несмотря на свою очевидность, требует концептуального обоснования.

Обнаружилось, что такое обоснование «лежит на поверхности»: оно заключается во взаимосвязях трех подходов – трансструктурного, гуманитарно-аналитического и эпистемологического, на которые я опиралась в городских исследованиях, но которые, возможно, требуют дополнительной аргументации.

Трансструктурный метод в исследовании городского дискурса

Город: структура и система. Наука знает немало примеров исследования города как структуры. Из них самый известный – **концентрическая мо-**

дель городских зон Р.Э. Парка [1]. Исследования города, проведенные представителями Чикагской социологической школы, можно считать основополагающими для современной урбанистики. Между тем структурный подход рано или поздно обнаруживает свою уязвимость, которая сводится к недостаточному вниманию к динамике города и функциональности его единиц. Концентрические зоны пусть и существуют сейчас, но претерпели значимые качественные и количественные изменения, а структурный подход не предлагает инструментов для понимания природы взаимосвязей, способствующих этим изменениям.

Изучение города как пространственной целостности получило развитие в теории систем. Системные исследования города строились на его уподоблении организму: «для городского организма каркасом является система главных транспортных магистралей, коммуникационных узлов и связанных с ними сооружений городского значения; тканью – жилые дома, сооружения обслуживания и другие элементы городской застройки. В развитом градостроительном комплексе (например, общественном центре) в качестве каркаса можно выделить главные узлы внутренней коммуникационной структуры, отдельные сооружения или части сооружений, осуществляющие распределительные и управляющие функции в масштабе всего комплекса; в качестве ткани – основную массу сооружений, помещений, ячеек, стереотипных и узко специализированных по характеру функционального использования» [2. С. 224]. Такое понимание города, вероятно, могло бы иметь научную перспективу, однако отсутствие ярко выраженной проблематизации объекта исследования и устаревшая (даже для последней трети XX в.) методология, основанная на функционализме Г. Спенсера, привели к тому, что к началу 1990-х гг. исследования города в контексте теории систем оказались нерелевантными для новой социальной и научно-исследовательской повестки.

Системный подход «в современном исполнении» в том виде как он презентуется сегодня в большинстве диссертаций социально-гуманитарного профиля, достаточно быстро получил упрощенную интерпретацию и трактуется как комплексное рассмотрение социальных процессов и явлений в качестве самоорганизующейся целостности. Даже системный подход Н. Лумана, увы, тоже тяготеет к подобным трюизмам.

«Синергетическая метафора» первоначально (особенно, на рубеже XX и XXI вв.), выглядела обнадеживающей для изучения сложных социальных пространств (таких, как город, например), но поскольку синергетические упражнения гуманитариев часто приобретали форму внедисциплинарного платитюда, (псевдо)синергетика все больше подвергалась обоснованной критике [3].

Чтобы как-то описать сложное устройство современного города, требуется подход, который позволил бы каким-то образом постигать как пространственно-временные, так и коммуникативно-когнитивные индексы развития современного мегаполиса. Такой подход я называю трансструктурным.

Понимание трансструктурности. Трансструктурный подход можно рассматривать как новое направление не только для городских исследований, но и для социально-гуманитарной науки в целом. Вместе с тем именно дис-

курсивные исследования города становятся оптимальным полем для внедрения трансструктурного подхода в науку и для апробации первых результатов. В этом подходе интегрированы полидиалектизм и интерпретационная неоднозначность дискурсивных феноменов современного города. Понятие трансструктурности заимствовано нами из геологической и архитектурной науки. Подход сам по себе направлен на разработку исследовательских гипермоделей – «конструкций с частичными конфигурациями», где горизонтальные и вертикальные пласты пересекаются и создают сложные структурные композиции. В аналитике городского дискурса трансструктурный метод позволяет фиксировать не только дискурсивные «сдвиги» (по аналогии со сдвигами геологическими), но и точки наивысшего напряжения, в которых эти сдвиги происходят или будут происходить. Выявление этих точек позволяет делать социальные прогнозы и строить вероятностные модели динамики городского дискурса. В аналитику городского дискурса внедряются, таким образом, методы предиктивного анализа.

Трансструктурный метод является перспективной основой для конвергенции социально-гуманитарной, естественной и технической наук в рамках изучения городского дискурса. Он в какой-то степени интегрирует в себе структурный и системный подходы, однако он не является модификацией ни одного из них.

Трансструктурный подход предназначен для изучения сложных дихотомных конструкций, для которых характерны, с одной стороны, многочисленные разломы, провалы и разрывы и, с другой стороны, внутренние взаимосвязи между разорванными частями.

Возможны разные способы наглядного объяснения применимости трансструктурного подхода. Наиболее иллюстративной, на мой взгляд, здесь является топология многообразий, из которых самые известные – знаменитые сферы (поверхности шара) или торы (поверхности бублика). Если в своих изысканиях ограничиться только сферой или только тором (сравнив город с одним из этих многообразий), то мы неизбежно окажемся в границах той самой синергетики, в которой, образно говоря, масло смешивается с водой в бутылки посредством тряски. Эта тряска как раз и напоминает усилия синергетиков все рассматривать «вместе», «в комплексе».

В реальности город характеризуется системной многослойностью (или трансструктурностью), которую можно проиллюстрировать с помощью разных топологических нагромождений, из которых самое простое: шарик, втиснутый в бублик. И хотя шарик является вроде бы центром конструкции, именно он подвергается самым сильным деформациям: чем меньше диаметр бублика по отношению к диаметру шарика, тем сильнее шарик деформируется. Ситуация, когда диаметр шарика меньше диаметра бублика, является достаточно редким для города явлением. На ум в качестве примера приходит космический город-бублик Германа Поточника (Ноордунга)¹, по своему строению напоминающий велосипедное колесо: ядро-сфера связано с тором «спицами» – транспортными путями или коммуникационными сетями. Только в нашем случае бублик будет иметь не совсем правильную форму и «спицы» будут разной длины. Такая конструкция свойственна для «начинающих

¹ Keimel R. Potočník Hermann // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1983. Bd. 8. S. 232.

агломераций», подобных Санкт-Петербургу, в состав которого входят 21 поселок и десять городов, из которых Колпино и Пушкин – самые большие¹. И эти города и поселки находятся на различном расстоянии от основного города. Между ними и историческим «Питером» могут пролегать пустыри и малозаселенные ареалы.

Наиболее сложные конфигурации, свойственные особо крупным агломерациям вроде Москвы, представляют собой конструкцию со сферой в центре, на которую нанизан тор, на этот тор – другой тор и т.д. В таком случае каждый следующий бублик деформирует находящийся внутри. Так, город федерального значения Москва помимо «исторической» части включает весьма разнообразные населенные пункты: 6 городских населенных пунктов (в том числе 4 города и 2 поселка городского типа); 2 деревни и 7 поселков без сельского населения; 288 сельских населенных пунктов². При этом «сельские населенные пункты» не являются «сельскими» в полном смысле слова и в большинстве своем представляют собой городскую много- или среднеэтажную застройку.

В февральский день можно проехать на метро из центра 10–15 остановок до условных Ольховой или Бунинской аллеи, чтобы из весны попасть в зиму со свойственным ей снегом. А если сесть на автобус и доехать пос. Птичного Филимоновского района, то, все еще оставаясь в пределах города Москвы, можно чуть ли не тактильно ощутить провинциальный колорит.

В таких обстоятельствах описывать город как единый организм или «синергетическую целостность» можно, вероятно, лишь в качестве курьеза.

Гуманитарная аналитика трансструктурности

Современный город, тем более, город-агломерация – весьма сложная конфигурация. «Объять» такую конфигурацию с помощью чувственного восприятия весьма затруднительно. Гуманитарная аналитика призвана понять эффекты трансструктурности для конкретных людей, живущих и передвигающихся в городе. И, по возможности, найти определенные решения.

Алгебраическая топология говорит нам, что внутрь тора или сферы проникнуть невозможно. И действительно, пространства находятся на внешней части фигур. Внутри же сфер и торов развиваются дискурсы, и проникновение из дискурса в дискурс затруднительно. Человек может пространственно приблизиться к определенной дискурсивной замкнутости (заключенной, например, в определенном здании или группе зданий), но не попасть вовнутрь: для этого нужен пропуск или в лучшем случае предварительная запись или входной билет.

В контексте цифрового перехода гуманитарная аналитика формирует свой взгляд на джентрификацию городского пространства. Пространство джентрификации предстает как один из способов, с одной стороны, сегрега-

¹ О территориальном устройстве Санкт-Петербурга. Закон Санкт-Петербурга (с изменениями на 5 апреля 2024 года) // Консорциум «Кодекс». Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации. URL: <https://docs.cntd.ru/document/8414528>

² Общероссийский классификатор территорий в Москве ОМК ТМ // Общероссийский классификатор территорий в Москве ОМК ТМ // Правительство Москвы. Портал открытых данных. URL: <https://data.mos.ru/opendata/7710168515-obshchemoskovskiy-klassifikator-territoriy-v-moskve-omk-005-2013-razdel-1?pageSize=50&pageIndex=0&pageNumber=1&versionNumber=1&releaseNumber=5>

ции городского пространства, а с другой – тиражирования образцов городской среды в рамках дихотомии центр / периферия. Такая сегрегация может рассматриваться в духовном, экономическом, политическом срезе. Зададимся вопросом: могут ли формы жизни передаваться по социальным эстафетам в том числе посредством цифровых технологий? Изменяет ли цифровой переход восприятие центра и периферии в рамках города?

Эффекты джентрификации и неравенства проецируются на реализацию права людей на свой город. Гуманитарная аналитика позволяет наметить пути преодоления «городской несправедливости», которая состоит в неравном доступе горожан к городским интеллектуальным, ландшафтным и другим ресурсам города.

Характер дискурсивной системы цифрового (умного) города интегрален: в ней утрачивает значимость оппозиция между социальным и символическим, реальным и виртуальным. С опорой на идеи П. Бурдьё, можно проследить, каким образом в условиях города социальное пространство перетекает в пространство символическое и как это отражается на способах репрезентации жителя города в рамках городского дискурса.

Точки напряжения и устойчивая неопределенность

Трансструктурный подход удобен для исследования конфигураций, создаваемых дискурсивными полями современного города. В контексте таких процессов, как цифровой переход, межэтническая динамика и лингвокультурные трансформации, социальное и социально-экономическое неравенство, межпоколенный конфликт, изменение стратегий карьерной конкуренции и динамики мужских и женских ролей могут быть выявлены точки наивысшего напряжения, возникающие на пересечении дискурсивных полей. Подход позволяет дать теоретическое обоснование таким новым понятиям, как дискурсивный стресс, дискурсивный переход, дискурсивная напряженность, дискурсивный шок в условиях города.

Способность трансструктурного метода интегрировать в себе системный и структурный подходы при изучении городского дискурса проявляет себя особенно наглядно, поскольку метод позволяет одновременно рассматривать дискурсивную городскую среду как устойчивую иерархичную конструкцию, с одной стороны, и как системную целостность, динамика которой отличается высоким уровнем неопределенности, – с другой. Поэтому применительно к городскому дискурсу именно трансструктурный метод позволяет концептуализировать устойчивую неопределенность.

«Устойчивая неопределенность» – дихотомное понятие, которое является важной характеристикой городской жизни: «генеративность бросает вызов любой адаптивной системе, предлагая логику неопределенности и незавершенности, чуждую системам, ориентированным на поддержание существующего положения вещей» [3. С. 22]. Использование трансструктурного метода в дискурсивной аналитике города позволяет понять, как неопределенность может стать имманентным индексом устойчивости, а устойчивость – индексом неопределенности. Трансструктурный метод позволяет систематизировать и структурировать как устойчивость (которая понимается не только и не столько как постоянство, сколько как алгоритмизированность), так и неопределенность: в данном случае есть смысл говорить о неопределенности как

дискурсивной категории [5], с которой наука путем трансструктурного метода позволяет снять вуаль загадочности.

Эпистемологическая урбанистика и городской интеллектуальный ресурс

Итак, трансструктурный подход позволяет изучать город в четырехмерном дискурсивном изменении: пространства-времени и коммуникации-знания. Оценивая роль когнитивной переменной в исследовании города, имеет смысл снова показать потенциал применения эпистемологической урбанистики как для научного поиска, так и для практики координации дискурсивных процессов в городе. Идея права человека на свой город – должна бы быть приоритетна как для практики городского управления, так и для городских исследований. Это право имеет эпистемологическую природу, поскольку обусловлено процессами познания и научной коммуникации. «Право на свой город» – это специфическое право человека на научно-интеллектуальное производство и потребление. Становится очевидной связь «университетского города» и «права на свой город». «Город без университета», «город без науки», моногород не являются городами в полном смысле слова.

Трансструктурный подход позволяет выявить закономерности функционирования и развития мегаполисов и агломераций, структурно неоднородных по своей структуре. В то же время гуманитарная аналитика и эпистемологическая урбанистика имеют проектную направленность, поскольку ориентированы на поиск решений проблем и противоречий, выявленных с помощью трансструктурного метода.

Список источников

1. Парк Р., Николаев В. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок // Социологическое обозрение. 2006. Т. 5, № 1. С. 11–18.
2. Гутнов А.Э. Город как объект системного исследования // Системные исследования. Ежегодник. М.: Наука, 1977. 264 с.
3. Губин В.Б. Псевдосинергетика – новейшая лженаука // В защиту науки : бюллетень / Российская акад. наук, Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. М.: Наука, 2006. № 13–14. С. 110–119.
4. Асмолов Г.А., Асмолов А.Г. Интернет как генеративное пространство: историко-эволюционная перспектива // Вопросы психологии. 2019. № 4. С. 3–28.
5. Plakandaras V., Gupta R., Vohar M.E. Persistence of economic uncertainty: a comprehensive analysis // Applied Economics. 2019. Vol. 51, № 41. P. 4477–4498.

References

1. Park, R. & Nikolaev, V. (2006) Gorodskoe soobshchestvo kak prostranstvennaya konfiguratsiya i moral'nyy poryadok [The urban community as a state organization and an international series]. *Sotsiologicheskoe obozrenie*. 5(1). pp. 11–18.
2. Gutnov, A.E. (1977) Gorod kak ob"ekt sistemnogo issledovaniya [The city as an object of system research]. In: *Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik* [System Research. Yearbook]. Moscow: Nauka. pp. 221–260, 224.
3. Gubin, V.B. (2006) Pseudosinergetika – noveyshaya lzhenuka [Pseudosynergetics – the latest pseudoscience]. *V zashchitu nauki byulleten'*. 13–14. pp. 110–119.
4. Asmolov, G.A. & Asmolov, A.G. (2019) Internet kak generativnoe prostranstvo: istoriko-evolyutsionnaya perspektiva [The internet as a generative space: A historical-evolutional perspective]. *Voprosy psikhologii*. 4. pp. 3–28.
5. Plakandaras, V., Gupta, R. & Vohar, M.E. (2019) Persistence of economic uncertainty: a comprehensive analysis. *Applied Economics*. 51(41). pp. 4477–4498.

Сведения об авторе:

Савченко И.А. – доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). E-mail: teosmaco@ramler.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Savchenko I.A. – Dr. Sci. (Sociology), full professor, leading research fellow, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: teosmaco@ramler.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20.04.2025;
одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 20.04.2025;
approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 179.7+316.334.56

doi: 10.17223/1998863X/85/22

БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ ДИСКУРСИВНОЙ УРБАНИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ГОРОДОВ)

Сергей Михайлович Дружкин

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Институт социологии; Москва, Россия, Solo_adelante@list.ru

Аннотация. В статье-реплике на работу И.А. Савченко «Дискурсивная урбанистика: поиск метода» предлагается методологический синтез дискурсивной урбанистики, интегрирующий биоэтику, философию и антропологию для анализа городских систем на примере Латинской Америки. Предложены новые методы: критическая феноменология, цифровая этнография и экософия, направленные на анализ городских конфликтов через призму этики и инклюзивности.

Ключевые слова: дискурсивная урбанистика, биосоциальный ландшафт, биоэтика, слонстая уязвимость, цифровая сегрегация

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-18-00288 «Дискурсивные трансформации современного города: координаты российской урбанистики» (<https://rscf.ru/project/23-18-00288/>)

Для цитирования: Дружкин С.М. Биосоциальный ландшафт дискурсивной урбанистики (на примере латиноамериканских городов) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 257–263. doi: 10.17223/1998863X/85/22

Original article

THE BIOSOCIAL LANDSCAPE OF DISCURSIVE URBANISM (A CASE OF LATIN AMERICAN CITIES)

Sergey M. Druzhkin

Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, Solo_adelante@list.ru

Abstract. The article replying to Irina Savchenko's "Discursive Urbanism: Method Search" proposes a methodological synthesis of discursive urbanism, integrating bioethics, philosophy and anthropology for the analysis of urban systems using the example of Latin America. Using the cases of Sao Paulo, Mexico City, Rio de Janeiro, and other megacities, the vulnerability zones caused by social inequality, environmental risks and digitalization are revealed. The article analyzes the concepts "bioethical landscape", linking biopolitics, historical trauma and civic identity, as well as "layered vulnerability", reflecting the intersection of economic, cultural and environmental factors. It criticizes the reproduction of inequality in projects of gentrification and "smart cities", where digital segregation and monopolization reinforce the exclusion of marginalized groups. New methods are proposed: critical phenomenology, digital ethnography, and ecosophy aimed at analyzing urban conflicts through the lens of ethics and inclusivity.

Keywords: discursive urbanism, biosocial landscape, bioethics, layered vulnerability, digital segregation

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 23-18-00288 Discursive Transformations of the Modern City: Coordinates of Russian Urban Studies: <https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

For citation: Druzhkin, S.M. (2025) The biosocial landscape of discursive urbanism (a case of Latin American cities). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 257–263. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/22

Введение

В работе И.А. Савченко «Дискурсивная урбанистика: поиск метода» представлена конфигурация транструктурного, гуманитарно-аналитического и эпистемологического подходов к исследованию сложных городских систем. Акцентируется внимание на динамике дискурсивных сдвигов, точках напряжения и устойчивой неопределенности, характерных для мегаполисов. Несмотря на инновационность методологии, ряд аспектов остаются недостаточно проработанными. Я предлагаю расширить методологическую базу дискурсивной урбанистики через включение в нее элементов критической феноменологии и цифровой этнографии, аспектов биоэтической антропологии, «слоистой (многослойной) уязвимости» и примеров из урбанистического контекста Латинской Америки.

Транструктурный метод: переосмысление через биоэтику

Город как среда обитания человека формирует не только дискурсивные практики (о них пишет И.А. Савченко), но и телесные, связанные с экологией, здоровьем и доступом к ресурсам. Так, в мегаполисах Латинской Америки, таких как Сан-Паулу или Мехико, урбанизация сопровождается резким ростом социального неравенства, ограниченности доступа к чистой воде, медицинским услугам и безопасному жилью [1. Р. 79].

Биоэтическая антропология позволяет анализировать, как городские структуры влияют на телесность и здоровье жителей. Адриана Петрина развивает идеи биополитики (М. Фуко) и биосоциальности (П. Рабиноу), адаптируя их к постчернобыльскому контексту [2], и создает уникальный аналитический фреймворк, где «биоэтический ландшафт» отражает, как биологические последствия катастрофы становятся основой для формирования гражданской идентичности, правовых требований и моральных претензий к государству. Данный методологический прием мы предлагаем включить в методологию урбанистического поиска. Концепция «биоэтического ландшафта» позволяет увидеть, что неравенство кроется в доступе к ресурсам и формирует зоны повышенной уязвимости. Например, в Сан-Паулу (Бразилия) районы с высокой концентрацией фавел сталкиваются с дефицитом чистой воды и медицинской инфраструктуры [3].

Транструктурный метод действительно позволяет выявлять точки напряжения, такие как, например, промышленные зоны в Кордове (Аргентина), где загрязнение воздуха коррелирует с ростом респираторных заболеваний среди детей [4. Р. 365]. Эти зоны становятся эпицентрами социального

протеста, что требует междисциплинарного анализа, объединяющего экологию, медицину и социологию. Философский аспект трансструктурного метода можно расширить через идеи Мориса Мерло-Понти, который рассматривал тело как «медиум восприятия мира» [5]. В контексте мегаполиса это означает, что городская среда формирует не только физическое, но и эмоциональное состояние жителей. Например, в Мехико высокая плотность населения и шумовое загрязнение приводят к хроническому стрессу, что подтверждается исследованиями в области нейроурбанистики [6. Р. 498].

Аргентинский философ Ф. Луна вводит концепцию «слоистой (много-слойной) уязвимости», подчеркивая, что уязвимость индивидов и групп формируется множеством накладывающихся факторов: экономических, социальных, гендерных и экологических [7]. Здесь наблюдаются аналогии с трансструктурным подходом И.А. Савченко, где город рассматривается как система пересекающихся пластов. Например, в Рио-де-Жанейро фавелы представляют собой зоны, где слоистая уязвимость проявляется через отсутствие инфраструктуры, полицейское насилие и ограниченный доступ к образованию. В частности, в Росинье (Фавела, Рио-де-Жанейро, Бразилия) слоистая уязвимость проявляется через экономическую маргинализацию (большинство жителей работают в нелегальном секторе), полицейское насилие [8] (ежегодно в операциях против наркокартелей гибнут десятки гражданских), экологические риски [9] (оползни в сезон дождей уносят жизни десятков людей).

Другой пример связан с урбанизацией коренных народов в Боливии. В Эль-Альто (Боливия) миграция коренного населения аймара в город сопровождается конфликтом между традиционными практиками и урбанистическими нормами. Слоистая уязвимость здесь проявляется через культурную дискриминацию [8]. Представители народа аймара сталкиваются с культурной дискриминацией: их часто воспринимают только как исполнителей фольклорных стереотипов, но при этом язык аймара является одним из государственных.

Эти факторы создают «разрывы» в социальной ткани, которые И.А. Савченко определяет как точки дискурсивного напряжения. Джентрификация – один из контекстов таких разрывов, например, городские реформы 1960–1975 гг. в Рио-де-Жанейро привели к вытеснению местных жителей, усиливая их зависимость от теневых экономических практик. Урбанистические преобразования времен военного режима (например, переселение жителей фавел, строительство инфраструктуры) напрямую связаны с политикой контроля и социального неравенства. Эти проекты заложили основу коррупционных схем, сохранившихся в современной политике Рио [10].

Современный урбанпроект «Порто Маравилья» рассматривается как «спектакль» [10. Р. 12] и позиционируется как символ «нового Рио». Однако в проекте игнорируется исторический контекст динамики города, коммерциализируется городское пространство и создается «витринная» версия города, исключая маргинализированные группы. Другой пример связан с открытием музея искусств Рио (MAR) и Программы Pró-Carioca, которые продвигают избирательные исторические нарративы.

В случае Сантьяго государственные программы социального жилья пусть и улучшают условия жизни, но жилье строится в отдаленных районах,

что усиливает пространственную сегрегацию и, возможно, сохраняет зависимость от теневых экономик из-за отсутствия доступа к рабочим местам и услугам [11. Р. 5]. Транспортная система Куритибы, основанная на принципах устойчивости, считается образцовой. Однако джентрификация привела к высокому росту цен на жилье за десятилетие, вытесняя низкодоходные группы [12].

Таким образом, трансструктурный метод И.А. Савченко, объединенный с биоэтикой, анализирует город как многослойную систему, влияющую на здоровье и доступ к ресурсам. Концепция «биоэтического ландшафта» связывает и последствия катастроф с гражданской идентичностью. «Слоистая уязвимость» раскрывает пересечение экономических, экологических и культурных факторов. Урбанистические проекты часто усиливают неравенство, вытесняя маргинализированные группы. Философия Мерло-Понти подчеркивает влияние среды на физическое и эмоциональное состояние. Этическое планирование требует междисциплинарного подхода, справедливого распределения ресурсов и учета историко-культурного контекста для снижения уязвимости.

Цифровой переход и этические вызовы «умного города»

Цифровой переход, о котором пишет И.А. Савченко, требует более детального анализа в контексте этики и антропологии. На первый план выходят следующие проблемы: социальное исключение (цифровой разрыв усугубляется неравным доступом к технологиям между группами населения); технологическая монополизация (управление инфраструктурой крупными корпорациями ограничивает участие местных сообществ); экологические компромиссы (некоторые проекты не достигают заявленных экологических целей); культурное несоответствие (импорт решений без учета локальных особенностей усугубляет проблемы); отсутствие стандартов (размытость критериев «умного города» затрудняет оценку эффективности; риски утечек данных и кибератак на критическую инфраструктуру [13].

Как цифровые технологии трансформируют право человека на свой город? Концепция «цифрового гражданства» [14] предполагает, что доступ к технологиям становится новым критерием социальной включенности. Однако в 2024 г. 2,6 млрд человек в мире не имели доступа к интернету, что составило 32% населения мира. И это не только сельские жители: на данный момент в мире горожанами являются около 57% [15]. Биоэтическая антропология ставит вопрос о влиянии цифровизации на человеческую телесность. Например, в Сантьяго (Чили) имели место массовые возмущения по вопросу использования биометрических данных для доступа к общественным услугам [16], что вызывает опасения по поводу приватности и автономии личности.

Новые методологические подходы

Для расширения возможностей трансструктурного подхода предлагаю использовать потенциалы критической феноменологии, цифровой этнографии, экософии. В рамках критической феноменологии (Дж. Батлер) можно анализировать опыт маргинализированных групп через призму «прекарности» [17] – экзистенциальное состояние, свидетельствующее об общей уязвимости,

присущей всем живым существам. Прекаризация, по Батлеру, обозначает «политически индуцированное состояние», при котором определенные группы населения страдают от недостатка средств к существованию, сетей социальной и экономической поддержки, подвержены более высокому риску причинения вреда, насилия и смерти.

Цифровая этнография позволяет выявлять скрытые паттерны городской коммуникации [18]. В Коста-Рика хэштег #NoALaGentrificación объединил тысячи пользователей, протестующих против вытеснения из исторического центра.

Экософия Ф. Гваттари позволяет преодолеть традиционные взгляды экологов, которые затушевывают сложность взаимоотношений между людьми и их природной средой. Экософский подход имеет три уровня: уровень окружающей среды, уровень социальных отношений и уровень человеческой субъективности. Концепция «трех экологий» [19] – ментальной, социальной и природной – применима, например, к анализу «зеленых зон» Медельина (Колумбия). Парки здесь становятся пространствами био-этического сопротивления, где сообщества борются за сохранение биоразнообразия.

Концепция И.А. Савченко, дополненная интеграцией этики, биоэтики и экологии, создает поле для устойчивого развития городов. При таком развитии приоритетом становится защита прав человека, инклюзивное планирование и восстановление социальной ткани через диалог с уязвимыми группами.

Список источников

1. *Ferreira J.S.W.* São Paulo: cidade da intolerância, ou o urbanismo “à brasileira” // *Estudos Avançados*. 2011. Vol. 25, № 71. P. 73–88.
2. *Petryna A.* Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl. Princeton : Princeton University Press, 2003. 264 p.
3. *São Paulo’s water crisis: favela shortages hit poorest residents hardest* // *The Guardian*. 2015. 15 April. URL: <https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/15/sao-paulo-water-crisis-favela-shortages-poorest>
4. *Abrutsky R. et al.* Atmospheric pollution and mortality. A comparative study between two Latin American cities: Buenos Aires (Argentina) and Santiago (Chile) // *International Journal of Environment and Health*. 2013. Vol. 6, № 4. P. 363–380.
5. *Merleau-Ponty M.* Phenomenology of Perception (transl. by Colin Smith). London ; New York : Routledge, 2002. 544 p.
6. *Lederbogen F., Kirsch P., Haddad L. et al.* City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans // *Nature*. 2011. Vol. 474. P. 498–501.
7. *Luna F.* Bioethics and Vulnerability: A Latin American View. Amsterdam : Rodopi, 2006. 177 p.
8. *Da Silva J.* The favelados in Rio de Janeiro, Brazil // *Policing and Society*. 2000. Vol. 10 (1). P. 121–130.
9. *Latest Rio landslide buries 200* // *CBC News*. URL: <https://www.cbc.ca/news/world/latest-rio-landslide-buries-200-1.929403>
10. *Silva J.C.S., Sepúlveda J.A.M.* The Porto Maravilha Project and the 450 years of the city of Rio: on highlights and silences // *Pro-Posições*. 2023. Vol. 34. P. 1–19.
11. *Caldeira T.P.R.* Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, and politics in cities of the global south // *Environment and Planning D: Society and Space*. 2017. Vol. 35, № 1. P. 3–20.
12. *Lerner J.* Urban Acupuncture. Washington, D.C.: Island Press. 2014. 156 p.
13. *Gere L., Czirják R.* Erősítik-e a társadalmi kirekesztést a smart city? // *Információs Társadalom*. 2016. № 3. P. 83–100.

14. Isin E., Ruppert E. Being Digital Citizens. Lanham : Rowman & Littlefield, 2020. 244 p.
15. Trading Economics. World – Urban Population (% Of Total) // Trading Economics. URL: <https://tradingeconomics.com/world/urban-population-percent-of-total-wb-data.html>
16. Jiang R. et al. Biometric Security and Privacy – Opportunities & Challenges in The Big Data Era. New York City : Springer Book, 2017. 424 p.
17. Butler J. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Harvard : L Harvard University Press, 2015. 256 p.
18. Pink S. et al. Digital Ethnography: Principles and Practice. Thousand Oaks : Sage Publishing, 2015. 216 p.
19. Guattari F. The Three Ecologies. London : Athlone Press, 2000. 174 p.

References

1. Ferreira, J.S.W. (2011) São Paulo: cidade da intolerância, ou o urbanismo “à brasileira.” *Estudos Avançados*. 25(71). pp. 73–88.
2. Petryna, A. (2003) *Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl*. Princeton: Princeton University Press.
3. *The Guardian*. (2015) São Paulo’s water crisis: favela shortages hit poorest residents hardest. 15th April. [Online] Available from: <https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/15/sao-paulo-water-crisis-favela-shortages-poorest>
4. Abrutsky, R. et al. (2013) Atmospheric pollution and mortality. A comparative study between two Latin American cities: Buenos Aires (Argentina) and Santiago (Chile). *International Journal of Environment and Health*. 6(4). pp. 363–380. DOI: 10.4236/jeP.2012.33033
5. Merleau-Ponty, M. (2002) *Phenomenology of Perception*. Translated by C. Smith. London; New York: Routledge.
6. Lederbogen, F., Kirsch, P., Haddad, L. et al. (2011) City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. *Nature*. 474. pp. 498–501.
7. Luna, F. (2006) *Bioethics and Vulnerability: A Latin American View*. Amsterdam: Rodopi.
8. Da Silva, J. (2000) The favelados in Rio de Janeiro, Brazil. *Policing and Society*. 10(1). pp. 121–130.
9. CBC News. (n.d.) *Latest Rio landslide buries 200*. [Online] Available from: <https://www.cbc.ca/news/world/latest-rio-landslide-buries-200-1.929403>
10. Silva, J.C.S. & Sepulveda, J.A.M. (2023) The Porto Maravilha Project and the 450 years of the city of Rio: on highlights and silences. *Pro-Posições*. 34. pp. 1–19.
11. Caldeira, T. (2017) Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, and politics in cities of the global south. *Environment and Planning D: Society and Space*. 35(1). pp. 3–20.
12. Lerner, J. (2014) *Urban Acupuncture*. Washington, D.C.: Island Press.
13. Gere, L. & Czirják, R. (2016) Erősítik-e a társadalmi kirekesztést a smart cityk? *Információ Társadalom*. 3. pp. 83–100.
14. Isin, E. & Ruppert, E. (2020) *Being Digital Citizens*. Lanham: Rowman & Littlefield.
15. Trading Economics. (n.d.) *Trading Economics. World – Urban Population (% Of Total)*. [Online] Available from: <https://tradingeconomics.com/world/urban-population-percent-of-total-wb-data.html> (Accessed: 15th February 2025).
16. Jiang, R. et al. (2017) *Biometric Security and Privacy – Opportunities & Challenges in The Big Data Era*. New York City: Springer Book.
17. Butler, J. (2015) *Notes Toward a Performative Theory of Assembly*. Harvard University Press.
18. Pink, S. et al. (2015) *Digital Ethnography: Principles and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publishing.
19. Guattari, F. (2000) *The Three Ecologies*. London: Athlone Press.

Сведения об авторе:

Дружкин С.М. – младший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Москва, Россия). E-mail: Solo_adelante@list.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Druzhkin S.M. – junior research fellow at the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: Solo_adelante@list.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20.04.2025;
одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 20.04.2025;
approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.2

doi: 10.17223/1998863X/85/23

ЛАКУНЫ НЕВИДИМОГО ГОРОДА: ФЕНОМЕН ИНФОДЕНИАЛИЗМА

Илья Теодорович Касавин

*Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
Институт социологии, Москва, Россия,
itkasavin@gmail.com*

Аннотация. Текст представляет собой комментарий к статье И.А. Савченко «Дискурсивная урбанистика: поиск метода». Предлагается гуманитарная аналитика медиакоммуникаций и информационного общества, в которой в качестве одной из важнейших задач эпистемологической урбанистики выдвигается критика негативных последствий цифровизации для человека и городской среды. Ограниченность научно- и технооптимизма, оппозиция по отношению к информационным технологиям укореняются в истории и диагностируются в современности с помощью термина «инфодениализм». Особые угрозы этого феномена связаны с его невидимым характером, неразличимым для обычного наблюдателя.

Ключевые слова: трансструктурный подход, гуманитарная аналитика, эпистемологическая урбанистика, «общество знания», инфодениализм, контркультура

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-18-00288 «Дискурсивные трансформации современного города: координаты российской урбанистики» (<https://rscf.ru/project/23-18-00288/>)

Для цитирования: Касавин И.Т. Лакуны невидимого города: феномен инфодениализма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 264–271. doi: 10.17223/1998863X/85/23

Original article

LACUNAE OF THE INVISIBLE CITY: THE PHENOMENON OF INFODENIALISM

Ilya T. Kasavin

*Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
itkasavin@gmail.com*

Abstract. The text is a commentary on the article “Discursive Urbanism: Method Search” by Irina Savchenko. A humanitarian analytics of media communications and the information society is proposed, in which one of the most important tasks of epistemological urbanism is to criticize the negative consequences of digitalization for people and the urban environment. Limitations of scientific and technological optimism, the opposition to information technologies are rooted in history and diagnosed in modernity with the help of the term “infodentialism”. The particular threats of this phenomenon refer to its invisible nature, indistinguishable to the ordinary observer. From this point of view, epistemological urbanism could learn the lesson of the countercultural critique of industrial capitalism, the information society, and the knowledge society. Intellectualism is necessary, but its power is uncomfortable. Artificial intelligence and information networks today demonstrate not only

limited value, but also obvious threats. In this context, the phenomenon of the invisible “ambiente” (Spanish: atmosphere, setting) comes to the fore – the traditional comfortable urban environment, the right to which must be defended today.

Keywords: transstructural approach, humanitarian analytics, epistemological urbanism, “knowledge society”, infodentialism, counterculture

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 23-18-00288 Discursive Transformations of the Modern City: Coordinates of Russian Urban Studies: <https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

For citation: Kasavin, I.T. (2025) Lacunae of the invisible city: the phenomenon of infodentialism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 264–271. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/23

Обсуждение преимуществ и недостатков трансструктурного подхода, предлагаемого в статье И.А. Савченко «Дискурсивная урбанистика: поиск метода», естественным образом наталкивает на одно важное обстоятельство. Идея структуры предполагает, что исследуемый феномен представлен в форме и совокупности таких взаимосвязей, которые в принципе исчерпывают его существенные параметры. Эта сильная теоретическая абстракция, которая «останавливает» феномен в его развитии, дает его синхронный, горизонтальный срез с кантовской претензией на всеобщность и необходимость. Одновременно она выделяет доминантные тенденции и выталкивает на периферию те, которые полагаются маргинальными с точки зрения принимаемых и часто неосознаваемых предпосылок. Как результат в фокус теоретического видения не попадают явления, которым отказано в существовании, но которые могут оказаться важными с другой точки зрения как в синхронном, так и диахронном измерении.

Частичная компенсация недостатков структурного подхода действительно возможна с позиции методологии трансструктурной топологии, предлагаемой И.А. Савченко. Мы будем апеллировать к этой идее, исследуя информационные потоки города, обычно именуемые медиакоммуникациями. Информация создает то, что по аналогии с «невидимым колледжем» английских ученых XVII в. можно назвать «невидимым городом» – материалом дискурсивной урбанистики и гуманитарной аналитики.

С одной стороны, развитие медиакоммуникаций может быть разделено на ряд основных исторических этапов. С другой стороны, должны быть выявлены необходимые предпосылки всего этого развития. Пусть различие между техническими и культурными предпосылками является относительно условным. Технические предпосылки – это изобретение материальных носителей информации, которые не являются специфичными, создавались для других целей, использовались случайно и являются внешними и контингентными. Культурные предпосылки, напротив, возникают именно из ситуаций общения и представляют собой самореферентные феномены, выстроенные в форме внутренних циклов развития.

Так, рудники и шахты кроманьонца в Южной Африке датируются несколькими десятками тысячелетий до н.э. В них добывали феррум оксид – наиболее часто встречающуюся породу, используемую для выплавки железа. Этот факт обращает на себя внимание потому, что в каменный век выплавка железа не практиковалась вообще и железные орудия не производились.

Остается предположить, что этот минерал мог применяться для других целей, а именно для изготовления красителя – красной охры. Вероятно, именно этот натуральный пигмент использовался в проторелигиозных ритуалах, а уже при их посредстве – в традиционной медицине и косметике, а также в наскальной живописи – одном из немногих свидетельств интеллектуальной культуры тех времен. Тем самым был открыт принцип досинтетической химии красок – наиболее стойким пигментом является неорганическое вещество. Отныне писать и рисовать можно было на века.

Вторым искомым носителем визуализаций была поверхность. Каменные скрижали вечны, но нетранспортабельны. Вавилонские глиняные дощечки, египетский папирус, китайская бумага, греческий пергамент стали неотъемлемыми элементами письменной культуры древних. Третья техническая предпосылка – способ тиражирования – оставалась малоактуальной достаточно долго: даже среди античных греков письмо и чтение было не слишком популярно.

Религиозная реформация в Европе – та самая культурная предпосылка, которая потребовала объединить бумагу, краску, металлургические и винодельческие техники с развитием университетов, религиозным ритуалом и торговлей для революционного прорыва – изобретения печатного станка Иоганном Гутенбергом в середине XV в.

Доминанты инфопрогресса

Возникновение и доминирование печатных изданий стало первым этапом развития средств массовой коммуникации. Массовый тираж книг и газет радикально ускорил распространение информации. Этот этап оказался самым длинным, продолжаясь до середины XX в. «До изобретения книгопечатания науки были доступны только вельможам и аристократам, приверженцы наук составляли даже некое аристократическое государство. После изобретения книгопечатания его государственный строй начал приближаться к республике. Ныне он стал совсем демократическим, и если ему присущи кое-какие недостатки демократии, то он обладает и всеми ее достоинствами. Последний человек из народа, если только он найдет слушателей, может здесь говорить, проповедовать свои мысли» [1. С. 211]. Это оптимистическое высказывание известного литератора и чиновника XIX в. существенно подкорректировал Уильям Херст – первый американский крупный медиамагнат начала XX в. Он показал, что СМИ может быть монопольной силой, способной менять президентов и управлять финансовыми потоками. Орсон Уэллс снял о нем известнейший американский фильм «Гражданин Кейн».

В дальнейшем возникновения и доминирования новых медиа сменялись и накладывались друг на друга в ускоряющемся темпе. XIX в. был отмечен их лавинообразным ростом. Телеграф, телетайп, телефон, радио изменили информационный ландшафт и тем самым всю политику, экономику и культуру. Под информационный прицел попали избиратели, держатели акций, читатели бестселлеров – все, способные что-то купить или отдать.

Прорыв эпохи телефона и радио состоял в овладении реальным временем: коммуникация, новости и развлекательные программы стали событиями здесь и сейчас. Еще один сдвиг обеспечило телевидение XX в. Оно собрало

воедино аудиовизуальный эффект: доступность и эффективность медиакommunikации возросли до невиданных высот. Но удивительное будущее вновь не заставило себя ждать.

Буквально по лекалам фантастических романов на сцену в конце XX в. вышли интернет и вся цифровая революция. Все предыдущие формы медиа слились воедино и обрели интерактивность. Эпоха текста и чтения трансформировалась в эпоху дискурса и письма: невиданную динамику получила возможность не только потреблять контент, но и создавать его. Возникли новые платформы для обмена информацией: социальные сети, блоги и видеохостинги.

Доступность медиакommunikаций росла параллельно развитию мобильных технологий. Благодаря смартфонам, планшетным компьютерам и гибридным устройствам мобильные приложения и социальные сети окончательно овладели пространством и временем и теперь преследуют человека везде и всегда.

Влияние искусственного интеллекта и больших данных на медиакommunikации относится к самым последним веяниям информационной революции. ИИ обеспечивает персонализированный контент и ставит пользователя в еще большую зависимость от медиакommunikации.

Нет нужды перечислять все выгоды современного человека от новой информационной ситуации. Ее недостатки также уже давно подвергнуты критике. Корысть и скандальность медиакommunikации являются ее родовыми чертами. Гутенберг и сам был, в первую очередь, коммерсантом, открывшим новую бизнес-нишу, но не сумевшим извлечь из нее должную прибыль. Херст, напротив, смог это сделать, сыграв на не самых высоких человеческих чувствах, в частности, на интересе жизненными трагедиями. Средствами достичь высоких тиражей послужили такие приемы «желтой журналистики» (термин обязан Херсту), как сенсация, провокация, фабрикация. «Грязные социальные технологии», «вторая древнейшая профессия» – таковы инвективы в сторону недобросовестной журналистики, которая не исчезла и в наши дни.

Феномен инфодениализма

«Не читайте до обеда советских газет! А если других нет, то и вообще не читайте» – рекомендовал профессор Преображенский, герой булгаковского «Собачьего сердца». Тем самым он четко сформулировал принципы того, что можно назвать «инфодениализмом» – одним из видов дениализма вообще.

Дениализм (от англ. denialism) – это идеологическая стратегия отрицания (критики) некоторого социально значимого факта. Казалось бы, он обязан промышленной и научно-технической революции, негативные последствия которой не все желают замечать. Так, к научным дениалистам относятся отрицатели вредного влияния табачного дыма на организм человека, значения экологического загрязнения или антропологического влияния на климат и пр. [2]. К урбано-дениалистам можно отнести критиков городского образа жизни, пропагандирующих переселение на природу, в деревню. Отрицание (отказ от покупки, агитация против) фарминдустрии, биодобавок, вакцинирования, генномодифицированных продуктов, про-

мышленной химии – известная форма протеста против доминирующей «химии культуры».

Контркультурное движение уже привлекало внимание к феномену инфодениализма в форме критики информационного общества. Однако выясняется, что это не такое уж и современное явление, а напротив, оно зарождается еще в античности. Платон говорил, что книга в руках невежды – как меч в руках ребенка. Он также пересказывал египетскую легенду, направленную против письменности («Федр»). Чтение книг – это дурная привычка, побуждающая людей пренебрегать упражнением памяти и зависеть от письменных знаков, которые сами по себе не могут ответить на поставленный вопрос. Платон противопоставляет книге диалог как вид живого творческого дискурса.

С возникновением печатной книги возникают новые причины критики главного источника информации – текста. Во-первых, в эпоху Возрождения этому способствовало открытие новых античных литературных источников и толкование арабоязычных переводов. Во-вторых, перевод Библии на национальные языки и протестантский призыв к ее самостоятельному чтению постепенно десакрализировали священный текст и, как следствие, всякую книгу вообще. Наконец, в-третьих, книжная ученость и библейская наука, пропагандируемая университетами, вступали в противоречие с практическим знанием врачей, ремесленников, мореплавателей. Его росту служил миграционный образ жизни человека позднего Средневековья, которого сгоняли с места феодальные войны, бедность, эпидемии, а также заманчивые перспективы крестовых походов и морских путешествий. Таким образом, развитие герменевтического чтения, с одной стороны, и рост позитивного практического знания – с другой, одним из значимых последствий имело скептическое отношение к письменному тексту, польза которого оказывалась сомнительной. Примечательно свидетельство Мишеля Монтеня: «Гораздо больше труда уходит на перетолкование толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах: мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга» [3. С. 360].

В XX в. уже критика информационного общества в постмодернистских концепциях двигалась в трех основных направлениях. Во-первых, это открытие таких общих характеристик современной культуры, как плюральность, фрагментарность, изменчивость, ироничность, прагматичность. Во-вторых, демонстрация искусственной, «сделанной», ангажированной природы медиакоммуникации. Жак Бодрийяр блестяще иллюстрировал это обстоятельство в своих эссе на тему американско-иракского конфликта 1991 г. «Войны в заливе не было» [4]. Бодрийяр не утверждал, что американская армия не напала на Ирак. Он убедительно показал, что информационная повестка была выстроена американскими СМИ так, чтобы не дать адекватной информации и представить события как бескровную хирургическую (специфическую) операцию, даже не предполагающую войсковые столкновения. Медиакоммуникации подменяли собой реальность, нивелировали ее значение с помощью симулякров. В-третьих, особое влияние обрела критика «капиталистического индустриализма», «врага номер один» – термины Т. Розака [5] – в рамках леворадикального контркультурного

движения. «Его враги выступают в образе то технократов-„экспертов“, то технократии, ратующей за бесконтрольное развитие военно-промышленного комплекса, варварски относящейся к окружающей среде, к природе, манипулирующей сознанием людей, то в образе науки, искажающей представления людей об окружающем их мире» [6. Р. 61–62].

Ярким примером мошеннического способа использования информационных технологий является так называемое «инфоцыганство» [7, 8]. Данный неполиткорректный термин обозначает «продажу воздуха», обманные приемы рекламы и навязывания ненужных и нередко вредных информационных «услуг» в сфере дополнительного образования (бизнес-тренерства, коучинга), сетевого маркетинга, финансовых пирамид и пр. Этот феномен запустил серьезные процессы в области правового регламентирования услуг такого рода и судебного преследования недобросовестных блогеров.

В области науки своего рода инфодениализмом выступает как ограничение чтения современной литературы, не содержащей существенной новизны, так и ограничение публикационной активности вопреки публикационному давлению со стороны администрации научно-образовательных центров [9].

В этой связи вопрос о «праве на свой город» получает неожиданное звучание. И.А. Савченко полагает, что это специфическое право человека на научно-интеллектуальное производство и потребление. Так ли это? Во-первых, мошенничество также укладывается в данное определение. Во-вторых, права человека касаются не только сферы интеллектуальной деятельности, а город – отнюдь не только территория работы. Наконец, в-третьих, сегодня диагностируется изменение не только характера, но и ценности труда, она утрачивает всякую безусловность, а информация из блага превращается в навязанный товар или услугу. Две трети суток человек удовлетворяет свои основные потребности в спокойном сне, качественном питании, приятном отдыхе, дружеском общении, стремясь реализовать, в первую очередь, право на чистую воду и воздух, удобную инфраструктуру, комфорт и безопасность. В большом городе кто-то устает от уличной суеты, а кто-то от монотонного труда или бесконечных телефонных звонков, уведомлений от мессенджеров и социальных сетей. Если город требует от человека решения трудных задач в то время, которое он хотел бы отвести для рекреации, то можно прогнозировать дениалистскую реакцию. Перегруженность информацией обесценивает мышление и делает всякий интеллектуализм некомфортным явлением и даже проявлением дискурсивной несправедливости.

И тогда каналы и продукты медиакommunikации попадают на ценностную периферию, а в центре располагаются более простые удовольствия, на которые городской человек также имеет право. Сколько времени проводят жители Германии и Испании, Аргентины и Южной Кореи в пивных и кофейнях, закусочных и кафе, барах и ресторанах? Без риска ошибиться скажу, что в среднем от двух часов и более в день, на что уходит до пятнадцати процентов семейного бюджета.

Эпистемологическая урбанистика, с этой точки зрения, могла бы усвоить урок контркультурной критики индустриального капитализма, информационного общества и общества знания. Интеллектуализм необходим, но его власть некомфортна. Искусственный интеллект, информационные сети де-

монстрируют сегодня не только ограниченную ценность, но и очевидные угрозы. В этом контексте на передний план выходит феномен невидимого *ambiente* (исп., атмосфера, обстановка)¹ – традиционной комфортной городской среды, право на которую сегодня приходится защищать.

Список источников

1. Клингер Ф.М. Наблюдения и размышления над различными явлениями жизни и литературы // Клингер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. М. ; Л. : Государственное издательство художественной литературы, 1961. С. 205–220.
2. Тухватуллина Л.А. Наука как объект веры и недоверия: феномен дениализма // Эпистемология и философия науки. 2023. № 1. С. 6–20.
3. Монтень М. Опыты. Книга третья. М. : Голос, 1992. 414 с.
4. Baudrillard J. The Gulf War Did Not Take Place. Sydney : Power Publications, 2012. 87 p.
5. Roszak Th. The cult of information : The folklore of computers a. the true art of thinking. New York : Pantheon books, 1986. 238 p.
6. Султанова М.А. Философия контркультуры Теодора Розака. Очерк философской публицистики. М. : Ин-т философии РАН ; Ин-т философии, 2009. 175 с.
7. Перова Д.С. Этическая оценка инфоцыганства // Информация – Коммуникация – Общество. 2022. Т. 1. С. 246–250.
8. Каминская Т.Л., Петровская В. Феномен «инфоцыганство» в современных медиа // Вопросы журналистики. 2022. № 11. С. 71–84.
9. Касавин И.Т. Публикация как смерть автора // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2022. Т. 5, № 3. С. 6–16.

References

1. Klinger, F.M. (1961) *Faust, ego zhizn', deyaniya i nizverzhenie v ad* [Faust, his life, deeds and descent into hell]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury. pp. 205–220.
2. Tikhvatullina, L.A. (2023) *Nauka kak ob"ekt very i nedoveriya: fenomen denializma* [Science as an Object of Faith and distrust: the Phenomenon of Denialism]. *Epistemologiya i filosofiya nauki*. 1. pp. 6–20.
3. Montaigne, M. (1992) *Opyty. Kniga tretya* [Experiments. The Third Book]. Moscow: Golos.
4. Baudrillard, J. (2012) *The Gulf War Did Not Take Place*. Sydney: Power Publications.
5. Roszak, Th. (1986) *The Cult of Information: The Folklore of Computers. The True Art of Thinking*. New York: Pantheon Books.
6. Sultanova, M.A. (2009) *Filosofiya kontrkul'tury Teodora Rozzaka* [The Philosophy of counterculture by Theodor Rozsak]. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
7. Perova, D.S. (2022) *Eticheskaya otsenka infotsyganstva* [Ethical Assessment of Info-gypsies]. *Informatsiya – Kommunikatsiya – Obshchestvo*. 1. pp. 246–250.
8. Kaminskaya, T.L. & Petrovskaya, V. (2022) Fenomen “infotsyganstvo” v sovremennykh media [The phenomenon of “info-gypsies” in modern media]. *Voprosy zhurnalistiki*. 11. pp. 71–84.
9. Kasavin, I.T. (2022) *Publikatsiya kak smert' avtora* [Publication as a death of the author]. *Tsifrovoy uchenyy: laboratoriya filosofa*. 3(5). pp. 6–16.

Сведения об авторе:

Касавин И.Т. – член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Москва, Россия). E-mail: itkasavin@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

¹ Маркетологи уже начали эксплуатировать этот феномен. *Ambiente media* – нестандартный, креативный тип рекламы, использующей неожиданную эмоциональную реакцию для побуждения к покупке товара.

Information about the author:

Kasavin I.T. – corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sci. (Philosophy), full professor, chief researcher at the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: itkasavin@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20.04.2025;
одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 20.04.2025;
approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.334.56

doi: 10.17223/1998863X/85/24

ТРАНССТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Владимир Денисович Кузьмин

*Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
Институт социологии, Москва, Россия, nothingtohave88@gmail.com*

Аннотация. В статье-реплике на работу И.А. Савченко «Дискурсивная урбанистика: поиск метода» анализируются преимущества и спорные элементы трансструктурного метода, предложенного И.А. Савченко в качестве инструмента изучения городских сообществ. Подчеркиваются очевидные достоинства метода: междисциплинарная интеграция знаний о городе, применимость для описания нелинейных трансформаций мегаполисов, эффективность метода для фиксации латентных «точек напряженности» и прогнозирования изменений в городских сообществах. В то же время отмечается свойственная методу чрезмерная метафоризация. Обсуждаются границы применимости подхода для различных типов городов. Ставится вопрос о том, насколько метод эффективен для ответа на социальные вызовы современности, такие как цифровое неравенство и джентрификация.

Ключевые слова: трансструктурный подход, гуманитарная аналитика, урбанистика, джентрификация, цифровое неравенство

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-18-00288 «Дискурсивные трансформации современного города: координаты российской урбанистики» (<https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

Для цитирования: Кузьмин В.Д. Трансструктурные исследования города: критический анализ // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 271–278. doi: 10.17223/1998863X/85/24

Original article

TRANSSTRUCTURAL URBAN STUDIES: A CRITICAL ANALYSIS

Vladimir D. Kuzmin

*Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, nothingtohave88@gmail.com*

Abstract. The article replying to Irina Savchenko's "Discursive Urbanism: Method Search" analyzes the advantages and controversial elements of the transstructural method Savchenko proposed as a tool for studying urban communities. The obvious advantages of the method are emphasized: interdisciplinary integration of knowledge about the city, applicability for describing nonlinear transformations of megacities, effectiveness of the method for fixing latent "tension points" and forecasting changes in urban communities. At the same time, the excessive metaphORIZATION characteristic of the method is noted. The limits of the applicability of the approach for different types of cities are discussed. The question is raised as to how effective the method is for responding to modern social challenges such as digital inequality and gentrification.

Keywords: transstructural approach, humanitarian analytics, urban studies, gentrification, digital inequality

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 23-18-00288 Discursive Transformations of the Modern City: Coordinates of Russian Urban Studies: <https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

For citation: Kuzmin, V.D. (2025) Transstructural urban studies: a critical analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 272–278. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/24

В статье «Дискурсивная урбанистика: поиск метода» Ирина Савченко продолжает формировать современную методологию изучения города, акцентируя внимание на интеграции когнитивно-коммуникативных и пространственно-временных векторов в «системе координат» современной урбанистики [1]. В рамках этой модели ключевую роль играет трансструктурный метод, который демонстрирует высокую эффективность при анализе функционирования агломераций, позволяя выявлять скрытые сложности их пространственно-дискурсивной организации.

Трансструктурный метод представляет собой попытку преодолеть ограничения традиционных структурных и системных подходов к изучению города. В отличие от классических моделей, рассматривающих город либо как статичное образование, либо как динамическую целостность, трансструктурный метод направлен на выявление и описание сложных взаимосвязей между различными уровнями («нагромождениями») городской организации. Такой подход исходит из положения, что современный город не может быть адекватно понят исключительно сквозь призму его физической или функциональной структуры.

Применение трансструктурного метода требует переосмысления традиционных понятий и категорий урбанистики. Например, такие понятия, как «центр» и «периферия», в рамках этого подхода утрачивают свою статичность и приобретают динамическое измерение. Центр перестает быть исключительно географической категорией и становится понятием, описывающим узлы максимальной интенсивности когнитивных и коммуникативных процессов. Периферия, в свою очередь, рассматривается не как отдаленная часть городской структуры, а как пространство потенциального роста и трансформации. Таким образом, трансструктурный метод позволяет описывать городскую среду как сложную сеть взаимосвязей, в которой физическое пространство «измеряется», помимо прочих, когнитивными и коммуникативными единицами измерения.

И.А. Савченко справедливо отмечает, что трансструктурный подход позволяет выйти за пределы традиционных моделей, предлагая более гибкий и многослойный инструмент анализа. Однако, несмотря на очевидные преимущества этого подхода, некоторые его аспекты вызывают вопросы и требуют уточнения.

Так, можно согласиться с утверждением И.А. Савченко, что город действительно представляет собой многослойную систему, где физическая структура тесно переплетена с дискурсивными и социальными процессами [2]. Применение топологии для описания таких сложных систем кажется удачным решением, поскольку она позволяет моделировать как внутренние

напряжения, так и взаимодействия между различными «пластами» городской среды. Однако использование топологических аналогий, таких как «шарик в бублике», является пусть и наглядным, но слишком упрощенным для описания реальных процессов в сложных агломерациях. Например, в случае Москвы или других мегаполисов глобального масштаба структура города часто выходит за рамки даже самых сложных геометрических моделей, так как она включает не только физические пространства, но и виртуальные сети, экономические потоки и культурные взаимодействия, которые сложно представить в виде топологических фигур.

Вызывает интерес и идея Ирины Савченко о «точках наивысшего напряжения», которые можно выявить с помощью трансструктурного подхода. Безусловно, такие точки – это важные узлы городской системы, где пересекаются ключевые потоки и процессы. Однако вопрос заключается в том, насколько применим трансструктурный метод для предиктивного анализа изменений в этих точках. Городские системы характеризуются высокой степенью неопределенности и нелинейности, что делает любые прогнозы чрезвычайно сложными.

Заслуживает внимания утверждение И.А. Савченко, что трансструктурный подход является основой для конвергенции социально-гуманитарных, естественных и технических наук. Это действительно перспективная идея: современный город требует междисциплинарного подхода для своего изучения. Однако возникает вопрос о границах этой конвергенции: насколько далеко можно зайти в интеграции методов различных областей знаний? Например, заимствование понятий из геологии или архитектуры обогащает урбанистику новыми метафорами и инструментами анализа, но важно помнить и о риске чрезмерной метафоризации, когда реальные процессы подменяются аналогиями.

Наконец, следует обсудить дихотомию «разломов» и «взаимосвязей», которую И.А. Савченко выделяет как ключевую характеристику трансструктурного подхода. С одной стороны, такая дихотомия действительно отражает сложность городской среды, где сосуществуют как фрагментация, так и интеграция. С другой стороны, возникает вопрос о том, насколько продуктивно рассматривать эти процессы в рамках одной модели. Возможно, более эффективным было бы разделение анализа на два уровня: один – для изучения разрывов и конфликтов (например, социальных или пространственных), а другой – для исследования механизмов их преодоления.

Нельзя не согласиться с мнением И.А. Савченко, что цифровой переход действительно меняет восприятие центра и периферии в городе, создавая новые возможности, но одновременно обостряя старые проблемы неравенства. Эффекты джентрификации и цифрового неравенства подчеркивают необходимость комплексного подхода к урбанистической политике.

Убежденность Ирины Савченко в том, что современный человек не понимает «механизм действия» города, заслуживает внимания. Город как сложная система становится все более непрозрачным для его обитателей. Виртуализация взаимодействий, переход значительной части городской жизни в цифровую плоскость и фрагментация пространства создают эффект отчуждения между человеком и городской средой. Однако я бы не стал сводить это отчуждение исключительно к технологическим или дискурсивным барьерам.

Важно учитывать, что восприятие города во все эпохи было субъективным и зависело исключительно от социальных, культурных и исторических контекстов. То, что сегодня кажется нам фрагментацией и лакунарностью, может быть просто новой формой адаптации человека к изменяющимся условиям. Возможно, вместо того чтобы рассматривать эту ситуацию как проблему, стоит изучать ее как новую норму городской жизни.

Интересна также мысль И.А. Савченко о дискурсивной замкнутости городских пространств. Сравнение с алгебраической топологией, где проникновение внутрь тора или сферы невозможно, является метафорой, которая удачно подчеркивает барьеры доступа к определенным зонам городской среды. Однако здесь возникает вопрос: действительно ли эти барьеры столь непреодолимы? Такие современные технологии, как цифровые платформы и приложения, часто служат инструментами для преодоления подобных ограничений. Например, те же «Госуслуги», которые автор упоминает в контексте исключения человеческого фактора, на самом деле могут рассматриваться как способ расширения доступа к важным услугам для широких слоев населения. Конечно, это не отменяет проблем, связанных с деперсонализацией взаимодействий, но игнорировать позитивные аспекты таких сравнительно новых инструментов было бы неправильно.

Особого внимания заслуживает обсуждение джентрификации и ее роли в сегрегации городского пространства. Автор справедливо указывает на то, что джентрификация создает дихотомию центр/периферия и способствует тиражированию определенных образцов городской среды. Однако я бы добавил, что джентрификация – это не только процесс сегрегации, но и механизм культурного обмена. Она способна приводить к созданию новых форм жизни и взаимодействий, которые пусть и порождают конфликты, но также способствуют обновлению городской ткани. Вопрос заключается в том, насколько формируемая И.А. Савченко социогуманитарная аналитика [3] способна оценивать эти процессы с учетом их противоречивой природы.

И.А. Савченко подчеркивает (и с этим трудно не согласиться), что цифровой переход актуализирует нравственные противоречия в городской среде. Использование технологий для создания «более человеческого города» через эксплуатацию машин или мигрантов действительно вызывает вопросы о социальной справедливости и устойчивости таких моделей развития. Тем не менее я полагаю, что гуманитарная аналитика должна не только фиксировать эти противоречия, но и предлагать пути их разрешения. Например, можно исследовать способы интеграции мигрантов в городскую жизнь таким образом, чтобы они становились полноценными участниками городского дискурса, а не оставались лишь инструментами для достижения комфорта другими людьми.

Заостренная И.А. Савченко проблема деантропологизации субъекта коммуникации в условиях виртуализации также требует более детального рассмотрения. Автор справедливо указывает на стирание границ между реальным человеком и его цифровой симуляцией, что действительно становится вызовом для современной антропологии. Однако вместо того чтобы рассматривать этот вызов как угрозу, можно интерпретировать его как возможность расширения человеческого опыта. Виртуальные пространства и цифровые технологии предоставляют человеку новые способы самореализа-

ции, коммуникации и взаимодействия с миром. Вместо обсуждения утраты коммуникацией ее антропологической сущности мы можем говорить о коммуникативных трансформациях условиях цифровой эпохи. Данный аспект, на мой взгляд, не означает отказ от «человеческого», а, скорее, поиск новых форм его выражения.

Интересным является сопоставление дискурсивной системы «цифрового города» с пространственными структурами средневекового города. И.А. Савченко отмечает, что в современном городском пространстве социальное перетекает в символическое, а реальное – в виртуальное. Однако утверждение о том, что это явление было характерно и для средневекового города, вызывает вопросы. Средневековый город действительно был насыщен символикой, однако его структура была значительно более фиксированной и стратифицированной по сравнению с динамикой современного города. В цифровом городе границы между социальным и символическим не просто размываются, но становятся гибкими и подвижными, что создает принципиально новую среду взаимодействия. Такое отличие важно учитывать при анализе современных городских трансформаций.

Кроме того, И.А. Савченко поднимает чрезвычайно интересные вопросы, связанные с понятием «устойчивой неопределенности» городской жизни. В целом я согласен с тезисом о том, что городское пространство является ареной пересечения различных дискурсивных полей, где точки напряжения становятся неизбежными. Однако важно уточнить и развить некоторые аспекты предложенного анализа.

Прежде всего, идея устойчивой неопределенности как дихотомного понятия, сочетающего в себе элементы стабильности и хаотичности, действительно представляет собой ценный инструмент для понимания городской динамики. Городские пространства, как отмечает автор, насыщены скрытыми конфликтами и табуированными зонами, которые могут внезапно проявить себя в повседневной жизни горожанина. Данное наблюдение вполне справедливо: городская среда не только структурирует повседневные практики, но и создает условия для их непредсказуемого нарушения. Однако интерпретация таких ситуаций через категорию «дискурсивного шока» требует более детального обоснования. Например, описанные случаи – от столкновения с запретами на прогулку до неожиданного штрафа за парковку – действительно иллюстрируют точки напряжения, но стоит задать вопрос: всегда ли такие ситуации являются следствием дискурсивных противоречий? В некоторых случаях они могут быть вызваны не столько пересечением дискурсивных полей, сколько банальными административными ошибками или недостатками городской инфраструктуры. Таким образом, не всякая ситуация неопределенности в городе имеет дискурсивную природу, и важно учитывать это при анализе.

И.А. Савченко поднимает вопрос о роли эпистемологической урбанистики в исследовании города как когнитивного и коммуникативного пространства. Связь трансструктурного подхода с анализом города в четырехмерной системе координат – пространства-времени и коммуникации-знания – заслуживает внимания, поскольку предлагает концептуальные рамки для более глубокого понимания городской динамики.

И.А. Савченко убедительно показывает, что идея «права на свой город» имеет эпистемологическую природу и должна быть приоритетной как для

научных исследований, так и для практики городского управления. Концепт интеллектуального ресурса действительно открывает новые перспективы для анализа городов как пространств не только материального, но и когнитивного производства. Однако утверждение, что «город без университета» или «город без науки» не является городом в полном смысле слова, кажется несколько категоричным. Хотя университеты и научные институты играют ключевую роль в формировании интеллектуального ресурса города, их отсутствие не обязательно лишает город его сущностных характеристик. Город может быть местом интенсивного культурного обмена, креативного производства и социальной инновации даже без институционализированной науки. Более того, такие города могут демонстрировать альтернативные формы интеллектуального ресурса, основанные на локальных традициях, ремеслах или неформальных сетях знаний.

Аргументированная И.А. Савченко идея города как проекта, создаваемого в когнитивно-коммуникативной системе координат, действительно интересна, особенно на фоне «больших вызовов» цифровизации и глобализации. И.А. Савченко справедливо отмечает, что открытая интеллектуальная среда стимулирует творческую активность горожан и формирует новые формы социального участия. Однако здесь важно учитывать, что доступ к такой среде далеко не всегда равномерно распределен. Социальное неравенство, цифровой разрыв и ограничение доступа к образовательным ресурсам могут существенно снизить потенциал интеллектуальной среды города. В этом смысле, эпистемологическая урбанистика должна не только анализировать существующие когнитивные сети, но и предлагать механизмы их демократизации и инклюзивности.

Я также нахожу убедительной мысль о том, что дискурсивная аналитика города пульсирует в четырехмерных координатах. Тем не менее возникает вопрос: насколько трансструктурный подход способен учитывать локальные специфики городов? Глобальные мегаполисы с их сложными системами взаимодействий действительно могут быть описаны через такие универсальные категории. Однако менее масштабные или структурно однородные города требуют других аналитических рамок. Трансструктурный метод рискует стать слишком абстрактным, если он не будет адаптирован к конкретным условиям каждого города. В конечном итоге право на свой город действительно может стать основой для формирования новых форм социального активизма и интеллектуального развития, но только, если оно будет подкреплено конкретными механизмами реализации.

В заключение следует отметить, что статья Ирины Савченко вносит существенную лепту в развитие эпистемологической урбанистики, предлагая концептуальные рамки для анализа города как когнитивного и коммуникативного пространства. Авторская идея о необходимости осмысления города через трансструктурный подход, основанный на четырехмерной системе координат пространства-времени и коммуникации-знания, открывает перспективы для глубокого понимания городской динамики. Однако универсальность предложенного метода требует критического осмысления в контексте локальных специфических условий и социально-экономических реалий. Несмотря на теоретическую ценность дискурсивного подхода, его практическая реализация должна учитывать вызовы социальной инклюзии и доступности

интеллектуальных ресурсов, что особенно важно для формирования устойчивых и справедливых городских сообществ. Исследование И.А. Савченко открывает перспективы дальнейшего междисциплинарного диалога и эмпирической проверки предложенных теоретических моделей.

Список источников

1. Савченко И.А. Вектор Штера: знание в координатах города // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60, № 4. С. 173–189.
2. Савченко И.А. Ретровизуальный метод концептуализации новизны в дискурсе города // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2024. № 3 (41). С. 138–164.
3. Широкалова Г.С., Савченко И.А. Городские исследования в фокусе социогуманитарной аналитики // Социологические исследования. 2023. № 11. С. 139–140.

References

1. Savchenko, I.A. (2023) Vektor Shtera: znanie v koordinatakh goroda [The Shter's Vector: Knowledge in the Coordinates of the City]. *Epistemologiya i filosofiya nauki*. 60(4). pp. 173–189.
2. Savchenko, I.A. (2024) Retrovizual'nyy metod kontseptualizatsii novizny v diskurse goroda [Retrovisual Method of Conceptualizing Novelty in Urban Discourse]. *Praksema. Problemy vizual'noy semiotiki*. 3(41). pp. 138–164.
3. Shirokalova, G.S. & Savchenko, I.A. (2023) Gorodskie issledovaniya v fokuse sotsiogumanitarnoy analitiki [Urban Research in the Focus of Socio-Humanitarian Analytics]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 11. pp. 139–140.

Сведения об авторе:

Кузьмин В.Д. – младший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Институт социологии (Москва, Россия). E-mail: nothingtohave88@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kuzmin V.D. – junior research fellow at the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: nothingtohave88@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20.04.2025;
одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 20.04.2025;
approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научная статья

УДК 316.2

doi: 10.17223/1998863X/85/25

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛАБИРИНТЫ: К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА

Анна Владимировна Сахарова

*Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН,
Институт социологии, Москва, Россия, Hanna.lazareva@gmail.com*

Аннотация. Исследование города неизбежно сталкивается с проблемой множественности методологических подходов. Физическое пространство, социальные взаимодействия, дискурсивные практики и цифровая среда формируют сложную систему, которую сложно описать единым методом. Дискурсивная урбанистика предлагает рассматривать город через систему пересекающихся смыслов, но требует четкой концептуализации и методологии. В статье анализируется возможность трансструктурного подхода, объединяющего различные модусы описания города, с акцентом на его когнитивные и дискурсивные аспекты.

Ключевые слова: дискурсивная урбанистика, городские дискурсы, трансструктурность, город как текст

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-18-00288 «Дискурсивные трансформации современного города: координаты российской урбанистики» (<https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

Для цитирования: Сахарова А.В. Зеркальные лабиринты: к методологии исследования города // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 279–286. doi: 10.17223/1998863X/85/25

Original article

MIRROR LABYRINTHS: TOWARDS A METHODOLOGY FOR URBAN EXPLORATION

Anna V. Sakharova

*Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, Hanna.lazareva@gmail.com*

Abstract. The study of the city as a complex, multi-layered phenomenon requires an interdisciplinary approach that takes into account the various modes of its existence: spatial, social, discursive and virtual. Discursive urbanism suggests considering a city as a system of overlapping discourses created by its inhabitants, political and cultural actors. However, the existing methodology needs to be clarified: it is important not only to determine which aspects of the urban environment are amenable to discursive analysis, but also to develop tools for their study, allowing them to link the discursive, social and physical dimensions of the city. The example of the revitalization of protected areas in Nizhny Novgorod shows that discursive changes can precede social and spatial transformations, forming a new urban identity. This confirms the importance of discourse analysis in urban studies, but also points to the need for further development of a transstructural method capable of integrating various approaches to the study of the urban environment.

Keywords: discursive urban studies, urban discourses, transstructurality, city as text

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 23-18-00288 Discursive Transformations of the Modern City: Coordinates of Russian Urban Studies: <https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

For citation: Sakharova, A.V. (2025) Mirror labyrinths: towards a methodology for urban exploration. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 279–286. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/25

Когда объектом исследования являются сложные многокомпонентные явления, такие как *город*, мы неизбежно сталкиваемся с недостаточностью методологического аппарата для их описания. Одни аспекты описываются при помощи методологического аппарата социологии, другие – архитектурного проектирования, третьи – лингвистики. Изучение таких объектов напоминает зеркальный лабиринт, где мы видим множество отражений с множеством различных ракурсов, которые не складываются в единую трехмерную модель, но каждое из которых все же отражает объект – тот или иной его аспект. Как в зеркальном лабиринте любого из отражений окажется недостаточно для целостной картины, так и сложные явления не сводятся к любой из дисциплинарных интерпретаций. Вопрос описания такого объекта, как город, состоит как в выборе дисциплинарных подходов и методологий исследования, так и в обосновании их трансдисциплинарной связности, «сшивании» полученных результатов в интегрированную, пусть и множественную картину. Причем кажется, что различные методологии при таком подходе могут быть неравноценны: иными словами, одна из методологий может занимать лидирующее положение, быть точкой отсчета, от которой исследователь отталкивается при описании явления.

Этот тезис иллюстрирует проблему поиска и «сборки» метода изучения городской среды, поставленную И.А. Савченко в статье «Дискурсивная урбанистика: поиск метода». Дискурсивный подход выступает как стартовая «точка сборки» трансструктурного – мультидисциплинарного – исследования города. В этом подходе город не воспринимается исключительно как физическое пространство, а осмысливается как сложная сеть взаимодействий, в которой различные группы людей создают, транслируют и трансформируют смыслы. Город рассматривается как система пересекающихся дискурсивных слоев, создающих сложные композиции, моделирующие его гетерогенную структуру. Дискурсивные поля города пересекаются, создавая точки напряжения – именно их анализ с помощью трансструктурного подхода позволяет выявлять направления будущих изменений и прогнозировать развитие городской среды.

Однако, на наш взгляд, в исходной для дискуссии статье «Дискурсивная урбанистика: поиск метода» с необходимой ясностью не представлено описание того, что понимается под дискурсивной урбанистикой и в чем именно заключается трансструктурный метод, какие приемы и подходы он предполагает и каким образом он может быть применен к описанию городских явлений. Конечно, сложность и многоаспектность города объясняют некоторую размытость методологии его описания. Тем не менее хотелось бы более четко сформулировать, какие именно аспекты города могут рассматриваться дискурсивно, более детально концептуализировать, каким образом мы разграничиваем различные городские дискурсы и как мы их анализируем.

В настоящей работе хотелось бы обратиться к концептуализации этого вопроса и, развивая мысль автора исходной статьи, предложить более четкую картину понятия дискурсивной урбанистики, ее когнитивных оснований и возможных методов исследования города как дискурсивного феномена. Полное описание трансдисциплинарной методологии в понимании города как дискурсивного объекта – это серьезный вопрос, требующий гораздо большего объема, чем небольшая статья в рамках дискуссии. Однако мы можем предложить начать с обсуждения когнитивных истоков возможности такого описания и рабочих подходов к определению дискурса в контексте города.

Когнитивные основания исследования города

Существование и функционирование городов могут быть рассмотрены исходя из различных модусов. Первый из них – пространственный, ориентированный на географическую инвариантность города, описывает в первую очередь физическое пространство [1, 2]. Такой модус восприятия города формирует концептуальную базу для практики проектирования городской среды (см., например, [3, 4]).

Между тем когнитивные основания этого подхода не проговариваются в рамках исследования и проектирования пространственной среды. При этом даже на базовом уровне физическое пространство города и его восприятие не тождественны. В нашем сознании мы строим своеобразную карту города, моделируя пространство и интериоризируя свои визуальные впечатления (см. работы в области когнитивной психологии, например, исследования «когнитивных карт» Э.Ч. Толмена [5] или теорию «ориентировочных схем» У. Найссера [6]). Эксперименты Толмена, выполненные на лабораторных животных, оказали значительное влияние на понимание процессов пространственного ориентирования у человека. Найссер ввел понятие «ориентировочных схем», которые представляют собой ментальные структуры, напоминающие карту местности, а не ее фотографию [6. С. 129]. Найссер показал, что при анализе социальных, дискурсивных и других нефизических пространств города мы отталкиваемся именно от этих схем, а не от визуального образа пространства.

Физическое пространство города, основанное на наших представлениях о нем, на нашем восприятии, предстает нам неравномерным, негомогенным. В этом пространстве существуют разрывы, усложняющие транспортную или пешую доступность отдельных районов города. Например, Москва представляется относительно связным городом: большинство объектов доступно на общественном транспорте, от которого чаще всего комфортно дойти в любую точку пешком. Дубай же, напротив, имеет множество пространственных разрывов, исключая возможность комфортного пешеходного передвижения даже на небольшие расстояния.

Второй модус описания города – социологический – рассматривает город как сеть акторов и их отношений [7, 8]. Этот модус восходит к работам М. Вебера [9] и основан на анализе города как системы социальных связей, которые становятся отправной точкой для его исследования. «Структура социального пространства проявляется, таким образом, в разнообразных контекстах как пространственные оппозиции обитаемого (или присвоенного) пространства, функционирующего как некая спонтанная метафора социаль-

ного пространства» [10]. Однако при определенном ракурсе анализа интуитивные представления о первичности физического пространства могут быть пересмотрены: социальное может подчинять себе физическое, формируя его через социальные практики. Город может быть рассмотрен, например, как конгломерат сообществ или же как система институциональных связей [11]. И в том и в другом случае через анализ социального актора и его коммуникативных характеристик мы уже можем перейти от социального к семиотическому (и его частному случаю – дискурсивному) подходу к городу. Дискурс в этом случае выступает инструментом социального, а иногда и физического преобразования среды.

Третий – семиотический (или знаковый) модус [12] – позволяет рассматривать город «как сложную многоуровневую систему с характерными текстами и кодами, принадлежащими разным языкам культуры» [13]. Здесь выделяется дискурсивный подход, трактующий город не только через физическое присутствие, но и через тексты, мифы, рассказы и политические высказывания, создающие его символическое измерение. Город в данном случае становится семиотической интерпретацией связей различных человеческих и нечеловеческих акторов [14].

Последний из модусов существования города – виртуальный (или цифровой). Он не только отражает различные социальные и семиотические отношения, но также привносит новое цифровое измерение в городскую среду.

Все эти модусы редко могут быть рассмотрены отдельно друг от друга: семиотическое переплетается с коммуникативным, пространственное – с социальным. Вспомним, в частности, тезис Р. Парка, что «социальные отношения часто и неизбежно коррелируют с пространственными отношениями; потому что физические расстояния настолько часто бывают или кажутся индексами социальных расстояний» [15. Р. 18]. Или тезис У. Эко о городе-тексте, в рамках которого функциональная составляющая города всегда оказывается совмещена со знаковой [16]. Эти связанные на когнитивных основаниях модусы могут быть проанализированы при помощи предлагаемого И.А. Савченко трансструктурного подхода. В случае дискурсивной урбанистики базовым для описания станет семиотический модус – в частности, его дискурсивный подтип.

Город как дискурсивный феномен

Понимание города как дискурсивного феномена позволяет объединить инструментарий описания различных модусов города: пространственного, социального, виртуального, семиотического. Вместе они могут помочь отразить многообразные взаимодействия, происходящие в городской среде, с учетом вклада каждого актора в общий городской метадискурс.

Наиболее абстрактное понимание дискурса связано с использованием языка как общественной практики, которая участвует в формировании социального мира [17. С. 12]. В лингвистическом смысле дискурсивная практика (в данном контексте мы, осознавая потенциальные различия терминов «дискурс» и «дискурсивная практика», все же используем их как синонимы) определяется как «тенденция в использовании близких по функции альтернативных языковых средств разных уровней для выражения определенного смысла» [18. С. 246]. Дискурсивные практики формируют определенные мо-

дели поведения, предопределяя способы взаимодействия людей в различных ситуациях. В последние два десятилетия в науке сложилась традиция выделения различных типов дискурсов в зависимости от социальных институтов и сообществ, которые они «обслуживают», с опорой на социальный модус города, описанный выше. Дискурсивные практики не просто отражают, но и конструируют социальную реальность. Они формируют речевое поведение индивида, побуждая его к определенным коммуникативным стратегиям. Таким образом, дискурсивная практика опосредует социальную практику через тексты, создавая уникальный лингвистический ландшафт города.

В связи с множественностью социальных сфер использования дискурсов универсальная их типология до сих пор остается предметом научных дискуссий. В.И. Карасик выделяет три основных подхода к классификации дискурсов: социолингвистический, прагмалингвистический, тематический [19. С. 348–353]. Социолингвистическая классификация дискурсов может проводиться по институциональному признаку и сводиться «к образцам вербального поведения, сложившимся в обществе применительно к закрепленным сферам общения» [20. С. 190–191], а также с опорой на сферу деятельности городских сообществ (экоактивисты, паркурщики, урбанисты и пр.). К описанию дискурсов сообществ могут быть применены основные компоненты институционального дискурса: «цели, участники, хронотоп, ценности, стратегии, материал (тематика), разновидности и жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы» [11. С. 29].

Конечно, далеко не все типы дискурсов могут быть объяснены через институциональные рамки или рамки сообществ. Город представляет собой сложный дискурсивный конгломерат, включающий множество различных практик разного порядка. О. Иссерс в книге «Люди говорят: дискурсивные практики нашего времени» приводит интересный пример появления новой неинституциональной дискурсивной практики – «текста на асфальте». В Омске во время предвыборной кампании мэра на поврежденном дорожном полотне появились надписи: «Выбоины мэра» (отсылка к созвучному «выборы мэра») [17. С. 38]. Неудовлетворенность граждан состоянием городской инфраструктуры породило новую форму городского дискурса. В данном случае социальный запрос инициировал новый канал коммуникации, который благодаря своей нетривиальности оказался эффективным средством воздействия на адресата. «Дорожно-тротуарный» формат коммуникации может и дальше использоваться в политическом и рекламном дискурсе, если не будет подвергнут законодательным ограничениям.

Заповедные кварталы: историческая среда, городские дискурсы, сообщество

Считается, что процесс ревитализации (восстановления) исторической среды на физическом уровне приводит к трансформациям как в социальном, так и в дискурсивном полях города. Однако эти процессы не всегда начинаются с «физического преобразования» – отправная точка возрождения архитектурного феномена может лежать в дискурсивном поле. Таков пример заповедных кварталов – объектов городского деревянного зодчества середины XIX – начала XX в., расположенных в квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде. Первичным в процессе ревитализации был дискурсив-

ный модус: нарративы, создаваемые энтузиастами, стремящимися сохранить историческую идентичность района, распространились в социальных сетях и СМИ, повысили узнаваемость квартала и озвучили проблему сохранения исторического наследия. Затем развитие происходило в социальном модусе. Изменения начались во время выступления энтузиастов на фестивале «Том Соьер Фест», а после приобрели масштаб только после политического решения по преобразованию квартала (в работе участвовали группа городских активистов, федеральные эксперты, правительство Нижегородской области). И процесс собственно физического преобразования еще далеко не окончен. Таким образом, заповедные кварталы стали не только архитектурной локацией, но и ареной столкновения различных дискурсов: политического, культурного, экономического.

Выводы

Исследования города как сложного, многослойного явления требует междисциплинарного подхода, учитывающего различные модусы его существования: пространственный, социальный, дискурсивный и виртуальный. Дискурсивная урбанистика предлагает рассматривать город как систему пересекающихся дискурсов, создаваемых его жителями, политическими и культурными акторами. Однако важно не только определить, какие аспекты городской среды поддаются дискурсивному анализу, но и разработать инструменты их изучения, позволяющие связать дискурсивное, социальное и физическое измерения города.

Пример ревитализации заповедных кварталов в Нижнем Новгороде показывает, что дискурсивные изменения могут предшествовать социальным и пространственным трансформациям, формируя новую городскую идентичность. Это подтверждает значимость дискурсивного анализа в урбанистике, но также указывает на необходимость дальнейшего развития трансструктурного метода, способного интегрировать различные подходы к изучению городской среды.

Список источников

1. Эллард К. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие. М. : Альпина Паблишер, 2022. 288 с.
2. Jiang Bin, Huang Ju-Tzu. A new approach to detecting and designing living structure of urban environments // Computers, Environment and Urban Systems. 2021. Vol. 88. 101646. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2021.101646
3. Гейл Я. Города для людей. М. : Альпина Паблишер, 2012. 276 с.
4. Gehl J., Svarre B. How to Study Public Life. Island Press : Center for Resource Economics, 2013. doi: 10.5822/978-1-61091-525-0
5. Толмен Э. Когнитивная карта у крыс и человека // Хрестоматия по истории психологии. М. : Изд-во Мос. ун-та, 1980. С. 63–82.
6. Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. М. : Прогресс, 1981. 232 с.
7. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2013. 414 с.
8. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М. : Изд. дом ВШЭ, 2014. 384 с.
9. Вебер М. Город. М. : Юрайт, 2024. 158 с.
10. Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практика. М. : Ин-т эксперим. социологии ; СПб. : Алетейя, 2005. 576 с.

11. Карасик В.И. Структура институционального дискурса // Проблемы речевой коммуникации : межвузовский сб. науч. тр. Саратов : СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2000. С. 25–33.
12. Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М. : Новое лит. обозрение, 1992. 55 с.
13. Берестовская Д.С., Петренко А.П. Архитектурное пространство города: семиотический подход // Урбанистика. 2017. № 1. С. 24–34. doi: 10.7256/23108673.2017.1.22489
14. Law J. After ANT: Topology, Naming and Complexity // Actor-Network Theory and After / ed. by J. Law, J. Hassard. Oxford : Blackwell and the Sociological Review, 1999. 10 p.
15. Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D. The City. University of Chicago Press, 1992. 240 p.
16. Эко У. Отсутствующая структура. La struttura assente: введение в семиологию. М. : Корпус : АСТ, 2019. 698 с.
17. Иссерс О.С. Люди говорят: дискурсивные практики нашего времени. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. 275 с.
18. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М. : Эдиториал УРСС, 2001. 368 с.
19. Карасик В.И. Языковые ключи. М. : Гнозис, 2009. 405 с.
20. Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты : сб. науч. тр. Волгоград ; Саратов : Перемена, 1998. С. 185–197.

References

1. Ellard, K. (2022) *Sreda obitaniya: Kak arkhitektura vliyaet na nashe povedenie i samochuvstvie* [Habitat: How Architecture Affects our Behavior and well-being]. Moscow: Alpina Publisher.
2. Jiang Bin & Huang Ju-Tzu. (2021) A new approach to detecting and designing living structure of urban environments. *Computers, Environment and Urban Systems*. 88. 101646. DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2021.101646
3. Gehl, J. (2012) *Goroda dlya lyudey* [Cities for People]. Moscow: Alpina Publisher.
4. Gehl, J. & Svarre, B. (2013) *How To Study Public Life*. Island Press: Center for Resource Economics. DOI: 10.5822/978-1-61091-525-0
5. Tolmen, E. (1980) Kognitivnaya karta u krysa i cheloveka [The Cognitive Map in Rats and Men]. In: *Khrestomatiya po istorii psikhologii* [Textbook on the History of Psychology]. Moscow: Moscow University Press. pp. 63–82.
6. Naisser, U. (1981) *Poznanie i real'nost'. Smysl i printsipy kognitivnoy psikhologii* [Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology]. Moscow: Progress.
7. Latour, B. (2013) *Nauka v deystvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vnuti obshchestva* [Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society]. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.
8. Latour, B. (2014) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory]. Moscow: HSE.
9. Weber, M. (2024) *Gorod* [The City]. Moscow: Yurayt.
10. Bourdieu, P. (2005) *Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktika* [Espace Social: Champs et Pratiques]. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aletya.
11. Karasik, V.I. (2000) Struktura institutsional'nogo diskursa [The structure of institutional discourse]. In: *Problemy rechevoy kommunikatsii* [Problems of speech communication]. Saratov: Saratov Chernyshevsky State University. pp. 25–33.
12. Auger, M. (1992) *Ne-mesta. Vvedenie v antropologiyu gipermoderna* [Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity]. Moscow: Novoe lit. obozrenie.
13. Berestovskaya, D.S. & Petrenko, A.P. (2017) Arkhitekturnoe prostranstvo goroda: semioticheskiy podkhod [Architectural Space of the City: A Semiotic Approach]. *Urbanistika*. 1. pp. 24–34.
14. Law, J. (1999) After ANT: Topology, Naming and Complexity. In: Law, J. & Hassard, J. (eds) *Actor-Network Theory and After*. Oxford: Blackwell and the Sociological Review. pp. 44–56.
15. Park, R.E., Burgess, E.W. & McKenzie, R.D. (1992) *The City*. University of Chicago Press.
16. Eco, U. (2019) *Otsutstvuyushchaya struktura. La struttura assente: vvedenie v semiologiyu* [The Missing Structure: Introducción a la semiótica. Introduction to Semiotics]. Moscow: Korpus: AST.
17. Issers, O.S. (2012) *Lyudi govoryat: diskursivnye praktiki nashego vremeni* [People Say: Discursive Practices of Our Time]. Omsk: Omsk State University.
18. Baranov, A.N. (2001) *Vvedenie v prikladnuyu lingvistiku* [Introduction to Applied Linguistics]. Moscow: Editorial URSS.

19. Karasik, V.I. (2009) *Yazykovye klyuchi* [Language Keys]. Moscow: Gnosis.

20. Karasik, V.I. (1998) О kategoriakh diskursa [On the categories of discourse]. In: *Yazykovaya lichnost': sotsiolingvisticheskie i emotivnye aspekty* [Linguistic Personality: Sociolinguistic and Emotive Aspects]. Volgograd; Saratov: Peremena. pp. 185–197.

Сведения об авторе:

Сахарова А.В. – кандидат филологических наук, научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Москва, Россия). E-mail: Hanna.lazareva@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Sakharova A.V. – Cand. Sci. (Philology), researcher at the Dr. Sci. (Sociology), full professor, leading research fellow, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: Hanna.lazareva@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.04.2025;

одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 30.06.2025

The article was submitted 20.04.2025;

approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 30.06.2025

Научная статья

УДК 316.2

doi: 10.17223/1998863X/85/26

В ЗАЩИТУ ГОРОДА. ОТВЕТ МОИМ ОППОНЕНТАМ

Ирина Александровна Савченко

*Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Москва, Россия,
teosmaco@rambler.ru*

Аннотация. В статье даны ответы на замечания и ремарки, высказанные в ходе обсуждения моей статьи «Дискурсивная урбанистика: поиск метода». Показано, каким образом мои критики расширяют методологическое поле современных городских исследований. Получает развитие идея И.Т. Касавина (он вошел в число моих оппонентов) о необходимости защиты традиционной городской экосферы, аутентичной мироощущению живого чувствующего человека.

Ключевые слова: цифровая антропология, устойчивая неопределенность, уникальность и стандартизация, интеллектуальный ресурс, умный город

Благодарность: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 23-18-00288 «Дискурсивные трансформации современного города: координаты российской урбанистики» (<https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

Для цитирования: Савченко И.А. В защиту города. Ответ моим оппонентам // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2025. № 85. С. 287–293. doi: 10.17223/1998863X/85/26

Original article

IN DEFENSE OF THE CITY. A REPLY TO MY OPPONENTS

Irina A. Savchenko

*Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation, teosmaco@rambler.ru*

Abstract. I reply to the comments and remarks made during the discussion of my article “Discursive Urbanism: Method Search”. Taking into account the constructive criticism, I show how my critics expand the limits of the methodological field of modern urban research. The idea of Ilya Kasavin (he was also one of my opponents) about the need to protect the traditional urban ecosphere, authentic to the worldview of a living, feeling person, is being developed. I must agree that, on the one hand, a smart city is not necessarily a “city for smart people”. Moreover, it is in such a smart city that all the conditions for scientific, socio-economic, environmental, political, etc. denialism are often created. On the other hand, the so-called “comfortable urban environment” is not limited to the work of housing and communal services. We all really go to the city for that ambiente (“atmosphere”), which motivates us to sensual experiences and is expressed in emotions. Thus, the city in which we want to live can be described as a discursive space where conditions are created for the realization of intellectual, communicative, creative and, no less importantly, spiritual, emotional needs. If there are different places in a city where different people are able to feel a semblance of happiness for at least a short time, it means that such a city has opportunities to realize the human right to their city.

Keywords: digital anthropology, sustainable uncertainty, uniqueness and standardization, intellectual resource, smart city

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 23-18-00288 Discursive Transformations of the Modern City: Coordinates of Russian Urban Studies: <https://rscf.ru/project/23-18-00288/>).

For citation: Savchenko, I.A. (2025) In defense of the city. a reply to my opponents. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 85. pp. 287–293. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/85/26

Дискурсивная аналитика города – новое направление в урбанистике, которое сегодня разрабатывается совместными усилиями группы российских ученых. Критика, которую я получила от участников настоящей дискуссии, является неизмеримо ценной и значимой прежде всего в контексте дальнейших дискурсивных городских исследований.

Вероятно, я в определенной степени отдалась от содержательных основ базового филологического образования, которое получила несколько десятков лет назад. Именно поэтому, по-видимому, в моих работах прослеживается склонность к (пост)структуралистскому пониманию дискурса [1]. Тем более ценным явился ответ А.В. Сахаровой на мою статью, в котором прослеживаются лингвистические и психолингвистические акценты в интерпретации дискурса, заложенные соответственно Э. Бенвенистом [2] и Л.С. Выготским [3]. Подход Анны Сахаровой можно считать скорее социолингвистическим. И пусть попытки (небезуспешные) интеграции лингвистики и социологии в исследовании города предпринимались и ранее [4, 5], трехмодусная модель А.В. Сахаровой представляется наиболее продуктивной ввиду своей методологической универсальности.

В ряде случаев научный спор вокруг моей статьи стимулировал дополнительный – внутренний – виток исследовательской полемики. Основными оппонентами (по отношению друг к другу) стали Владимир Кузьмин и Сергей Дружкин. Так, В.Д. Кузьмин фактически критикует меня за то, что я эксплуатирую трансструктурный метод в целях «сгущения красок» в исследовании гуманитарных аспектов динамики городов, преувеличения рисков цифрового перехода и гипертрофирования опасностей деантропологизации урбанистического дискурса. В то же время С.М. Дружкин, напротив, полагает, что моя обеспокоенность сложными перспективами современной городской динамики (особенно цифровой сегрегацией и биотехнологическими угрозами) явно недостаточна. В данном ключе Сергей Дружкин предлагает расширить трансструктурный подход за счет элементов экофилософии, биотики и концепции «слоистой уязвимости». Полемика, которую участники дискуссии ведут не только со мной, но и друг с другом, с одной стороны, показывает, что трансструктурный подход все еще находится в стадии формирования, но, с другой стороны, имеет хорошую методологическую перспективу.

И.Т. Касавин в своем ответе на мою публикацию сказал, на мой взгляд, самое важное. Городская экосистема (*ambiente*: исп., атмосфера, обстановка), органичная и приятная для обычного живого человека, в век доминирования техники оказалась под угрозой, поэтому эту неповторимую дискурсивную «атмосферность» каждого города нужно защищать. Отстаивая, таким образом, право на свой город, люди оберегают не только право на интеллектуальную и творческую самореализацию (здесь Илья Касавин спорит со мной, ибо

я действительно концентрирую внимание исключительно на когнитивно-креативных переменных), но и на право отдыхать, увлекательно проводить время и в целом получать удовольствие от жизни в городе.

Илья Касавин показывает нам, что, отстаивая право на свой город, мы не можем позволить себе роскоши дениализма. Желая реализовать *право* на свой город, мы не имеем *права* игнорировать, отказываться замечать, исключать из сознания реальные (социальные, социально-экономические, социокультурные, управленческие, инфраструктурные, экологические, этические) проблемы городской жизни.

Гуманитарная аналитика как перспектива

Гуманитарная аналитика позволяет нам увидеть трансструктурную природу современных технологических трансформаций и ощутить их влияние на *ambiente* города. Сегодняшний горожанин не только не понимает устройство гаджетов, которыми он пользуется постоянно, но и не понимает «механизм действия» города, в котором обитает. Человек может попасть в такой агломерации из точки в точку, но потоки его передвижений подобны авиаперелету, поскольку наполнены лакунами и фрагментами. Перемещения осуществляются, как правило, под землей на метро или через подземный переход пешком, через хорду на автомобиле и пр. Мы минуем целые городские ареалы, и через опыт отдельного человека сложно ощутить большой город как систему, как единое пространство.

Для горожанина из позапрошлого века перемещения в пространстве агломерации были бы неестественны и, вероятно, весьма напряженны в эмоциональном плане. Подобная ситуация была описана в «Возвращении со звезд» С. Лема. Главный герой Эл Брегг путешествовал по галактическим просторам 10 лет, в то время как на земле прошло 127 лет. Эл с трудом ориентируется в многочисленных переходах, эскалаторах и лифтах космопорта. Примерно то же самое происходит с провинциалом, попавшим в мегаполис, – неважно, передвигается он пешком, на общественном транспорте или же на автомобиле.

Оценивая гуманитарный эффект тех или иных дискурсивных преобразований в пространстве города, можно выявить внутри них сущностные противоречия и парадоксы. Нередки случаи, когда гуманитарные задачи (помощь, забота, медицина, консультирование и пр.) решаются посредством инструментов (например, Госуслуги или портал Мос.ру), из которых исключается человеческая составляющая. Но в то же время есть ситуации, в которых, напротив, гуманитарно-ориентированные практики (наука, искусство) продуцируют эффекты, лишенные человеческого содержания (те же Госуслуги сделаны талантливыми людьми и для людей). Город становится более инклюзивным, позволяющим выстраивать сети человеческих и нечеловеческих акторов (пандус – коляска, современный автобус – пожилой человек, Госуслуги – гражданин и т.д.). Гуманитарная аналитика направлена, помимо прочего, на определение степени осознанности общественного восприятия и возможных последствий формирования таких условий развития городского дискурса, в которых город для людей через исключение человеческого предлагает продолжение человеческого другими средствами. Комфортный, более человеческий город становится возможным через эксплуатацию машин и других людей (например, мигрантов). И здесь актуализируются, с одной сто-

роны, социально-экономические и, с другой стороны, нравственные противоречия.

Цифровая антропология. С высокими темпами развития технологий в научной среде и повседневной жизни все больше укореняется технологический детерминизм, и источником изменений социальной жизни становится не сам человек, а технологический процесс. Конвергентные технологии, биотехнологии преобразуют модус человеческой телесности и его повседневной жизни, здоровья, что становится важной повесткой для определения границ человеческого. Взаимовлияние человека и информационных технологий все острее ощущается и на законодательном уровне (в международном праве утверждается взгляд на доступ к интернету как неотъемлемое право человека; 2011 г.). В процессе виртуализации и технического прогресса стираются границы между «реальным» человеком и его программно-компьютерной симуляцией, что действительно может привести в дальнейшем к возможной деантропологизации субъекта коммуникации.

Цифровая антропология в отличие от технологического детерминизма разворачивает дискурс к человеку и его стремлению изменить город с помощью технологий не для самого прогресса как цели, а для улучшения условий жизни человека в первую очередь. В данном контексте получают научное обоснование дискурсивные трансформации города в категориях «утопии» (как среды творческой самореализации) и «антиутопии» (так называемого технопессимизма).

Умный город может и должен стать гуманным городом, городом для людей, а не для машин. Возможно, в этом ключ к сохранению и развитию той самой атмосферности. Полагаю, что это произойдет, если город будет конструироваться на базе активного привлечения к своему проектированию представителей научно-академического и научно-образовательного сообществ, а также – обычных горожан, «людей с улицы». Тогда вероятно, что дискурсивные трансформации города смогут обеспечить нечто вроде «человечности в мире машин».

Уникальность и стандартизация жизни в дискурсе города. Город нельзя зафиксировать или остановить. Он находится в движении. Разные группы горожан вращаются по орбитам своих товор и сфер (элементах топологии, о которых я писала в исходной статье), в свою очередь, и горожане, и сферы, и торы движутся подобно тому, как все мы вращаемся вместе с Землей вокруг Солнца, не постигая этого с помощью наших органов чувств. И в то же время каждый индивид движется по своей в чем-то уникальной траектории.

Трансструктурный подход помогает понять, как уникальность каждой отдельной человеческой жизни, заключенной в ситуацию множественного выбора, тем не менее сопровождается общими тенденциями экзистенциального поиска горожан. Трансструктурный подход позволяет в определенной мере типологизировать траектории жизненного пути человека в условиях городской дискурсивной системы.

Человеку не всегда удастся понять, что в этом движении зависит от него (от человека), а что – не зависит. Ситуации «растушеванности» образа будущего укрепляют это ощущение, становясь в определенной степени «нормальными»: достигнув определенного уровня стабильности, человек начинает

фрустрировать по этому поводу, опасаясь, что вот-вот что-то произойдет. Устойчивая неопределенность может описываться как норма городской жизни. В ряде случаев неопределенность является следствием формализации городской жизни с помощью барьеров, правил и запретов (например, запрет на парковку), которые на самом деле являются непонятными для человека и неопределенными.

Напряженность в неопределенности

Трансструктурный подход позволяет избежать диалектических банальностей и поиска точек напряженности там, «где низы не хотят, а верхи не могут» и т.п. Здесь требуются менее прямолинейные исследовательские рассуждения. Городское пространство обрастает табуированными зонами, которые неочевидны. Для отдельного человека рано или поздно оказаться в такой зоне – вопрос времени. Индивид не знает, когда он там окажется, однако такая вероятность есть всегда. И это – ситуация устойчивой неопределенности. Влюбленные на окраине Москвы идут прогуляться вокруг пруда, в какой-то момент им навстречу выходит охранник и просит покинуть запрещенную территорию: половина пруда отгорожена забором, влюбленные могут видеть молодых людей, гуляющих на роскошной поляне за забором.

Автомобилист оставляет машину около забора рядом с другими машинами и уезжает на два дня. Приехав, он не находит свою машину. В постановлении инспектора он читает о знаке, запрещающем парковку в пределах 70 метров. Водитель этот знак не мог видеть, поскольку двигался с другой стороны. В полицейском протоколе написано, что автомобилист не явился для рассмотрения дела, однако этого автомобилиста никто никуда не приглашал. Точка напряженности уже есть, но мы не знаем, когда и как она себя проявит. Возможно, у автомобилиста сдадут нервы совсем в другом месте, но также возможно, что совсем другой автомобилист, попав в схожую ситуацию, поведет себя «неожиданно».

Здесь можно вспомнить «взрывника» из аргентино-испанского фильма «Дикие истории», который, будучи измотанным бесконечными историями с эвакуацией его автомобиля, потеряв семью и работу, в конце концов, поджигает штрафстоянку. Когда «взрывник» попадает в тюрьму, событие привлекает внимание СМИ к коррупционной системе штрафов и эвакуации в городе. Трансструктурный подход внимателен к деталям.

Город, таким образом, артикулируется как способ и дискурсивная среда «устойчивой неопределенности». Современный горожанин находится в постоянной ситуации нестабильности, связанной с непрекращающимися изменениями (экономическими, политическими и морально-установочными), часть которых может восприниматься относительно легко и не нарушает ощущение устойчивости, другие же, напротив, продуцируют чувство непрекращающихся («устойчивых») явлений: давления, тревоги и дискомфорта. В городе, особенно в мегаполисе, формируются условия «устойчивой неопределенности», где обстоятельства риска могут становиться обыденными, а ситуации принятия решения – заурядными. Незнание будущего и несбывшиеся надежды, насилие над собой, вызванное недостатком сна и переутомлением, дефицитом душевного общения и неизбежностью взаимодействий в рамках деловой необходимости, избыточная информация и при этом

ощущение «недоинформированности», большое количество людей и чувство одиночества – все это может повлечь за собой «городские болезни»: депрессию, тревогу или апатию, аномию, фрустрации и хроническую усталость. Основной конфликт обнаруживает себя в экзистенциальной сфере, именно в ней происходит осмысление человеком нахождения самого себя в городе. Человеку в ряде случаев сложно различить границу осмысленностью и бессмысленностью существования, границу между тем временем, которое было, и тем временем, которое наступает, между правдой и обманом, между своей жизнью и своими представлениями о ней.

Интеллектуальный ресурс человечности

В моем понимании «права на свой город» центральное место всегда занимал концепт городского «интеллектуального ресурса». Однако Илья Касавин в своих рассуждениях идет дальше. Мы должны согласиться с тем, что, с одной стороны, умный город – это не обязательно «город для умных людей». Более того, как раз в таком умном городе нередко создаются все условия для научного, социально-экономического, экологического, политического и пр. дениализма. С другой стороны, так называемая «комфортная городская среда» не сводится к работе жилищно-коммунальных хозяйств. Все мы, действительно, ищем в городе ту самую *ambiente* («атмосферность»), которая побуждает нас к чувственным переживаниям и выражается в эмоциях.

В этом контексте город, в котором мы хотим жить, может быть описан как дискурсивное пространство, где созданы условия для реализации интеллектуальных, коммуникативных, творческих и, что не менее важно, духовных, эмоциональных потребностей. Если в городе есть разные места, в которых разные люди хотя бы ненадолго способны ощутить подобие счастья, значит, в таком городе есть возможности реализации права человека на свой город.

Список источников

1. Фуко М. Слова и вещи // Археология гуманитарных наук : пер. с фр. М. : Прогресс, 1977. 488 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. 2-е изд., стер. М. : УРСС, 2002. 446 с.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд. М. : Лабиринт, 1999. 350 с.
4. Головнёва Е.В. Формы дискурсивной репрезентации городской идентичности // Социология власти. 2014. № 2. С. 56–64.
5. Оводова С.Н., Чупин Р.И., Жигунов А.Ю. Урбанистический дискурс о благоустройстве города в городе: от нарративов к институтам // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2018. Т. 10, № 3. С. 123–138.

References

1. Foucault, M. (1977) *Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [Archaeology of the Humanities]. Translated from French. Moscow: Progress.
2. Benveniste, E. (2002) *Obshchaya lingvistika* [General Linguistics]. 2nd ed. Moscow: URSS.
3. Vygotsky, L.S. (1999) *Myshlenie i rech'* [Thinking and Speech]. Moscow: Labirint.
4. Golovneva, E.V. (2014) *Formy diskursivnoy reprezentatsii gorodskoy identichnosti* [Forms of discursive representation of urban identity]. *Sotsiologiya vlasti*. 2. pp. 56–64.
5. Ovodova, S.N., Chupin, R.I. & Zhigunov, A.Yu. (2018) *Urbanisticheskiy diskurs o blagoustroystve goroda v gorode: ot narrativov k institutam* [Urban discourse on urban improvement in the city: From narratives to institutions]. *Zhurnal institutsional'nykh issledovaniy*. 10(3). pp. 123–138.

Сведения об авторе:

Савченко И.А. – доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия). E-mail: teosmaco@ramler.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Savchenko I.A. – Dr. Sci. (Sociology), full professor, leading research fellow, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: teosmaco@ramler.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20.04.2025;
одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 30.06.2025
The article was submitted 20.04.2025;
approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 30.06.2025*

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2025. № 85

Редактор *В.Г. Лихачева*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Яковсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 11.07.2025 г. Дата выхода в свет 22.07.2025 г.

Формат 70х100¹/₁₆. Печ. л. 18,4; усл. печ. л. 23,9; уч.-изд. 25,2.

Тираж 50 экз. Заказ № 6386. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru